

МИР ПАУСТОВСКОГО

К. Паустовский

№ 19

2002



*31 мая 2002 года — 110 лет со дня рождения
К.Г.ПАУСТОВСКОГО*

МИР АЛЕКСАНДРА
ГРИНА

ЛИТЕРАТУРНЫЕ
СТРАНИЦЫ

СТРОКОЙ
ВОЛОШИНА



СОДЕРЖАНИЕ:

ПИСАТЕЛЬ О ПИСАТЕЛЕ

Константин ПАУСТОВСКИЙ Об А.С.Гриневском (Грине): *Фрагменты* 3

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО

Константин ПАУСТОВСКИЙ Письма к Нине Николаевне Грин 7

ИЗ ЗАБЫТОГО

Александр ГРИН Большие пожары: Странный вечер /Предисл.

Г.Корниловой Дача Большого озера. Предсмертная записка:

Избранные рассказы 14

Марк ЩЕГЛОВ Корабли Грина /Предисл. С.Ларина 24

ИЗ ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕТРАДЕЙ

Александр ГРИН Избранные стихотворения /Предисл. Л.Мартынова 28

ИЗ АРХИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Письма Н.Н.ГРИН к С.П.Наумову /Предисл. Г.Корниловой 33

Дело Нины Грин: *Заключение прокуратуры* 45

В МОЕЙ БЛАГОДАРНОЙ ПАМЯТИ...

Юлия ПЕРВОВА Ночью на кладбище 48

Марк КАБАКОВ Черноморские были 51

СТРОКОЙ ВОЛОШИНА...

ИЗ ПОЭТИЧЕСКОГО СОБРАНИЯ КОНСТАНТИНА ПАУСТОВСКОГО:

СТИХИ МАКСИМИЛИАНА ВОЛОШИНА /Сост. И.Комаров 57

Владимир КУПЧЕНКО Путь к Волошину: *Из дневников* 60

Пётр ДОВЖУК Старая почтовая дорога 64

Любовь СОРОКИНА Мне было всего тринадцать... 67

Юрий КАЛИНИН Шишки сосны Муррея: *Догадки и размышления* 72

ШКОЛА ПАУСТОВСКОГО

Лев ЛЕВИЦКИЙ Прожил жизнь как хотел 79

Лев КРИВЕНКО Покупается брошенная изба: *Рассказ* 80

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТРАНИЦЫ

Владислав КРАПИВИН Из цикла «Паустовские» рассказы 82

Давид ШРАЕР-ПЕТРОВ За оградой зоопарка: *Рассказ* 95

Сергей МИХЕЕНКОВ Иван меньшей: *Рассказ* 100

ИССЛЕДОВАНИЯ

Олег ЛАРИН Здесь жил ссыльный Гриневский... 103

Людмила СКЕПНЕР По следам архангельской находки 105

ПИСЬМА ИЗ ФЕОДОСИЙСКОГО МУЗЕЯ 110

ПОЭТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ 117

НЕЗАВЕРШЁННАЯ РУКОПИСЬ А.ГРИНА

Александр ГРИН Недотрога: *Фрагменты* /Послесл. Л.Варламовой 119

ТАРУССКИЕ СТРАНИЦЫ

Михаил ХОЛМОГОРОВ Давно ли? Сорок лет назад... 138

Игорь ГУНЧЕНКОВ Эхо «Тарусских страниц» 139

Татьяна МЕЛЬНИКОВА Жизнь дрожит меж темнотой и светом...: *Стихи* 143

ЗАПИСКИ ПОЛЕНОВСКОГО ДОМА

Фёдор ПОЛЕНОВ ЗА СТЕКЛЯННОЙ ДВЕРЬЮ 146

ОДЕССКИЙ ЛИСТОК 148

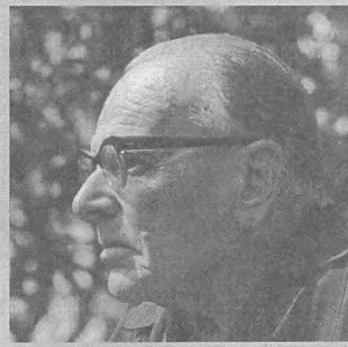
СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ О НЁМ

Владимир СТЕЦЕНКО Путешествие за жар-птицей длиною в жизнь 152

Юрий КУРАНОВ Избранные рассказы 155

ПРИЛОЖЕНИЯ

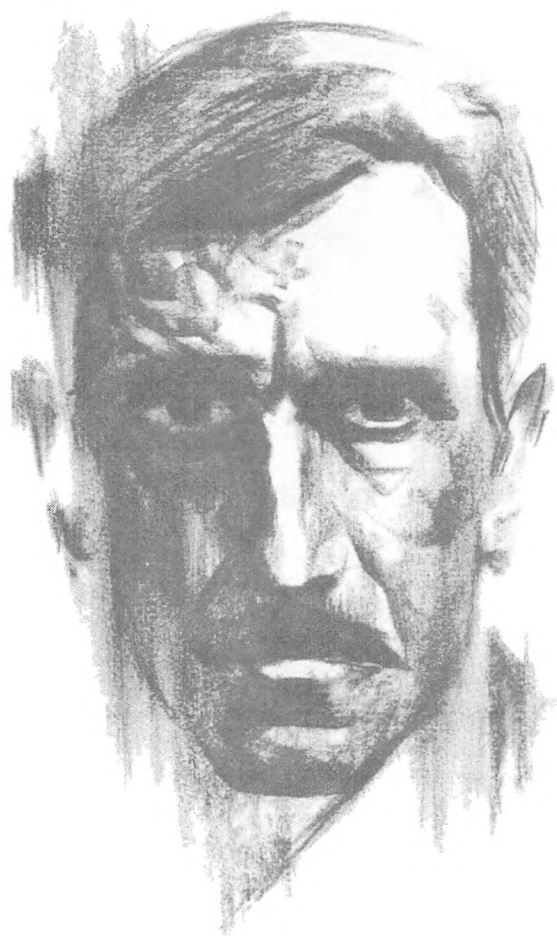
Из последних публикаций. Нам пишут. Хроника – информация 156



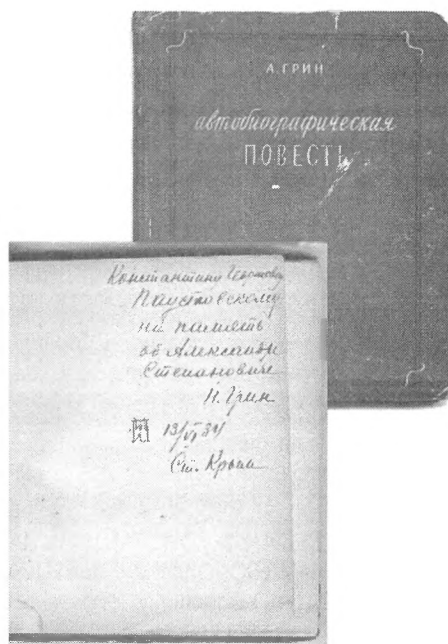
В номере использовано 318 архивных материалов из фондов Музея-центра К.Г.Паустовского

Если бы Грин умер, оставив нам только одну свою поэму в прозе «Алые паруса», то и этого было бы достаточно, чтобы поставить его в ряды замечательных писателей, тревожащих человеческое сердце призывом к совершенству...

Константин ПАУСТОВСКИЙ



А.С.Грин. Рисунок художника В.И.Жерибора



Книга с автографом Н.Н.Грин К.Г.Паустовскому

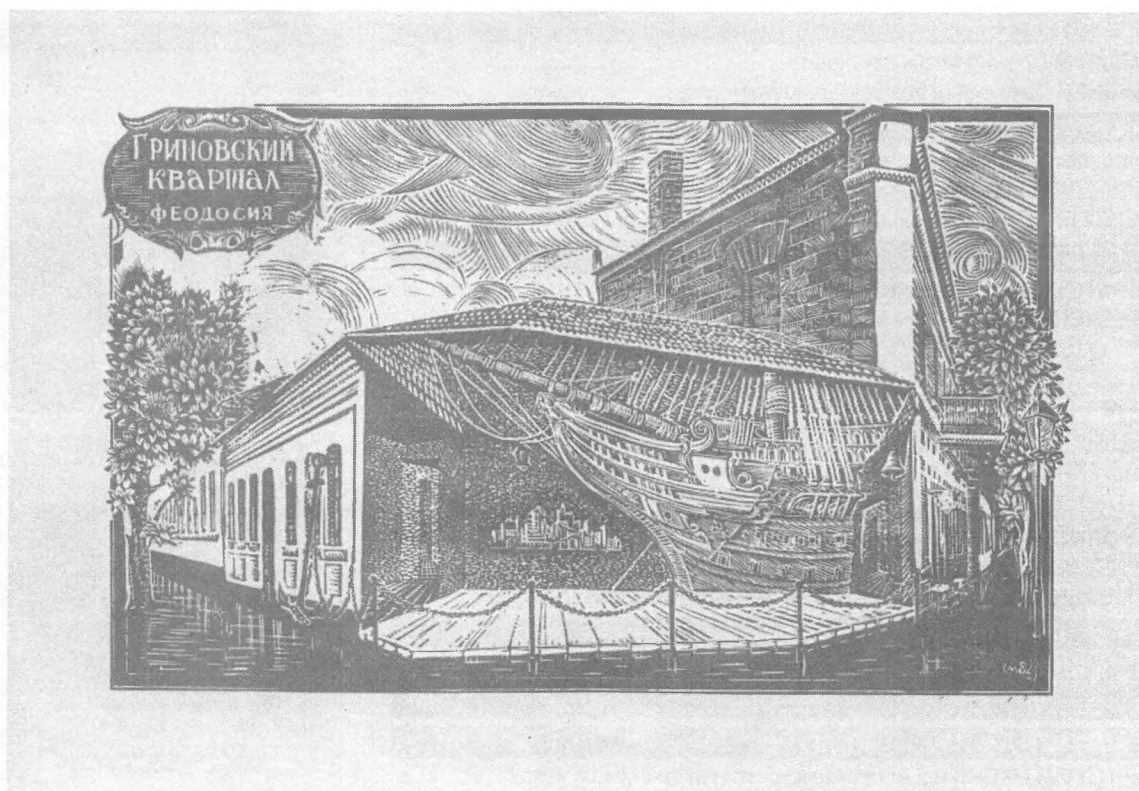
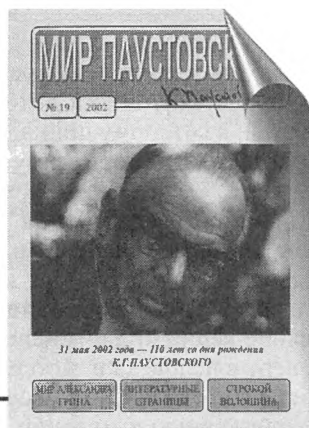


Рисунок художника Степана Малышева (г. Феодосия)



ПИСАТЕЛЬ О ПИСАТЕЛЕ

Константин ПАУСТОВСКИЙ

ОБ А.С. ГРИНЕВСКОМ

Александр Грин

Из книги «Золотая роза»

Во времена моей юности все мы, гимназисты, зачитывались выпусками «Универсальной библиотеки». Это были маленькие книги в жёлтой бумажной обложке, напечатанные петитом.

Стоили они необыкновенно дёшево. За десять копеек можно было прочесть «Тартарена» Доде или «Мистерии» Гамсуна, а за двадцать копеек — «Давида Копперфильда» Диккенса или «Дон-Кихота» Сервантеса.

Русских писателей «Универсальная библиотека» печатала только в виде исключения. Поэтому, когда я купил очередной выпуск со странным названием «Синий каскад Теллури» и увидел на обложке имя автора — Александр Грин, то, естественно, подумал, что Грин иностранец.

В книге было несколько рассказов. Помню, я открыл книгу, стоя около киоска, где я её купил, и прочёл наугад:

«Нет более бестолкового и чудесного порта, чем Лисс. Разноязычный этот город напоминает бродягу, решившего наконец погрузиться в дебри оседлости. Дома рассажены как попало среди нескольких намёков на улицы. Улиц в прямом смысле слова не могло быть в Лиссе, потому что город возник на обрывках скал и холмов, соединённых лестницами, мостами и узенькими тропинками.

Всё это завалено сплошной густой тропической зеленью, в

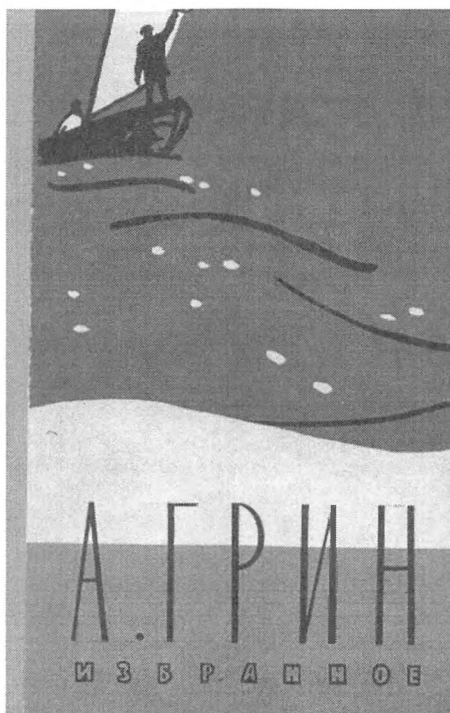
веерообразной тени которой блестят детские пламенные глаза женщин. Жёлтый камень, синяя тень, живописные трещины старых стен. Где-нибудь на бугрообразном дворе — огромная лодка, чинимая босоногим, трубку покуривающим нелюдимом. Пение вдаль и его эхо в оврагах. Рынки на сваях под тентами и огромными зонтиками. Блеск оружия, яркое платье, аромат цветов и зелени, рождающий глухую тоску, как во сне, о влюблённости и свиданиях. Гавань — грязная, как молодой трубочист. Свитки парусов, их сон и крылатое утро, зелёная вода, скалы, даль океана. Ночью — магнетический пожар звёзд, лодки со смеющимися голосами — вот Лисс!»

Я читал, стоя в тени цветущего киевского каштана, читал не отрываясь, пока не прочёл до конца эту причудливую, как сон, необыкновенную книгу.

Внезапно я ощутил тоску по блеску ветра, по солоноватому запаху морской воды, по Лиссу, по его жарким переулкам, опаляющим глазам женщин, шершавому жёлтому камню с остатками белых ракушек, розовому дыму облаков, стремительно взлетающему в синеву небосвода.

Нет! Это была, пожалуй, не тоска, а страстное желание увидеть всё это воочию и беззаботно погрузиться в вольную приморскую жизнь.

И тут же я вспомнил, что какие-то отдельные черты этого



Обложка книги.
Художник А.Васин

блещущего мира я уже знал. Незвестный писатель Грин только собрал их на одной странице. Но где я всё это видел?

Я вспоминал недолго. Конечно, в Севастополе, в городе, как бы поднышаемся из зелёных морских волн на ослепительное белое солнце и перерезанном полосами теней, синих, как небо. Вся весёлая путаница Севастополя была здесь, на страницах Грина.

Я начал читать дальше и наткнулся на матросскую песенку:

Южный Крест там сияет вдали.
С первым ветром проснётся компас.
Бог, храня корабли,
Да помилует нас!

Тогда я ещё не знал, что Грин сам придумывал песенки для своих рассказов.

Люди пьянеют от вина, солнечного сверкания, от беззаботной радости, щедрости жизни, никогда не устающей открывать нам блеск и прохладу своих заманчивых уголков, наконец — от «чувства высокого».

Всё это существовало в рассказах Грина. Они опьяняли, как душистый воздух, что сбивает нас с ног после чада душных городов.

Так я познакомился с Грином. Когда я узнал, что Грин русский и что зовут его Александр Степанович Грин, то не был этим особенно удивлён. Может

быть, потому, что Грин был для меня к тому времени явным черноморцем, представителем в литературе того племени писателей, к которому принадлежали и Багрицкий, и Катаев, и многие другие писатели-черноморцы.

Удивился я, когда узнал биографию Грина, узнал его неслыханно тяжёлую жизнь отщепенца и неприкаянного бродяги. Было непонятно, как этот замкнутый и избитый невзгодами человек пронёс через мучительное существование великий дар мощного и чистого воображения, веру в человека и застенчивую улыбку. Недаром он написал о себе, что «всегда видел облачный пейзаж над дрянью и мусором невысоких построек».

Он с полным правом мог бы сказать о себе словами французского писателя Жюль Ренара: «Моя родина — там, где проплывают самые прекрасные облака».

Если бы Грин умер, оставив нам только одну свою поэму в прозе «Алые паруса», то и этого было бы довольно, чтобы поставить его в ряды замечательных писателей, тревожащих человеческое сердце призывом к совершенству.

Грин писал почти все свои вещи в оправдание мечты. Мы должны быть благодарны ему за это. Мы знаем, что будущее, к которому мы стремимся, родилось из непобедимого человеческого свойства — умения мечтать и любить.

Щедрый подарок

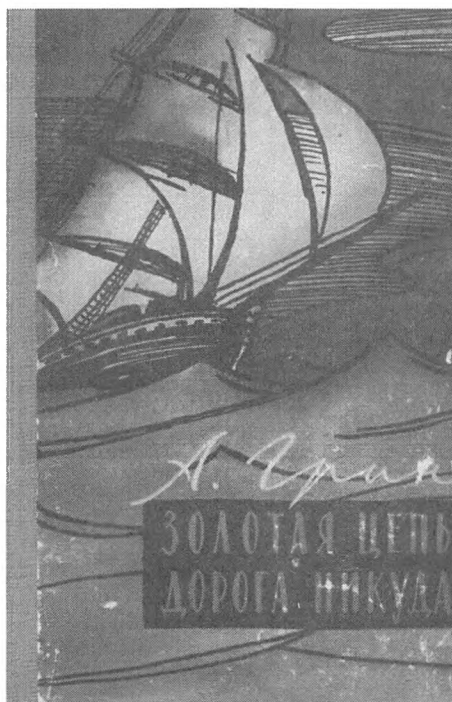
Из повести «Книга скитаний»

Я видел его тогда в первый и в последний раз. Я смотрел на него так, будто у нас в редакции, в пыльной и беспорядочной Москве появился капитан «Летучего Голландца» или сам Стивенсон.

Грин был высок, угрюм и молчалив. Изредка он чуть незаметно и вежливо усмехался, но только одними глазами — тёмными, усталыми и внимательными. Он был в глухом чёрном костюме, блестящем от старости, и в чёрной шляпе. В то время никто шляп не носил.

Грин сел за стол и положил на него руки — жилистые сильные руки матроса и бродяги. Крупные вены вздулись у него на руках. Он посмотрел на них, покачал головой и сжал кулаки, — вены сразу опали.

— Ну вот, — сказал он глуховатым и ровным голосом, — я напишу вам рассказ, если вы да-



Обложка книги.
Художник Е.Пыль

дите мне, конечно, немного денег. Аванс. Понимаете? Положение у меня безусловно трагическое. Мне надо сейчас же уехать к себе в Феодосию.

— Не хотите ли вы, Александр Степанович, съездить от нас в Петроград на проводы «Товарища»? — спросил его Женька Иванов.

— Нет! — твёрдо ответил Грин. — Я болею. Мне нужно совсем немного, самую малую толику. На хлеб, на табак, на дорогу. В первой же феодосийской кофейне я отойду. От одного запаха кофе и стука бильярдных шаров. От одного паровозного дыма. А здесь я пропадаю.

Женька Иванов тотчас же распорядился выписать Грину аванс.

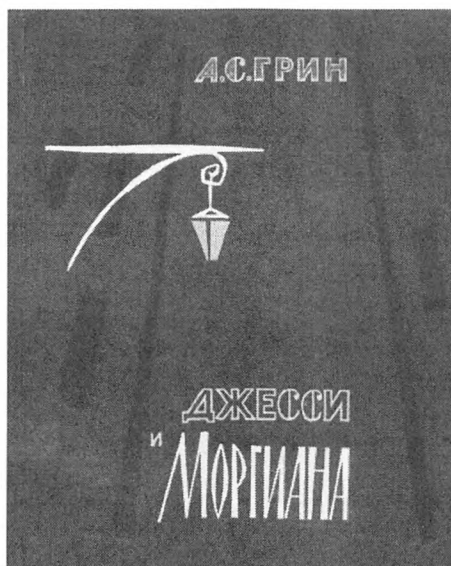
Все почему-то молчали. Молчал и Грин. Молчал и я, хотя мне страшно хотелось сказать ему, как он украсил мою юность крылатым своим воображением,

какие волшебные страны цвели, никогда не отцветая, в его рассказах, какие океаны блистали и шумели на тысячи и тысячи миль, баюкая бесстрашные и молодые сердца.

И какие тесные, шумные, певучие и пахучие портовые города, залитые успокоительным солнцем, превращались в нагромождение удивительных сказок и уходили вдаль, как сон, как звук затихающих женских шагов, как опьяняющее дыхание открытых только им, Грином, благословенных и цветущих стран.

Мысли у меня металась и путались в голове, я молчал, а время шло. Я знал, что вот-вот Грин встанет и уйдёт.

— Чем вы сейчас заняты, Александр Степанович? — спросил Грина Новиков-Прибой.



Обложка книги: Грин А. Джесси и Мортиана (Лениздат, 1966).
Художник М.Кулаков

— Стреляю из лука перепелов в степи под Феодосией, за Сарыголом, — усмехнувшись, ответил Грин. — Для пропитания.

Нельзя было понять, — шутит ли он или говорит серьёзно.

Он встал, попрощался и вышел, прямой и строгий. Он ушёл навсегда, и я больше никогда не видел его. Я только думал и писал о нём, сознавая, что это слишком малая дань моей благодарности Грину за тот щедрый подарок, что он бескорыстно оставил всем мечтателям и поэтам.

— Большой человек! — сказал Новиков-Прибой. — Заколдованный. Уступил бы мне хоть несколько слов, как бы я радовался! Я-то пишу, честное слово, как полотёр. А у него вдохнёшь одну строку — и задохнёшься. Так хорошо!

Суровый сказочник и поэт

Из повести «Чёрное море»

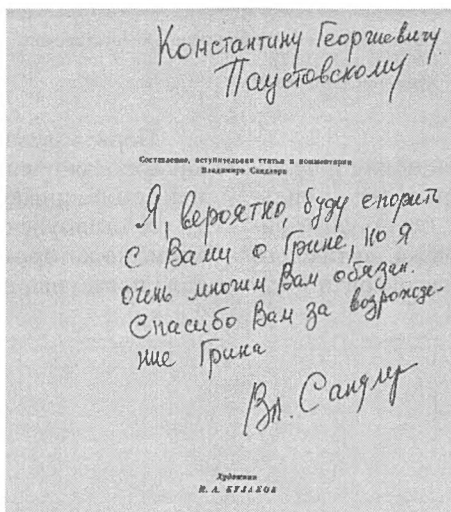
В Старом Крыму провёл последние дни своей жизни и умер писатель Грин — Александр Степанович Гриневский.

Грин — человек с тяжёлой, мучительной жизнью — создал в своих рассказах невероятный мир, полный заманчивых событий, прекрасных человеческих чувств и приморских праздников. Грин был суровый сказочник и поэт морских лагун и портов. Его рассказы вызывали лёгкое головокружение, как запах раздавленных цветов и свежее, печальные ветры.

Грин провёл почти всю жизнь в ночлежных домах и грошовом непосильном труде, нищете и недоедании. Он был матросом, грузчиком, нищим, банщиком, золотискателем, но прежде всего — неудачником.

Взгляд его остался наивен и чист, как у мечтательного мальчика. Он не замечал окружающего и жил на облачных, весёлых берегах...

Романтика Грина была проста, весела, блестяща. Она возбуждала в людях желание разнообразной жизни, полной риска и чувства «высокого», жизни, свойственной исследователям, мореплавателям и путешественникам. Она вызвала упрямую потребность увидеть и узнать весь земной шар, и



Автограф Владимира Сандлера на книге А.Грина «Джесси и Мортиана» принадлежавшей К.Г.Паустовскому

это желание было благородным и прекрасным. Этим Грин опрадал всё, что написал.

Язык его был блестящ. Беру отрывки наугад, открывая страницу за страницей:

«Где-то высоко над головой, переходя с фальцета на альт, запела одинокая пуля, стихла, описала дугу и безвредно легла на песок рядом с потревоженным муравьём, тащившим очень нужную для него палочку».

«Он слушал игру горниста. Это была странная поэзия солдатского дня, элегия оставленных деревень, меланхолия хорошо вычищенных штыков».

«Зима умерла. Весна столкнула её голой, розовой и дерзкой ногой в сырые овраги, где, лёжа ничком, в виде мёртвенно-белых, обтаявших пластов снега, старуха дышала ещё в последней агонии холодным паром, но слабо и безнадежно».

Грин хорошо выдумывал старинные матросские застольные песни:

Не шуми, океан, не пугай,
Нас земля напугала давно.
В южный край —
В светлый край приплывём всё равно!

Он выдумывал и другие песенки — шуточные:

Позвольте вам сказать, сказать,
Позвольте рассказать,
Как в бурю паруса вязать,
Как паруса вязать!
Позвольте вас на салинг взять,
Ах, вас на салинг взять,
И в руки мокрый шкот вам дать,
Вам шкотик мокрый дать!

В Старом Крыму мы были в доме Грина. Он белел в густом саду, заросшем травой с пушистыми венчиками. В траве, ещё свежей, несмотря на позднюю осень, валялись листья ореха. Слабо жужжали последние осы.

Маленький дом был прибран и безмолвен. За окном лёгкой тучей лежали далёкие горы.

Простая и суровая обстановка была скрашена только одной гравюрой, висевшей на белой стене, — портретом Эдгара По.

Мы не разговаривали, несмотря на множество мыслей, и с величайшим волнением осматривали суровый приют человека, обладавшего даром могучего и чистого воображения.

Старый Крым сразу изменился после того, как мы увидели жилище Грина и узнали большую повесть о его смерти.

Этот писатель — бесконечно одинокий и не услышанный в раскатах революционных лет — сильно тосковал перед смертью о людях. Он просил привести к нему хотя бы одного человека, читавшего его книги, чтобы увидеть его, поблагодарить и уз-

нать наконец запоздалую радость общения с людьми, ради которых он работал.

Но было поздно. Никто не успел приехать в сонный, далёкий от железных дорог провинциальный город.

Грин попросил, чтобы его кровать поставили перед окном, и всё время смотрел на горы. Может быть, их цвет, их синева на горизонте напоминала его любимое и покинутое море.

Только две женщины, два человека пленительной простоты были с Грином в дни его смерти — жена и её старуха мать.

Перед уходом из Старого Крыма мы прошли на могилу Грина. Камень, степные цветы и куст терновника с колючими иглами — это было всё.

Едва заметная тропинка вела к могиле.

Я подумал, что через много лет, когда имя Грина будет произноситься с любовью, люди вспомнят об этой могиле, но им придётся раздвинуть миллионы густых веток и мять миллионы высоких цветов, чтобы найти её серый и спокойный камень.

Мы вышли в горы. Солнце катилось к закату. Его чистый диск коснулся облетевших лесов. Ночь уже шла по ущельям. В сухих листьях шуршали, укладываюсь спать, птицы и горные мыши.

Первая звезда задрожала и остановилась в небе, как золотая пчела, растерявшаяся от зрелища осенней земли, плывущей под ней глубоко и тихо.

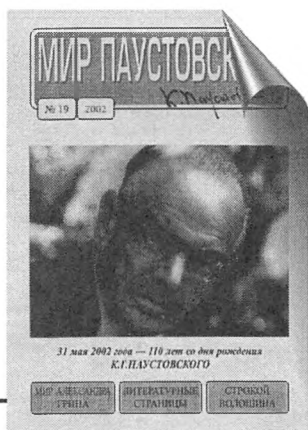
Я оглянулся и увидел в просвете ущелья тот холм, на котором была могила Грина. Звезда блистала прямо над ним.



Обложка книги с предисловием К.Паустовского. (М., Правда, 1957).
Художник Б.Маркевич



Иллюстрация художника фон Хайнера Фогеля к немецкому изданию книги А.Грина «Алые паруса» с предисловием К.Паустовского. (Лейпциг, Инзель, 1965)



ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО

Константин ПАУСТОВСКИЙ

ПИСЬМА К НИНЕ НИКОЛАЕВНЕ ГРИН

15 мая 1936 г.

Дорогая Нина Николаевна, простите, что так долго не писал, — был занят множеством литературных и личных дел.

Все материалы об Александре Степановиче и фотографии я получил, — сейчас всё это хранится у меня. К сожалению, большинство фотографий напечатать в книге не удастся, — очень неясные и тёмные оттиски. Будут напечатаны два портрета — тот, с которого делал гравюру Козлинский, и портрет «с ястребом». Книга уже пошла в производство, — издательство меня очень торопило. В книге — около 14 листов (вошло 18 вещей, в том числе крупные «Сто вёрст по реке», «Остров Рено», «Жизнь Гнорра» и др.). Я написал «вступительную статью» — так она именуется в договоре — об Александре Степановиче, — конечно, это не статья, а рассказ о нём, как о человеке и писателе. Копию я Вам пришлю, как только перепечатаю, — сейчас у меня нет лишней. Статья большая — два печатных листа.

Единственное, что для меня было очень трудным — это необходимость в некоторых рассказах «вынуть» небольшие места, которые издательство считает «недетскими». Сейчас у меня нет под рукой списка рассказов, вошедших в сборник, но я попытаюсь перечислить их по памяти: 1) Капитан Дюк 2) Комендант порта 3) Возвращение 4) Сто вёрст по реке 5) Остров Рено 6) Жизнь Гнорра 7) Гнев отца 8) Гатт, Витт и Редотт 9) Бродяга и начальник тюрьмы 10) Акварель 11) Двойная ошибка 12) Бочка пресной воды

МП: В предлагаемой подборке — двенадцать писем К.Г.Паустовского к Нине Николаевне Грин. Она охватывает четверть века — от мая 1936 года по ноябрь 1961-го.

Четыре письма были опубликованы ранее, в 9 томе Собраний сочинений Паустовского (М.: Худож. лит., 1986), остальные публикуются впервые. С ними редакции удалось недавно познакомиться в архиве РГАЛИ, в фонде А.С.Грина.

Подборка не исчерпывает, по нашему мнению, всего возможного объёма писем К.Г.Паустовского к Н.Н.Грин — будущее покажет, — однако в настоящее время она представляется наиболее полной.

13) Словоохотливый домовый 14) Продолжение следует 15) На облачном берегу 16) Как я умирал на экране. Остальные два рассказа я не помню.

Статью об Александре Степановиче я хочу, помимо книги, напечатать в одном из толстых журналов. Выслало ли издательство Вам деньги? Завтра я там буду и поговорю об этом.

Как здоровье? Напишите. Я на днях уезжаю из Москвы в Мещерские леса — отдыхать, читать и удить рыбу. Мой адрес:

Солотча, Московской области Рязанского района, дом Пожалостинных, мне. Всего хорошего. Привет вашей маме. Не хворайте!

*Ваш К.Паустовский
Москва*

Книга выйдет, очевидно, в августе.

16 октября 1936 г.

Нина Николаевна, — не сердитесь на меня за упорное молчание. Я только на днях вернулся в Москву и застал Ваше письмо от 2 октября.

Был в Детгизе и узнавал о книге. Эйхлера нет — он в Севастополе, а без него никто ничего толком сказать не может. Одно ясно, — книга не сдана в производство и, насколько мне удалось выяснить, внесена в план на 1937 год. Редактор Клячко (он редактировал книгу) говорит, что книга, конечно, выйдет, но когда — сказать трудно. Цыпин пока не уловим. Всё это мне очень не нравится и я, как только поправлюсь (сейчас я сижу взаперти из-за простуды) займусь, этим делом. Сегодня напишу Эйхлеру. Мне

кажется, что Цыпин решил книгу «замариновать». Придётся дать бой.

В ленинградской «Литературной газете» была статья о «Чёрном море», посвящённая не столько мне, сколько Ал. Степ. — очень хорошая. Вообще во всех серьёзных отзывах о «Чёрном море» много говорится об Александре Степановиче, — это меня радует. Я получил несколько писем от читателей, почти все они пишут о Грине, а один бывший матрос, редактор районной газеты где-то на Белом озере, пишет, что у него собрано всё без исключения, написанное Александром Степановичем. Я разыщу адрес этого человека и пришлю Вам.

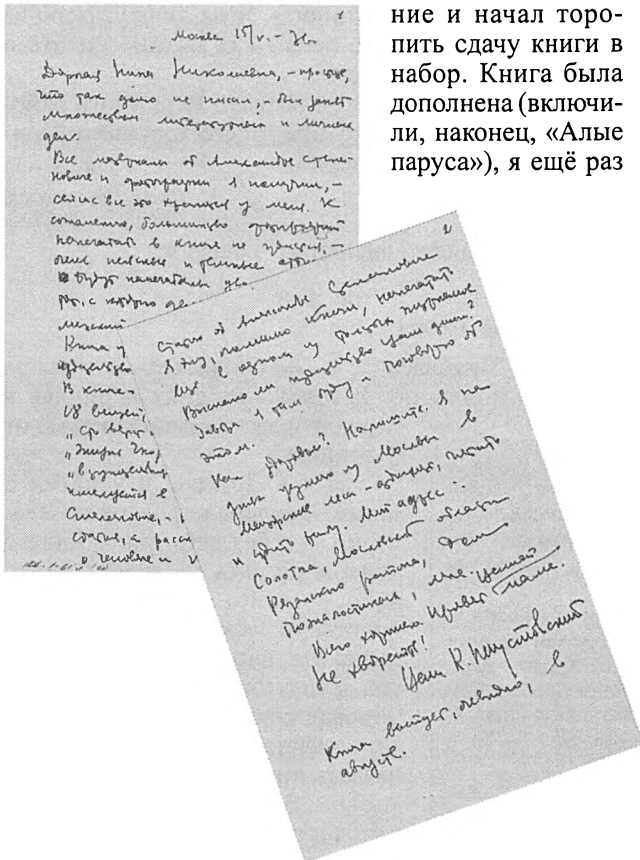
У меня — большие перемены в личной жизни, живу я пока один. Мой временный адрес: Пятницкая, 48 кв. 5. Когда будете в Москве, то позвоните по тел. В 1-84-86. В ноябре и декабре буду в Ялте, — работать. Всего хорошего.

Ваш К.Паустовский
Москва

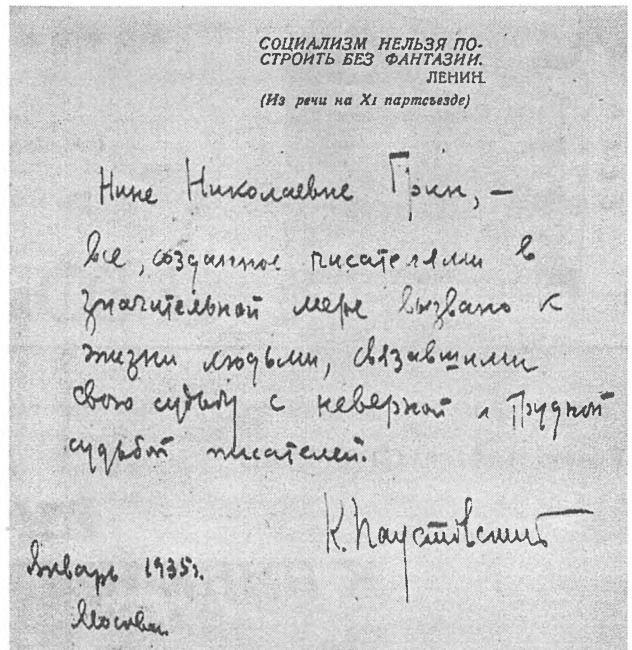
20 мая 1937 г.

Многоуважаемая Нина Николаевна, — не сердитесь на меня за такие длинные промежутки молчания, — это ни в какой мере не значит, что я забыл о книге Александра Степановича и ничего не делаю.

После моего приезда из Ялты Цыпин проявил неожиданное рвение и начал торопить сдачу книги в набор. Книга была дополнена (включили, наконец, «Алые паруса»), я ещё раз



Письмо К.Г.Паустовского к Н.Н.Грину из Москвы в Старый Крым, 15.05.1936 г.
Пересъёмка из фондов РГАЛИ



Автограф К.Г.Паустовского на книге «Кара-Бугаз», январь 1935 г.

Нине Николаевне Грин, — всё, созданное писателями, в значительной мере вызвано к жизни людьми, связавшими свою судьбу с неверной и трудной судьбой писателей.

К.Паустовский

Пересъёмка из архива Феодосийского Дома-музея А.С.Грина

прочёл её, отредактировал окончательно свою статью и всё, казалось, было в порядке. Дали книгу на иллюстрацию художнику (заставки и концовки). Иллюстрации не понравились, дали другому, дело затянулось и кончилось тем, что бумага, отпущенная на печатание книги, ушла на другое издание. Сейчас положение таково, — бумага будет только через полтора месяца, тогда, наконец, книга должна пойти в набор. Цыпин уехал в Киев, его заместитель Лебедев — ничего толком не знает. Завтра я думаю обратиться в Союз писателей и потребовать через Союз прекращения всех этих безобразий с книгой — это сильное средство, если же и оно не поможет, то буду говорить с Файнбергом — секретарём ЦК ВЛКСМ, ведающим детиздатовскими делами. О результатах Вам напишу.

Мою статью об Александре Степановиче взял (кроме книги) Ермилов для «Красной Нови». Он просил меня написать Вам и узнать — не остались ли у Вас неопубликованных вещей Ал. Ст. Если остались, то он очень просит прислать для «Красной Нови». Я пробуду в Москве до 7/VI, потом буду в конце июня, — хорошо бы прислать через меня, если же меня не будет — то непосредственно Ермилову (Москва, 17, Лаврушинский пер., 17/19, кв. 10. В.В.Ермилову).

Недавно у меня была ленинградская артистка (забыл её фамилию). Она — чтица, готовит для чтения некоторые рассказы Ал. Ст., но репертком не разрешил ей читать их с эстрады. Она обратилась за помощью ко мне и к Фадееву. Я написал в репертком, и разрешение ей дали.

Сдал недавно в «Знамя» (московский журнал) рассказ, где есть несколько мыслей об Ал. Ст.

Думаю, что хотя и с трудом, но нам удастся пробить стену молчания вокруг книг Ал. Ст. — всё чаще и чаще я встречаю людей, любящих его книги.

Как Вы живёте, почему не напишете о себе, когда будете в Москве? Я очень жалею, что был в Ялте и не смог заехать к Вам, в Старый Крым. Очень жалею. Но ничего, может быть ещё попаду в Старый Крым, — для меня этот городок полон какой-то особой привлекательности после того, как в нём жил Ал. Ст.

Все материалы, которые вы мне передали — хранятся у меня (за исключением фотографии, где Ал. Ст. снят с ястребом — она в издательстве, приложена к книге). Если они Вам нужны, я их Вам вышлю.

Пишите. Всего хорошего. Не болейте, не грустите, — с книгой всё будет хорошо.

*Ваш К. Паустовский
Москва*

Мой новый, окончательный адрес: Москва, 17, Лаврушинский пер., 17/19, кв. 17.

* * *

9 октября 1937 г.

Многоуважаемая Нина Николаевна, — после многих странствий и экспедиций вернулся, наконец, в Москву и застал ваше письмо. Был в Детиздате, —



А.С.Грин с ястребом Гулем.
Из архива Гослитмузея



А.С.Грин с женой, во дворе дома на ул. Галерейной.
Феодосия, лето 1927 г.
Из архива Гослитмузея

там все новые люди, Цыпина нет, остался от старого времени один Генрих Эйхлер. Наконец-то, книга А.С. (сборник с моей статьёй) сдвинулась с места и пошла в набор. Эйхлер говорил мне, что они уже написали Вам об этом — не знаю, верно ли это? Во всяком случае, клянутся, что сейчас выход книги в свет — дело одного месяца, если не двух недель. После двух лет мытарств — даже не верится.

Два дня ловлю Накорякова, когда поймаю — напишу.

Читали ли Вы статью Олеси (в «Литературной газете») с его высказываниями — довольно спорными, но обширными — об Ал. Степановиче? Статья носит трескучий заголовок «Письмо писателю Паустовскому».

Каюсь, — я свинья, до сих пор не ответил в Ленинград на письмо первой жены А.С. (не помню сейчас её фамилию), но думаю, что это, может быть, к лучшему.

В ноябре я буду в Москве, и мы увидимся. Звоните (В 1-96-25) и приходите. Все материалы (присланные Вами) об Ал. Ст., фотографии, вырезки и рукопись «Недотроги» хранятся у меня. Если нужно — я их пришлю или Вы возьмёте их сами в Москве?

Посылаю письмо в Феодосию, т.к. не знаю Вашего дома в Старом Крыму — знаю только улицу.

Привет Вашей маме, привет Крыму, — я всегда Вам завидую, особенно зимой, что Вы живёте там.

Всего хорошего.

*Ваш К. Паустовский
Москва*

27 марта 1938 г.

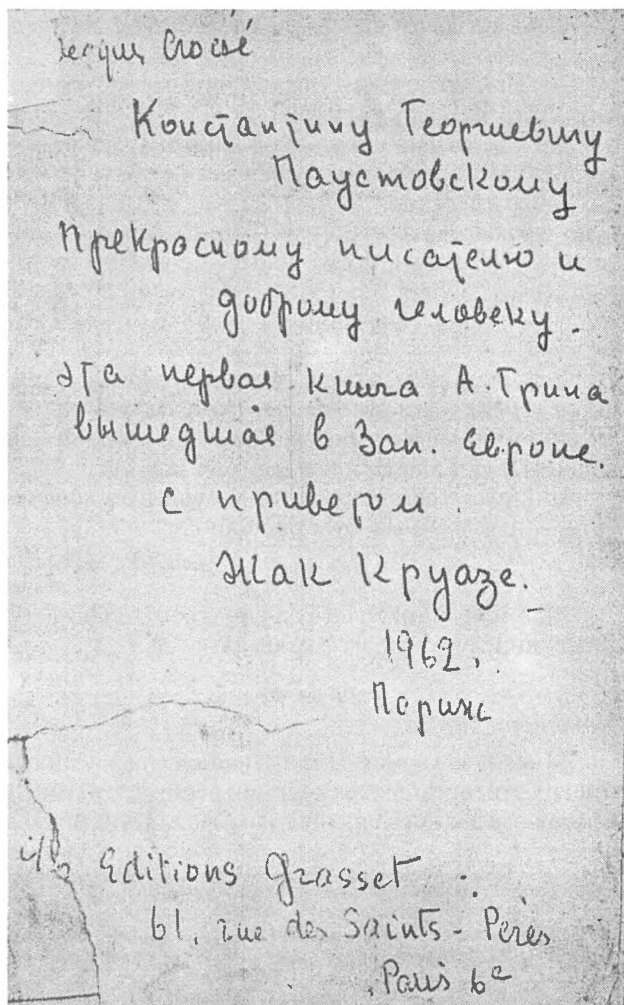
Глубокоуважаемая Нина Николаевна, — пишу Вам с теплохода по пути из Батума в Ялту. Незадолго до отъезда из Москвы получил Ваше письмо и книгу — большое спасибо. Не успели ответить из-за множества дел в Москве. Решили написать Вам из Ялты, но пишу раньше, т.к. нам нужна Ваша помощь. Дело в том, что правление Литфонда меня подвело, — перед отъездом из Москвы оно разрешило нам взять с собой в Ялту Серёжу, в Тифлисе же я получил от Литфонда телеграмму о том, что вопрос о Серёже решался вторично и Литфонд не может разрешить ему жить в Ялтинском доме, т.к. это — дом творчества и детей туда не пускают. В общем, всё вышло очень глупо. Серёжа уже едет с нами.

Мы решили устроить его или в Артек (боюсь, что это не удастся) или поселиться до конца учебного года (т.е. до конца июня) в Старом Крыму. Поэтому напишите поскорей (если возможно, то сейчас же), есть ли в Старом Крыму школа-семилетка и можно ли в Старом Крыму снять комнату (с деревянным полом) — хорошую, не очень дорогую. Можно ли найти женщину, которая готовила бы? Напишите по адресу: Ялта, ул. Кирова, 9, дом творчества Литфонда, мне.

Если всё это возможно, то Валерия Владимировна с Серёжей тотчас же поедут в Старый Крым, а я приеду в первых числах мая (апрель я проведу в литфондовском доме).



Н.Н.Грин с ястребом.
Из архива Гослитмузея



Автограф Жака Круаза на французском издании книги Грина, 1962, Париж

Константину Георгиевичу Паустовскому. Прекрасному писателю и доброму человеку. Эта первая книга А.Грина, вышедшая в Зап. Европе.

С приветом Жак Круаза

Пересъёмка из архива Феодосийского Дома-музея А.С.Грина

Мне бы очень хотелось пожить и поработать именно в Старом Крыму.

Простите за то, что доставил Вам хлопоты.

Жду письма.

Привет от Валерии Владимировны и Серёжи. Всего хорошего.

Ваш К.Паустовский
Теплоход «Грузия»

P.S. Как в Старом Крыму дела с продуктами — молочными и остальными?

3 июля 1939 г.

Дорогая Нина Николаевна, — Вы, очевидно, махнули на нас рукой — совсем перестали писать.

Два месяца (апрель и май) я пробыл в Ялте. В Ялту на две недели приезжала Валерия Владимировна. Вернулись из Крыма и заболел Серёжа — заболел очень серьёзно. У него был паратиф (очень тяжёлая форма) и одновременно брюшной тиф.

Были осложнения на почки, печень и селезёнку. Болел он очень тяжело — три недели температура держалась около 40. Дня четыре назад ему сделали переливание крови (чужой) и с тех пор началось улучшение. Сейчас t° упала до нормальной, но он ещё страшно слаб, худ, очень изменился. Как только он оправится, мы увезём его в Ирпень (под Киевом) в дом отдыха писателей Украины — там говорят чудесно.

Вообще, год вышел неудачный. У Валерии Владимировны были фурункулы в обоих ушах, — полтора месяца она ничего не слышала, почти оглохла и только сейчас всё, наконец, прошло. С радостью прочли в «Правде» статью о Старом Крыме, где говорится о Петре Ивановиче. Очевидно, эта статья поможет вам в ваших «солнечных» делах.

В «Советском писателе» первый том собрания скоро пойдёт в производство. В издательстве — перемены. Малахова уже нет — он изъят. Редактировать будет, очевидно, Граник.

Мне звонил некий музейный работник, очень культурный человек (судя по телефонному разговору). Он говорил о необходимости устроить в Старом Крыме музей А.С. Я обещал ему снестись по этому поводу с Вами. Что Вы по этому поводу думаете? Напишите. Письмо это Вам передаст наш знакомый Сергей Аркадьевич Константинов. У него тяжёлый гайморит и фронтит, и мы посоветовали ему полечиться солнцем у Петра Ивановича. Выле-

чите его, пожалуйста. Сергей Аркадьевич с юных лет большой и верный поклонник А.С.

Вот видите, мы уже посылаем Вам пациентов из Москвы.

Передайте наш привет Ольге Алексеевне. Валерия Владимировна Вас целует.

*Ваш К. Паустовский
Москва*

Дорогая Нина Николаевна, — почему Вы так долго не писали нам, — мы узнавали о Вас стороной. Как сейчас здоровье Ольги Алексеевны? Секретарша в «Сов. писателе» говорила мне, что ей стало немного лучше. Как жизнь в Старом Крыму? Очень плохо, что из Москвы не принимают никаких посылок.

Я не писал Вам из-за невероятной возни (или работы) и с театрами, и с кино (я написал сценарий о Лермонтове).

В «Советском писателе» положение очень изменилось. Нет бумаги. Поэтому ЦК предложило издательству выпустить вместо собрания сочинений Александра Степановича только один том избранных вещей. Мы же решили с Граником выпустить в течение трёх лет (если положение не улучшится) три тома, — по тому в год с таким расчётом, чтобы все три тома вместе вполне заменили собрание сочинений.

Сейчас уже сдал сборник (вернее, первый том). В него из больших вещей входит «Бегущая по волнам». Размер тома — 23–24 листа.

Пятого июня он будет подписан «в набор» и в связи с этим будет возможность тотчас перевести Вам деньги.

Вот как обстоят литературные дела. Знаете ли Вы, что некий композитор Юровский пишет музыку к балету «Алые паруса»? Либретто написано неким Талановым. Заметка об этом напечатана в газете «Советское искусство». Кто такой Таланов — я не знаю. Постараюсь узнать.

7-го июня мы уезжаем в Солотчу. Это не поездка, а целая экспедиция, — придётся тащить с собой все продукты. Так что, если Вы ни за что не сердитесь на меня и напишете нам, то пишите по адресу: Солотча, Рязанской области, дом 80 (Пожалостных) — мне.

Валерия Владимировна пролежала два месяца пластом — после гриппа было осложнение на ноги и на сердце. Серёжка вырос, уже бреется. Привет от всех Ольге Алексеевне. Кланяйтесь Петру Ивановичу.

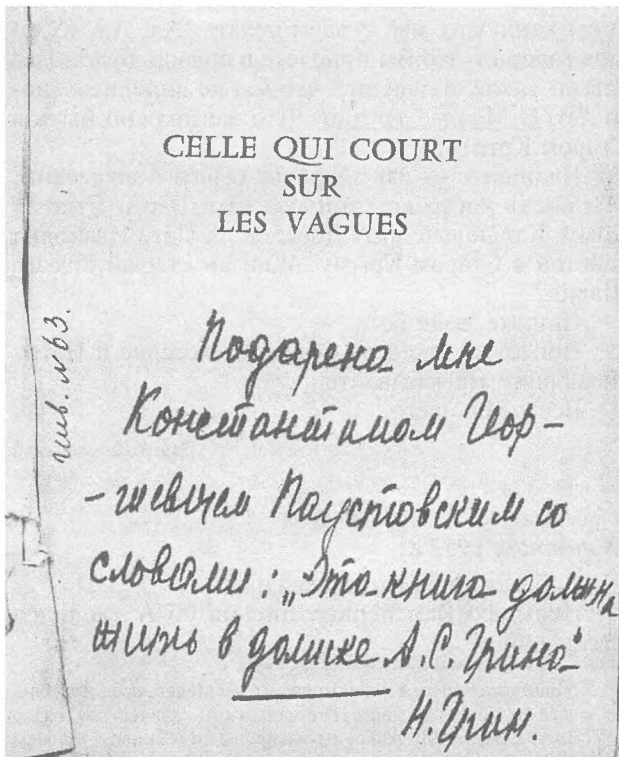
Всего хорошего.

Ваш К. Паустовский

Валерия Владимировна Вам напишет отдельно.

30 ноября 1940 г.

Дорогая Нина Николаевна, — почему Вы нам не пишете? Получили ли письма Валерии Владимировны? (Одно с карточкой Серёжки). Мы узнаём о Вашей жизни только от А.А.Кулешова.



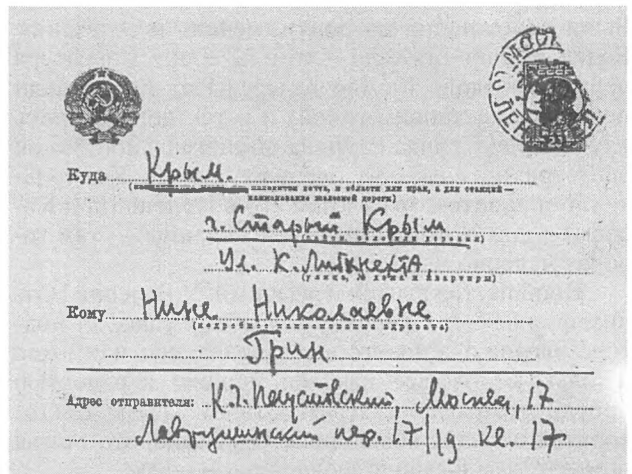
Дарственная надпись Феодосийскому Дому-музею А.С.Грина на французском издании книги
Книга подарена мне Константином Георгиевичем Паустовским со словами: «Эта книга должна жить в домике А.С.Грина»
Н.Грин
Пересъёмка из архива Феодосийского Дома-музея А.С.Грина

Я не писал в силу своего неумения писать письма. Только недавно я вернулся из Солотчи — жил там в октябре совершенно один (с Фунтиком). Много работал.

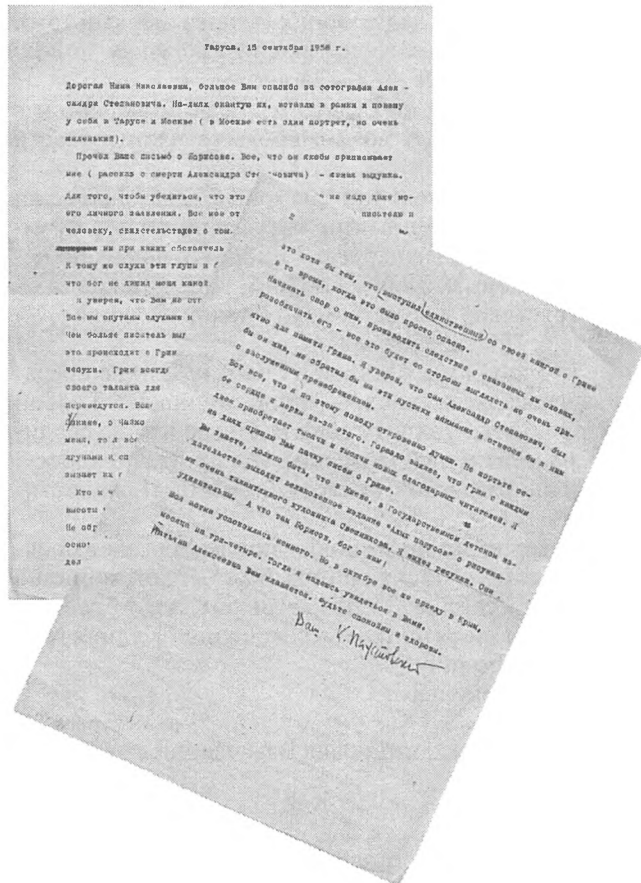
Прежде всего о литературных делах. В Детиздате наконец-то вышел сборник рассказов Александра Степановича. Он ещё не поступил в продажу (есть пока «сигнальные» экземпляры). На днях я их получу. Я книги ещё не видел, но Эйхлер говорит, что она издана прекрасно. Как только весь тираж будет отпечатан (на этих днях), Вам тотчас пошлют в Старый Крым авторские экземпляры. Второе — в «Советском писателе» первый том (22 листа) уже пошёл в производство. К весне должен выйти.

Третье — в Большом театре идёт подготовка к постановке балета «Алые паруса». На днях я узнаю фамилию композитора и либреттиста. Рассказывал мне об этом один из руководителей Большого театра т. Владимиров (режиссёр и заведующий литературной частью театра). Говорит, что музыка и всё в балете прекрасно. Мне сообщат, когда можно будет прослушать уже готовую музыку, и я напишу Вам.

У меня будут ещё встречи с Владимировым (он предлагает мне написать оперу?!) и я поговорю с ним о Ваших авторских правах в связи с постановкой балета. На днях я, по просьбе т. Серебрянского, написал короткую и чисто фактическую биографию



Конверт письма К.Г.Паустовского к Н.Н.Грин из Москвы в Старый Крым. Пересъёмка из фондов РГАЛИ



Письмо К.Г.Паустовского к Н.Н.Грин из Тарусы в Старый Крым, 15.09.1958 г. Пересъёмка из фондов РГАЛИ

А.С. для «Истории советской литературы». Не знаю, чья будет основная статья, — кажется, Земьянского.

Кроме злополучной Нестеровой... всё новые и новые чтецы (и хорошие) начинают... читать рассказы А.С.

Как видите, всё хорошо.

«Простые сердца» уже, к сожалению, не идут. В Москве вообще снято с репертуара множество пьес — результат очередной реперткомовской паники.

Когда Вы собираетесь в Москву? Нас в Москве не будет с 30 декабря по 14 января — на Серёжкины каникулы мы думаем уехать. Ал. Ал. Кулешов говорил, что Вы приедете в январе. Будем Вас ждать. Такое ощущение, что мы не виделись много лет. **В Москве трудно!** Что же должно быть в Старом Крыму?

Напишите — как здоровье Ольги Алексеевны. Мы очень часто вспоминаем её и Вас и Старый Крым. Как новый дом? Доволен ли Пётр Иванович работой в Старом Крыму? Жив ли старый брызга Шарик?

Пишите, ради бога.

Привет от нас всех Ольге Алексеевне и Петру Ивановичу. Не забывайте.

Всего хорошего.

Ваш К.Паустовский
Москва

18 февраля 1957 г.

Дорогая Нина Николаевна!

Посылаю Вам первые письма об Александре Степановиче.

¹ Приписка Валерии Владимировны: «В Москве всё есть, только всё выдаётся (продаётся) по маленьким количествам: сахар 1/2 кило, масло 100 гр., крупы-макаронны по 1/2 кило... колбасы по 400 гр., но всё есть.

Если вдвоём поохотиться, то можно закупить массу! За день, за 2 дня! Всё обойдётся, лишь бы деньги были, а у москвичей их нет! а где есть?!

Неужели Вы не получили карточки Серого?! Привет сердечный. Целую, Ваша Вал. Паустовская».

Когда «подыму» основной архив, то пришлю ещё.
У Вас, наверное, совсем весна. Завидуем. Я уезжаю на месяц в Дубулты — работать.
Всего Вам самого доброго. Все кланяются.

Ваш К. Паустовский

* * *

15 сентября 1958 г.

Дорогая Нина Николаевна, большое Вам спасибо за фотографии Александра Степановича. На днях окантую их, вставлю в рамки и повешу у себя в Тарусе и Москве (в Москве есть один портрет, но очень маленький).

Прочёл Ваше письмо о Борисове. Всё, что он якобы приписывает мне (рассказ о смерти Александра Степановича), — явная выдумка. Для того, чтобы убедиться, что это — дикая чепуха, не надо даже моего личного заявления. Всё моё отношение к Грину, как к писателю и человеку, свидетельствует о том, что такого рода слухи никогда и ни при каких обстоятельствах не могли исходить от меня. К тому же слухи эти глупы и безвкусны, а я всё же в тайне думаю, что бог не лишил меня какой-то толики ума и вкуса.

Я уверен, что Вам не стоит так уж сильно волноваться из-за этого. Все мы опутаны слухами и сплетнями. Это — обычный писательский удел. Чем больше писатель выделяется из своей же писательской среды, как это происходит с Грином, тем больше о нём будут болтать всякой чепухи. Грин всегда будет сверкать в своей чистоте и обаянии своего таланта для подавляющего большинства людей, а болтуны не переведутся. Помните, что говорили о Байроне, о Пушкине, о Чайковском, о каждом выдающемся человеке. Что касается меня, то я всегда считал недостойным для себя вступать в спор с лгунами и сплетниками и опровергать их. Жизнь опровергает и наказывает их сама.

Кто и что может унижить Грина? Никто и ничто! Он достиг такой высоты в сознании людей, что ничто не может повредить его памяти. Не обращайтесь внимания на Борисова. Кстати, у меня нет серьезных оснований, чтобы считать его недругом Грина.

Он мог наделать ошибок в своей книге о Грине, но он любил Грина и доказал это хотя бы тем, что единственный выступил со своей книгой о Грине в то время, когда это было просто опасно.

Начинать спор с ним, производить следствие о сказанных им словах, разоблачать его — всё это будет со стороны выглядеть не очень приятно для памяти Грина. Я уверен, что сам Александр Степанович, был бы он жив, не обратил бы на эти пустяки внимания и отнёсся бы к ним с заслуженным пренебрежением.

Вот всё, что я по этому поводу откровенно думаю. Не портите себе сердце и нервы из-за этого. Гораздо важнее, что Грин с каждым днём приобретает тысячи и тысячи новых благодарных читателей. Я на днях пришлю Вам пачку писем о Грине.

Вы знаете, должно быть, что в Киеве, в Государственном детском издательстве выходит великолепное издание «Алых парусов» с рисунками очень талантливого художника Свешникова. Я видел рисунки. Они удивительны. А что там Борисов, бог с ним!

Моя астма успокоилась немного. Но в октябре всё же приеду в Крым, месяца на три-четыре. Тогда я надеюсь увидеться с Вами.

Татьяна Алексеевна Вам кланяется. Будьте спокойны и здоровы.

*Ваш К. Паустовский
Таруса*

* * *

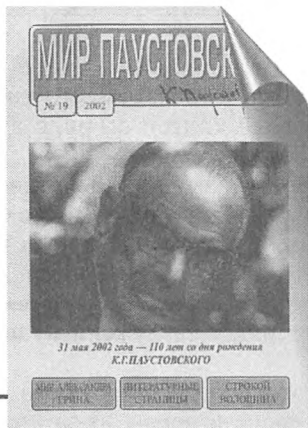
21 ноября 1961 года

Дорогая Нина Николаевна!

Сейчас я очень скверно себя чувствую и вряд ли скоро попаду в Москву. При первой возможности попрошу лично В.А. Тевекеляна, к которому Вы уже обращались с этим делом, не оставлять в покое Министерство культуры УССР.

Татьяна Алексеевна кланяется Вам, и мы вместе шлём Вам наилучшие пожелания.

*К. Паустовский
Таруса*



ИЗ ЗАБЫТОГО

Александр ГРИН

БОЛЬШИЕ ПОЖАРЫ

Глава I. Странный вечер

Делопроизводитель губернского суда Варвий Мигунов, возвратясь со службы, прошёл на кухню, чего никогда не делал, и остановился перед плитой, где старая Евфросинья, женщина мышиноного типа, с острым носиком и бойко играющими лопатками узкой, сутулой спины, прижав локти, размешивала соус с капорцами и красным перцем.

Сорок лет назад она готовила для Мигунова молочную кашу. Поэтому Мигунов нисколько не удивился, услышав:

— Вам что здесь нужно, Варвий?

Это был голос занятого человека, с оттенком досады. Евфросинья даже не обернулась. Крылатку с капюшоном, зонтик, очки и яркие щечки Варвия

МП: В 1926 году журналисту Михаилу Кольцову — в то время главному редактору «Огонька» — пришла в голову мысль создать и напечатать в своём журнале «коллективный роман», авторами которого должны были стать известные в ту пору советские писатели. Возможно, что идея такого произведения была подсказана Кольцову появлением в это время на Западе романа «Зелёные яблоки», о котором писали в советской прессе и авторами которого также оказалась целая группа писателей.

Среди двадцати пяти писателей, которых Кольцов привлёк к работе над «Большими пожарами», были: Михаил Зощенко, Алексей Толстой, Исаак Бабель, Вениамин Каверин, Вера Инбер, Леонид Леонов, А.Новиков-Прибой, Юрий Либединский, Константин Федин и другие.

Первую же главу — то есть завязку всего романа — Кольцов, проявив прекрасный вкус и знание современной литературы, доверил написать Александру Грину.

Как известно, Грин в эти годы жил в Феодосии и как всегда остро нуждался в деньгах. К тому же у него имелись в запасе несколько начатых, но не завершённых вещей. В их числе и три первых главы романа «Мотылёк медной иглы», который писатель начал два года назад.

Вот эти главы, слегка подправленные Кольцовым (он изменил имена героев), и стали началом романа «Большие пожары». Роман, благодаря Грину, начался как настоящий детектив, с присущими писателю элементами таинственными и романтическими, как например, появление трепещущих ярких бабочек в сумрачном помещении городского архива.

Стоит ещё отметить и яркое мастерство Грина, создавшего здесь интересные, вполне реалистические и индивидуальные характеры героев — журналиста Берлоги, архивариуса Варвия Мигунова и домоправительницы последнего — Евфросиньи.

Однако последующие за этой главы романа, в которые каждый писатель не только вносил близкую ему тему, но и пытался соответствовать запросам времени, разрушили романтическую и таинственную ауру гриновского текста. Так, например, Новиков-Прибой неожиданно «пристроил» к захолустному городку Златогорску, в котором разворачивается действие, порт, заполненный матросами. Бабель превратил местного миллионера в старого одесского еврея, Либединский ввёл в роман энергичных молодых рабочих, которые во главе со старым пролетарием берутся распутывать дело о пожарах, а Вера Инбер написала о пионерах и еврейской окраине.

Последнюю, заключительную главу романа, начатого Грином, взял на себя сам Кольцов. Он писал о том, что к нему в редакцию якобы обратились за разгадкой, измученные пожарами жители Златогорска. На их жалобы и вопросы Кольцов энергично отвечал:

«Вы что, газет не читаете? Вон сколько вредительских поджогов на территории СССР!»

И дальше следует его примечательный монолог:

«Продолжение событий читайте в газетах, ищите в жизни! Не спите! «Большие пожары» позади, великие — впереди.»

Пророчества Михаила Кольцова сбылись очень скоро. Уже в близкие тридцатые годы запылали пожары репрессий, в которых «сгорели» миллионы граждан страны Советов, и среди них — сам Кольцов. Этим же огнём был опалён и Александр Грин, которого в это же время не печатало ни одно издательство, обрекая писателя на нищету и болезни. Его жена и помощница Нина Николаевна Грин была брошена в северные лагеря, а потом отбывала ссылку.

А через пятнадцать лет после выхода романа «Большие пожары» запылали пожары и Великой Отечественной войны...

Галина КОРНИЛОВА

она отлично видела в безукоризненном блеске медной кастрюльной выпуклости.

— Как устроено... э... — застенчиво сказал Мигунов, — устроено тут с плитой? Как она топится? Не выпадают ли на пол угли? Вот это я хотел посмотреть.

— Угли? — спросила старуха, с неодобрением игранув своими выразительными лопатками. — А что вам угли?

— Вы живёте в своём мире, — кротко продолжал Мигунов. — Вы целиком ушли в хозяйство, кухню и тому подобное. Я не осуждаю. Но я, пользуясь вашими хлопотами, имею свободное время, в течение которого читаю газеты. А читать газеты — значит жить общественной жизнью. Вот почему мне стало известно, что сегодня ночью произошло ещё три пожара. Во-первых, сгорел только что отстроенный дом в три этажа, милая Ефросиния. Это — кое-что; во-вторых, истреблены огнем восемь товарных складов. И, в третьих, — от театра «Спартак», на Лунном бульваре, остались дымящиеся развалины. Таково действие огня. Я мнителен, Ефросиния. Сознаю, это мой недостаток. И я зашел посмотреть — зашел мысленно представить, не выпадают ли из плиты угли, и, если выпадают, то не могут ли они произвести пожар. Вот и все. Я совсем не хотел вмешиваться в ваши дела.

— Бывает, что угли и выпадают, — сказала, смирясь, старушка, — но как вы знаете, — здесь каменный пол. С этой стороны вам нечего бояться, Варвий.

— Я тоже думаю, — подхватил Мигунов, — и я очень вам благодарен, что пол... гм... каменный. Я хотел только взглянуть, на всякий случай, конечно, — так, ради... не знаю ради чего, — нет ли среди каменных плит пола какой-нибудь щели... гм... обнаженности, так сказать, деревянных частей...

Здесь незамужнее сердце Ефросиньи перебило Мигунова со строгостью самого революционного закона, которому он служил:

— Вы удивительно неприличны сегодня, Варвий! Что вы хотите сказать этими словесными выкрутасами?

— Какими выкрутасами?

— Можно притворяться, что не понимаешь, но вам любой ответит, что слово, которое вы употребили в отношении деревянных частей, — слово неприличное, ужасно грубое слово.

— Я ошибся, — встрепенулся Мигунов. — Я хотел сказать: — не попадет ли уголь на дерево. Кроме того, — продолжал он, со страхом наблюдая усиленную деятельность лопаток, но решаясь уже выговорить все сразу: — Когда вы ходите со свечой в кладовую, не грозит ли опасность с этой стороны, в виде могущей вспыхнуть паутины, бумаги и подобных вещей, легко охватываемых пламенем? Быть может, какой-нибудь предохранитель...

Неизвестно, что подумала при последнем слове старая кухонная фея, но она фыркнула. Мы не хотим сказать этим ничего плохого о её нравственности. Она фыркнула от презрения к умственным способностям Варвия Мигунова.

— Так вы думаете, что это случайность? — спросила она, оборачиваясь к Мигунову с раскрасневшимся от огня, язвительно играющим лицом. Тут она заглянула в ложку, которой мешала соус, и вкусно облизала её. — Я не читаю газет, но мне кошка на хвосте приносит. И ворона. Да-с! Они тоже живут «общ-ще-ст-т-венной жизнью». Златогорск горит две недели. В городе сгорело восемнадцать зданий. А вы твердите о какой-то неосторожности! — Ефросиния обвела взглядом кухню, точно следя, не летает ли где эта смехотворная неосторожность. — Я говорю, что не вижу неосторожности! Я вижу злодеяние. Упорное, систематическое злодеяние черных злодеев! Ваша обязанность, как судьбы — схватить и казнить этих злодеев немедленно, иначе вы тоже преступник!

Хотя Мигунов был только делопроизводитель или, вернее, архивариус, Ефросиния не сомневалась, что служить в здании Златогорского суда значит быть судьей.

— Преступник? — вскричал Варвий. — Повторите это ещё раз, прошу вас! Но, — прибавил он поспешно, так как старуха из упорства могла повторить что угодно, сколько угодно раз, — известно ли вам?..

— Схватить и казнить, — перебила старушка, энергично поджимая губы. — Не давая пощады! Немедленно!

— ...известно ли вам? — сказал Мигунов, воровски вкладывая эти слова в перерыв дыхания Ефросинии, но его остановил, остановив также боевое движение острых лопаток Ефросинии, громкий, как град, звонок.

Колоколец, висевший у чёрной двери на лестницу, затрепетал с силой необычайной; Ефросиния открыла дверь, и в кухню вошёл человек с портфелем, худой, в чёрной огромной кепке и обвисшем пальто, коричневом с синей клеткой. Он был рыж, веснушчат и нервен. В его движениях не было ничего положительного. Он не вошёл, а как бы быстро свернулся боком, перевернувшись на месте, и стал без нужды рыться в карманах пальто, заторопился, зазавался, уронив кепку.

— Дождь, — быстро проговорил он голосом сморкающегося, — противный дождь. Добрый вечер, талантливая и суровая Ефросинья! Здравствуй, Варвий! Хотя я долго звонил с улицы и мог бы уже давно поздороваться с вами.

— Прости, Берлога, — сказал Варвий, беря от старого друга шляпу и портфель, — но я только что вернулся со службы и имел хозяйственный разговор. Ты кстати, так как сейчас подадут ужин.

— Я не хочу есть, — сказал Берлога. — Мы — газетная хроника — обедаем только в моменты добродетельного состояния общества. Убийство, растрата, хулиганство — мгновенно вырывают ложку из наших рук. Мы не доели ещё и одной тарелки со времен Каина! Теперь — эти пожары или, как будет правильнее назвать их, — поджоги. Варвий, дай материал...

— Он должен поужинать, — решительно вступилась Ефросиния, разрезая своим чепцом пространство меж Мигуновым и Берлогой. Потрудитесь поужинать с нами.

— Варвий, — нетерпеливо продолжал Берлога, рассеянно взглянув на экономку и бессознательно отстраняя её, — я скажу кратко, так как спешу. Старожилы сообщили нам в редакцию, что двадцать лет назад, в, так сказать, мрачные времена царизма, Златогорск пережил подобную же серию пожаров, и поручил мне открыть это для трудящихся читателей. Статья должна стать одной ногой в прошлое, другой — в развалины театра «Спартак». Работать я буду ночью. Дай материал, — процесс, дело, документы. Ведь у тебя сохранились старые архивы здешнего суда?

— Хорошо, — начал с задумчивостью Мигунов, смотря в пар кипящего соуса, — но... Хотя я могу поехать с тобой сейчас. Однако, если ты имеешь час времени, мы могли бы поужинать. Это необходимо, и в этом доме никакое самое ужасное событие не вырвет у тебя ложку из рук.

— Нет, — с гневом подтвердила старуха. — Нет, пока я жива!

Берлога взглянул на часы.

— Хорошо, — сказал он скрепя сердце. — Я устал. Правда, я хочу есть.

Съев очень немного и ежеминутно порываясь уйти, чем кровно оскорбил Ефросинию, смотревшую на него с жадной похвалой. Берлога увлѣк, наконец, как ветер бумажку, пищеварительно настроенного Мигунова к выходу и нанял в виде редкого исключения извозчика. Отъехав несколько, извозчик направился было ближайшим путем, но Берлога вдруг сказал:

— Стой! Узнаешь ты прежний пустырь?

Хотя Мигунов следовал от дома к архиву и обратно единственным, раз навсегда определенным путем, почему город был ему знаком односторонне, но он счел нужным покачать головой.

— Да, совершенно не узнать пустыря, — сказал Мигунов, — строительство советское развивается.

— О, краткое существо! — вскричал Берлога: — знаешь ли ты, что такое эта машина?

Действительно, постройку можно было определить словом «машина». Она напоминала белый застывший нарыв чудовишного снаряда, поднявшего на воде взлет пены выше высоких мачт. Между тем, дома, прилегающие к этой постройке, были плоски, как кирпичи. Ночь мешала рассмотреть здание. Кое-где остались ещё леса, но так мало, что, по-видимому, в доме со дня на день должна была зазвучать жизнь.

— Что это? — спросил Мигунов. — Не музей ли это? А, может быть, клуб?

— Просто чудовишный особняк, — ответил Берлога. — Коммунальному хозяйству были бы не по средствам такие причуды. Довольно сказать, что дом выстроен в два с половиной месяца. Вчера доставлены тысяча пятьсот ящиков с предметами обстановки, выписанной из Парижа и Лондона. Рабочих рук занято было две тысячи. Все, как видишь, почти окончено. За одни чертежи уплачено архитектору двести пятьдесят тысяч — он специально приехал в Златогорск. Внутри никого не пускают, но

ходят слухи, что недра дома достойны вздоха. — Где же ты был, Мигунов?

— Ты знаешь, что я живу уединенно и не интересуюсь чужими делами.

— Уединенно! — сказал Берлога, давая знак извозчику ехать далее. — Это все равно, что к твоему дому подъехал бы автомобиль, а ты не услышал бы его грохота. Ещё более удивлю тебя. Дом строит частное лицо. Хозяин дома — некто Струк, поляк, старик, ему восемьдесят пять лет. Он концессионер. Концессии в Закавказье, здесь, затем на Алтае и ещё какой-то клочок за полярным кругом. Он приезжий и, как говорят, нищий.

— Нищий? Как это понять?

— Нищий, потому что он за границей мгновенно выиграл огромное состояние, начав с медяков. Но он был нищим. Следовательно, его богатство случайно, и его душа — душа нищего.

— У тебя был с ним разговор?

— Нет. Его история развернулась так быстро, что я среди других дел ещё не имел возможности гоняться за Струком. Сегодня узнал я, что он приехал. Мне заказана беседа с ним для газеты «Красное Златогорье». Я советую тебе поехать со мной, посмотреть на это чудовище. Я выдам тебя хотя бы за фотографа. Кстати, ты увлекаешься фотографией. Восьмидесятилетний старик — в некотором роде архивная редкость.

— Что же, — сказал Мигунов, — раз я в твоей власти, вези, куда хочешь.

В это время мрачное здание суда показалось на набережной. Возле ворот маленькая дверь, ключ от которой делопроизводитель всегда носил при себе, вела в царство Мигунова. Приятели, отпустив извозчика, прошли по озаренному коридору в дальний конец здания, под низкий потолок, к пыльной неподвижности старых шкафов красного дерева, окутанной безлюдной тишиной, скрывающей от мира память его дел.

Мигунов остановился около конторки с реестрами и, взяв от Берлоги справку, принялся хлопать томами. Тень переворачиваемых листов металась по помещению. Репортер, сцепив на спине руки, бродил около шкафов, заглядывая в их бумажные толщи.

Вдруг увидел он жёлтую бабочку, приняв её сначала за моль. Она порхала среди шкафов, иногда так приближаясь к Берлоге, что он сделал попытку её схватить.

— Эй! — вскричал он, — смотри, кто летает у тебя по архиву!

Мигунов обернулся в то время, как бабочка начала кружиться около его лампы и, потому, увидел её не сразу.

— Бабочка? — спросил он с недоумением.

— Ну да! Хватай её. Вот она! Там! — Берлога бросился к лампе.

Теперь увидел насекомое и Мигунов. Бабочка была резкого жёлтого цвета, с синей каймой, и бархатиста, как те тропические создания, которые мы видим в музеях. Лениво трепеща крыльями, она ка-

залась странным цветком, получившим таинственное движение.

— Никогда не видел таких! — кричал Берлога, хлопая шляпой по воздуху в то время, как Мигунов старался ударить насекомое папкой. Но бабочка прошла невредимо между их рук и, поднявшись выше, запорхала под потолком, куда ещё раз швырнул шляпой восхищённый Берлога. Приятели бежали вокруг шкафов, заглянули в самые отдалённые углы архива, но более не увидели пламенной сильфиды: она исчезла. Села ли она и замерла где-нибудь наверху шкафа или забилась в щель — установить не удалось.

— Она вылетела! — сказал Мигунов. — Видишь, это окно открыто. Но зачем тебе бабочка? Пусть летит.

— Зачем? — повторил Берлога. — Не знаю; только мне смертельно хотелось её поймать. Это было так красиво в твоём склепе. Нашёл ты дело, о котором я просил?

— Здесь ничего не теряется, — ответил Мигунов с забавной сухостью специалиста, самолюбие которого задето пустым вопросом. — Вот документы. Шкаф шестой, полка вторая, дело 1057. Но...

Он протянул ключ к шкафу и остановился.

— Что случилось, Мигунов?

— Берлога, странное чувство останавливает меня. Действительно ли тебе нужны эти бумаги?

— Однако?!..

— Мне кажется, что лучше бы их не трогать.

— Но почему?

— А чорт меня знает, откровенно скажу тебе! Что-то останавливает меня.

— Соус, — возразил, смеясь, Берлога. — Большое количество соуса. Однообразное питание, и отсюда консерватизм. Архивная душа! Оставь свою мистику и подавай бумаги.

— Вот они. — Мигунов, перепластав часть слежавшихся кип, извлёк рыжую по краям от ветхости синюю папку... — Спрячь, не потеряй... но... да, это чувство не оставляет меня. Мы кладём начало странному делу...

— Начало или конец — всё равно мне, — сказал Берлога, — но знаешь, хорошо иногда сказать так, как сказал ты сейчас, — в неурочное время, в потаённом месте. Идём!

Берлога вложил папку в портфель: тем временем Мигунов запер шкаф. Сделав это, старик направился к раскрытому с решёткой окну и повернул скобу.

— Окно должно быть закрыто, — сказал он.

— Верно, — ответил Берлога. — Будь сам собой до конца. Порядок прежде всего.

— Если хочешь, я опять открою его, — обидчиво заметил Мигунов, — хотя мне кажется, что так лучше. Однако, идём.

Он потушил электричество, кроме лампы в коридоре. Пройдя коридор, он потушил и этот огонь. Затем тщательно запер входную дверь.

Приятели удалились. Архив погрузился в оцепенение. Некоторое время тишина и тьма стояли здесь, в дружном объятии.

И вдруг огонь, озарив низы шкафов, стал сначала медленно, а потом всё быстрее расплываться в кипах газет, начал дымить, как печная труба. Пламя, перелистывая бумагу, поползло вверх и забушевало ненасытным костром...

Александр ГРИН

ИЗБРАННЫЕ РАССКАЗЫ

Дача Большого озера

I

Всю дорогу от вокзала до Бурунчей Оссовский находился в состоянии крайнего угнетения. Знакомые когда-то места, покинутые несколько лет тому назад и теперь снова развёртывавшие перед ним свой грустный пейзаж, сильно изменились за это время, застроились, раскинули к реке и лесу новые улицы, ещё полные не убранных щеп и кирпичей от наскоро возведённых построек. Здесь так же, как и в его постаревшей, истрёпанной душе, хозяйничало время, тщательно разрушая мелкие, милые подробности прошлого — старые домики, нелепо выкрашенные заборы, покосившиеся фонари, — всё, что сразу охватывает человека трепетом забытых волнений, нежностью к

прошлому и безнадёжным, мучительным желанием помолодеть на несколько лет.

Оссовский смотрел по сторонам, медленно разбираясь в воспоминаниях. Мелькнула гостиница, где ночевал он, приезжая на свидания к невесте, ставшей впоследствии его женой и умершей два года назад. Зелёные косогоры, переулки чудом сохранившие прежнюю физиономию, казалось, всматривались в усталое лицо приезжего, сиюсь узнать в нём кого-то прежнего, моложе и пободрее.

МП: Александр Степанович Грин прожил пятьдесят с небольшим лет. За 25 лет писательской работы (а Грин начал литературный путь в 1906 году, когда в Москве опубликовал свой первый рассказ) он создал более че-

тырёхсот произведений. Ниже публикуется рассказ А.С.Грина «Дача Большого озера», который впервые был напечатан в журнале «Новое слово» (1909, № 11) и крайне редко переиздавался.

О.САЙКИН



Заказников Владимир. Море
Пересъёмка из архива Феодосийского Дома-музея А.С.Грина

Экипаж выехал к озеру, скрытому разноцветным узором дач, и Оссовский остановил извозчика у большого затейливого особняка. Пожилой дворник, дремавший на лавочке, снял шапку и флегматично устался на чемодан Оссовского. Приезжий спросил:

— Барыня дома?

— Дома-с, — не сразу ответил дворник, тупо разглядывая господина, стоявшего перед ним. — А вы кто будете?

— Вот моя карточка, — сказал Оссовский. — И скажите, что я от Михаила Степаныча.

Оссовский разделся, прошёл в гостиную и сел к столу, рассеянно потирая руки.

Дорога сильно утомила его, а две бессонные ночи совсем расшатали нервы и без того достаточно издёрганные в последнее время. Согнувшись и опустив голову, Оссовский равнодушно ждал появления хозяйки, заранее решив не пускаться в длинные разговоры, а ограничиться необходимыми любезностями и затем, выбрав удобную минуту, получить разрешение удалиться к себе в комнату, которую, без сомнения, ему отведут здесь.

Так просидел он несколько минут, наслаждаясь тишиной сумерек, пока лёгкий шум не заставил его вздрогнуть и подняться навстречу тоненькой женщине, остановившейся на пороге гостиной. Помедлив, она подошла ближе, но и теперь было трудно рассмотреть её лицо, смутно белевшее в полутьме. Оссовский поклонился, пожал маленькую руку протянутую ему, и услышал:

— Елизавета Сергеевна Изнар... Только я вас совсем не вижу, горничная, по обыкновению, не догадалась зажечь огня.

— Ну что же, — шутливо сказал Оссовский, — может быть, при полном-то освещении я и потеряю в ваших глазах.

— Нет, не потеряете, — возразила молодая женщина. — Я знаю вас... слегка, по рассказам мужа... Скажу, чтобы зажгли лампу.

Елизавета Сергеевна была среднего роста, блондинка, с мягкими чертами лица и рассеянным, за-

тенчивым выражением глаз, постоянно и как будто нечаянно переходивших с предмета на предмет. Маленький детский рот, беспечный и розовый, не уменьшал, а, наоборот, подчёркивал общую сосредоточенность её лица, и казалось, что при улыбке никогда не засмеются глаза этой женщины. Густые, плотно собранные волосы касались изгиба шеи. Одета она была в серое шерстяное платье, очень простое, без отделки и кружев.

А перед ней сидел сильно загорелый человек, с проседью в совершенно чёрных коротко остриженных волосах, с тяжёлым и неподвижным взглядом. Дорожную сумку он забыл снять, и её жёлтый ремень тускло блестел на сукне синей австрийской куртки.

Когда горничная удалась, Оссовский стряхнул утомление и начал рассказывать. Говорил он тихо, часто останавливаясь и задумываясь.

— ...а проживу я здесь недолго, недели две... Ещё месяц назад, в Константинополе, услышав подлинный московский язык, я подумал: а в самом деле? Но воспоминания были ещё довольно свежи, и, если бы не расстройство заводских дел, я, пожалуй, ещё не скоро бы приехал в Россию. Скрепя сердце собрался и, кажется, рад теперь. Почему? Со смертью Наташи, казалось, для меня умерло всё... Но как плохо знаешь себя в подобных случаях... Я, буржуа, превратившийся в бродягу, оказывается, бессознательно страдал, разъезжая везде, куда только можно попасть, имея деньги в кармане и желание рассеяться до пресыщения. Там я как-то ещё сильнее чувствовал своё одиночество.

Он сморщился и умолк, смотря в сторону, слегка раздражённый тем, что рассказывает о своих душевных переживаниях чужому и, вероятно, счастливому человеку.

— Значит вы много ездили?

— Я? Много, очень много.

— Были... в Америке?

— Был и в Америке, — улыбнулся Оссовский. — А это вам кажется самой страшной далью?

— О, нет, — смутилась хозяйка, — но я... нигде не была и... А почему я спросила про Америку... вероятно, потому, что это уже всё-таки серьёзное путешествие, не то что Швейцария или Ницца. А в Египте?

— И в Египте, и в Индии был, даже кусочек Тибета видел, — задумчиво сказал Оссовский. — Всё это страшно интересно... было бы... в другое время.

Последние слова он прибавил кстати, потому что фраза «Какой вы счастливый» чуть-чуть не сорвалась с губ молодой женщины. Она вздохнула, испытывая смутную тяжесть от сознания чужого, но понятного ей горя, и произнесла:

— Извините, если я, может быть, нечаянно причинила вам боль своими расспросами.

— Ничего подобного, — добродушно возразил Оссовский. — Ведь я же сам рассказал.

— Всё-таки. А скажите — что Миша? Скоро кончится его работа в комиссии? Вы ведь говорили сегодня с ним... С тех пор, как он сделался инженером, мы значительно реже бываем вместе... я его, например, вот уже четвёртый день жду... да... так он вам ничего не говорил?

— Нет, — протянул Оссовский, пристально смотря в глаза Елизаветы Сергеевны. — Много он работает?

— Даже чересчур много. И когда приезжает сюда — он такой бледный, измученный... смотреть больно.

Оссовский медлил, припоминая подробности сегодняшней встречи с приятелем. Предчувствие необходимой лжи раздражало его, заставляя быть осторожным, чтобы не попасть впросак. Конечно, инженер работает, иначе он не мог бы так бешено тратить деньги, как тратил их сегодня, в его присутствии. Вся эта обстановка затянувшегося кутежа и прозрачные намёки на необходимость ехать куда-то, в какое-то место, добиваться какого-то давно обещанного блаженства, — кое-что уяснили Оссовскому в словах молодой женщины, и он, почти уже зная, как держаться дальше, сказал:

— Нет, нет. Как я вам уже говорил, я не думал один ехать сюда, а намеревался подождать Михаила. Но гостиница как-то слишком совала мне в глаза моё скитальческое положение... потом этот вечный грохот мостовых... Захотелось тишины, семейной обстановки, так что я, не долго думая, махнул сюда, не повидавшись с ним более.

Он не лгал. Действительно, потеряв надежду на скорое вытрезвление инженера, Оссовский бросил только что снятый дорогой номер и уехал из города с глубоким убеждением, что легкомысленное время препровождение Михаила не составляет тайны для его жены. Впрочем Михаил, очевидно, конфузился сам себя, когда говорил Оссовскому: — Друг! Валер! Разве она рассердится? Приду, поцелую руку, потуплюсь, вздохну и скажу: — «Лизочка! Прости меня!»... — И всё кончено! Всё кончено, дорогой мой!..

— Во всяком случае, — продолжал Оссовский, с неприятным для самого себя чувством уловив лёгкую тень в глазах хозяйки, — я вынес такое впечатление... что ему осталось немного... совсем немного.

— Я буду рада этому, — сказала Елизавета Сергеевна, и лёгкий румянец выступил на её щеках. — Пойдёмте-ка, я вас угощу чаем. Сумка вам не мешает?

— Пожалуй, — улыбнулся Оссовский: — но я стал странно рассеян. Благодарю вас.

Он снял сумку и машинально положил её на кресло, с которого встал. Потом прошёл за хозяйкой в ярко освещённую столовую, чувствуя себя спокойно и просто с этой наивной, милой женщиной, чем-то напоминавшей его недавно умершую жену. Кажется, их сближал в его представлении голос, певучий и выразительный.

Чай, обильная закуска и графин с коньяком придали разговору большее оживление. Оссовский рассказал несколько дорожных приключений, смеясь сам, если они были смешны, и с трогательным уважением к простоте нравов обрисовал жизнь некоторых племён Северной Африки. Елизавета Сергеевна задумчиво слушала, иногда переспрашивая и увлекаясь, если дело касалось рискованного положения или интересного эпизода.

Часы медленно и звонко пробили одиннадцать.

— Извиняюсь, — сказал Оссовский, — но если бы вы знали, как я устал за последние дни...

— Я понимаю, — кивнула Елизавета Сергеевна, — вам спать хочется... как жаль всё-таки, что Миша запоздал. Я думала, что он успеет приехать, пока мы сидим здесь, и поговорить с ним.

— Как? — удивился Оссовский. — Вы думаете...

— Конечно... Он приедет сегодня, непременно.

Странно, что он вам не сказал этого.

— Сегодня? — повторил Оссовский, невольно делая ударение на этом слове.

Настойчивая уверенность, звучавшая в голосе хозяйки, заставила бы усомниться его, но он, к сожалению, слишком хорошо знал положение дела. Молчать было приличнее, чем поддерживать разговор на эту тему, продолжая добровольно взятый на себя обман. Оссовский молчал.

— Вам-то я скажу, в чём дело... — запнулась Елизавета Сергеевна, — он... он знает, что сегодня... восемнадцатое июля.

— 18 июля? — переспросил Оссовский. — Разве он знал, что я приеду 18 июля?

— Нет, — продолжала, смеясь, молодая женщина, — это... как бы вам сказать... видите ли... это наше маленькое торжество... годовщина, понимаете? Нет?.. В этот день мы стали близкими... Вот... Ну, как же он не приедет?..

— Ну, конечно, — пробормотал Оссовский, усиленно смеясь, — в самом деле... да, это хорошо. Как жаль всё-таки, что... я так устал, знаете, так устал... Усну, как мёртвый.

Радость, блеснувшая в глазах Елизаветы Сергеевны при мысли, что её милый, может быть, уже подъезжает к вокзалу, наполнила сердце одинокого человека лёгкой завистью и неясным укором. Чувствуя, что начинает расстраиваться, он встал и раскланялся, охваченный глубокою жалостью к маленькому существу, стоявшему перед ним.

Ещё несколько слов, звонок, и явилась горничная — указать Оссовскому его комнату.

II

Приезжий остался вполне доволен осмотром своего нового помещения.

Он разделся, потушил огонь и вытянулся во весь рост, чувствуя, как непобедимый сон охватывает сладко занывшее тело. Папироса медленно потухла в его руке, он бросил её, повернулся на бок и уснул.

...И вдруг маленький, чумазый оборванец, вынырнувший внезапно из залитого солнцем переулка,

наполнил Осовского тихой радостью, смешанной с опасением, что близость сна исчезает.

Стараясь не думать, он покорно следил за мальчуганом, виденным им, без сомнения, в каком-нибудь южном городе. Мальчик с угрозами, обливаясь потом, тащил на верёвке собаку, животное прыгало, стараясь вырваться, упиралось, поджимая хвост, но мучитель не уступал. Его босые, грязные пятки сверкали на солнце, бронзовое личико свирепо морщилось; оба выбивались из сил.

...Длинные, гоночные лодки; на берегу цветник шляп... Гребцы в полосатых тельниках сгибаются и разгибаются, взмахивая вёслами, глухо шумит вода...

...Столик с лекарствами. Синие, жёлтые и белые пузырьки... Тяжёлый больничный запах. Знакомая головка с плотно закрытым ртом, одеяло свесилось на пол; маленькая, исхудавшая рука, которую он столько раз целовал, бессильно вытянулась, прозрачная и жалкая...

Осовский вздрогнул, проснулся и тяжело задышал, прикладывая руку к сердцу. Перебой продолжался; настоящая, отвратительная бессонница, тоскливая и неизбежная, царила у кровати, пугая душу наплывом томительных, одиноких дум.

— Разве капель выпить? — сказал Осовский, вытирая вспотевший лоб. — Всё-таки шанс, и им не надо пренебрегать.

Осмотревшись, он вспомнил, что дорожная сумка, в которой находилось лекарство, оставлена им не здесь, но где — припомнить не мог, и это привело его в раздражение, отнимая последнюю надежду уснуть.

Осовский торопливо оделся, задул лампу и остановился в нерешительности: идти через выходную дверь ему не хотелось — надо будить прислугу, а шум мог обеспокоить хозяйку. Недолго думая, он занёс ногу на подоконник, прыгнул в сад и, стараясь не трещать сучьями, выбрался из кустов к маленькой деревянной беседке, приютившейся среди акаций и клумб.

Он обогнул сад, намереваясь присесть где-нибудь, но, выйдя к террасе, замедлил шаги и остановился. Ему послышался лёгкий, неясный шум.

Осовский осмотрелся. Казалось, там никого не было, мрак окутывал дачу, сонная тишина царила кругом. Терраса смутно белела перед ним складками парусины; он пошёл снова крупными, ясно раздающимися шагами, и вдруг тихий, напряжённый вопрос, упавший в глубокое молчание, приковал его к месту:

— Это ты, милый?..

Осовский вздрогнул, поражённый силой тоски и ожидания, звучавшей в голосе женщины. Он замер, не двигаясь, смутно уве-

ренный, что темнота скрывает его. Вопрос, казалось, ещё звенел в воздухе, ища и не находя ответа. Осовский постоял с минуту и затем тихо, на цыпочках подкрался к опущенной парусине террасы; казалось ему, что его взгляд проникает за её складки, к неподвижно сидящей женщине, к её широко открытым, напряжённым глазам... Прошла ещё минута, другая, и Осовский скорее почувствовал, чем услышал, что там кто-то тихо плачет.

Он удалился так же осторожно, как подошёл, взволнованный и смущённый, охваченный состраданием и размышлением. Собственная его жизнь ярко вспорхнула перед ним; слова, подслушанные неволью, звучали в ушах, как обращённые к нему, эти трепетные слова, которым радовался и он, — когда-то, давно...

Осовский пробрался к окну своей комнаты и несколько мгновений смотрел в темноту, соображая и взвешивая мысль, неволью пришедшую в голову. Потом слабо, но решительно улыбнулся, зная, что всё равно не уснёт. К тому же эта женщина, что сидит там... И жить здесь было бы достаточно тяжело.

Он встряхнул головой, как бы утверждаясь этим жестом в своём решении, поднялся на подоконник, отыскал, не зажигая огня, часы, сунул их в карман, удостоверился, что бумажник при нём; затем снова выпрыгнул в сад, притворил окно и, медленно подвигаясь вдоль изгороди, нащупал калитку. Задвижка бесшумно уступила его осторожному усилию, он запер калитку и вышел на улицу.

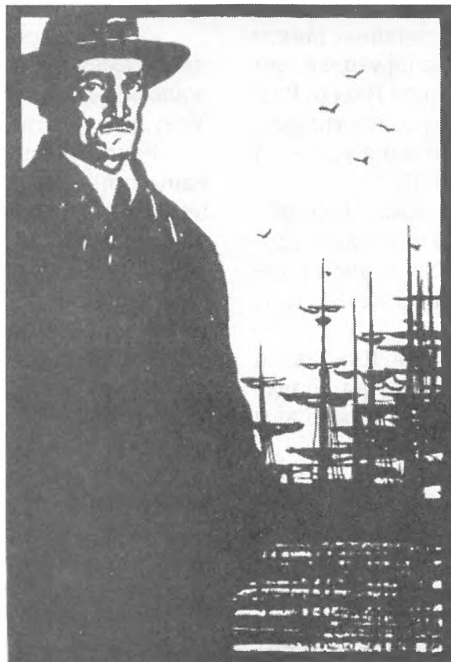
III

Ярко освещённый, пустой вокзал ожидал поезда. Осовский заглянул в расписание и прошёл на платформу с довольным лицом: ждать оставалось всего четыре минуты. Ему везло, если можно назвать счастьем обстоятельства, помогающие не спать.

Перед станцией в полутьме двигалось несколько пассажиров; они то садились, то снова принимались ходить, таская с собой пакеты, узлы, картонки. Чемодан, забытый Осовским, вспомнился ему; он решил, что пойдёт за ним после, перед отъездом.

Поезд резко дохнул ему в лицо стремительным движением воздуха, облако горячего пара хлынуло в глаза, мелькнули отполированные, массивные поршни, грязное лицо машиниста, окна вагонов, движущихся всё медленнее и медленнее. Поезд трясся, удержанный тормозами, и стал.

Осовский вскочил на площадку вагона и перевёл дух. Острый холод испуга ещё теснился в груди, руки слегка дрожали.



А.Грин.
Рисунок художника Б.Маркевича

«Ещё успею»... — подумал он, улыбаясь собственному мальчишеству. Ему вспомнились рассказы про африканских охотников и знаменитого Беккера, учававшегося не сходить с рельс, пока расстояние между поездом и им не уменьшилось до четырёх шагов. После этой практики Беккер стал охотиться на слонов. «Чепуха, — сказал Оссовский, — страх непреодолим даже при твёрдой решимости умереть».

Опять коротенькое слово «успею...» вернуло его мысли в тёмную область прошлого. Он не сопротивлялся, усилия были бы слишком мучительны. Снова оцепенение завладело им; грустная покорность, с которой он отдавался тоске, нежила его болезненной лаской воспоминания... Хлопали двери, стучали колёса, дребезжали стёкла; свечи в фонарях мигали и вздрагивали. Против Оссовского, в уголку вагона, свернувшись калачиком и похрапывая, спал молодой финн. Оссовский посмотрел на него с завистью: румяные щёки юноши обеспечивали счастливцу богатырский сон до самого города.

Приехав, Оссовский немедленно разыскал клуб.

Его провели в отдельный, стильно убранный кабинет, и это неожиданное появление вызвало целую бурю восклицаний, рукопожатий, громкого смеха. Инженер заключил его в объятия; две молодые, слишком нарядные женщины выжидательно смотрели на них, тихо разговаривая между собой. Мелькали выхолненные усы, возбуждённые лица, блестящие глаза. Здесь было весело.

— Почему поздно? Почему поздно? — приставал Михаил. — В первый же день надуть, а? Друг мой, святая душа на костылях, а? Ну, как же тебе не стыдно? Пристыдите его, господа... у-у, ты!

Инженер был сильно навеселе. Его бледное лицо вспотело и зарумянилось, тёмные глаза шурились, вспыхивая беглым, беспечным огнём, галстук и волосы растрепались. Оссовский сдержанно улыбался, смущаясь, как всегда, в компании незнакомых людей.

Михаил продолжал упрекать его, и Оссовский сказал:

— Не ругайся, а представь себе, что, завалившись спать у себя в номере, я проснулся только к двенадцати. Надо было умыться, выпить кофе... Я бы не пришёл даже, если бы не дело...

— Дело?! — сказал инженер. — Врёшь ведь! Ну — дело ли, безделье ли — всё равно!

— Ты послушай, — продолжал Оссовский, понижая голос и стараясь придать своему лицу игривое, загадочное выражение, — я тебе скажу вот что...

Он сладко улыбнулся и закончил, краснея:

— Не можешь ли ты написать письмо... под мою диктовку?

Инженер щёлкнул языком и сделал большие глаза.

— Как это? — переспросил он. — Письмо? Зачем письмо...

— Ну да, простое письмо. Будь другом, сделаем это сейчас. Выйдем в свободную комнату... Хорошо?

— Я, конечно, согласен, — протянул Михаил, рассматривая Оссовского, — но ты...

— Всё объясню, пойдём.

Инженер повернулся к столу и сказал дурашливым голосом:

— Мужчины и дамы!.. Друг моего детства, миллионер и заводчик, покровитель наук и искусств Валерьян Филиппович Оссовский требует мою душу для нескольких минут уединённого покаяния!.. Простите великодушно!..

— Прощены! — гаркнул осанистый брнет, разглаживая бакенбарды. — Идите и не грешите!..

— А я приревную вас к мосье Оссовскому, — сказала высокая женщина с молодым лицом и усталыми, большими глазами.

— К счастью, — улыбнулся Оссовский, — вы не успеете. Мы скоро.

Он вышел за инженером в пустой, ярко освещённый коридор. Михаил заглянул в бильярдную — там никого не было. Над ровной, зелёной поверхностью сукна мягко горели висячие электрические розетки.

— Можно здесь, — сказал инженер, присаживаясь к мраморному, мозаичному столику. — А чернила?

— Вот тебе карандаш и листок из записной книжки. Пиши. Да... я обещал рассказать... ну, это что же... Лицо, к которому ты будешь писать... женщина.

— Валер! — простонал восхищённый Михаил. — Так ты... ты разрешил себе?

— Что делать? — мягко улыбнулся Оссовский. — Я живой человек...

— Верно! Но как ты...

— Имей кроху терпения... Есть причины, видишь ли, вследствие которых я не желаю, чтобы у... неё были доказательства. Понял? Больше я ничего тебе не скажу... пока.

— Всё равно, я уже заинтересован... Говори же — что и как?

— Прежде всего, — сказал Оссовский, подумав и потирая сморщенный лоб, — напиши следующее:

«Дорогая, милая... бесконечно любимая дочка»...

— Очень хорошо! — одобрил инженер, бегая карандашом по бумаге. — Я как будто вижу её: маленькое, плутовское создание, и в глазах тысяча бесенят... Я напишу тебе тысячу любовных посланий, Валер... Дальше!..

— Дальше... «Прости меня, дурака»...

Инженер рассмеялся и бойко написал: «дурака».

Дойдя до этого места, Оссовский задумался, озабоченно рассматривая фигуру приятеля, склонившуюся над столом, и решил, что если убрать слово «сегодня» — догадаться будет весьма трудно. Поэтому он сказал просто:

— «Я так и не приехал»...

— «Не при-е-хал»... — вывел Михаил и замурлыкал опереточный вальс. — А почему ты не приехал, а?

Оссовский продолжал равнодушным, отчётливым голосом:

«...а как мне хотелось быть с тобой... заглянуть в твои ясные глаза»...

— Я написал: «глазёнки»... — ничего, Валер?

— Ничего, — добродушно, отозвался Оссовский. — Далее; — «...Ведь сегодня наш праздник... и я-то знаю... как твоё маленькое сердечко дожидалось этого дня»...

Здесь Оссовский значительно рисковал и скрепя сердце приготовился уже к какому-нибудь вопросу. Но голова инженера бесхитростно и доверчиво встретила эти слова, предназначенные неизвестной женщине. Оссовский перевёл дух и стал диктовать далее:

— «...Не сердись, дорогая... скоро приеду, и ты увидишь, как я тебя люблю»...

— Ты вдохновенно врешь! — не удержался Михаил, подымая глаза. — Но... хорошо выходит. Написано.

— «...Я расскажу тебе маленькую сказочку, и ты крепко, крепко уснёшь»...

— Спокойной ночи. Затем?

— «...Жил-был козлик»...

— Коз-лик?! — расхохотался инженер.

— «...Серенький козлик... да».

— «Да» — неизбежно?

— Разумеется. Продолжай: — «...вроде того, которого волки съели»...

— «Съели»... Такие обжоры!

— «...Только этот был умный»...

— Сомневаюсь, но всё равно. Есть.

— «...вот он пошел гулять»...

— И получил насморк, Валер?

— Экий ты насмешник, Миша! Осталось совсем немного... Пиши: — «...А на лугу танцует маленькая козочка... беленькая, мохнатенькая»...

— Танцует, — вздохнул инженер, стараясь не улыбаться. — Значит — балет?

— Да. Ну... «...Козлик и говорит: я вас люблю»...

— Энергично!

— Последняя фраза, Миша:

— «Крепко тебя целую и обнимаю, крошка моя. Спи»...

Оссовский взял бумагу из рук приятеля и внимательно перечитал написанное. Размашистый почерк инженера заполнил весь листик.

— Макиавелли! — сказал инженер, смеясь и лукаво подмигивая. — Ты способен обмануть женщину!..

— Надеюсь, по крайней мере, — вздохнул Оссовский. — Все мы на этот счёт способны.

— Ну, однако... У тебя вон какой талант... Импровизация, вдохновение чувствуется...

— Лыстец! — скромно отозвался Оссовский. — Ну, ещё раз — спасибо тебе.

— Пустяки! — Михаил встал, покачиваясь, обнял Оссовского за

плечи, — Ну идём же!.. Эта тишина давит меня. Хочу шумов, криков и плесков... идём!..

— Послушай, — сказал Оссовский, ласково отстраняя его хмельную, горячую голову, стремившуюся упасть на плечо друга, — я не пойду туда... серьёзно. Я устал! Но выслушай...

— Ты всю жизнь был серьёзным человеком, — пробормотал инженер, — так не изменяй же себе! Я с-слушаю!

Оссовский задумался, смотря в сторону. Потом, видимо, затрудняясь, начал:

— Я сделал глупость, Михаил, и вот какую... Ты, пожалуйста, только не обижайся... Я думал отдохнуть здесь, у тебя, почувствовать себя не одиноким и прочее... Но сегодня... когда я остался один в гостинице — прошлое с новой силой разбередило мою душу, я почувствовал, как нельзя больше, что никогда и ничем не вытравлю ни дней радости, ни дней тоски... Потом... потом сравнить тебя и себя... Ты моложе, счастливее, любил и любишь... Может быть, это низко и недостойно меня, не знаю, но... подумай — жить вместе под одной крышей... видеть вас обоих — живое, мучительное воспоминание... нет, нет! Я поздно сообразил это, но сообразив — успокоился: я уезжаю завтра.

— Валер! — прослезился взволнованный Михаил. — Ты бредишь... ты нездоров... Я всё понимаю... Хорошо... но ведь это же свинство с твоей стороны, а?.. Показаться и упорхнуть... а?.. Валер?

— Приходи утром, мы простимся как следует. Да — я переменял номер и... кажется, забыл какой... Спроси у швейцара.

— Ну, хорошо... — пробормотал ошарашенный инженер: — у швейцара... но... вот тебе и история! Давай же хоть поцелуемся, а?

Он повис на шее Оссовского и начал его душить. Валерьян не сопротивлялся, но облегчённо вздохнул, когда объятия кончились.

— Иди же, иди, Миша, — сказал он расстроенному, охмелевшему человеку, — там ждут, неловко.

— Доставьте немедленно.

— Теперь два часа, ваше-ство, — сказал комиссионер. — Поездов нет.

— А вы возьмите извозчика и пообещайте ему на чай... Вот вам двадцать.

Посыльный согнулся так низко, что можно было опасаться за целостность его спины. Оссовский надел пальто, шляпу и вышел из подъезда.

Он взял извозчика и поехал в ту же гостиницу, откуда вышел сегодня, рассчитывая пожить в



А.С.Грин. Севастополь. 1923 г.
Из фондов Гослитмузея.

тишине укромого загородного местечка, под одной крышей с приятелем. Дорогой он вспомнил Елизавету Сергеевну, письмо и грустно улыбнулся при мысли о радости, с какой будут перечитаны эти строки. Дача смутно рисовалась его воображению, он мысленно проникал в спальню, где, может быть, теперь уже спит тоненькая, наплакавшаяся женщина. Звонок разбудит её, она получит письмо и про-

чтёт... конечно — не один раз. Снова заснуть ей будет легче.

Оссовский дремотно улыбнулся, чувствуя приближение настоящего, давно желанного сна, и казалось ему, что он слышит тихий, растроганный, полусонный шёпот засыпающей женщины!

— ...А на лугу танцует маленькая козочка... беленькая...

Предсмертная записка

Во дворе глухо лаяла цепная собака, но грабитель не особенно беспокоился. Ленивый, вопрошительный лай показывал, что собака не уверена в своих подозрениях: верхним чутьём она слышала посторонний запах, но это мог быть запах и с улицы.

Грабитель переходил из комнаты в комнату, водя огненным зайчиком потайного фонаря по обоям и столам, скрытым мраком. Он только что забрался в дом, и, хотя помнил расположение помещений, страх быть преждевременно открытым несколько путал его движения.

Медленно осматривая углы, словно в каждом из них сидел враг, грабитель проскользнул в кабинет и, не теряя времени, принялся работать отмычками. Замок среднего ящика письменного стола, где старик всегда хранил деньги, начал сдаваться. Но в коридоре послышался вздох, хриплый кашель, раздалось шарканье туфель.

Грабитель быстро закрыл фонарь и спрятался за оконную портьеру. Через минуту он уже был в комнате не один. Кабинет вспыхнул электрическим светом, и кто-то, не торопясь, грузно опустился в кресло перед столом.

Грабитель осторожно выглянул из прикрытия. Старик сидел и писал в большой синей тетради, жуя беззубым ртом.

«Я его убью, — решил грабитель. — Близится утро, надо спешить».

Он бесшумно вышел из-за портьеры и встал у стола, упираясь рукой, вооружённой ножом, в стопку книг. Старик повернул голову, но не вскочил и не закричал, только рука его, державшая перо, задрожала и остановилась.

— Здравствуй, старик, — сказал грабитель. — Узнал ты меня?

— Узнал, Егоров, узнал. Грабить пришёл?

— Думал ограбить, а теперь убить надо сперва.

Ты не кричи, старик, не успеешь. Да и к чему? Прислуга внизу спит, звонок я перерезал. Конец тебе, пожил.

— Правда, Егоров. Вижу, что убьёшь ты меня так и так. Убивай! Деньги, как ты помнишь, конечно, когда ещё служил у меня лакеем, — здесь, в столе. А вот и ключ. Постой, я сам их отдам тебе.

Он открыл ящик и передал Егорову небольшой портфель. Грабитель молча открыл его, рассмотрел. Там было на взгляд тысяч пять-шесть. Портфель исчез в кармане рваного пиджака.

— Да, — спокойно продолжал говорить старик, — выгодно ли тебе убивать меня, Егоров? Полиция нынче быстро находит следы.

— Это моё дело. Не убью — донесёшь. А как приехал я издали сегодня вечером и на дело сразу пошёл, то никто на меня и думать не будет. Ну, профессор, меня прости, а за себя помолись. Деньги нужны. Ну, что ещё? Чего ты? — злобно сказал он.

— Егоров, — заговорил профессор, — дай пять минут, книгу дописать. Давно уже я пишу её, эту книгу; это мой научный труд. Осталось только несколько слов дописать. Ведь эта книга для меня — что ребёнок для матери. Подари пять минут, а там кончай.

Профессор придвинул к себе тетрадь. Одно мгновение пытался он ещё найти выход, спастись, но покачал головой. Наверху никого не было, кроме него и грабителя, а крепко уснувшая внизу прислуга не сразу явилась бы и на звонок. Звонок перерезан, крик не долетит вниз.

Молча, спокойно, ясно и сурово, как жил, старик попрощался с жизнью, взял перо и, быстро сообразив нужные фразы, написал внизу наполовину написанной уже страницы следующее:

«Много есть на яву убедительных былей, известных лицам, даже академикам, но их ловкость отлично ездит, гоня обрывки рассуждений около всяких больных игрушек, вызывающих шутки игроков; лишь азбучные костыли, если им...»

Он бросил перо, как бы волнуясь, но тотчас же схватил его и приписал:

«Каждое слово, пробиваясь головой вперёд, несёт истину».

Пока он писал, Егоров смотрел через его плечо на чёткие, крупные буквы написанного. Он ничего не понял, и не до того ему было.

Старик встал. Похолодев и задохнувшись, грабитель опустил нож. Пробитое сердце остановилось. Старик схватил руку Егорова своими маленькими сухими руками и упал на мягкий ковёр.

МП: Этот рассказ А.С.Грина, напечатанный в № 13 журнала «XX век» за 1915 год, не вошёл в сборники его произведений и собрания сочинений. В советское время он был опубликован в январском номере журнала «Человек и закон» за 1975 год, затем перепечатан в талдомском малотиражном журнале «Журавлиная родина» (1991, № 3).

Следователь вышел из кабинета убитого к ожидавшему его приятелю, сотруднику газеты.

— Знаете, — сказал следователь, — убийца известен. Но не я открыл его. Мне сказал об этом после своей смерти убитый профессор Ядринцев.

— Мёртвый сказал?

— Как ни странно, да. Посмотрите!

Он подал ему тетрадь в синей обложке.

— Обратите внимание на несколько последних строк. По свежести чернил установлено, что это писано ночью, не раньше. Написана ерунда, бессмыслица. Но вот: «Каждое слово, головой вперёд, несёт истину». Понятно? — Мне некогда, и я объясню вам. Что может быть головой слова? Первая буква. Прочтите по порядку все первые буквы, и вы

получите следующее: «Меня убил Данило Егоров, бывший лакей».

Журналист ахнул и рассмеялся. — Вам смешно, — сказал следователь, — но едва ли смеялся убитый, когда писал это. Надо сознаться, у жертвы было много самообладания. Он, несомненно, писал, готовясь к смерти, и убийца, даже если прочёл написанное, не мог подозревать его в доносе; ему, в крайне возбуждённом состоянии, некогда было подозревать синюю тетрадь. Даже я, следователь, думал минут десять, что может обозначать эта запись.

— Да, профессор не растерялся...

— Он молодец. А к вечеру, не позже, разыщем мы и Егорова...

Марк ЩЕГЛОВ

КОРАБЛИ АЛЕКСАНДРА ГРИНА

«Опасность, риск, власть природы, свет далёкой страны, чудесная неизвестность, мелькающая любовь, цветущая свиданием и разлукой; увлекательное кипение встреч, лиц, событий; безмерное разнообразие жизни, между тем как высоко в

небе — то Южный Крест, то Медведица, и все материки — в зорких глазах, хотя твоя каюта полна покидающей родины с её книгами, картинами, письмами и сухими цветами, обвитыми шелковистым лаконом, в замшевой ладанке на твёрдой груди».

МП:

Марк Щеглов (1925–1956) прожил короткую жизнь: он умер в тридцать лет от мучительной болезни — костного туберкулёза, который с детства обрёл будущего критика на долгие месяцы больницы затворничества среди таких же, как он: страдающих, терзаемых недугами людей. Тем не менее М.Щеглов, преодолевая свою хворь и немощь, сумел окончить филологический факультет МГУ и даже после всякого рода бюрократических проволочек был принят в аспирантуру Московского университета.

Возможно, именно эта вынужденная приобщённость М.Щеглова к страданиям и мучениям окружающих его в лечебнице людей, сделала его особенно чутким к чужим невзгодам и бедам.

Во всяком случае именно такие черты, как сострадание, отзывчивость стали одной из ведущих тем в творчестве этого молодого критика, который вошёл в литературу стремительно и прочно как литератор со своим ёмким и образным словом, своим восприятием окружающего мира, своим пониманием того, что «хорошо и плохо» в литературе, едва пробудившейся в ту пору от летаргического сна сталинской эпохи.

За свою короткую творческую жизнь (она продолжалась всего три года) Марк Щеглов, несмотря на свою

тяжкую болезнь, подчас надолго выбивавшую его из строя, успел сделать поразительно много — написать целый ряд серьёзных аналитических работ, как, например, статья о романе Л.Леонова «Русский лес» или о современной драматургии, эссе и рецензий и т.п.

Вспоминаю, что однажды в молодости (а мы были дружны с Марком) у нас зашёл разговор об Александре Грине. Как выяснилось, мы оба любили этого писателя, и нас глубоко возмущали разгромные статьи, появившиеся незадолго перед этим, в разгар борьбы с космополитизмом, где в разряд космополитов, оторванных от родной почвы, был зачислен и Грин. Марк вдруг посоветовал на то, что у него нет томика Грина, которого он хотел бы время от времени перечитывать. Вскоре после нашей беседы я уехал от «Литгазеты» в длительную командировку на Дальний Восток и в Хабаровске случайно купил только что вышедший в свет новый однотомник Александра Грина с предисловием Паустовского. Этот однотомник я незамедлительно отправил Марку, а вскоре получил от него письмо, в котором он писал: «Большое спасибо тебе за присылку Грина. В Москве, как ты понимаешь, не было никакой возможности его достать».

Я тогда, естественно, и не предполагал, что это письмо М.Щеглова ко

мне окажется последним. Однако перед своей скоростной смертью он ещё успел отозваться на выход «Избранного» Грина рецензией, которая (уже посмертно) появилась в октябрьской книжке «Нового мира» за 1956 год, и которая сейчас вновь увидит свет на страницах журнала «Мир Паустовского».

Щеглов, вслед за Паустовским, одним из первых поднял свой голос в защиту Александра Грина. Его тонкий и убедительный художественный анализ доказывает, что автор «Алых парусов» — это яркий, самобытный писатель-романтик, а его герои — суровые моряки, искатели, первопроходцы — это смелые, весёлые и гордые люди, у которых читателю есть, чему поучиться, есть, что взять на вооружение, хотя бы их оптимизм, их веру в силу добра.

По невольной аналогии вспоминаются слова, сказанные о Грине и другим писателем — Юрием Олешей, который будто бы вторит Марку Щеглову, размышляя о неповторимом своеобразии гриновских книг: «Иногда говорят, что творчество Грина представляет собой подражание Эдгару По, Амброзу Бирсу. Как можно подражать выдумке? Ведь надо же выдумать! Он не подражает им, он им равен, он так же уникален, как они».

Сергей ЛАРИН

Кто в известную пору жизни не мечтал об этом, перед кем не маячили такие миражи и не вставали эти видения романтических странствий и счастливой свободы, кто не бывал — пусть в мечтах — вольным капитаном прекрасного брига, корвета или шхуны — кораблей, украшенных парусами, овеяемых воздухом морских мифов и легенд!

Необыкновенность творчества Александра Грина, писателя, долго находившегося в оскорбительном забвении, состоит в том, что он сделал волнующее романтическое фантазёрство — страну отороческого воображения — *реальным миром*, полным жизни, что он подробно описал эту страну и узаконил как естественное и обычное всё то, что постные люди полагают оторванным от жизни, чуждым реальному и несбыточным.

Земли, которых нет на карте, но которые везде между Востоком и Западом, Севером и Югом; города со звучными и зовущими названиями, возникающие на берегах тёплых морей как легендарные поселения первых веков; мужчины — цельные, благородные, таинственные покровители слабых, друзья мужественных; женщины и девушки, чьё очарование несказанно, какие-то золушки, феи и принцессы на горошине, одетые в нынешнее платье; матросы — громкие пьяницы и добродушные храбрецы; заманчивые, приглашающие гавани, старинные корабли и старое вино — многое прекрасное и пленительное из богатств и радостей мира собрано А.Грином на страницах его поэтических книг.

Судьба произведений А.Грина сложна и неустойчива. Его творчество имеет и влюблённых поклонников, и брюзгливых отрицателей. Последним удалось сделать то, что книги А.Грина сейчас почти неизвестны широкому читателю, а идеологическая репутация этого давно умершего художника до сих пор колеблется где-то на опасной грани.

В книгах А.Грина мы встречаем традиционный романтический «случай»: с одной стороны, герой — романтик, сказочник, с душистой, полной поэтических движений, различающий «кружева тайн в образе повседневности», утончённое и углублённо-созерцательное существо; с другой — общая «проза жизни», интересы каждого дня, вульгарность и бездушные, та жизнь, в которой «человек человеку — волк»... Грубая, негуманная, непрекрасная жизнь его времени вызывала в Грине содрогание. Но, отрицая эту жизнь, А.Грин иногда слишком горестно уединялся в своём романтическом отрицании и приходил порою к индивидуализму и обособленности на духовно-утончённой основе. Именно тогда на страницах его книг проскальзывали столь чуждые его душевному изяществу грубые слова о простонародье, не знающем чистых духовных радостей любви, мечты и сказки. И странно бывает читать это рядом с другими эпизодами из книг А.Грина, где именно картины простой и немудрящей жизни рыбаков, ремесленников и матросов овеяны поэзией и теплотой глубокого и серьёзного сочувствия, где эти люди тоже становятся добрыми героями гриновской сказки. Таковы Лонгрэн из «Алых парусов», капитаны и

матросы из «Кораблей в Лиссе», герои рассказов «Словоохотливый домовый», «Сто вёрст по реке», «Акварель» и др.

Константин Паустовский в предисловии к новому изданию «Избранного» А.Грина пишет о происхождении гриновского романтизма: в старой России «окружающее было страшным, жизнь — невыносимой. Она была похожа на дикий самосуд. Грин выжил, но недоверие к действительности осталось у него на всю жизнь. Он всегда пытался уйти от неё, считая, что лучше жить неуловимыми снами, чем «дрянью и мусором» каждого дня».

Однако, когда читаешь книгу его рассказов, вдруг начинаешь замечать, что «неуловимые сны» гриновской фантазии очень близко подходят к прекрасной яви; кажется, что вся нереальность места действия в его рассказах, вся их подчёркнутая «нездешность» носят характер невольной поэтической мистификации; если всмотреться в мир образов А.Грина, во все частности его художественных картин, то мы рядом с уходом от действительности увидим *преображение действительности* волшебным андерсеновским прикосновением. «Море и любовь не терпят педантов», — А.Грин в лучших из своих рассказов научает нас видеть глубину, даль и дымку мечты там, где мы привыкли видеть определённую и прозаичность очертаний.

У А.Блока есть стихи:

Случайно на ноже карманном
Найди пылинку дальних стран —
И мир опять предстанет странным,
Закутанным в цветной туман!

В подобный же момент наше воображение застают и романтические новеллы и повести А.Грина.

В «Избранном» А.Грина, изданном Гослитиздатом, облик этого единственного в своём роде художника представлен довольно разносторонне. Кстати, тут есть даже вполне «бытовые» рассказы, в которых романтическая условность остаётся почти только в фантастических именах героев, а помимо этого в них вполне реальные, отличные по выдумке истории портовой, морской жизни (например, «Капитан Дюк» или «Комендант порта»). Но в большинстве своём произведения А.Грина — это поэтически и психологически утончённые сказки, новеллы и этюды, в которых рассказывается о радости сбывающихся фантазий, о праве человека на большее, чем простое «проживание» на земле, и о том, что земля и море полны чудес — чудес любви, мысли, природы, — отрадных встреч, подвигов и легенд.

Корабли, бегущие по волнам в рассказах А.Грина, бегут неведомо куда и неведомо зачем, но ведь всегда в этом мире добрым и могучим людям найдётся, что делать и куда направить парус. Излюбленные герои А.Грина — добрые и немного таинственные капитаны, в душе которых патриархальное благородство соседствует с современной утончённостью чувств и естественным демократизмом. Таков капитан Грэй из рассказа-феерии «Алые паруса» — «тип рыцаря причудливых впечатлений,

искателя и чудотворца, то есть человека, взявшего из бесчисленного разнообразия ролей жизни самую опасную и трогательную — роль провидения...» Как раз с этого в рассказах А.Грина начинается чудесное. Когда люди добровольно берут на себя роль доброго провидения по отношению к другим, когда они остро романтически воспринимают мир, тогда самые невероятные сказочные чудеса становятся осуществимыми и даже «то, что существует как старинное представление о прекрасном-несбыточном... по существу, так же сбыточно и возможно, как загородная прогулка». Читать и перечитывать «Алые паруса» — одно наслаждение. Нужно так преданно верить в силу любви, в обаяние романтической мечты, так уйти в сказку, чтобы столь неопровержимо, психологически и поэтически изящно поведать о реально сбывшемся в обыкновенной рыбацкой деревне сказочном чуде. Прелестная и причудливая девочка Ассоль, с детства неудержимо поверившая прекрасной басне проходящего сказочника о корабле с алыми парусами, который однажды придёт за ней, действительно переживает такой незабвенный день. Эта история говорит о том, как любовь верит в чудо и как человек, любя, посвящает это чудо другому. Прелестны те строки, в которых описывается, как Ассоль стоит на берегу, глядя на вставший на виду алопарусный «Секрет», — «одна среди пустоты знойного песка, растерянная, пристыженная, счастливая, с лицом не менее алым, чем её чудо, беспомощно протянув руки к высокому кораблю». А когда от корабля отделилась лодка, на которой стоял Грэй, то «тысячи последних смешных страхов одолели Ассоль... она вбежала по пояс в тёплое колыхание волн, крича: «Я здесь, я здесь! Это я!» Это не сказка. Это не волшебная история о Золушке и принце. В «Алых парусах» для этого слишком много реального, почти житейского: стоит только напомнить все те страницы, где рассказывается о том, как Грэй вдохновенно организует своё «чудо» — покупку алого шёлка в городской лавке и т.д. Это в подлинном смысле слова «феерия» — феерия любви и радости, сбывающаяся для всех, кто так любит. В стране А.Грина человек просто осуществляет всё то хорошее, что в реальной действительности часто держится в душе под замком или расплывается в тысячах малозаметных житейских действий и поступков. Рассказы А.Грина говорят о том, как «невыразимо чудесно» любить и владеть сказочным секретом счастья, как хороши «улыбка, веселье, прощанье и — вовремя сказанное чуткое слово».

Собранный в некий волшебный фокус, свет любви и какого-то романтического доброжелательства в рассказах А.Грина радостно воздействует на душу; они, эти рассказы, навевают стремление к добру, изяществу, нежности. «Добрый вечер! Добрый вечер, друзья! — слышим мы голос «Бегущей по волнам» — этой поэтической музыки А.Грина. —



Не скучно ли на тёмной дороге? Я тороплюсь, я бегу...» Поэзия старинных морских сказаний и любовных поверий, романтический колорит «Летучего голландца» и «Принцессы Грёзы» соединены на страницах произведений А.Грина с остротой современного мышления, с тем, что дала человечеству психологическая традиция новейшей литературы — от Эдгара По до А.Чехова. Во многих гриновских рассказах поставлен в разных вариациях один и тот же психологический опыт — столкновение романтической, полной таинственных симптомов души человека, способного мечтать и томиться, и ограниченности, пошлости людей каждого дня, всем довольных и ко всему притерпевшихся.

Вот тут, в этом старом, романтическом конфликте, и усматривали иногда «уход от жизни» в творчестве А.Грина.

В «Избранном» напечатан великолепный рассказ «Возвращённый ад», в котором формула, если можно так сказать, гриновского романтизма, далёкого от простого «выдумывания красивых историй», раскрыта полностью и убедительно. Когда журналист Галиен Марк, выздоровев от раны, полученной во время дуэли, встал на ноги новым человеком — уравновешенным и бездумно довольным жизнью, это можно было воспринять как пришедшее наконец избавление от той мучительной жизни, которую вёл он до болезни. Тогда он находился непрерывно «в состоянии мучительного философского размышления» и испытывал «нестерпимую насыщенность остротой современных переживаний», державшую его сознание «в тисках»; теперь он был «смешливым субъектом, со скудным диапазоном мысли и ликующими животными стремлениями». Тогда Галиен Марк переживал минуты «неясного беспокойства», вызывавшего острую работу фантазии, тогда он не мог спастись от своей болезни даже в обществе пошляков, так как видел, что и «пошленькое пристегнуто к дьявольскому колесу размышлений»; теперь же он не сомневался, что «всё, что видишь, такое и есть» и что «всё очень просто». Раньше он писал талантливые статьи, всё его «волновало, тревожило, заставляло гореть, спешить», а теперь он — зна-

менитый Галиен Марк — не испытывает нужды написать более трёх страниц, в которых говорится о том, что сначала по снегу прошла дама, потом собака, а затем крупно шагающий мужчина «спутал следы на снегу в одну тропинку своими широкими калошами». И лишь изредка герой, всем довольный и ничем не тревожимый, испытывает мгновенные потрясения, как память о былом: однажды он видит бедняка с глазами, полными бесконечной скорби, и эта скорбь передаётся ему; в другой раз в пошлом кабаке во время непристойно-самодовольного разгула на колени к нему доверчиво вспрыгнула «маленькая, болящая и худая, как щепка, серенькая трактирная кошка», и откуда-то взялось в душе его «горькое, необъяснимое отчаяние»; наконец, ещё раз, когда Галиен Марк шёл ночью по улицам, шёл с «сытой душой», он взглянул вверх и увидел там «среди других яркую, торжественно висящую звезду. Что было в ней скорбного? Каким голосом и на чей призыв ответило тонким лучам звезды всё моё существо, тронутое глубоким волнением при виде необъятной пустыни мира? Я не знаю... Знакомая причудливая тоска сразила меня». Но для того, чтобы вновь полностью обрести утерянное, вернуться к жизни духовной, к томлениям совести и воображения, ко всему тому «аду», от которого думал спастись Галиен Марк, ему понадобилось пережить большее: от него уходит прелестная, разочарованная Визи, он остаётся один. И вот тут уже прорывается та плотина полной успокоенности, трезвости и грубого довольства, которая отгородила героя от жизни, от её волнений и загадок, и он вновь вместе с возвратившейся к нему любовью «вернулся к старому аду — до конца дней».

В этом рассказе всё существо гриновской «мечты» — как утверждения для человека необходимости видеть в жизни больше «того, что есть», отрицания самодовольной трезвости, закупоренной от всех тревожащих, ранящих, заставляющих «мыслить и страдать» впечатлений. В романтике гриновского типа «уютя нет», «покоя нет», она происходит от нестерпимой жажды увидеть мир совершеннее, возвышеннее, и потому душа художника столь болезненно реагирует на всё мрачное, скорбное, принижённое, обижающее гуманность. Таким образом, романтика в творчестве А.Грина по существу своему, а не по внешне несбыточным и нездешним проявлениям должна быть воспринята не как «уход от жизни», но как *приход* к ней со всем очарованием и волнением веры в добро и красоту людей, в расцвет иной жизни на берегах безмятежных морей, где ходят отрадно стройные корабли...

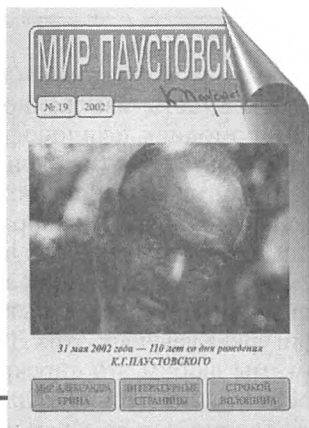
Художественная прелесть прозы А.Грина не может быть оспорена. Конечно, сейчас иногда ка-

жется излишним и наивным своеобразный «дендизм» его стиля, подражательность, изысканность прозаического ритма, старомодная «философичность» некоторых мест в его рассказах (особенно в «Бегущей по волнам»), но тем не менее порою ослепляет его художественная точность и изобразительная сила в совершенно реальных картинах природы, описаниях морей и зарослей, в портретах изображаемых им людей — особенно в необыкновенно очаровательных фигурках девушек, этих Дэзи, Биче и Визи. Мы видим, мы любим это «прекрасное, нежно-нахмуренное лицо, эти ресницы, длинные, как вечерние тени в воде синих озёр, и рот, улыбающийся проникновенно, и нервную живую белизну рук...»

И ещё одна грань «магического кристалла» гриновского искусства — его изображение природы, стоящее на уровне изысканного «пленэра» новой живописи. А.Грин может быть назван первоклассным пейзажистом. И дело тут не только в той полной реальности его пейзажей, его приморских акварелей, о которой хорошо говорит К.Паустовский во вступительной статье, не только в том волшебстве воображения, с которым А.Грин во всей точности воспроизводит отсутствующую в действительности местность в своих рассказах. Главное то, как радостно, торжественно и близко душе всё, о чём пишет А.Грин, как это всё входит в зрительный и эмоциональный опыт любого вдумчивого наблюдателя природы и как искусство А.Грина умеет сделать заманчивым и поэтичным каждый обыкновенный уголок его страны. Похоже на то, как в его рассказе «Акварель» двое людей, живших и грубо ссорившихся в постылом доме на окраине города, случайно увидели этот свой дом на выставке картин, написанный талантливым живописцем. И то, что было для них каждодневным и привычным — «окна, скамейка... яма среди кустов, поворот за угол, наклон крыши, даже выброшенная банка из-под консервов», — предстало вдруг преображённым и милым. Таков эффект многих мест в рассказах А.Грина, где нет ничего нереального и, однако, всё стократ чище, радостней, ярче, чем мы это знаем.

...Белой точкой на горизонте, в исчезающей отдалённости моря появляется корабль, за ним ещё один и ещё... Ветер и волны дружно влекут их, они летят, слегка накрываясь, у них почти живые, стройные формы; ветер воет в тонких снастях, плещет вдоль борта тугая отлетающая волна, загорелые весёлые матросы глядят за горизонт — что там? И наше сердце стремится лететь за ними, к тучам, полным зарева далёких, удивительных городов, к цветам и скалам таинственных стран воображения...

Это корабли Александра Грина.



ИЗ ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕТРАДЕЙ

Александр ГРИН

ИЗБРАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

ДВА МУЖИКА

Солнце томилось в пылающей неге,
В дымке безоблачной дали...
Травку примяв, в стороне, у телеги
Два мужика рассуждали.
Первый сказал:
«Благодать-то Господня!
Милует батюшка грешных...
Травку в лугах мы убрали сегодня,
Время-то летнее — спешно!..
Дождика дал бы Христос нам теперя,
Хлеб-то пойдёт на поправку...
Милуешь, Господи, всякого зверя,
И человека, и травку!..»
Спутник его, равнодушно вздыхая,
Шапку поправил лениво,
Молвив при этом:
«Жара-то какая
Установилась — на диво!..
До ночи к дому мне, знать, не добраться,
Будут домашние хныкать...
Можешь не можешь, а надо стараться,
Мерина, лешего, тыкать...
Хлеба везу я им два каравая,
Да две полтины деньжонок...
Ждут не дождутся, чай, рты разевая,
Мал ведь, не смылит ребёнок.
— Тятя, дай хлеба! — а мало печали —

Много ли хлеба найдётся...
Ноне мы что-то совсем обнишали,
Лошадь продать доведётся».
Хлеба с водой закусили;
После, с приятною тяжестью в брюхе,
Двух лошадей напоили.
И помолились усердным поклоном,
К небу глаза обращая...
Воздух кипел несмолкаемым звоном,
Пеньем невидимой стаи.
Грозно и глухо в пылающем небе
Гром прогремел в отдалении...
Первый — молил о дожде и о хлебе,
Спутник его — о терпении.

МОТЫКА

Я в школе учился читать и писать,
Но детские годы ушли,
И стал я железной мотыжкой стучать
В холодное сердце земли.
Уныло идут за годами года,
Я медленно с ними бреду,
Сгибаясь под тяжестью жизни, туда,
Откуда назад не приду.
Я в книгах читал о прекрасной стране,
Где вечно шумит океан
И дремлют деревья в лазурном огне,
В гирляндах зелёных лиан.

МП: ...Я считаю, что нужно издавать всё, что вышло из-под пера Александра Грина, в том числе и все его стихи... Они являются прекрасным дополнением к творческому портрету писателя. Если в толковом комментарии объяснить обстановку, в которой они были созданы, — то есть на чём рос в условиях провинции Грин и от чего он в дальнейшем оттолкнулся для создания своих прозаических шедевров, которые полны подлинной неповторимой поэзии, чтобы читателю стала ясна диалектика творчества Грина, чтобы ясно стало, из каких источни-

ков он пил в юности и что он писал, затем печатал в Питере, чтоб выявились вкусы публики и вкусы редактора «Солнца России», затем «Сатирикона» прежде, чем он стал «Новым Сатириконом».

Сергей Марков, знаток Грина, помнится, цитировал такие строчки:

У ручья, где камни мылит
Водопад, послав врагу
Выстрел, раненный навилет,
Я лежал на берегу...

И если не путаю, ни я, ни Сергей Марков, считая, что эти стихи с мучительно усложнённым синтаксисом,

несомненные стилизации, принадлежат Грину, то видите, насколько это непохоже на подражание некоторым, довольно известным во дни юности Александра Грина эпигонам классицизма, журнальным стихотворцам XIX века.

Вот мои краткие соображения, сводящиеся в конце концов к тому, что поэты (Пушкин, Лермонтов, Эдгар По и др.) блестяще владели прозой, а вот прозаики владеют стихом гораздо реже, но и их неудачи любопытны и поучительны...

Леонид МАРТЫНОВ

Туда улетаю, тревожно кричат
 Любимцы бродяг — журавли...
 А руки мотыжкой железной стучат
 В холодное сердце земли.
 Я в книгах читал о прекрасных очах
 Красавиц и рыцарей их,
 О нежных свиданьях и острых мечах,
 О блеске одежд дорогих;
 Но грязных морщин вековая печать
 Растёт и грубеет в пыли...
 Я буду железной мотыжкой стучать
 В железное сердце земли.
 Я в книгах о славе героев узнал,
 О львиных, бесстрашных сердцах;
 Их гордые души — прозрачный кристалл,
 Их кудри — в блестящих венцах.
 Устал я работать и думать устал,
 Слабеют и слепнут глаза;
 Туман застилает вечернюю даль,
 Темнеет небес бирюза,
 Поля затихают. Дороги молчат.
 И тени ночные пришли...
 А руки — мотыжкой железной стучат
 В холодное сердце земли.

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Над узким каменным двором
 Царит немая тишь.
 На высоте, перед окном
 Белеют скаты крыш.
 Недолгий гость осенней мглы,
 Покрыв их первый снег.
 Гнездя на острые углы
 Пушистый свой ночлег.

Он мчится в воздухе ночном,
 Как шаловливый дух:
 Мелькая, вьётся за окном
 Его капризный пух.
 И скользкий камень мостовой,
 И оголённый сад
 Он схоронил бесшумно в свой
 Серебряный наряд.
 Пусть завтра он исчезнет, пусть
 Растает он — чуть свет...
 Мне сохранит немая грусть
 Его мгновенный след.
 Волненья девственных надежд
 Я провожу, смеясь,
 Как белизну его одежд,
 Затоптанную в грязь.

ВОЕННЫЙ ЛЁТЧИК

Воздушный путь свободен мой:
 Воздушный конь меня не сбросит,
 Пока мотора слитен вой
 И винт упорно воздух косит.
 Над пропастью полуверсты
 Слежу неутомимым взором
 За неоглядным, с высоты,
 Географическим узором.
 Стальные жилы дальних рек
 Блестят в обрезах жёлтых пашен.
 Я мимолётный свой набег
 Стремлю к массивам вражьих башен.
 На ясном зареве небес
 Поёт шрапнель, взрываясь бурно...
 Как невелик отсюда лес!
 Как цитадель миниатюрна!
 Недвижны кажутся отсель
 Полков щетинистые ромбы,
 И в них — войны живую цель,
 Я, метаясь, сбрасываю бомбы.
 Германских пуль унылый свист
 Меня нащупывает жадно.
 Но смерклось; резкий воздух мглист;
 Я жив и ухожу обратно.
 Лечу за флагом боевым
 И на лугу ночном, на русском,
 Домой, к огням сторожевым
 Сойду планирующим спуском.

ВСТРЕЧА

Я встретил трёх старух. На их унылый вид
 Сначала я не обратил вниманья
 (Бредите, слабые, отжившие созданья).
 Но вот одна с улыбкой говорит:
 «Ты видел нас в узоре изваянья.
 Ты юным был. Музейная толпа
 Шумела вокруг тебя, лениво созерцая
 Холодный мрамор. Волею резца я
 Явилась пред тобой, у чёрного столба,
 С подругами; ваятель взял сюжетом
 Работу Парки в мире странном этом».
 Я посмотрел и, вздрогнув, отступил,
 Узнав ваяний мраморных обличье.
 «Да, это вы, — сказал я и спросил:
 Зачем вы здесь? Что за манера птичья
 Без прялок, без Веков, призванье разлюбив,
 Солидность растеряв на перекрёстках,
 Бродить как тень, Сатурну изменив,
 Забыв об исторических подмостках?»



А.С.Грин. [1908–1918].
 Из архива Гослитмузея

Прядите, Парки! Мир земной в огне,
Он грудью — грудь и смертью — смерть встречает».
Тут старшая, вздохнув, сказала мне:
«Мы прядли бы, да ниток не хватает».

НЕЗАМЕРЗАЮЩИЙ КЛЮЧ

С каких изумительных гор
Стремится тот ключ золотой?
С каких незапамятных пор
Он дышит лесной красотой?
В пустыне струясь снеговой,
Он дышит лесной красотой.

В угрюмости снежных вершин
Седые деревья вокруг
Ветвями склонили над ним
Сплетенье безлиственных дуг.
Как жест умоляющих рук —
Сплетенье безлиственных дуг.

К мертвящей лесной тишине
И волк, и охотник приник.
Им слышен вдали, как во сне,
Ручья торопливый звон-клик.
Зов нежный им слышен на миг —
Ручья торопливый звон-клик.

В ручье том никто никогда
Себя не увидит, но тот,
Кто смотрит в него, навсегда
В далёкие горы уйдёт.
Откуда ручей тот течёт —
В те горы навеки уйдёт.

ОТСТАВШИЙ ВЗВОД

В лесу сиял зелёный рай,
Сверкал закат-восход,
В лесу, разыскивая путь,
Бродил отставший взвод.
День посылал ему — тоску,
Зной, холод и... привет;
А ночь — холодную росу,



Иллюстрация художника Саввы Бродского к «Алым парусам» А.Грина

Виденья, сон и бред.
Блистала ночь алмазной тьмой,
Трещал сырой костёр,
Случалось — в небе пролетал
Огнистый метеор,
Как путеводная звезда
В таинственную даль,
Черта на жадном сердце след,
Далёкая печаль.
А в серебре ночной реки,
В туманах спящих вод
Сиял девичьих нежных лиц
Воздушный хоровод.
В дыму над искрами вились
Ночные мотыльки
И изумрудный транспарант
Чертили светлячки;
И гном, бубенчиком звеня,
Махая колпаком,
Скакал на белке вокруг сосны,
Как на коне верхом;
И филин гулко отвечал
Докладам тайных слуг:
«Я здесь людей не примечал;
Теперь их вижу... Хуг!»
Всех было десять человек,
Здоровых и больных;
Куда идти — и как идти —
Никто не знал из них.
И вот, когда они брели
В слезах последних сил,
Их подобрал лесной разъезд,
Одел и накормил,
Но долго слышали они
До смерти, как во сне,
Прекрасный зов лесных озёр
И гнома на сосне.

ИЗ ДНЕВНИКА

Давно уже стихотворенья тема
Готова, создалась. И хочется писать, —
И больно. Вдохновенная поэма,
Прекраснее всего, что может дать
Любой творец, в сердцах простых творится.
В тех, за кого мы можем лишь молиться.
Её не превзойти. А, кажется, легко
В желанные размеренные строки
Вложить и гнев и пафос тот глубокий,
Что душу поднимает высоко
К любви и подвигу...
Перо бессильно дремлет,
А сердце голосу таинственному внемлет:
«Нет, не легко писать!.. Вот образы, слова...
Всю силу гордости, страданья, торжества
Уже стремишься ты излить в поэме страстной,
Но поля ратного виденьем озарён,
Там кровь и долг, и грозный вихрь знамён,
И от стола отходишь ты, безгласный...»

ЗОЛОТОЙ ЛОЦМАН

Взошла над морем острая луна.
Равнина моря светла и темна.
Кто там — ау! — на парусе далёком
Смеется иль молчит в отчаяньи глубоком
И где — пучина чуд?
Вода мерцает — чу!

Осторожно выходя из покрывала,
Бриг из тёмного, стального серебра
Мечет золотом по сновиденю вала,
Как старинное, изысканное бра.
И, неведомо откуда, рассекая
Волн молву, весь в тьме, безмолвный шлюп
Двигается навстречу, и смолкают
Блеск воды, её полночный хлюп.

Лоцман золотой, в огне парчовом
Иль в лучах, блестящих как заря,
Всем сказал быть смелым и готовым,
Бросив золотые якоря.
Он из рук, сверкающих охотой,
Бросил в море светлые круги.
И на эту прелесть воли кто-то
Крикнул: «Смыты мы, ни зги!»
Вот последний, золотой, заброшен
В лунный бархат, меченосный круг,
И на шёпот тот, кто был им спрошен —
Ласково ответил вдруг:
«Золотой мой друг!»

* * *

Старушка хитрая жила,
Губами скрытно так жевала;
Хитро болтала и молчала,
Но, всеконечно, померла.
Ничто не изменилось в свете.
Но вкус прибавился в котлете.

У креста старинного при входе
В старый город, села на холме
Девушка, которая не в моде,
Джесси Гард, рождённая в Каме.

Пастору она сказала:
«Господи, я в Зурбаган иду:
Помоги, чтоб хорошо мне стало
И чтоб с жизнью я жила в ладу.
Мне совсем, совсем немного надо:
Лента, платье, пища, башмаки,
Чаю, кофею я тоже буду рада
И тебе, за то, сплету венки.
Я их положу к изображенью
Рождества Христова, а затем,
Господи, я жду, крепясь, спасенья,
Уж два дня, как ничего не ем».
В это время, из туманов Ада,
Вышли и уселись на холме
Дьяволы; великая досада
Накопилась в чёрном их уме.
И один сказал: «Христос не может
Придорожных девушек кормить;
Ремесло его сомненье гложет,
Праведную ли прядёт он нить».
А второй сказал: «Ты дура, дура!
К нам иди в великий наш ковчег.
Где в сетях всеильного амура
Прекратишь Христовой мысли бег».
Третий отозвался: «В толщах битвы
Мы пришли смеяться и смотреть,
Можно ли те дьявольски молитвы
Позабить иль кровью растереть».
Хором все воскликнули: «Проклятье!
Вышел паж и «смертью смерть поправ»:
Джесси Гарт замасленное платье
Бросил в лес, ей душу оборвав!»



Иллюстрация художника Саввы Бродского к «Алым парусам» А.Грина

Джесси Гарт сказала: «Я не знаю,
Кто вы, и зачем.....
Но, на всякий случай, вам бросаю
То, что утром сунула в суму».
И она им протянула грушу.
«Вашим я проклятьям не внимаю,
Помню лишь одно: я постигаю,
Что вам тоже хочется на свет!
У меня ещё хранится перстень,
Я его как око берегла.
Нате, черти, и уйдите, тени,
Чтоб я вновь осталась, как была».

Джесси задремала и очнулась:
«Как велик и беспощаден мир!»
А в руках, когда она проснулась,
Хлеб лежал, два шиллинга и сыр.
А вдали качались два матроса
С палками, с мешками за спиной...

«ИСКАТЕЛЬ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

Поля родные! К вашей тишине,
К задумчиво сияющей луне,
К туманам, медленным в извилистых оврагах,
К наивной прелести в преданиях и сагах,
К румянцу щёк и блеску свежих глаз
Вернулся я; таким же вижу вас
Как ранее, и благодати гений
Хранит мой сон среди родных видений!

1915

ПЕСНЯ ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО РОМАНА «ТАИНСТВЕННЫЙ КРУГ», КОТОРУЮ ПЕЛА КОМАНДА МОРЯКОВ НАНСЕНА:

... Не плачь, отчизна! Ты сама
Своим сынам внушила
Оставить предков берега,
Им паруса нашла.
На север мысом ты своим,
Как пальцем, указала,
Сама дала желанье им,

Сама их ободряла.
Отчизна! Мать! Ведь это ты
Таких сынов вскормила!
Сбылися гордые мечты,
Не даром их растила!
Слезами радости твой взор
Туманится прекрасный,
Звучит в фиордах песен хор,
И «Фраму» путь лежит опасный.

**ПЕСНЯ ТАРТА ИЗ РАССКАЗА
«ОСТРОВ РЕНО»**

Кто спит ни вахте у руля,
Не размыка глаз?
Угрюмо плещут лиселя,
Качается компас,
И ждёт уснувшая земля
Гостей весёлых — нас.
Слабеет сонная рука,
Умолк, застыл штурвал;
А ночь — угроза моряка —
Таит зловеший шквал;
Он мчится к нам издалека,
Вскипел — и в тьме пропал.
Пучина ужасов полна,
А мы глядим вперёд,
Туда, где знойная страна
Красотками цветёт.
Не спи, матрос! Стопан вина,
И в руки — мокрый шкот!
Мы в гавань с песней хоровой
Ворвёмся, как враги,
Как барабан — по мостовой
Весёлые шаги!
Проснись, угрюмый рулевой,
Темно; кругом — ни зги!

1909



Иллюстрация художника Саввы Бродского
к «Бегущей по волнам» А.Грина

ПЕСНЯ ИЗ РАССКАЗА «ВОКРУГ СВЕТА»

В Зурбагане, в горной, дикой удивительной стране,
Я и ты, обнявшись крепко, рады бешеной весне.
Так весна приходит сразу, не томя озябших душ —
В два-три дня устанавливая благодать, тепло и сушь.
Там в реках и водопадах словно взрывом сносит лёд;
Синим пламенем разлива в скалы дышащие бьёт.
Там ручьи несутся шумно, ошалев от пестроты;
Почки лопаются звонко, загораются цветы.
Если крикнешь — эхо скачет, словно лошади в бою,
Если слушаешь и смотришь, — ты, — и истинно, — в раю.
Там ты женщин встретишь юных с сердцем диким и прямым,
С чувством пламенным и нежным, благородным и простым.
Если хочешь быть убийцей — полюби и измени;
Если ищешь только друга — смело руку протяни.
Если хочешь сердце бросить в увлекающую высь —
Их глазам, как ворон чёрным, покорись и улыбнись.

1916

**ПЕСНЯ АЯНА ИЗ РАССКАЗА
«ПРОТИВ БУРЬ»**

Свет не клином сошёлся на одном корабле:
Дай, хозяин, расчёт!..
Кой-чему я учён в парусах и руле,
Как в звездах — звездочёт!
С детства клипер, и шхуна, и стройный фрегат
На волне колыхали меня;
Я родня океану — он старший мой брат,
А игрушки мои — руслена!..

1910

**ПЕСЕНКА ПРОХОЖЕГО ИЗ РАССКАЗА
«ЖИЗНЬ ГНОРА»**

Забвеньё — печальный, обманчивый звук,
Понятный лишь только в могиле,
Ни радости прошлой, ни счастья, ни мук
Предать мы забвенью не в силе.
Что в душу запало — останется в ней:
Ни моря нет глубже, ни бездны темней.

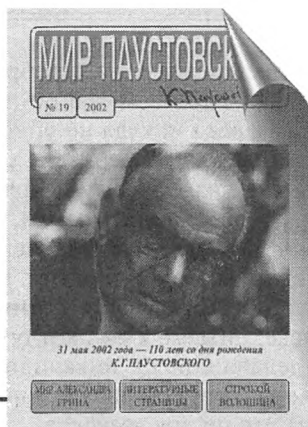
1912

**СТИХИ БЕРГАНЦА ИЗ РАССКАЗА
«ЗУРБАГАНСКИЙ СТРЕЛОК»**

У скалы, где камни мылит водопад, послав врагу
Выстрел, раненный навывлет, я упал на берегу,
Подойди ко мне, убийца, если ты остался цел,
Палец мой лежит на спуске; точно выверен прицел.
И умолк лиса-убийца; воровских его шагов
Я не слышу в знойной чаще водопадных берегов.
Лживый час настал голодным: в тишине вечерней мглы
Над моим лицом холодным грозно плавают орлы,
Но клевать родную пададь не дано своим своим,
И погибшему не надо ль встать на хищный возглас их?
Я встаю... встаю! — но больно сесть в высокое седло.
Я сажусь, но мне невольно сердце больно обожгло.
Каждый, жизнь целую в губы, должен должное платить,
И без жалоб, стиснув зубы, молча, твёрдо уходить.
Нет возлюбленной опасней, разоряющей дотла,
Но её лица прекрасней клюв безумного орла.

1913

Подборка стихотворений Александра Грина печатается по книге «Стихотворения и поэмы», изданной Кировской областной научной библиотекой им. А.И.Герцена и Клубом «Вятские книголюбцы» в 2000 году.



ИЗ АРХИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПИСЬМА Н.Н.ГРИН К С.П.НАУМОВУ

26.V.49.

Дорогой Сергей Петрович! Что случилось с Вами, что до сих пор нет вестей? От Зои узнала Ваш адрес. Как хорошо, что Вы его дали. Они там тоже о Вас беспокоятся, им кажется, что Вы серьёзно болеете. Сегодня буду ей писать. Какая она, видимо, чудесная девочка, от её письма на меня повеяло фиалкой, ароматом чистой и нежной юности и стало жалко свою усталую, в неволе, душу. Пишет дитяtko: «Знаете, меня сейчас мучит совесть, вообще — и почти каждый день каюсь, но обстоятельства и всё прочее складываются как-то так, что дело не двигается...» — это о непсланном Вам табаке. И ещё: «Отчества мне ещё не полагается... и я не люблю, когда меня называют на «Вы»...» Ну, что за милая прелесть! Давно у меня на душе так не цвело, как от её девичьего письма. Пишите, Сергей Петрович, о себе всё подробно и откровенно. Письма друзей — это же единственная радость для нас, стариков одиноких. Пишите подробно о быте, работе —

это, Вы знаете, как важно знать. Я собою весьма недовольна, меня жестоко терзает тоска о Крыме, словно с ума схожу. Ведь понимаю, что невозможно. Хочется засунуться головой в угол и даже не дышать. Кроме того болею. Сердечно жму Вашу лапу.

Н.Грин
Печора

В марте получила ещё три книги А.С. Читала диссертацию М.Шагинян о Шевченко. Кишмя кишу в мыслях об А.С., а писать не могу — люди <нрзб.>

17.VI.49.

Дорогой Сергей Петрович!

Не обижайтесь, что пишу на клочках. Пишу в корпусе, в свободный от работы промежуток, конверт, случайно, был в тетради, а бумаги-то не было.

Очень обрадовалась Вашему письму и погрустила за Вас. Нехорошо, что Вам морально трудно, это самое горькое в нашей несчастной жизни. За два дня перед тем я получила от Вас треугольник, помеченный 4.IV!!! А т.к. я 10 или 7.VI послала уже Вам

МП: Знакомство Нины Николаевны Грин с Сергеем Петровичем Наумовым было почти случайным. До её ареста, в сороковых годах, они встречались, как она пишет, «не более трёх-четырёх раз». Очевидно, что в то время эти случайные встречи ни в дружбу, ни в близкое знакомство так и не переросли. Позже, уже в заключении, они несколько раз видятся в лагере, на пересылках. Но, скорее всего, и эти эпизоды особого следа в душе Нины Николаевны не оставили. Другое дело — Сергей Петрович Наумов. Для него-то новые встречи с Ниной Грин имели куда большее значение. Ещё в заключении он упорно разыскивает её координаты, а найдя, — сразу же начинает

забрасывать её длинными письмами. Нина Николаевна отвечает ему, и в результате (к её изумлению) их переписка длится около двенадцати лет.

По сути своей это обращение растерянного человека, не нашедшего себя в жизни после ареста и освобождения, за поддержкой и утешением к личности куда более сильной, которая, несмотря на тяготы лагерных лет, полна энергии и уверенно движется к поставленным ей самой целям. Такими целями для Нины Николаевны были издание книг её мужа и главное — спасение и восстановление дома в Старом Крыму, где она провела с Грином последние полтора года его жизни.

Освободившись из заключения, Нина Николаевна сразу же погружа-

ется в активные хлопоты. И тем не менее, она при этом регулярно и обстоятельно отвечает на письма Наумова. Поддерживает его, помогая советом, деньгами (которых, кстати, у неё было не так и много), посылками: отправляя Наумову то трубку, то пишущую машинку с пачками бумаги.

Необычайно твёрдый характер Нины Николаевны в сочетании с её неизменной добротой и чуткостью, которые так ярко раскрываются в этой переписке, несомненно помогают нам лучше понять ту роль, которую играла эта удивительная женщина в жизни и книгах Александра Грина.

Письма Н.Н.Грин публикуются впервые.

Галина КОРНИЛОВА

закрытое письмо, то и решила на запоздавший треугольник не отвечать. Письмо послано по адресу, данному Зоей.

Как видно, Вас окружают серые и интеллигентные рамоли. И самые страшные — это интеллигентные рамоли, с воспоминаниями, от которых по телу бежит гусиная сыпь, мелочные, брызгливые и придирчивые. Как жаль мне Вас, попавшего среди таких. Но не отчаивайтесь, и не стремитесь уезжать. Пройдёт время и Вы будете среди живых людей. Здесь я встретила некую Воронинку, большую из I лазарета, что стоит против Вашей колонны. В лазарете есть книги, газеты, драмат. кружок, на постановки которого водят людей с Вашей колонны. Постарайтесь при очередном посещении связаться с фельдшером Ткаченко, он, говорят, любезный человек и в его ведении находится всё, что читается в лазарете. Вот и будет Вашей душе утешение. Постарайтесь попасть в лазарет, — там будете среди живых людей. И берегите своё здоровье. Это самое главное.

Как тяжело — есть ещё остатки сил, которые можно истратить на что-либо хорошее, полезное, а ты должен прозябать, ожидая дня, грустного вообще, здесь же особенно, своей смерти.

Не теплее была и наша всена, — препоганая. 20.V я шла на дежурство в шубе и валенках, то же и 6–7 июня. Только последние дни потеплело. Живу и работаю всё там же, теперь больница имеет № 3, а не 1. Пишите по такому же адресу, как написали последнее письмо.

Февраль, март и начало апреля крепко болела. Что-то сделалось с левой ногой, периодически наступали такие сильные боли, что шагнуть не могла. Рентген показал воспаление подвздошно-крестц. костей. Аскорбиновая кислота к сегодняшнему дню успокоила боли, теперь чувствую их очень редко.

А в России-то у нас во многих местах вместо «н» говорят «м». И я всегда любила, когда меня звали «Миколавна», а отца «Миколай» Сергеич. И сама очень люблю говорить «аж» и «чаво», несмотря на «интеллигентное» удивление.

За сообщение о вятских газетах благодарю. А.С. никогда не вспоминал, чтобы что-либо там печатал, м.б. — перепечатки, но теперь и это весьма ценно. Сообщу своему постоянному об А.С. корреспонденту и попрошу его навести справки.

Живу мечтой всё о том же, душе. А потом день затмил её. Но в глубине души остался отблеск пережитой радости и надежды, чёрт возьми, — должны стать реальны. Когда прочла Ваши строчки о солнце, представилось мне, что Вы один, в тюрем. камере, и луч солнца на минуту согрел Вашу душу.

Всего, всего Вам доброго желаю.

Н.Грин

* * *

16.XII.

Только сегодня собралась послать Вам письмо. Эти все дни полны событий и нервности. Была комиссовка с представителями спецчасти и нас, заба-

лансовых, списали с историей болезни на переброску. Что сие значит, не знаю. Работаем всё по-прежнему и говорят — «из лазарета никуда не уйдёте, это проформа», но, конечно, не очень верится. Хотя вещей не собираю, — тоже не знаю почему, по чему-то внутреннему. Вчера распространились слухи, что всех инвалидов «собирают». Куда? Зачем? Почему? Отчего? — а никто на вопросы эти не отвечает. Что слышно у Вас? Отпишите, пожалуйста. С сегодняшнего дня мы на переброске, питаемся по I котлу!

После комиссовки делала список инвалидов с большим количеством вопросов, по нашему корпусу. Другие корпуса тоже. Это не для лазарета.

Фу-фу, как хочется всё знать вперёд! И не тащить чемоданы в такой холод...

Всего Вам доброго и, главное, здоровья желаю.

Н.Грин

Накануне комиссовки во сне смотрела в зеркало и на шее у меня не было чёрного ожерелья, которое всегда ношу. Что сие?

* * *

12.XII.51.

Дорогой Сергей Петрович!

Чудеса из чудес, — Вы существуете. В каком-то месяце прошлого года я получила Ваше письмо и, к удивлению моему, из Печоры. Корреспондент я вежливый и аккуратный, — ответила немедленно и через некий промежуток времени получила своё письмо обратно — «за выбытием адресата», как было написано на конверте. Я поняла, что Вас куда-то увезли, помня наш с Вами уговор, — искать через Зою, — написала ей. Ответа не получила и решила, что человеческие жизни, видимо, кончаются без нашего на то желания. Тем более, что за последние годы я непрерывно теряла навсегда тех, кто ещё связывал меня с прошлым: потеряла брата А.С., Веру Павл. — знаете Вы её с моих слов?

И писем я, Сергей Петрович, почти не получаю теперь. Ох, как это нехорошо, страшно...

Сегодня же неожиданно подходит ко мне вновь прибывшая девушка и спрашивает — есть ли у меня родственники или знакомые в Инте. «Конечно, нет», — говорю. «А вас в санвагоне какой-то человек разыскивал, дал адрес и просил немедленно написать», — передаёт бумажку, где не Вашим почерком написан Ваш адрес.

Ей-ей, обрадовалась — цела душа человеческая, Мафусаилова! Спасибо, что нашли меня.

Расскажите всё, что происходило с Вами за эти 3 с лишним года, что Вы делаете?

О себе — мне очень плохо, климат. Косью действует очень тяжело на моё сердце, — силы гаснут с каждым днём, уже не могу работать и даже рукодельничать тяжело. 100 км. от Печоры, а разница колоссальная. Уже месяца два как прошу перевести меня в б-цу с/х Иоссер, там сердечникам значительно легче. А ведь хочу ещё побывать на могиле А.С. Обещали перевод, но обещанного обычно долго ждут. Тоска о синем море и золотой земле моей ухудшает моё физическое состояние, но ничего с собой

поделать не могу. Пишите мне или открытками или заказным письмом — иначе не получу.

Адрес — г. Печора, ст. Косью, п.я. 274/6-19.

Сердечно жму Вашу руку. Всего Вам доброго и хорошего Нового года.

Н.Грин

Я от брата 8 мес. не получаю писем — не знаю почему. Но на всякий случай, если будете снова разыскивать меня, его адрес: г. Казань, ул. Жуковско-го, д. 28, кв. 29. Конст. Никол. Миронов.

* * *

7.I.52.

Неожиданно, дорогой Сергей Петрович, сбылась моя мечта уехать с Печоры южнее. Позавчера приехала в Иоссер и ещё в поезде стало легче дышать. М.б., ещё поживу. Отсюда писать могу дважды в месяц, а получать сколько угодно. Получили ли Вы моё письмо из Косью? Пишите, пишите чаще; мне никто не пишет, даже брат родной, а я, как на грех, люблю получать письма. Иоссер от Косью — в 100 клм., а какая разница в климате — легче дышать и рожь вызревает в рост человека. Неужели и другая моя мечта — посидеть на могиле А.С. — сбудется? Всего, всего Вам доброго от сердца желаю.

Н.Грин

* * *

2.II.54.

Добрый день, Мафусаил Петрович!

Вы мне напомнили об этом, идущем к Вам имени. Рада была получить Ваше письмо и рассчитываю, что моя открытка уже дошла до Вас. Право же, в том, что Вы годы ищите меня и, разыскав адрес, пишете, не получая ответа, — меньше всего виновата я, т.к. будучи человеком аккуратным и добросовестным корреспондентом, неизменно точно отвечала на все Ваши письма. Что Вы их не получали — моей вины нет.

Но молодец Вы, что нашли моего брата, — надо же было помнить его имя. Я теперь такой памятью не обладаю и иногда кажется мне, что, как-нибудь проснувшись утром, я спрошу своих соседей: «Дорогие товарищи, не знаете ли Вы, как меня зовут?» И вообще такими доблестями, как Ваши, похвастаться не могу, — чувствую себя развалиной, ем и сплю плохо, имею частые приступы грудной жабы, особенно здесь, в Астрахани, бела, как лунь, лыса, как столетний кутила, и иногда с удивлением вспоминаю — я когда-то была молодой, а затем пожилой. Странно. И имею одно-единственное, заполняющее всё моё существо, — желание свободы. Оно так сильно во мне, так поглощает во мне всё остальное, что я подумываю — не начало ли это психоза. Ведь моя мать так и заболела и умерла от мысли, что я несчастлива по её вине, хотя никакой её вины в том не было, а виноваты были наша общая с нею доверчивость и простота и стихийное бедствие.

Я очень рада, что Вы пишете книгу «Начало XX века в Вятке». Когда я была там на пересылке, то расспрашивала местных жителей о многих местах,

о которых знала со слов А.С. Пересылка, напр., стоит на том месте, где он мальчиком бегал по пустырю. Земская больница, где его отец служил бухгалтером до своей смерти в 1913 г., стала детской, очень хорошей больницей. Помнится, будто Вы мне говорили или писали о вятской газете начала этого века, где то ли напечатан рассказ А.С., то ли о нём есть статья. Напишите мне об этом.

Я нигде не работаю, это меня удручает, т.к. по натуре я работающий человек, но на физработы сил у меня нет, да и освобождена я от них по состоянию здоровья, а по специальности — здесь з/к не работают, руки же мои просят работы с большими и душа также — 20-летняя профессия стала частью существа. Много читаю — научилась читать по-мужски. Наслаждаюсь Салтыковым-Щедриным, здесь он — полный. До чего же хорошо! Этот, действительно великий сатирик, никогда не умрёт, он интернационален, — отбросив специфические русские черты. Он во много раз сильнее Свифта, не умирающего в веках. Он должен быть настольной книгой всякого человека. И такая мучительная, горькая смерть и одиночество!

Чуть не забыла о Вашем удивлении по поводу — «полный инвалид». Это правильно медицински, Сергей Петрович. Вы полный инвалид, т.к. Вам 70 лет и требовать от Вас физической работы никто не может — в тех условиях, в каких Вы тогда были. Но это обозначение не звучит — «развалина». Как Вам известно, многие большие люди в этом возрасте чувствуют себя физически хорошо и остро и много работают интеллектуально, неутомительными физич. упражнениями поддерживают своё тело. Но заставьте их зарабатывать физработой хлеб, и они быстро одряхлеют и умрут. Вот потому-то Вы и «полный инвалид». Как Вам известно: «держи голову в холоде, брюхо в голоде, ноги в тепле и 100 лет проживёшь на Земле», — говорит старая русская пословица. Так что не перегружайтесь табаком, вином и 100 лет Вам обеспечены, т.к. обжорой, насколько я знаю, Вы не были.

Так. А теперь — я жажду узнать — зачем Вы были в Крыму, кто предлагал Вам там остаться? Здесь я встретила землячек, от которых узнала, что, хотя в домике, где умер А.С., и стоит корова, но стены и крыша отремонтированы и с апреля прошлого (53 г.) запрещено продавать дома лиц, находящихся в заключении. Это меня бесконечно радует. Если доживу, то, значит, восстановлю обстановку, в какой жил и умирал А.С., и сдам домик-музей Союзу писателей и умру. Это продолжение моей страстной мечты о свободе, для этого-то она мне и нужна.

В настоящее время напряжённо жду ответа на просьбу о снижении срока, поданную мною 3 мес. назад Военному прокурору СССР. Не удручусь, если ответ будет отрицательным, т.к. чувствую, что для нас всех будет облегчение и тогда на общем основании будет и моей душе что-либо хорошее. Жалею только, что я не моложе лет на 15, чтобы все силы свои отдать горячей полезной работе, — хорошее началось время!

Пишите мне, Сергей Петрович, не жалейте чернил, — пишите чаще, а я отвечать буду редко, т.к. ограничена лимитом в 2 письма в месяц. Получать же письма весьма люблю, но мало ими избалована. От брата, например, 2 года не имела, а за это время он много, тяжело болел: было и кровоизлияние в мышцу сердца, и удар. Теперь, слава Богу, ничего. А где Зоя? Учится? В прошлом году попала мне от врача Семёновой Елены Александр. Ваша «Популярная астрономия». Всего, всего Вам доброго желаю. Будьте здоровы.

*Н.Грин
Астрахань*

Если Вы страдаете гипертонией, напишите, — дам хороший медицинский совет.

* * *

18.VI.54.

Сергей Петрович, не обижайтесь на долгое моё молчание. Причина серьёзная: в ближайшее время я уезжаю в Старый Крым! Я счастлива, что дожидая до этой светлой минуты. Хотелось бы мне 8.VII, в день смерти Александра Степановича быть в Москве. Там я должна сделать основательную остановку, т.к. подобна бедному Иову. Основное — буду хлопотать о домике-музее им. А.С., а остальное — как сложатся обстоятельства. Мои планы большие, но отодвигаю их, т.к. не знаю — доживу ли: нервной энергии достаточно ещё, а физической — еле дышу, сил нет, грудная жаба ненавидит ветер, а здесь мы имеем его не меньше, как на 200% в сутки и потому без приступа дня не обходится. Затем жара полупустыни, это Вам не наш благородный мягкий Крым. Иногда думаю — как же я такая бессильная поеду, да ещё работать хочу? Но утешаю себя тем, что воля — это жизненный эликсир, а кроме того имею хорошее, никогда нам не изменяющее русское «авось».

Внешне я будто спокойна и уравновешена, а в душе тарарам от нахлынувших мыслей, забот. Пересматриваю и привожу в порядок все свои записки об Александре Степановиче, перечитываю старые письма о нём, — ведь в 48–49 гг. я их получала довольно много, записываю всё, что мне нужно сделать, — память стала очень короткая.

А знаете, с рукописями, что хранились у брата, нехорошо у меня вышло. Месяца 2 назад попросила переслать одному знакомому в Москву. И не смогла... маленький внук взял их и нечаянно бросил в бак с кипятком; пока брат выловил, они превратились в кашу! И произошло это ещё осенью, — ни слова мне. Советует начать снова писать, — он не знал, что это копии. Весь этот рассказ очень мне не понравился и я попросила его написать правду — уничтожены они или попали в чьи-нибудь чужие руки. О материальной ценности их я писала ему на случай своей смерти. А жена у него нехорошая, злая и жадная. И ответа на это своё письмо не имею, 1½ месяца. Что это, а?! Вот, всё обо мне. Теперь о Вас. Грустно за Вас, Сергей Петрович, — мне так хотелось, чтобы Вы были в семье сына, а Вы оказались беспризорным. В этом отношении Вы, мужчины, в

старости беспомощнее нас, поэтому Вам нужна добрая душа рядом. А добрых душ кроме жены, если Вы с ней прожили много ласковых лет, — не иначе, да родных детей (и то не всегда добрых), добрых душ маловато. Остальное всё — добро от несчастья. От всего сердца, дорогой Сергей Петрович, желаю Вам найти добрую, не суетную и несуетливую старушку, чтобы душа Ваша приютилась и отдохнула. Ведь, насколько я представляю ваше прошлое, — давно, давно Вы не имеете домашнего уюта и заботы. Когда-то думала я дожить до глубокой старости с Александром Степановичем, что может быть прекраснее её, полной воспоминаний о ласково прожитых многих годах? Не удалось, как не удалось и детей иметь. Значит, так мне судьбой положено, я рада, что рассыпалась моя жизнь с доктором Нанием, духовно чуждым мне человеком. А я бы, по обязательности своей натуры, могла протерпеть её до конца дней своих. Теперь мне хорошо, духовно свободно; ни хорошего, ни плохого нет, но есть долг перед памятью одного и любимого. Жаль только, что всё это расхождение произошло так трагично и грубо... Но зато душевное богатство, скопленное за жизнь с А.С., помогло мне перенести всю тяжесть прошлых 13 лет.

В потере Вами глаза виноват, конечно, Ваш окулист, в течение многих лет не замечавший такого большого недостатка, ну, и Вы тоже. Что Вы не знали, что он у Вас больной? Почему не напоминали? Но это ничего: ограничьте себя в вечернем чтении и письме, а с одним глазом можно всю жизнь прожить. Мой племянш потерял глаз в 7 лет и блестяще окончил институт инженер. водн. транспорта. Сколько тонких чертежей надо было делать!

Мария и Катерина не старо-крым., а застрявшие ленинградские дачницы. Мария — педагог, комсомолка.

Желаю Вам всего, всего доброго, сердечно жму Вашу Мафусаилову лапу.

А знаете, до чего я счастлива? Так страстно ждала я этих дней, с верой что будут. Это вторые «Алые паруса» в моей жизни. Чем дальше, тем будет светлее. <нрзб.> Жди чуда и оно придёт, лучшее из рук человеческих.

*Н.Грин
г. Астрахань*

* * *

24.X.54.

Как ни откладывала ответ Вам, Сергей Петрович, рассчитывая, что я лучше по пути в Москву брошу в почтовый ящик письмо, не удалось мне это до сих пор. А дольше не отвечать будет уже просто невежливо. Правда?

Так вот — Вы задаёте мне вопрос, какие перспективы у меня на будущее, кроме инвалидного дома? Отвечаю: никаких перспектив на инв. дом, — в это место я не пойду, никогда; если увижу, что бессильна жить — без огорчения покончу с собой, — значит, скажу себе, — овощу пришло время. Но т.к. я по натуре оптимист, хотя и зело уставший от не-

взгод последних 13 лет, и кроме того «храбрый портяжка», по словам А.С., то собираюсь, приехав в Москву, во-первых получить из из[дательст]-в недополученный гонорар за 3 книги, вышедшие без моего разрешения, затем я везу 15 печ. листов воспоминаний об Александре Степановиче. Если благодаря лиричности и интимности их нельзя будет издать отдельной книгой, то в Литмузее их охотно возьмут. Кроме того ещё много мною об А.С. написанного сдано в Литмузей ещё в 1941 г. с правом напечатать в журнале «Лит. архив» и право получить на 3000 рб. фотоснимков для музея им. А.С. Это — то, что даёт мне право чувствовать фундамент под ногами. А затем Союз писателей, организация музея им. А.С. и работа над извлечением биографического из его произведений. Видите, сколько дел мне предстоит, — были бы только силы. Заболею — любая больница примет меня в свои недра и проводит, когда придёт назначенный каждому срок, ad patres. Быть м/сестрой я уже не имею сил. Две семьи моих лагерных друзей зовут меня жить к себе и ждут, — не хочу. Одиночества хочу! Хоть год, два — но умереть одинокой, ни в чьей семье. Я часто мысленно разговариваю с А.С. и матерью и говорю им — «скоро я буду с вами». Это не мистика, а жизненность их образов во мне и чувства «настоящести», того тепла, что они мне давали. Книги же А.С. поддерживают во мне чувство, что это мои дети, которые ещё увидят свет и будут любимы. Я и об этом буду хлопотать. Как видите — желания хорошие, только бы силы. А я обессиливаюсь, снова лежу в больнице. Сил имею не больше, как на 30 копеек. Как Ваш глаз? Больше всего думайте о нём. Не обижайтесь, что я ничего не спрашиваю о Вашей жизни. Вы и так напишете. В самую последнюю минуту баночка с чернилами упала на конверт! Вот оказия! Сердечно жму Вашу лапу и желаю истинно Мафусаилова века.

Н.Грин

Вчера получила сообщение, что дело моё разбирается и требование характеристики. Что-то будет?!..

* * *

28.I.55.

Вот, вот и чудеса в решете, Сергей Петрович! — Ваше письмо из Москвы! Хорошо. Радуюсь за Вас. Прямое движение к верхушкам всегда лучше почтовых путей. Очень довольна я, что у Вас будет пенсия — это фундамент, а к нему, даст Бог, Вы и остальное приложите. Это у Вас восстановление пенсии или наново, — по возрасту? Пишите все подробности, они меня весьма интересуют, т.к. мне, м.б., тоже об этом придётся просить, — я ведь за А.С. получала пожизненную академическую пенсию. Буду теперь знать, что личное ходатайство должно сопровождаться письменным, следовательно, заранее всё приготовлю. А что Вам предлагали в Феодосии, Днепропетровске, Владивостоке? Работу? Какую? Что Москва? Как Москва? Приветлива ли, иль сурова? Вашим московским впечатлениям я всего больше поверю, а то уезжают от нас женщины и,

если пишут из Москвы, то это или истерические вопли, что манна небесная сама в рот не падает и, что, подумайте! — Москва даже не понимает — кто в неё вернулся... или ахи и охи восторга чисто дамского. Ни то, ни другое не даёт мне разумного представления о ней.

У нас много уходит по разбору. Сижу и жду своей очереди, — на что-то экстра, т.к. разбор мне ничего не даст, — я же всегда признавала свою вину, как Вы знаете. Думаю — старье, как я, отпустят раньше, чем придёт положенное мне время — т.е., 8¹/₂ мес. Нервно измоталась отчаянно, т.к. душа страстно горит желанием побить на дорогах могилах, в дорогом моём Старом Крыму. Собрала книгу воспоминаний об А.С. Не всё, конечно, вспомнилось, — для воспоминаний требуется питательная среда, т.е. обстановка, стимулирующая воспоминания, — чего здесь и быть не может. Во всяком случае основное, дающее мой образ А.С., сделано и это, думаю, явится основным фундаментом моего будущего доживания. Ни на чём остро мыслей не фиксирую — бесполезно — всегда происходит не так, как тщательно раздумывая. Одно знаю, — должно быть, — в противном случае возьму и умру. Без истерики — а просто тогда нет во мне необходимости жить. А как интересно стареть — словно движешься по жизни с длинным веерообразным трэнном желаний, надежд, вкусов, стремлений, и, чем выше ты поднимаешься к концу жизни, тем длиннее и шире этот трэн, и как узок он у ног твоих. Я никогда не считала, что человек спускается к концу жизни, нет — он доходит до высшей точки понимания её и отбрасывает всю суету сует.

Ещё и ещё раз сердечно радуюсь за всё достигнутое Вами, Сергей Петрович, и жму Вашу руку. Я знаю, вернее, представляю, как Вы намучились душевно за 1¹/₂ года.

*Н.Грин
Астрахань*

* * *

19.II.55.

Добрый день, Сергей Петрович! Второе Ваше письмо из Москвы получила. Спасибо. Но пока я воробей пленённый и очень хотела бы, чтобы по мне из пушки Москва выстрелила, т.к. нет ничего нового, — для таких, как я. Получила отказ, а потому, видимо, должна ждать все 8 мес. Нет сил ещё писать. Чувствую себя скверно — съедают болячки, слабость, и сжигает жажда простора. Засыпаю и просыпаюсь только с этой мыслью. Письмо Ваше хотя и большое, но довольно бестолковое, — видимо, гостеванье сказывается, — я из него не могу понять, получили ли Вы работу, где собираетесь жить, что с Вашей пенсией. В общем, Вы пишете так, как будто я всё знающая, вчера выехавшая москвичка, а я уже 14 лет отделена от человеческой жизни. Если не умру за это время, то увижу и Москву, и Ленинград, и море. Жму Вашу руку, Мафусил Петрович.

Н.Грин

Привет Юле, — я её «заочно» помню.

* * *

4.VI.1955 г.

Здравствуй, Сергей Петрович!

Позавчера получила Ваше письмо. Потрясена до умопомрачения! Оказаться в инвалидном доме... Никак не думала, что это с Вами так быстро может случиться. Но надеюсь, что не надолго. Не хотела бы этого для Вас. А, может, Вам это нравится? Много людей вокруг, не один в комнате и т.п. прелести. А?

Я понимаю, что Вам, больному, некуда было деваться. От всего сердца желаю Вам скорее попасть в Алма-Ату. Ведь Ваш казах может ещё немного авансировать на дорогу. Алма-Ата — прекрасный, я слышала, город, полный фруктов; подумать, — что такая беда пресекла Ваш хороший путь... И, знаете, что мне ещё кажется, — что Вы очарованы тавдинскими лесами, ведь по наклонностям — Вы северянин. Тогда Вы будете выдумывать всякие предлоги (для самого себя), чтобы накрепко пришвартоваться к ним. И тогда, конечно, хорошо — быть там, где души утоление.

С февраля я не имела от Вас известий и решила — что-то случилось. Предполагала — не перегрузились ли Вы московскими впечатлениями и возлияниями, — это для Вашего возраста опасно. Радуюсь, что болезнь оставила Вас, — учтите, что ангина, опять-таки в нашем возрасте, опасна.

Сегодня мне осталось 4¹/₂ месяца. Моё, как Вы знаете, страстное желание жить и умереть в Старом Крыму, — туда и поеду. Вчера провожала домой свою старо-крымскую землячку, — она обещала написать всё — и о домике, где умер А.С., и об отношении ко мне и всякие другие известия. А знаете ли Вы, что балет «Алые паруса» возобновлён в блестящей постановке. Об этом сообщалось по радио и в газете. Кроме того — в нынешнем году запланирован выпуск 2-х его книг; был о нём диспут в Москве (этого он, бедный, и при жизни не имел) — люди со вкусом очень хорошо о нём говорили. О нём пишется прекрасная монография. И я имею счастье читать её. Если бы А.С. был жив, она дала бы ему много радости. Умная монография. Так что моя уставшая душа рассчитывает укрыться в его тени до конца дней своих. Всё кладу на судьбу и никаких трудных мыслей не допускаю, решив — всё равно не знаю, как и что произойдёт — так зачем же травить себя. Всё хорошее приму с радостью, плохое — с мужеством: в инвал. дом не пойду — я сыта житьём со старухами. Если не смогу себя прокормить, доберусь до Старого Крыма, поброжу по всем местам, где было душе моей хорошо. И рассчитаюсь с жизнью. Вот и всё.

Всего Вам доброго желаю, главное — здоровья и удачи. Пишите. И просьба к Вам, Сергей Петрович, — пишите пожалуйста, немного поразборчивее, а то Ваше письмо прочесть — мука. Очки же у меня очень слабые. Не обижаетесь?

Н.Грин
г. Астрахань

* * *

11.XI.55.

Дорогой Сергей Петрович! Получила Ваше письмо. Дела мои пока не движутся, т.к. главные мои помощники пока ещё в «заграницах», деревнях, домах отдыха. Съедутся в конце ноября и обещали, что начнут действовать. Не велели мне самой ничего начинать. Обещали, что будет мне хорошо, и, дав денег на житьё до их возвращения, укатили. Жду. А пока работаю в архиве литер., пересматриваю собранное мною имущество А.С., переписываю перечень для себя. Говорят о перспективе издания полного собрания сочин. А.С. в ближайшие 3 года. Скоро выйдет сборник «Избранное», книга А.С. включена в серию Детгиза — «Библиотека приключений». В архиве перепечатаваю его повесть для детей, нигде не печатавшуюся, кое-какие заметки, стихи и пр. Чувствую себя очень слабой и усталой. Обещан дом отдыха в Крыму. Пишите. М.б. куда-либо сходить по В. делам? Жму руку.

Н.Грин

Вам известно, что по амнистии судимость с Вас снята?

* * *

31.I.56.

Дорогой Сергей Петрович, получила сразу два Ваших письма, т.к. давно не была на почте. Спасибо за поздравление и память. Надеюсь, когда-нибудь Вы поедите у меня именинный пирог. Пока же движения в моей судьбе малые. Собираюсь с силами, начну поход в Совет Мин. по поводу автор. права. Я имею и юридические и нравственные права. А так как я оптимист, то не теряю надежд. Пока же, подаю на пенсию, месяца через 1¹/₂ будет ответ. Надеюсь получить. Маленькую работку по рассказам А.С. сделала — несколько тысяч получу. Это любезность ко мне. Т.ч. ближайший, этот год, проживу. Я же забочусь о покое до смерти и о справедливости, — ведь мы с А.С. так всегда нуждались, почему же мне, уставшей, теперь не отдохнуть? Верно?

Об А.С. до 50 года писали, большинство совсем плохо; с 1950 стали с лёгкой руки Тарасенкова и Вайдаева поливать грязью со всех уборных, как «космополита» — видите ли. Громили не только А.С., умершего, — ему было всё равно, — а и всех живых, преданных его памяти. Следы этого разгрома в виде страха заступиться или заговорить в печати о Грине сохранились до сих пор. Ну, а государство смотрит несколько иначе и на ближайшие 2 года запланировано 6 книг А.С.; одна выходит в ближайшие дни (специал. список книг); к 40-летию советской власти включён том его произведений. Так что в этом, как видите, всё встало на своё место, и я страдаю, что он не дожил до этих минут и его бедная душа ушла, считая себя ненужной. Уверена, что, если бы его не травили, он жил бы.

<...> В Москве я прописалась, при въезде, по справке ССП, на 3 мес. — временно — на наличную жил. площадь у знакомых. В январе мне продлили

ещё на 3 мес., живу до середины апреля. У Вас много знакомых; кто-нибудь приютит. Справку откуда-нибудь возьмите, что Вы по таким-то важным делам едете в Москву. Я получила для работы в архиве.

Ваше первое письмо полно желчи и яду. Я с Вами согласна, но, верьте, без мусора и бриллиантов не бывает. Но, сэр, написать Воровская ул.!.. Какая неграмотность!!! ул. Воровского, 52 — ССП. Понятно?.. Жму, «старина», Вашу лапу. Берегите, лечите глаза.

*Н.Грин
Москва*

А я слову «бабушка» радуюсь. В автобус меня всегда подсаживают и с передней площадки. Удовольствие.

* * *

17.II.56.

Сергей Петрович, добрый день! Посылаю Вам трубку. Курите на здоровье и ни о каких компенсациях и думать не смейте. Послала бы Вам и калоши, но, во-первых, с деньгами не так густо, а во-вторых, их бандеролью нельзя послать. Стоять же в почтамте в посылочном — настоящая каторга.

Теперь буду ругать Вас. Бога ради, не сравнивайте меня никогда ни с какими большими женщинами литературы, да ещё с Анной Григорьевной, этим монументом терпения, любви, практичности, деловитости, самоотверженности. Я пигмей. Просто малая женщина, крепко любившая Александра Степановича и за ответную его большую любовь сердечно ему благодарная. Я — его утешение и на большее никогда не претендовала. Во всех его издательски-редакционных делах я не помогала, — он категорически отвергал все мои к этому попытки, говорил: «Хватит мне в этом болоте купаться; чтобы ты ещё свою душеньку туда окунала — не хочу». А я всегда хотела быть и делать, как он хочет. И умом я смела, а в действиях — нет. В результате, пробыв здесь 4 месяца, всё сижу у моря и жду погоды. Другая, практичная, из того доброго отношения, какое я встречаю, уже дом бы себе выстроила, а я только недавно смогла купить себе дешёвое бумажное платье. Другая давно шумела бы: «Приведите в порядок дом, где умер Грин», — а я прошу и жду ответов. И, верьте, так иногда устаю от своей во всём несобранности, доверчивости и неумения «провести дело», что хочется всё бросить и умереть.

Подумайте, какое окаянство: А.С. дарил мне стихи, маленькие шуточные рассказы, пьески. В 1930 г., когда ему было сказано Тарсисом, что печатать будут только его новые вещи, он начал писать автобиограф. повесть. Писал с отвращением, было ему это очень тяжело. А в это время мы с ним читали старое «Путешествие в Южную Америку» — Ионина. Оно ему очень нравилось, мне тоже. Я и предложила: «Напиши мне из этого рассказик». «Нет, мы не так сделаем. Ты придумывай, что хочешь, а я буду писать. Это будет мой хороший отдых от автобиографии». И вечерами он писал, сидя со мной, эту повесть. Я придумывала имена и дей-

ствие. Так, не торопясь, очень нескоро она была написана. Закончив, А.С. подарил мне её, сказав: «Это твоя детская повесть».

И я хранила её и ничего о ней не говорила, считая, что это моё интимное, подарок, как стихи и пр. Повесть эта была литературно несовершенна, не профессиональная работа. В 1941 г., после того, как без меня, однажды, в предыдущем году произошёл неб. дом. пожар, я всё рукописное, всё, всё сдала Бончу с тем, что я получу в любое время копии со всего для себя и организуемого мною тогда музея им. А.С. На 3000 р. Оставила себе только одно стихотворение А.С., чтобы почерк его был около меня. И что же? Теперь эта наша и моя повесть не может быть мною напечатана, т.к. я потеряла авторские права. И ни одно стихотв., ни один рассказик, мне подаренные, не мои. Прав на печатание их я не имею (материальных). А печатать её хотят, и это теперь спасло бы меня от нищеты! Справедливость, где же ты? Меня делают чужой А.С. Какая жестокость! В ближайшие дни пойду в ЦК.

Монография об А.С. будет хорошая. Вчерне я её знаю. Умная, серьёзная, не трафаретная. Имя А.С. смело сейчас все препоны: в Гослите вышел «сигнальный» избранного, в план внесены ещё 2 тома, в «Библ. приключ.» Детгиза — 1 том. Там же сборник «Алые паруса»; я его составляла и за это мне заплатили 3000 рб. — это подарок за А.С. И самое важное: А.С. включён в список книг совет. писателей, выпускаемых к 40-летн. юбилею сов. власти. Жить бы и жить ему теперь, бедному...

Вот, Сергей Петрович, какие дела! Ваше письмо об Анне Григ. очень интересно. М.б., Вы напишете подробнее и пришлёте мне. Я хоть связей не имею в редакциях, но смогу найти интересующихся этим. В «Огоньке» или «Литгазете». Только пишите разборчиво, а то почерк Ваш может на месте убить редактора. Мы жили, не думая о смерти и юристах, а потому надписей нигде дарствен. нет. Но и тоже, если бы были, мне нельзя печатать. А что про жену Некрасова? Это про Панаеву? Ничего не знаю. Пишите. Желаю Вам доброго здоровья. Разве можно уезжать из Д. ин.? Крепко жму Вашу руку.

*Н.Грин
Москва*

* * *

16.III.56.

Сергей Петрович, Вы, должно быть, думаете — ну, и поросёнок же эта Н.Н. — пишу ей и, как в «бочку Данаид». И я чувствую себя действительно поросёнком. И никакие извинения не помогут. Одно извинение — старость — не укладываешься в день с необходимейшими делами — заторможенность движений, быстрая утомляемость. Много приходится писать литературоведу — письма по 8–10 страниц, опустошающие нервно. Работа в архиве — очень она мне к сердцу — век бы там сидела — но много в день не сделаешь и ездить туда далеко, а архив ещё не весь просмотрен. Сергей Петрович, расскажите мне о Вятке тех лет, я буду писать биографию А.С. и

мне интересен аромат её из чужих уст. Ничего, что я Вас об этом прошу?

Дела мои всё ни «тпру», ни «ну» — вчера получила обещание, что через 10 дней меня как-нибудь устроят. Тогда поеду в Крым. Я нравственно измучилась здесь. И устала. Персон. пенсию и думать нечего — служба во время оккупации.

Вы лирически вздыхаете — какая я была и какая встретила на Печоре. Что Вы думаете, год голодный пробыть в тюрьме, да ещё тьма душевных болей даром даются? Да и вообще 10 лет даром мне дались? Я зверски свободолюбивый человек и, если я своё заключение начала со счёта дней оставшихся мне до конца и счёт этот был моей утренней и вечерней молитвой, то немного от такого человека остаётся к концу. Единственно, что меня спасало — железные нервы, которые я ещё больше скручивала разумом и... оптимизм: я твёрдо верила, что не можем мы окончательно погрязнуть в зле и деспотизме, что взойдёт солнце, задышит полнее грудь. Я счастлива, что дожила до этой минуты. И что зло признано злом... Но от всей меня осталась маленькая старушонка вся в долевых и поперечных морщинах, почти лысая, беззубая и очень утомлённая, но по-прежнему радующаяся каждому утру, возможности дышать, видеть мир, ходить по земле и прощать. Мудрость — это великая радость настоящей старости. Лет же мне — 62.

А я уже беспокоилась, что трубка затерялась. Ваш автопортрет успокоил меня. Сердечно желаю Вам всего доброго и пенсии. Жму Вашу лапу, сэр Мафусаил.

*Н.Грин
Москва*

Самое-то главное и запомнела. А.Ф.Достоевский, инженер, живёт в Ленинграде. Интересны Ваши письма о Достоевском. Вы читали старое, старое издание «Времени» — ленингр. изд-ва, д.б., 30-х год. — Ст. Цвейг — Бальзак, Диккенс, Достоевский. Страстно, с любовью о Ф.М., но трудно, почти, как сам Достоевский, читаемо и интересно.

* * *

20.V.56.

Прямо беда мне с Вами, дорогой Сергей Петрович! Опять приходится начинать письмо с выговоров! Но сначала сама извинюсь, — не сердитесь — отвечаю на все Ваши 3 письма. Верьте, не имела сил и времени. Что значит старость! Не справляюсь с тем, что определяю себе сделать на день.

Первое и самое для меня главное. Вы пишете, что хотите прославить Грина и сделать его большим человеком. Что похоже, что Вы любите его больше, чем я (подчёркнуто Вами).

Помилуйте, Сергей Петрович! Зачем Вам делать Грина большим человеком, прославлять его. Он — большой человек, по-настоящему большой человек, потому что был большим художником и остался до гроба верен своему представлению об искусстве; будучи большим, он был скромн. Прославлять его тоже не надо. Книги его сами славят его имя.

А у Вас черта старого газетчика, — реклама прежде всего. Да ещё газетчика эпохи славословия.

Вятка в жизни А.С. — боль и горечь. И никогда он не начинал там писать и печататься. И никогда она не давала ему радости. Я всё-таки ведь знаю биографию А.С., и основательно, не по случайным верхам. И приступаю к его имени так, как он этого хотел бы. Я уважаю его, а не рекламу. Настоящее, поверьте мне, никогда не пропадёт. И я жалею, горько жалею, что А.С. так и не увидел плодов своего труда истинного художника-писателя. Но не зря он говорил, что настоящий писатель обладает долголетием благодаря своим книгам.

А что повесить в Вятке кое-где доски?.. Кому это надо, тот сделает. Важно другое — книги выйдут и успех их потрясающий — 225.000 в 2 дня и плюс 75.000 «Бегущей по волнам» отдельно. Я счастлива, что хоть я дожила до этого.

Так. Ругнула. Теперь дальше. Что это за выдумки?! — Вы не желаете машинки, оплатите за трубку?! Как Вам не стыдно?! Ведь и машинку-то я пришлю только тогда, когда у меня будет много денег. Я их жду. А не будет, — так и машинки не будет. Вам, кажется, неизвестно чувство товарищества?

И последнее: если в своих воспоминаниях о Вятке касаетесь А.С., — ничего не выдумывайте. У меня зверский нюх на всякую отсебятину. И она не нужна А.С. Вот теперь, раз я жива, а для А.С. наступила хорошая пора, я не дам о нём «сочинять». Только реальные факты. Хватит легенд, что о нём при жизни ходили. В 1946 г. некий Л.Борисов выпустил об А.С. книгу с прекрасным заглавием «Волшебник из Гельгю» и порочным, пошлейшим содержанием...

* * *

20.VI.56.

Сергей Петрович! Вы вправе на меня основательно сердиться, я не ответила на 5 Ваших писем. Но, считая себя виноватой, прошу снисхождения. Я зверски замыкалась со своими делами, жарой, ездой к знакомым на дачу. В настоящий момент сижу не без дела, но на облегчённых действиях, — жду денег, хожу в архивы и собираюсь уезжать.

На все Ваши письма отвечаю, лишь приехав в Ст.Крым. Теперь напишу о себе: мой оптимизм, вечное ожидание лучшего и вера в него, дал свои результаты. Совет Министров утвердил ходатайство Союза о единовременном мне пособии денежном из гонорара за «Избранное» Александра Степановича. На ближайшие пять лет я живу спокойно, если буду жива, — дай-то, Господи! Пенсия «возобновлена» — академическая, по Ал.Ст. с постановления 1932 г. — 75 рб. в мес., но с октября по-иному. Как видите, я благоустроена. И некоторым лицам из ССП я навсегда глубоко благодарна. Долго я билась, как рыба о лёд равнодушия как раз знакомых мне писателей, а помогли мне незнакомые, сердечно и добро.

Теперь, дорогой, машинка Ваша. Не сетуйте, что старая. Я на ней здорово хорошо писала. Она имеет несколько мелких недостатков, о которых напишу при отправке, но ещё поработает.

Так вот: я не знаю, куда и когда её послать. В Тавду-то знаю, но когда Вы вернётесь и каков Ваш теперешний адрес, не знаю. Если от Вас до 2-го июля не будет вестей, пошлю её Вам в Дом Инвалидов. Пока она дойдёт, да месяц будет законно лежать, Вы и вернётесь. Напишу зав. Дом. Инв. письмецо с просьбой задержать её отправку обратно. А в Феодосию мне её везти не резон. Вот пока и всё. Если будете писать после 2.VII — то по адресу: г. Феодосия, ул. Войкова, д. 20. Вл. Ник. Гончарову для Н.Н.Г. Это мои друзья.

Как хорошо и покойно мне стало. Сердечно жму Вашу руку и желаю всего доброго.

*Н.Грин
Москва*

* * *

25.VI.56.

Великий вятский брехун, Сергей Петрович! Только что получила Ваше письмо от 2.VI. Почему шло так долго? Нет... нет... посмотрела ещё раз и увидела в приписке 18.VI. Вот как Вы по карманам таскаете письма! Я, увы, не слаонервная дамочка и валерьянку мне нечего принимать, читая Ваши рассуждения, что я хочу А.С. оставить без Вятки. Конечно, не хочу, но дело вятичей позаботиться о сохранении памяти их сородича. Я, конечно, помочь им могу. Но заботиться об их городском интересе должны они. А в Ст. Крыму — я. Понятно!

За последнее время я стала очень язвкатая, щиплю пёрышки у разных брехунчиков, вроде Смиренского, Борисова и пр. Вы говорите, что без брехунов никогда не обойдётся. Да я и не отрицаю их право на существование: они будут писать «своё», а я в печати — печатно, а не «непечатно» буду сообщать только одно: «сей муж заврался, проверить можно там-то». И больше ничего. На Ваши письма о Вятке и А.С. отвечу из Ст.Крыма, я 2–4.VII уезжаю туда. Одно скажу, — не сердитесь, пожалуйста, — поросёнок Вы беззастенчивый. Вы даже элементарной биографии А.С. не знаете и гордо рассуждаете об окончании А.С. вятского Александровского реал. училища. Чудовище Вы! Ну, об этом поговорим позже. А тому, что Вы пока не поехали, радуюсь очень, т.к. я не знала, что мне делать с пиш. машинкой. Не везти же её в Крым. Завтра узнаю, как её послать, и послезавтра, д.б. вышлю. Приложу к ней пачку бумаги, 2 пачки копирки и 2 запасных ленты. Она была хорошим мне другом, — пусть и Вам таким же будет. Футляра на неё нет. Познакомьтесь с нею, узнаете её недостатки. Они не очень велики. Старый же она человек!

Вы понимаете, Сергей Петрович, дела у меня хорошие. На душе легко, тепло и грустно: я пожиная плоды трудов А.С., а он пожинал только тернии. Совет Министров дал мне из гонорара А.С. «как исключение» один раз, — и я на несколько лет скромной жизни обеспечена. Пенсию возобновили — 75 р. я получала после смерти А.С. и сказала, что с 1.X буду получать 300. Я ещё не могу привыкнуть к мысли, что старость моя не в нищете и

не в изнуряющем труде. Сердечно жму Вашу руку, желаю здоровья.

*Н.Грин
Москва*

Пишите пока на Москву — моя хозяйка перешлёт.

* * *

13.VII.56.

Дорогой Сергей Петрович!

Конечно, Ваше письмо на день раньше моего приезда пришло в Феодосию. Я сердечно рада Вашей радости. Помогите Вам Бог в работе. И твёрдо Вам говорю — не изощряйте своей фантазии и не придумывайте мне никакого подарка. Я уже получила его в той радости, какой пронизано Ваше письмо и в перемене Вашей фамилии на Счастливец. Это-то и есть для меня человечнейший из подарков. Так, сэр?

Выехала я из Москвы 10.VII в великолепнейшем автобусе «Москва–Симферополь». Хотелось повидать свою страну. Ехала до Джанкоя, а там до Ф. поездом. Мягкие, полулежачие кресла, чистый свежий воздух, дорога — шёлковая лента, 60–70 клм. в час. И через 26 ч. я была уже в Джанкое. Теперь лежу, — отекала. Это — от изменения атм. давления. Полежу — пройдёт, тогда поеду в Ст. Крым. Домик, где умер А.С., буду восстанавливать сама, могилу — Литфонд. Очень я счастлива и покойна, судьбе и Александру Степановичу благодарна. Сердечно жму Вашу руку и желаю доброго здоровья.

*Н.Грин
Феодосия*

* * *

27.VII.56

Дорогой Сергей Петрович! Я погрехаюсь (можно так сказать, а?) под лавиной Ваших писем и благодарных слов. Ну, разве можно так? Верите ли, — я конфужусь. Выходит, что Вы совершенно не приучены к человеческому вниманию. Это грустно... Не смейте больше меня благодарить, а то хочется плакать. Я эту машинку получила так же, как и Вы. И она несколько месяцев была моим верным другом, т.к. давать что-либо в переписку я была не в состоянии.

Каковы мои дела? Ей-богу, превосходны. Я получила гонорар за вновь вышедшую книгу А.С. Это увесистая сумма, которая даст мне возможность спокойно, не думая о завтрашнем обеде, прожить лет пять. А за это время, если буду жива, напишу биографию Александра Степановича, организую вновь маленький музей его имени. И тогда законно помру. Я благодарна Александру Степановичу и нескольким живым людям, которые помогли мне. Всю осень, зиму и полвесны я жила почти в отчаянии от темноты, неизвестности, страха перед своим старческим будущим. Теперь всё хорошо.

Пока не отдыхаю. Езжу целые дни: Феодосия, Ст. Крым, Коктебель, Симферополь, — по делам почти рухнувшего домика, где умер А.С., и могилы его. Заказала ограду, домик будет наново строиться.

Дела выше головы, а на душе тихо, покойно и благодушно.

Сердечно жму Вашу руку и желаю хорошо отдохнуть от своего «дома» в Кунгуре. Будьте здоровы. Пишите.

*Н.Грин
Феодосия*

Разве Вы не получили моё письмо из Феодосии? Н.Г.

* * *

3.IX.56

Что с Вами, Сергей Петрович? То Вы меня обсыпали письмами, я в граде их терялась и даже не успевала отвечать. То замолчали накрепко. Что с Вами? Не заболели ли? Иль что случилось? Последнее письмо от Вас я получила из Кунгура, где Вас родные ублажили. Я живу спокойно, счастлива, что в своём дорогом Ст. Крыму. Привезла из Симферополя ограду для могилы А.С. Проходила мимо дома Тренёва — мемор. доска висит. Пишите. Желаю Вам здоровья.

*Н.Грин
Ст. Крым*

* * *

1.XI.56.

Дорогой товарищ Геннадий Несчастливцев!

Похоже, что Вы здорово обиделись на меня за то, что я коршуном налетела на Ваши «измышления» по поводу А.С.Грина. И напрасно. Ведь Вы же несомненно знаете знаменитое выражение: «врёт, как очевидец». Понятно?

А всё-таки, вижу я, что заедает Вас серая, мучительная, несусветная тоска и одиночество. Если бы не почтенный возраст Ваш, запили бы Вы. Не надо так, Сергей Петрович... Возьмите, голубчик, себя в руки. Вы — человек, проживший длинную содержательную жизнь, много видевший, наблюдавший. Неужели нет у Вас жизненных итогов, с которыми Вам хотелось бы поделиться? работа над которыми дала бы Вам чувство «цели в жизни»? Ведь без семьи или цели в жизни очень трудно жить и доживать. Тогда всё окружающее ранит, особенно, если оно лагерного типа. И, не ставя себе «цели», можно погибнуть от отчаяния. Индом казался Вам прекрасным после усталости 10-летнего лагеря. Теперь, после отдыха, заговорили Ваши настоящие человеческие чувства, Вам хочется быть в другой жизни. Это так естественно. Но... но... «нужно терпеть». Так сказала мне молодая моя приятельница, когда я, ища выхода в жизнь, билась в Москве около 8 мес. во все двери и получала отказы. Жила на литфондовские подачки, ничего не имея в перспективе, — ни родных, ни угла, ни самого необходимого. И самое главное, — никаких физических сил для работы. Когда отчаяние моё было так велико, что мысль, противная моей натуре, о насильственной смерти стала очень часто посещать меня и я уже несколько раз прицеливалась броситься под поезд метро, — смерть, по-моему, дающая всего мгнове-

ние страха, — перешагнуть перрон. И цель у меня в жизни была, но не было никакой надежды её осуществить. И, как видите, терпение довело меня до нужного.

Бейтесь изо всех сил за новую пенсию. Тогда стряхнёте с себя осточертевший Дом и заживёте одиноко. Я так счастлива, что одна; наслаждаюсь быть владыкой своего времени, дел, и даже еды.

Почему Вы не сообщили мне, получили ли «Бегающую по волнам»? Я беспокоюсь, т.к. книг А.С. у меня очень мало.

Сегодня получила чудесное письмо от одного из старых почитателей А.С., молодого моряка. Письмо писано в рейсах по Атлан. океану, послано с ост. Диксона, полно хороших молодых человеческих чувств и наблюдений. Письмо молодого, живого, любящего жизнь, природу, книги, хорошо думающего о жизни, не стандартно. Он с женой был у меня в Москве; юношей с товарищем пришёл пешком в Ст. Крым на могилу Александра Степановича. Оба пленили меня. Много хороших светлых людей, почитателей А.С., ко мне приходят. Недавно была целая экспедиция (географо-геолог. от Ак. Наук). Они, уже не очень молодые люди, но старые почитатели А.С., всюду ездят с его книгой. Сообщили, что в 1946 г., будучи в экспедиции на южных Курильских островах, наименовали один мыс именем А.С., он занесён на карты; координаты его обещали прислать мне из Москвы.

А на меня, Сергей Петрович, не обижайтесь. Право, не стоит. Ведь не обидеть я Вас хотела, а берегу образ А.С. от «нагрузок», которых много он и в жизни нёс. Представьте себе, что, ещё в начале моего знакомства с А.С., жена его большого друга предупредила меня: «Бойтесь Грина; вы нравитесь ему, а он убил свою первую жену и был за это на каторге». Ну, а А.С. в первый же год нашей женитьбы познакомил меня со своей бывшей женой и мы были с нею приятельницами почти в течение 30 л. И много разных легенд про него ходило.

За сим жму Вашу руку, сэр Несчастливцев, и желаю Вам доброго здоровья.

*Н.Грин
г. Ст. Крым*

Вашу записку от Кундина получила. Воспоминания прочту, когда буду в Москве. Ваш «Иванов», но, к сожалению, не «Павел», видимо, «кусочек дряни», как выражались на Печоре. А почему бы мне бояться Вас? Я тем же миром мазана. Прочтите № 10 «Нов. Мира». Талантл., умная статья Щеглова об А.С.

* * *

8.II.57.

Сергей Петрович, дорогой, не обижайтесь, что не отвечаю на письма. Тону в делах и поручениях. Теперь пишите на Ст. Крым. Д.б., — 15–16.II выеду. 10 т. на восстановление домика А.С. имею уже. Хлопочу остальные 10. Начало положено. Устала смертельно. Желаю удачи в делах Ваших. Жму лапу.

Н.Грин

* * *

8.IX.57.

До чего, — о Господи! — Мафусаилы бывают легкомысленны... Ну, разве можно так, дурак Вы, почтеннейший Сергей Петрович Наумов! Ведь Вы отбиваете всякую охоту сделать человеку маленькое удовольствие... Зачем прислали платок?! Он Вам нужнее... Чтобы я больше никогда Вам не писала? Экий восторженный человек!.. Поймите, что это моей душе удовольствие. А с платком — не удовольствие, а кислота. Лучше бы написали подробно и спокойно, как прожилось лето, уехали ли к родным? Заботится ли о Вас Зоя? На меня не обижайтесь, голубчик, что я пишу редко и мало. У меня в делах наивысшая точка кипения, — крымский обком заинтересовался — почему не построен домик А.С. Вышло переиздание «Избранного», в Детгизе — «Золотая цепь», «Дорога никуда». У Вас есть в библиотеке? В общем, А.С. доходит до восьмой сотни тысяч экземпляров, а в домике, где он умер, куры и дрова. Культура! Караул! Всё лето были гости. Всё лето безводие. Все силы истрачены. Еле дышу, но, представьте, дышу. Этакая двужильная старуха!

Всего, всего Вам, в тишине уральской, доброго желаю. Главное, здоровья и нормальной пенсии. Жму Вашу Мафусаилову лапу.

Н.Грин
г. Старый Крым

* * *

19.II.58

Сергей Петрович, голубчик, не сердитесь и не обижайтесь на меня за долгое молчание. Но, — ей-ей, — мне с конца ноября так всячески трудно, что ни душевных, ни физических сил не было писать. С 4.II лежу с тромбофлебитом левой голени, в полной неподвижности и с перспективой пролежать не менее месяца, таково требование хирурга. Вздёрнулось кровяное давление, резкий упадок сердечной деятельности. А перед тем, — в декабре, лёгкий паралич языка, пролежала почти три недели, а в январе — пищевое отравление, — пролежала больше недели. А в промежутки — дела, дела и дела, а я на всё — одна. Но для домика А.С. всё купила, что надо, заказала все фотокопии с фотографий и рукописей, часть получила уже. А реальных решений ещё не имею и вдобавок запрещено волноваться.

Поэтому лежу и вспоминаю, — кому давно не писала. А Вы давно у меня на совести лежите.

Ведь всё воюю за участок земли под домик Александра Степановича. Видимо, дойду до Цека. Похоже, иного выхода не найти.

В Москву выехала, как пуля, увидев после гриппа, что на том участке, который должен быть отведён под домик Александра Степановича, построен новый сарай-монумент для кур первого секретаря.

С тех пор и толкусь по этому делу. Сочувствующих, ахающих по этому делу много, а помощников — мало.

А поспею, Сергей Петрович, сердечно жму Вашу руку, желаю доброго здоровья. Больше писать не могу, — силушек нет.

Н.Грин
г. Москва

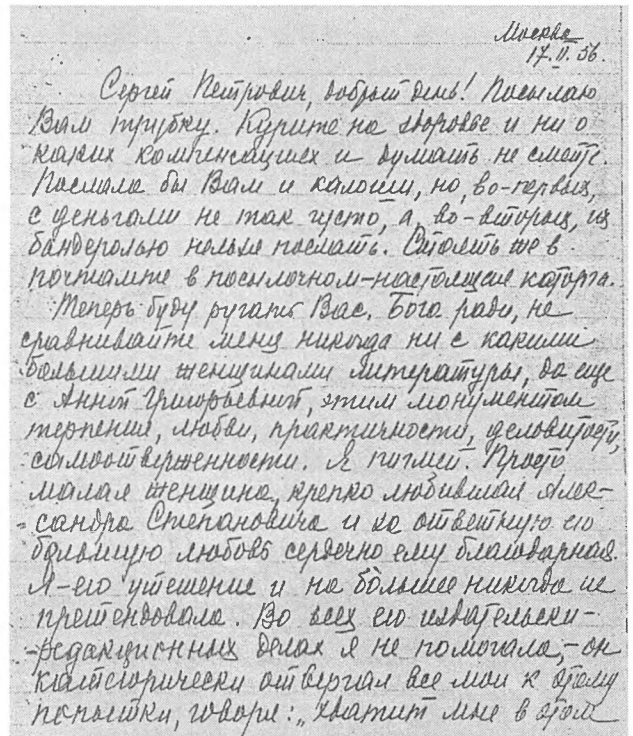
Тяжела ты, шапка Мономаха. Мало у меня сил. Никак не оторвать от первого секретаря 600 м² для прекрасного писателя А.Грина. Ему, кроме этих 600 м², ещё остаётся 1400 м², но кулацкие задатки, видимо сильны в нём и на чём сидит его зад, оторвать от того он не в силах, я уверена, даже для Ленина.

* * *

15.XI.58.

Драгоценнейший Сергей Петрович Наумов, до сегодняшнего дня я была, — надеюсь, и до смерти ею останусь, — Ниной Николаевной Грин, а сегодня из Вашего письма узнала, что я Виктор Александрович... Тронута, сэр, сердечно благодарю. С юных лет я мечтала быть мужчиной, наконец-то, это в старости удалось. Испокон веков считала мужской ум — настоящим умом, а женский, в большинстве случаев, — «дамским». Не в обиду Вам будь сказано, в Вашем, сэр, уме часто проглядывают черты «дамские». Это не сердитость, кою Вы видели от меня в достаточном количестве, а просто дружеская дерзость.

Кроме того, сэр, Вы, д.б., не знали, что я атеистка, что для меня — религия, всякая и всегда, идёт путём крови и насилия. Не даёт ли тому ярчайший пример наше знаменитое христианство? Появился среди иудеев умный и кроткий человек Иисус.



Страницка письма Н.Н.Грин к С.П.Наумову из Москвы в г.Тавда, 17.02.1956 г.

Проповедовал любовь к ближнему в век зла, и насилия, и сумасшедшего произвола и эгоизма. Сердца угнетённых обратились к нему, видели в нём свет. У него, как у всякого говорящего «новое слово», нашлись ученики. Кое-что прельщало в нём этих учеников, мы, конечно, теперь и представить не можем за дальностью веков. Одних, м.б., прекрасные его слова, других тайное тщеславие, — быть среди тех, к кому с мольбой и радостью обращаются взоры и сердца людей. И распяли Иисуса за это, и сразу же ученики стали «творить легенды». И прежде всего почтеннейший и практичнейший Павел. Простое и человеческое, говоримое Иисусом, стало обростать словесностью, обрядами, примерами, притчами, «его словами», придуманными учениками для возвышения образа умершего. Если ради пользы «дела» и привиралось, то века смыли грань между истиной бывшей и истиной выдуманной. Поначалу лили кровь христиан, как последователей Иисуса, мысли которого вносили в привычное мирозерцание нечто новое, нарушающее привычный строй жизни. Ну, а затем «христиане», став силой, начали проливать потоки крови наихристианнейших христиан. Чего стоит одна инквизиция? А борьба между религиозными сектами? А иезуитизм? А борьба между христианскими религиями? А борьба с язычеством и иными древними религиями? Люди не хотят думать о потоках злодейски пролитой крови человеческой из-за религии... А стоило бы! Тогда бы че-

ловек больше думал о чистоте своей совести, понятии тоже относительном, но более реальном, чем бог — понятие совершенно ирреальное. Понятие бог только показало, что человечеству на земле несвойственно жить без главнокомандующего, — в каком бы виде он ни подавался.

По сей причине молитвенников я не имею.

Ваше нелепое предложение «делать гешефт на домике Грина», звучит столь грубо и бездарно, что на него даже обидеться нельзя. От него пахнет уже не «дамским умом», а вульгарным «бабьим умом». И как Вам не стыдно? Мне казалось, что Ваше нутро и ум чище... На самом же деле это какая-то Передоновщина. И не сержусь я на Вас, так как за такую глупость считаю ниже собственного достоинства сердиться. Ничтожно...

Если бы Грин был жив, то «славу» — он ел бы в достаточном количестве, — два его сборника разошлись уже в миллионе экземпляров; переведены уже «Алые паруса» на польский, немецкий, испанский и итальянский. И пойдут дальше по всему свету.

А жене его славы никогда не было нужно, при жизни его ей было важно чутать его любящую дружескую руку на своём плече, а после смерти его, под сенью его имени, делать всё, чтобы память о нём сохранилась не в извращённом виде.

А Сергей Наумов арестант, потому что хочет быть им. Я была настоящей арестанткой, но внутренне чувствовала себя свободной. Свобода, как и чудеса, живёт в нашей душе. Ищущий её вне себя всегда останется бедным.

Вот так-то, Сергей Петрович...

Всего Вам доброго желаю, а главное — свежесть мысли, а то Вы её словно на корде гоняете.

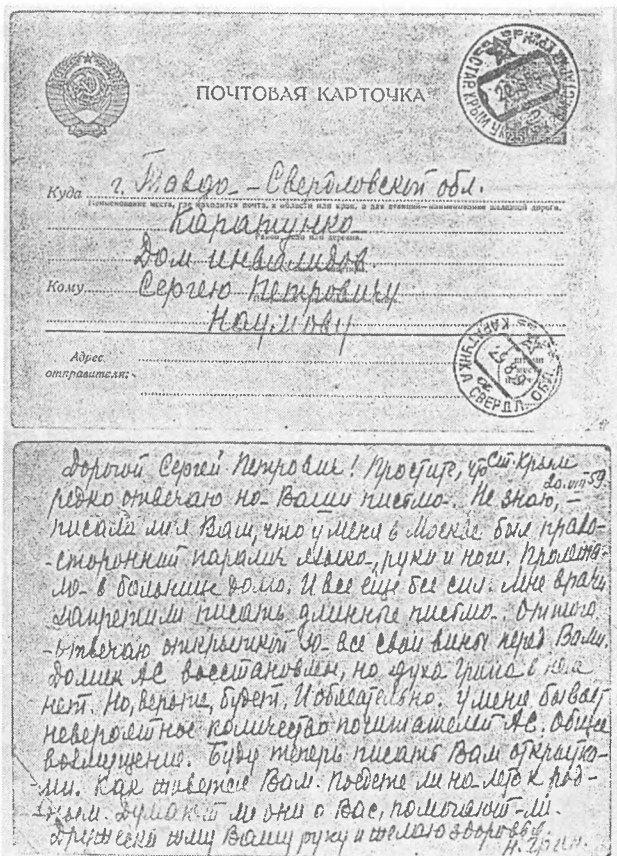
Н.Грин
Ст. Крым

4.XII.59.

Дорогой Сергей Петрович!

Не обижайтесь, что я так долго не отвечаю на Ваши письма. Но укатали сивку крутые горки, сказались 3½ года борьбы за домик Александра Степановича.

Он был восстановлен, но драгоценный антипартиец Иванов вселил в него районный архив, грозно сказав: «Пока я жив, нога её не ступит в этот дом...» И начал меня травить, да как, — с треском, улюлюканием, обвинил во всём, что ему приходило в голову, — от того, что я за 2 г. до смерти бросила А.С. и он умирал голодный даже не в этом домике, до обвинения в шпионаже. Я долго терпела, считая, что со сплетней же нечего считать, а потом, дойдя до предела терпения, поехала в обком и принесла офиц. жалобу на него и его компанию, обвиняя их в клевете на меня и требуя пресечения этого. Представила список лиц-свидетелей, их адреса. Людей, которым они всякие гадости про меня говорили самолично. И в это же время было объявлено, что ст.-кр. район ликвидируется. Просплетничали его подлецы, он стоял на последнем месте. И Иванов с К° уехал из



Открытка Н.Н.Грин к С.П.Наумову из Старого Крыма в г.Тавада, 1959 г.

Ст. Крыма, а мне по моей просьбе дали разрешение жить в домике А.С. и сделать в нём всё, что я нахожу нужным для сохранения памяти А.С.Грина. Теперь осталось выселить оттуда, и я обрету, наконец покой. Но расплачиваюсь за всё здоровьем, лежу в Феодосии больная, — плохое состояние сердца вследствие тяжёлого физического и нервного переутомления. Еле хожу, с трудом говорю.

В новом райкоме, к которому принадлежит теперь Старый Крым (Кировский райком, бывший Ислам-Терек), мне обещали, что недели через 2 домик будет свободен. Теперь мне нужно здоровье и я его ищу. Вот и вся моя эпопея. Я почти счастлива, мешает только сильнейшая физическая слабость и нравственная усталость.

Сердечно жму Вашу дружескую лапу, Мафусаил Мафусаилович, и желаю доброго здоровья. Если редко пишу, не обижайтесь, Вы представить не можете моей рабочей нагрузки. Она не по возрасту и силам. Всего доброго.

*Н.Грин
Феодосия*

* * *

Добрый день, Сергей Петрович! Сердечно радуюсь, что Вы лечите глаза и что Вам лучше. Глаза — это наша жизнь. Вы, видимо, лежите в больнице, т.к. адрес на конверте написан неизвестной рукой.

И радуюсь, что что-то сдвинулось в Вашем пенсионном деле.

Вы не волнуйтесь, что не видели своего приговора. Многие его не видели, и я тоже. Некоторым же даже на руки выдавали, с такими же статьями и

пунктами; видимо, каков поп (в данном случае прокурор), таково и отношение. Думаю, что в конце концов Вы попадёте на внимательного человека и Ваши дела уладятся.

О Машеньке, Сусанне и её сестре не знаю ничего. Ведь это были случайные знакомые; душевной связи с ними не было и о судьбе их не задумывалась.

У меня нынче было интересное лето. Около 400 человек почитателей А.С.Грина перебивало у меня за лето. В основном молодёжь. И какая! Всякие профессии, всякие возрасты... И какие среди них чудесные, образованные, умные люди. Я уставала, но наслаждалась видеть, какое чудесное поколение вырастает. Настоящие люди. И писателей много было, а о домике ещё ничего не знаю. Жду со дня на день секретаря союза.

Очень много работаю над материалами Александра Степановича, над библиографией и биографией его. Написала краткую строго хронологическую. Собираю материал на более обширную.

Почему Вы не прислали мне адрес Зои и брата Вашего? Пришлите.

Сердечно жму Вашу руку, желаю Вам доброго здоровья и благополучия.

Недавно думала о странности нашего с Вами знакомства: встретились мы с Вами в жизни всего считанное количество раз, — не больше 3–4 в сороковые годы, да в заключении раз 5, а переписываемся уже, д.б., лет 12. Чудно...

Последнее Ваше письмо много спокойнее предыдущих.

*Н.Грин
Ст. Крым*

ДЕЛО НИНЫ ГРИН

Заключение прокуратуры Автономной Республики Крым
в отношении ГРИН Нины Николаевны
По материалам архивного уголовного дела № 9645

Приговором Военного трибунала войск НКВД Крыма от 26 февраля 1946 г. в закрытом судебном заседании в г. Феодосии

Грин Нина Николаевна, 1894 года рождения, уроженка г. Нарвы Эстонской ССР, русская, по социальному происхождению и положению служащая,

беспартийная, со средним медицинским образованием, вдова, не судимая, до ареста не работала, проживала в г. Старый Крым Крымской области, ул. К.Либкнехта, 47

на основании ст. 58–1 «а» УК РСФСР подвергнута лишению свободы с отбыванием в исправительно-

МП:

В архиве Главного управления Службы Безопасности Украины в Крыму хранится недавно рассекреченное судебно-следственное дело Нины Николаевны Грин (1894–1970), той самой женщины, которая была протитипом лучших женских образов в произведениях Александра Степановича Грина. Ей писатель в 1922 году «поднёс и посвятил» свои знаменитые «Алые паруса». На руках её в 1932

году он и скончался. Она основала в Старом Крыму Дом-музей А.С.Грина и покоится ныне, согласно её завещанию, в одной с ним могиле. В 1971 году, через год после смерти Н.Н.Грин, её останки были тайно перезахоронены её душеприказчиками; об этом факте стало широко известно лишь в 1990 году.

В этом обширном деле, насчитывающем более 400 листов, сосредоточены документы и материалы о

следствии и суде над Н.Н.Грин в 1945–1946 годах, о предпринимавшихся ею в 1956, 1958 и 1965 годах попытках добиться реабилитации (эти попытки положительных результатов не дали) и, наконец, о последовавшей 5 декабря 1997 года реабилитации, до которой Н.Н.Грин, скончавшаяся 27 сентября 1970 года, не дожила 27 лет 2 месяцев и 8 дней...

*Сергей ФИЛИМОНОВ
доктор исторических наук, профессор*

трудовых лагерях НКВД сроком на 10 лет, с поражением в политических правах на 5 лет, с конфискацией всего лично принадлежащего ей имущества.

Согласно приговору, Грин Н.Н. признана виновной и осуждена за то, что, оставшись проживать на временно оккупированной немцами территории в г. Старый Крым, добровольно поступила на службу к ним на должность редактора фашистской газеты «Официальный бюллетень Старо-Крымского района», издаваемой на русском языке, одновременно исполняла обязанности заведующей районной типографией, где работала с января 1942 г. по 15 октября 1943 г.

Будучи редактором газеты, Грин Н.Н. имела тесную связь с немецкими карательными органами, где согласовывала все вопросы, касающиеся редакции.

Под руководством Грин Н.Н. своевременно обеспечивался выпуск вышеуказанной газеты, в которой печатались статьи с контрреволюционной клеветой по отношению к Советской власти и пораженческого взгляда на Красную Армию и восхвалением фашистского режима на временно оккупированной территории СССР.

Боясь ответственности перед органами Советской власти, Грин Н.Н. в январе 1944 г. бежала в Германию, где находилась до июля 1945 г., а затем в порядке репатриации была возвращена в Крым, чем изменила своей Родине, что предусмотрено ст. 58–1 «а» УК РСФСР.

Изучив материалы архивного уголовного дела, считаю, что Грин Н.Н. подлежит реабилитации в соответствии со ст. 1 Закона Украины от 17 апреля 1991 г. «О реабилитации жертв политических репрессий на Украине».

Допрошенная на предварительном следствии и в суде, Грин Н.Н. виновной себя признала в том, что работала заведующей типографией, а затем редактором бюллетеня в г. Старый Крым, а затем добровольно выехала в Германию. Она показала: «До оккупации я проживала в г. Старый Крым и работала медсестрой в солнцелечебнице. При немцах с 29.01.42 г. я стала добровольно работать за типографией в г. Старый Крым по выпуску «Официального бюллетеня Старо-Крымского района». С 1.01.43 г. я работала редактором «Официального бюллетеня Старо-Крымского района». В марте типография немцами была закрыта, по какой причине — не знаю.

Будучи за типографией, я с первых же дней занялась восстановлением типографии, которая немцами была разорена, и по указанию горуправы я её восстановила. Первоначально печатала различные бланки для горуправы и других организаций, а также документы. Позже эта типография стала печатать «Бюллетень», который выходил один раз в неделю, так как типография была маленькая.

Будучи редактором «Бюллетеня», я в первую очередь беспокоилась о своевременном выпуске его, где всегда печатались сводки, которые, безусловно, были лживыми, но я другого сделать не могла. Кроме того, в «Бюллетене» печатались различные статьи антисоветского характера, которые перепечатывались из газеты «Голос Крыма». В ортскомендатуре я бывала часто по поводу проверки печатания различных бланков и документов с их разрешения. Должность заведующей типографией мне предложили в горуправе, и я на это согласилась, так как в это время у меня было тяжёлое материальное положение. Я имела на иждивении большую умалишенную мать и поэтому согласилась работать в типографии. Выехать из Крыма, то есть эвакуироваться, я не могла, так как у меня была старая больная мать и у меня были приступы грудной жабы. Выехала я в Германию в январе 1944 г., боясь ответственности за то, что работала редактором. В Германии я работала вначале рабочей, а затем медсестрой лагеря. Я виновной себя признаю



«Бегающая по волнам».
Работа скульптора Татьяны Гагариной

полностью во всё. Безусловно, весь материал, который печатался в типографии, был антисоветского характера. Я не отрицаю, что, будучи завтипографией и редактором «Бюллетеня», я к работе относилась добросовестно. Оклад мой был вначале 600 руб., а затем 1100 руб. в месяц. Я вину свою сознаю, но прошу суд учесть мою болезнь, преклонный возраст и строго меня не наказывать, так как хочу Родине принести ещё пользу в части восстановления Дома-музея моего покойного мужа писателя Грина и солнцелечебницы».

Первоначально на предварительном следствии Грин Н.Н. было предъявлено обвинение по ст. 58–3 и 58–10 УК РСФСР, но по указанию прокурора её действия были переквалифицированы на ст. 58–1 «а» УК РСФСР. При рассмотрении обвинительного заключения в отношении Грин Н.Н. военной прокурор войск НКВД Крыма квалифицировал её действия по ст. 58–3 и 58–10 УК РСФСР и утвердил обвинительное заключение именно по этим статьям.

При рассмотрении дела в подготовительном заседании 20 февраля 1946 г. Военный трибунал войск НКВД не согласился с переквалификацией действий Грин Н.Н. и предал её суду по ст. 58–1 «а» УК РСФСР, считая, что в её действиях имеются признаки измены Родине.

В 1959 г. по заявлению Грин Н.Н. производилась проверка обоснованности её осуждения. В заявлении она не отрицала свою работу в период немецкой оккупации на должностях заведующей типографией и редактора «Официального бюллетеня Старо-Крымского района». Объясняла это материальной нуждой. Кроме того, она указала в заявлении, что в сентябре 1943 г. принимала активное участие в спасении от расстрела 13 советских граждан, арестованных немцами в качестве заложников за убийство немецкого офицера.

Часть опрошенных свидетелей [...] (указаны 4 фамилии. — С.Ф.) подтвердили факт ареста 13 заложников и участие Грин Н.Н. в их освобождении.

В 1967 г. по повторной жалобе Грин Н.Н. было проведено дополнительное расследование по вновь открывшимся обстоятельствам. В ходе данного расследования ещё раз был подтверждён факт работы Грин Н.Н. на должностях заведующей типографией и редактора «Официального бюллетеня Старо-Крымского района», и её жалоба была оставлена без удовлетворения.

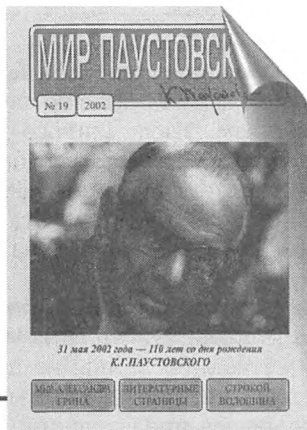
Из имеющихся в материалах уголовного дела фактических данных усматривается, что Грин Н.Н. в период Великой Отечественной войны не принимала участия в карательных акциях против мирного населения, не занималась предательством и не оказывала в этом пособничества. Отдельные свидетели подтвердили тот факт, что Грин Н.Н. принимала участие в спасении от расстрела советских граждан, которых в дальнейшем отпустили домой.

Таким образом, Грин Н.Н. не совершила действий, предусматривающих ответственность за измену Родине, а поэтому отсутствует совокупность доказательств, подтверждающих обоснованность её привлечения к уголовной ответственности, и в силу ст. 1 Закона Украины от 17.04.1991 г. «О реабилитации жертв политических репрессий на Украине» Грин Нина Николаевна подлежит реабилитации. Грин Н.Н. арестована 12 сентября 1945 г. Из мест лишения свободы освобождена в конце 1955 г. по амнистии.

*Начальник отдела прокуратуры
Автономной Республики Крым
старший советник юстиции
(подпись)*

Справка. Сообщение о принятом решении не направлялось ввиду отсутствия заинтересованных лиц. Сведений о месте нахождения Грин Н.Н. и её родственников в деле нет.

*Утверждаю:
Зам. прокурора Автономной Республики Крым
государственный советник юстиции 2 класса
(подпись)
05/XII-97 г.*



В МОЕЙ БЛАГОДАРНОЙ ПАМЯТИ...

Юлия ПЕРВОВА

НОЧЬЮ НА КЛАДБИЩЕ

Нина Николаевна Грин скончалась в Киеве 27 сентября 1970 года.

Ещё в 1965-м она составила духовное завещание, начинавшееся словами: «Прошу похоронить меня в ограде Александра Степановича в промежутке между могилой А.С.Грина и могилой моей матери Ольги Алексеевны Мироновой. Прошу моих душеприказчиков Юлию Александровну Первову и Александра Аркадьевича Верхмана выполнить пункты настоящего завещания».

30 сентября наш поезд остановился в Симферополе, заплаканные друзья вынесли гроб из специализированного вагона. А затем началась фантазматика: местные власти отказались исполнить волю покойной. Председатель старокрымского исполкома Поздеева сказала: «Она ведь была пособницей фашизма и бросила Грина за год до смерти».

Информация эта не имела к истине ни малейшего отношения. Во время войны эвакуации из Крыма не было. Чтобы кормить больную мать, Нине Николаевне пришлось устроиться на работу корректором в официальный бюллетень Старокрымского района, печатавший объявления. За эту «измену Родине» она отсидела 10 лет в сталинских лагерях. И то, что Нина Николаевна бросила Грина, — обыкновенная ложь. Эти слухи опровергаются дневниковыми записями, которые жена писателя вела в течение года, до самой его смерти. Документы хранятся сейчас в Центральном государственном архиве литературы и искусства.

У чиновников были свои причины мстить вдове Грина при жизни и после смерти. Вернувшись в Старый Крым, застав могила мужа разрушенной, а дом его — превращённым в сарай первого секретаря райкома, Нина Николаевна начала борьбу. В течение десяти лет попытки сделать Домик Грина официальным музеем наткнулись на упорное сопротивление всех инстанций, от которых это зависело. Лишь в 1960 году при поддержке Союза писателей она получила его в частное владение и сделала музей. Незадолго до кончины Нины

Николаевны мы от её имени передали его государству.

Вопрос о похоронах решался масштабно: было созвано четыре совещания на всех уровнях, от районного до областного, а решение всякий раз одно — не разрешать похороны в семейной ограде. Мы позвонили в Союз писателей СССР главному юристу А.И.Орьеву; он очень хорошо относился к Нине Николаевне и тем не менее посоветовал: «Не вмешивайтесь. Пусть хоронят сами». На наши протестующие возгласы ответил: «Тогда можно будет подать на них в суд, а это легко сделать: ограда семейная». Обратились к третьему душеприказчику покойной, литературоведу В.М.Россельсу; он пообещал поговорить в СП, а кроме того, добиться, чтобы опубликовали некролог.

Прошло четыре дня. Все мы (Верхман с женой и я) отпросились с работы, сроки кончались, а вопрос всё ещё не был решён. Гроб с фотографией Нины Николаевны стоял в домике, в её комнате. Люди шли проститься и несли цветы; везде были букеты осенних хризантем. Старушки крестились и удивлялись: «Как это Валька Поздеева не побоялась нарушить волю покойной? Что ж это делается?»

Наконец, третьего октября за Верхманом прислали газик из района — приглашали на переговоры. Председатель райисполкома Планетов сказал, что мы им смертельно надоели, и они решили похоронить вдову Грина сами. Саша ответил, что к вооружённому сопротивлению мы не готовы и в чёрное это дело вмешиваться не станем. Договорились о времени похорон — четыре часа дня. Но машина горкомхоза подъехала к домику в полдень. Собрались жители улицы. Слышались негодующие голоса: «Почему не подождали людей? Нарочно раньше приехали? Дети из школы пошли за цветами!» Некто в штатском вытащил блокнот: «Кто послал?»

Яма на кладбище была выкопана метрах в пятидесяти от ограды Гринов. Рабочие опустили на верёвках гроб. Всё происходило в полном молчании.

Мы стояли поодаль; никто из нас не бросил горсти земли, не сказал ни слова. Те же люди из горкомхоза насыпали холм и водрузили сверху деревянную тумбу кирпично-красного цвета.

Когда мы, подавленные, вышли с кладбища, в киоске на автостанции продавался номер «Литературной России» с некрологом. Правда, подписан он был «частными лицами» — В.Россельсом, С.Смирновым и В.Ковским. Иначе руководство Союза писателей не осмеливалось почтить память вдовы Грина. В траурной статье говорилось: «...Нина Николаевна, сопутствовавшая Грину последние одиннадцать лет его жизни, собирала, хранила и сохранила всё, что могла. Ей мы благодарны за архив писателя, переданный в ЦГАЛИ. Ценность его огромна, он насчитывает 400 рукописей, документов, писем».

Совсем недавно Нина Николаевна передала государству Домик Грина, где она сумела создать для десятков тысяч посетителей ту атмосферу «присутствия Грина», о которой так много написано в книгах отзывов музея».

Время шло. Невыполненная воля Нины Николаевны лежала на душах тяжёлым грузом. Орьев на звонки отвечал: «Сейчас не время, запаситесь терпением». А вот терпения-то как раз и не хватало. Каждая встреча с Верхманом становилась совещанием. Мы решили перезахоронить Нину Николаевну тайно. Задумали это сделать под двадцать третье октября — день её рождения. Проконсультировались у юриста. Выслушав, он посоветовал отказаться от замысла. Самочинные перезахоронения легко подвести под статью УК об осквернении и ограблении могил. Правда, это только в том случае, если поймут до перенесения гроба к могиле Грина, когда цель будет ясна. «Значит, надо спешить», — резюмировал Саша.

Как инженер, он занялся технической стороной операции; по его расчётам, требовалось человек десять-двенадцать. Я, конечно же, была не в счёт — силы не те.

Начались переговоры с потенциальными «соучастниками», но у каждого из тех, на кого мы рассчитывали, именно в конце октября были дела, не позволявшие уехать из Киева. Не набиралось и пяти человек. Обязательно хотел поехать младший сын В.М.Россельса Феликс, но накануне заболел тяжёлым гриппом. «Я догоню», — хрипел он.

Всё шло кувырком. В Москве, откуда мы вылетали в Крым, выпал ранний снег, аэропорт был закрыт. Часа два мы бродили по этажам, не зная, что предпринять. И вдруг — долгожданный вылет. Крым встретил нас солнцем, синим небом и яркими красками цветов в саду нашего друга Виктора Падалко. Это была надежда, резерв — двое симферопольских ребят, два Виктора — Падалко и Павленко, один — экскурсовод, другой — студент-историк. Оба давно ждали этого момента и обещали, что поможет один из друзей Павленко, Николай. Договорились, что ребята приедут вечером двадцать второго и будут ждать нас ровно в семь на автостанции,

около кладбища. Мы же, как всегда на попутках, отправились в Коктебель. Расспрашивали знакомых: что в Старом Крыму, чего ждать, чего опасаться? Оказалось, в прошлом году, когда мы уехали, по ночам у могилы Грина целый месяц дежурили дружинники. Сейчас как будто всё спокойно. Решили, что мне стоит поехать вперёд, привлечь к себе внимание, посидеть вечером на кладбище, посмотреть, что из этого выйдет.

В Старом Крыму я остановилась у нашей знакомой, Субботиной, доброй старухи, которая догадалась: «Могилку Нины Николаевны поправлять? Доброе дело!» и отвела мне лучшую комнату в доме — «гостиную». Я пошла показываться в общественных местах — в книжном магазине, библиотеке, столовой и, конечно, в Музее Грина, которым ведала вдова поэта Петникова. Очень пристально посмотрел на меня при встрече сотрудник отдела культуры райкома, который присутствовал год назад на похоронах. Остальные задавали всё тот же вопрос: «Могилку Нины Николаевны поправить приехали?» И радовались: «Вот хорошо! Не забываете!» В сумерках я подошла к воротам кладбища — и замерла: за ними белела высокая куча гравия. Саша рассчитывал, что понадобится четыре ведра, а здесь было не меньше сорока. Может, в самом деле всё будет как задумано? Зайдя в ограду Грина, села под деревом. Сколько раз мы приходили сюда с Ниной Николаевной! Однажды она постучала палочкой около могилы Александра Степановича: «Здесь я буду лежать». А месяц назад, в годовщину её смерти, мы были тут с Анастасией Ивановной Цветаевой, которая совершенно тем же движением стукнула палочкой по земле и решительно произнесла: «Здесь она должна лежать. Рядом с ним».

Осенью прошлого года Анастасия Ивановна со своей подругой Евгенией Филипповной Куниной освятила землю с могилы Нины Николаевны, а на горкомхозовской тумбе начертала белой краской аккуратный крест...

Всё было спокойно. Никто не заинтересовался моим приездом.

Утром следующего дня шёл беспросветный, проливной дождь. Я места себе не находила: Феликс не вырвется, а если кто-то из ребят приедет, какая работа под дождём? Не знаю, как прожила день. Вечером пошла на автостанцию. В помещении, конечно, никого не было. Я присела на скамью. Так и есть: не приехали. И вдруг, прямо из стены, как в гриновском «Фанданго», вышли двое и сели рядом. Это были Феликс и Виктор Падалко. «А Саша где?» — «Пошёл лопаты добывать у жителей». Виктор и Николай обещали приехать к девяти». Прибежал запыхавшийся Саша: «Теперь у нас пять лопат и ледоруб». «Откуда он взялся?» — «Выпросил на турбазе в Коктебеле. Пригодится». Падалко привёз несколько громадных листов целлофана: «Для земли, чтобы не наследить». Я рассказала про гравий. «Ну, это уже мистика какая-то», — удивился Верхман. Впоследствии оказалось, что гравий привезли для ремонта кладбищенской стены.

Около девяти Саша поднялся: «Пошли. Ребята найдут нас». На улице Феликс схватил меня за руку: «Взгляните на небо». В чёрном небе сверкали огромные звёзды и — ни облачка. Выходит, дождь лишь помог нам — промочил землю, чтобы легче было копать, отпугнул тех, кто мог случайно зайти: смотрительницу кладбища, влюблённых, а может быть, патруль.

Около ворот кто-то тихо разговаривал. Это были наши ребята — Виктор Павленко и Николай. Все вместе — как хорошо! Два человека стали раскрывать могилу Нины Николаевны, трое копали в ограде Грина. Внезапно поднялся сильный ветер, он заглушал стук лопат о камни, грохот камней, падавших в вёдра, шаги, голоса...

На рассвете, ложась спать в доме Субботиной, Николай пробормотал: «Самые счастливые похороны в моей жизни». Я пошла поделиться радостью к Марии Васильевне Шемплинской. Она жила неподалёку, в доме, который был первым жильём Грин в Старом Крыму, очень их любила и не раз говорила с укором: «Как вы могли это допустить? Я ночами не сплю из-за того, что Грины врозь». Сейчас она встретила меня у калитки — маленькая, седая, согнутая годами. Вглядываясь в моё лицо, спросила: «Что-то случилось?» — «Хорошее, Мария Васильевна! Нину Николаевну перезахоронили к Александру Степановичу. Сегодня ночью». Она вспыхнула и расплакалась. «Бандиты! Головорезы! — восклицала она, смеясь и обнимая меня. — Наконец-то! Я так счастлива! Ну, аферисты!» Я ушла от неё с громадным букетом цветов.

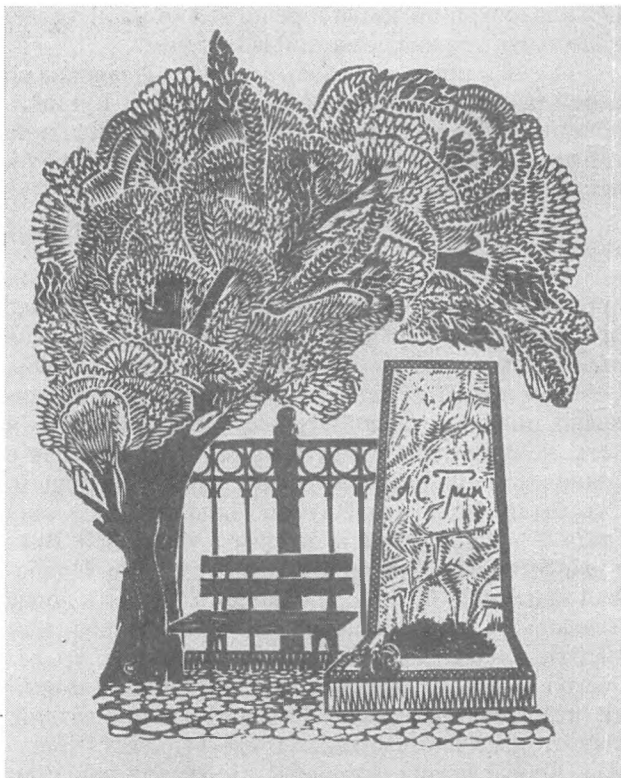
Когда мы с ребятами вновь появились на кладбище, там было так много людей, что сперва даже стало страшно. Но оказалось, что это родственники: суббота и день погожий. Могилы Грин выглядели просто парадно — прибранные, засыпанные белым гравием. Мы расставили цветы. Приехала экскурсия из Коктебеля. Когда экскурсовод, наш добрый знакомый, закончил рассказ о Грине, я спросила: «Ты ничего не замечаешь?» Он растерянно рассматривал могилы: «Ну, прибрали. Ну, цветы поставили». — «Так ты забыл, — сказала я укоризненно, — какой сегодня день?» Он стукнул себя по лбу: «Вот дурень! Как я мог забыть? Ведь вы потому и здесь! Товарищи! — остановил он разбредавшуюся группу. — Одну минуточку! Сегодня день рождения Нины Николаевны».

Когда вернулись ребята, разносившие по местам лопаты, я рассказала об этой встрече. «Значит, чисто сделано», — обрадовались они. Мы пошли на почту — надо было позвонить в Москву, узнать, как долетел Феликс. Он сам снял трубку и на наш вопрос весело ответил: «Грипп прошёл. А у вас?» — «А у нас работу приняли», — сказал Саша.

Разговоры о перезахоронении Нины Николаевны дошли наконец до «главного уха»; вскрыть могилу не рискнули, но представители КГБ приехали на кладбище, прозондировали почву и установили — гроба там действительно нет. Возникло решение: перенести его «на место». Для этого нужен был предлог. Он нашёлся в 1980 году, который был объявлен годом Грина в связи со столетием со дня рождения. Среди других мероприятий наметили смену мемориала на могиле. Мы догадывались, с чем это связано. Новый мемориал не порадовал — чужой, безликий. Ограду убрали, сделали высокий настил, выложили плиткой. Белая мраморная плита с именем Грина показалась холодной. Правда, над местом захоронения Нины Николаевны стоял осколок колонны из раскопок Херсонеса, а на нём — фигурка Бегущей.

Пошли к смотрительнице кладбища Ольге Попченко. «Что тут было! — запричитала она. — Когда приехали менять памятник, милиция всё кладбище оцепила, людей не пускали. Меня как под конвоем повели: «Смотри, найдём гроб Грин, уволим». Я знала, что гроба никакого нет, всё это выдумки, а ноги подкашиваются». «Это фактически невозможно, — вмешался стоявший рядом Лёня Попченко, муж Ольги, местный специалист по памятникам. — Если бы что было, как не заметить? Земли бы насыпали, могила бы просела». «Так они искали?» — спросил Саша. «Ещё бы нет! Всё перекопали, а ничего не нашли.» — «А как в могиле стояли?» — «Вот так», — Ольга показала: по пояс.

«А вы как стояли?» — спросила я Сашу, когда мы возвращались на кладбище. Он провёл рукой по бровям. «Да они бы всё равно не нашли, это немислимо». Мы вновь осмотрели памятник, обойдя его вокруг. Нет, взрывать не станут, это уже навечно. Теперь можно спокойно говорить о том, что Грины похоронены рядом.



Мои́ла А.С.Грина. Рис. Степана Малы́цева

Марк КАБАКОВ

ЧЕРНОМОРСКИЕ БЫЛИ

Чего только не вместила Феодосия — вообразить трудно!

Город сложен из белых плит,
На фундамент пошли фасады,
От Черёмушек до Эллады
Каждой улицы колорит...

Я написал эти строчки тридцать лет тому назад. За три десятилетия мало что изменилось. Да и что значат эти десятилетия для города двадцати пяти веков!

Положи ладонь на мраморную спину микенского льва, помолчи в лиловой тени Генуэзской башни — и ощутишь, как между пальцами перетекает время...

А времени как раз не хватало. Даже здесь, среди крымской благодати! Об этом заботился контр-адмирал Котов. Теперь, по прошествии лет, я отчётливо осознаю мудрость тогдашних отцов-командиров.

За проходной открывался пляж. Рядом с мин на тенистых белокаменных улицах были припаркованы бочки с сухим вином. стакан стоил гривенник, двадцать копеек — килограмм абрикосов. Рубль на бочку — и мысли начинали работать во вполне определённом направлении...

А флотская форма, как тогда, так и теперь обладала воистину магнетическими свойствами. И волоокские курортницы летели на неё, как бабочки на огонь...

— Отставить! — слышу я грозное адмиральское рыканье. И даже сейчас, спустя столько лет, вздрагиваю.

— Отставить! — и обливаясь потом скатываюсь по трапу в центральный пост подводной лодки, а оттуда в первый отсек, потому что сегодня стрельбы и «изделие» уже в торпедном аппарате...

Мы испытывали оружие. Мы были обязаны подготовить корабль и связь, обеспечить скрытность. Мы были обязаны... Господи, чего мы только не были обязаны! И ещё при этом мы должны были неустанно воспитывать подчинённых, ибо у каждого они были. И хорошо, когда господа-офицеры, а если матросы...

А дома? Начались знакомые по Алма-Ате и Балтике переезды с квартиры на квартиру. Сначала, как водится, жили на частной, у Тимофея, кряжистого шоферюги. Он был феодосийцем, местным, но говорил на диво правильно, без характерного для южан растягивания слов. Во время войны Тимофей и его братья партизанили. Тогда таких людей можно было встретить повсеместно — Восточный Крым тем и отличался.

По двору ходила, как неприкаянная, худая старуха-гречанка, тёща Тимофея. В молодости она служила горничной в доме Айвазовского. Выжать из неё хотя бы слово было невозможно.

Зато о старой Феодосии, шумной и разноязычной, рассказывали мне Елизавета Моисеевна и Михаил Евсеевич Сапожниковы, тётя Лиза и дядя Миша.

Что соединило когда-то двух таких непохожих людей, до сих пор в толк не возьму. Детей у них не было, и всю свою жизнь они посвятили трогательной заботе друг о друге и о всех, кого считали близкими. Мы попали в это число сразу же.

Тётя Лиза окончила Феодосийскую женскую гимназию, с чувством декламировала Пушкина, читала музыку. Её звонкий, никогда и ни при каких обстоятельствах не приглушаемый голос был слышен во всех концах каменного двора, завешанного сохнувшим бельём и насквозь пропитанного горячими запахами из распахнутых настёж кухонь. Она была невысокая, полная, с яркими, навывкате, глазами и тогда уже седыми косами, уложенными на затылке в тугую жгут...

Высокий дядя Миша на её фоне казался молчуном, если и говорил, то главным образом о политике. У него, как и у всякого мастерового человека, были крепкие, широкие ладони, немного опущенные книзу плечи. «Раньше у меня было работы! Ох, сколько у меня было работы! У каждого свой дом, своя крыша, а крышу надо чинить». Дядя Миша был жестянщиком. В пору моего феодосийского житья-бытья он уже вышел на пенсию, но, случалось, подрабатывал. А до войны дядя Миша работал в порту грузчиком. В вытянутой в длину их единственной комнате (готовили в коридоре на крохотной плите) висела большая фотография. Дядя Миша при галстукe, тётя Лиза в роскошном платье, с брошью...

В отличие от мужа она никогда не работала. Во время войны им удалось эвакуироваться. Родные, что не успели, нашли себе могилу в противотанковом рву, на выезде из города. Я ещё застал памятный знак, теперь и его нет...

Из дома тётя Лиза ходила по раз и навсегда затверждённым маршрутам: базар — поликлиника — набережная. Ни она, ни дядя Миша, мне кажется, никогда не купались, ели хлеб только сарыгольской выпечки (Сарыголь — предместье Феодосии, теперь станция Айвазовская) и вздыхали о том, какая была «фрукта» до войны...

На моё признание, что я пишу стихи и даже издал сборник, тётя Лиза отреагировала довольно своеобразно:

— Так ты, оказывается, писатель? Ах, разве сейчас могут быть писатели?

Она скептически оглядела меня с ног до головы, отвернулась к окну.

— Ты слышал о таком: Александре Грине? Мы жили рядом целых четыре года...

Я как стоял, так и сел!

Слышал ли я об Александре Грине?! Да ещё в послеблокадном Ленинграде я прочитал все его книжки, которые были в училищной библиотеке и раз и навсегда влюбился в «волшебника из Гель-Гью»!

Тут ещё надо принять во внимание и время, в которое происходил этот разговор. Лето 1962-го, от «Москвы до самых до окраин» гитары поют о Зурбагане!

— Где? — только и нашёлся я, что сказать.

— На Галерейной, напротив Почтамта. Две комнаты занимали мы, четыре — Грины...

Для меня это звучало приблизительно так же, как если бы тётя Лиза сказала «Тургеневы» или «Куприны». Я стал жадно её выпрашивать. И вот что узнал.

Грины поселились в доме на Галерейной в сентябре 1924 года: Нина Николаевна, её мать и Александр Степанович.

Сосед общительностью не отличался, был подчёркнуто сух, застёгнут на все пуговицы в прямом и переносном смысле этого слова...

С утра запирался в своём кабинете, Нина Николаевна носила туда чёрный, как дёготь, чай. Когда открывалась дверь, из комнаты вырывались волны сизого дыма, курил Грин отчаянно. После обеда шли гулять.

«Ты бы только посмотрел на них: она изящная, вся в белом, на голове соломенная шляпка с цветами, а он худой, в чёрном пальто, никогда не улыбнётся...»

Случалось, Грин запивал. Тогда на их половине, и без того молчаливой, воцарялась гнетущая тишина. Он не показывался на людях, Нина Николаевна ходила, как в воду опущенная.

По словам тёти Лизы, у Грина были необыкновенные глаза:

«Глубокие, темные, они буквально заворачивали!»

Мы ещё не раз разговаривали с тётей Лизой о Грине. И как только речь заходила о его необыкновенности, дядя Миша вмешивался: «Ну, что вы в нём нашли? Он был просто хам, невоспитанный человек! Ну посуди сам: пришли ко мне коллеги (дядя Миша произносил это слово на южнорусский манер, получалось коллэги), открыли мы бочку сухого, культурно беседуем. И вдруг этот хам стучит в дверь. Оказывается, мы ему мешаем работать!»

Бедный Грин! Не стоило особого труда представить биндюжников, культурно беседующими за откупоренным бочонком...

А меня всё интересовали новые и новые подробности. Так я узнал, что Грины зимой уезжали в Ленинград и возвращались с целым ворохом картонных коробок. «Она любила одеваться, была хороша собой.»

Но такое случалось, когда выходили новые книги. Уже в конце двадцатых Грина стали издавать всё реже и реже, ни он, ни его герои не совпадали с новыми порядками...

«Был день рождения Нины Николаевны. А дома у них хоть шаром покати. И тогда Грин пошёл в греческую кофейню, она там, где сейчас Морской сад, продал пальто, купил корзину белых роз и привёз их на извозчике домой. Вот это был писатель!»

Тётя Лиза снова испытующе оглядела меня. На писателя я явно не тянул.

И снова вмешался дядя Миша: «А откуда у него могли быть деньги? Они уже съехали на другую квартиру и вдруг утром он стучится ко мне в окно: — «Михаил Евсеевич, вы не одолжите три рубля?» — «И что?» — с замиранием сердца спросил я. — «Стану я всякому босяку одалживать!» Дядя Миша был неумолим.

Кажется, я вскоре прочёл об эпизоде с проданным пальто у Сандлера, исследователя творчества Грина. Получалось, что эта история приключилась ещё в Петрограде. И всё-таки я больше склонен верить тёте Лизе...

У Сапожниковых мы встретили свой первый в Феодосии Новый Год. Пошли к ним с двумя нашими мальчишками, принесли хорошее вино («Карачанак» и «Еким-Кара» — «Чёрный доктор», продавали тогда в каждом магазине), тётя Лиза испекла великолепный торт. Возвращались к себе под проливным дождём. Может быть, только тогда явственно ощутили: мы на Юге...

А ещё через какое-то время я забежал к Сапожниковым и застал тётю Лизу о чём-то мирно беседующей... с Ниной Николаевной Грин!

Я был знаком с нею. С того первого месяца на крымской земле, когда поехал поклониться пра-



К.Г.Паустовский у могилы А.С.Грина [конец 1950-х].
Из архива Московского лит. музея-центра К.Г.Паустовского
(фонд С.А.Кузьмицкой, г.Москва)

ху любимого писателя. В когда-то легендарный Солхат, а теперь утонувший в садах и лавандовом воздухе крохотный Старый Крым.

В домике (в 1932 году он всего на месяц стал прибежищем Грина) было полно народу, я с трудом пробился к невысокой женщине с какими-то — даже не седыми — иссиня-белыми, коротко остриженными волосами.

Меня поразила пронзительный взгляд не по возрасту молодых глаз: она словно пыталась заглянуть в душу. Слова, которые при этом произносились, не имели значения — так во всяком случае мне показалось...

Я успел ещё перелистать «Книгу отзывов». Более левой, по тогдашней терминологии, книги я сроду не видывал. Что ни отзыв — бульжничок!

А как же иначе? Грин выходил тогда миллионными тиражами, издательства, т.е. власти, гребли деньги, можно сказать, совковой лопатой, а тут на пороге белёного домика сидела женщина, которой посвящены «Алые паруса» и которая получала от этой власти... 32 рубля. В месяц! И музея по существу не было, а был дом, в котором она жила и в котором до недавнего времени располагался курятник секретаря райкома партии...

На обратной дороге в Феодосию я написал стихотворение «Старый Крым»:

О, искусители давнишние!
Я начитался вас когда-то.
От петухов,
От сада с вишнями
Вы уводили в край крылатый.
И надевали робы мальчишки,
И шли солёными морями,
Из-за того, что им маячили
Огни, придуманные вами.
А вы?
Вы жили по окраинам
И в городках, таких, как этот,
Где дом тоскует без хозяина
И в мальвы улицы одеты,
Где морем пахнут стены белые
И словно в юности,
Робея,
Стоят мальчишки поседелые
Перед портретом чародея.

О десятилетнем пребывании Нины Грин в лагерьях тётя Лиза никогда не говорила ни слова, словно и не было ничего этого, хотя о «посадке» жены Грина чесали в ту пору языки все, кому не лень.

Летом Феодосию наводняли курортники, их неприкаянные стада бродили по городу в тщетной надежде пообедать в переполненных «точках», пахлись допоздна на пляжах. Осенью город постепенно съёживался, усыхал...

Едва я пообтёрся среди его жителей, на меня обрушился поток информации о Нине Николаевне. Сводился он, если отбросить частности, к следующему:

После смерти Грина она сошлась с известным врачом, румыном (между прочим, ей было 38 лет...). Она не эвакуировалась, не смогла. Врач уехал в Ру-

мынию, а она осталась с психически больной матерью в Старом Крыму. При немцах она работала в фашистском листке. Сначала корректором, а потом редактором. Вот почему жители города так её ненавидят (Старый Крым был одним из центров партизанского движения в Восточном Крыму, в нём были массовые расстрелы). Власти бы и рады открыть в «домике» музей, но при одном условии, чтобы Грин там не жила. А она ни в какую...

«Понимаете, — говорили мне вполне интеллигентные люди, — создалось явно ненормальное положение...»

И я кивал головой: да-да, конечно же, понимаю и сам рассказывал эту историю, хотя если и была в ней правда, то только одна: десять лет лагерей...

Ненависть к Нине Николаевне я, впрочем, ощутил, когда отмечали 85 лет со дня рождения Грина. В Старом Крыму, в летнем кинотеатре было торжественное собрание. Нину Николаевну пригласили в президиум. Она отказалась и сидела почти одна. На скамье в первом ряду, в переполненном зале... Я читал с трибуны «Старый Крым» и всё это отчётливо видел.

И только потом я узнал, что недруги Нины Николаевны никакого отношения к жителям Старого Крыма не имели. До войны в городе жили главным образом болгары, татары, греки — и все они были высланы. В их дома въехали отставные военные, а то и просто пенсионеры из числа тех, кто половчее. Их прельстил благодатный климат Старого Крыма, его ни с чем не сравнимый воздух.

Вдова никому не ведомого Грина была им, что кость в горле. Почтение, с которым относились к ней приезжие, паломники, которые шли нескончаемой чередой к её дому, вызывали в их заскорузлых душах неопишемую ярость. И плевать им было: сотрудничала Грин, не сотрудничала — она была чужой, вот что было главное!

Сохранились, по счастью, свидетельские показания немногих очевидцев жизни Нины Николаевны при немцах, сохранилось и само «Дело», из которого видно, как ей «шили» это самое злополучное сотрудничество.

Нина Грин, чтобы не умереть с голоду самой и хоть как-то поддержать мать, пошла работать машинисткой в управу, в этом качестве она спасла от верной гибели нескольких жителей городка, арестованных как заложники. Её работа в «листке», который ничего, кроме распоряжений той же управы не содержал, была эпизодической, и пресловутое «Редактор Н.Грин» было только в двух или трёх номерах... А впрочем, какое всё это имело значение?

Скажу сразу: для меня, моих товарищей, никого. К сожалению, мы тоже были «приезжими».

Я несколько раз бывал в «домике». И не из-за Александра Грина. Он успел прожить в нём считанные недели — и умер. Хотелось побыть около Нины Николаевны. Она одинаково внимательно разговаривала, либо сидя на лавочке, либо в удобном кресле, которое для неё выносили во двор.

Никогда я не заставлял её непричесанной, неприбранной. Создавалось впечатление, что именно тебя-то она и ждала...

Однажды стало известно: в «домике» прохудилась крыша. Меня вооружили подписным листом и я отправился в Коктебель. Был, как сейчас помню, сентябрь, бархатный сезон, в Доме творчества пребывал весь «цвет литературы СССР»... Денег, однако, я не собрал. Сунулся к пяти-шести письменникам, они, полагая, удивились: капитан 2 ранга, а чем занимается? И очень вежливо отказали. Одни по той причине, что ЦК КПСС не одобряет подобную практику, другие потому, что подачки подобного рода оскорбляют память замечательного писателя...

Деньги мы всё-таки собрали. Мы — это наше литобъединение.

Ноябрь в Крыму иногда радует такими днями, особо прекрасными своей ни с чем не сравнимой осенней гулкостью. Море, обычно взерошенное норд-остом, едва плескалось в жёлтом полукружье бухты, Дом поэта грел на солнце озябнувшие бока...

Кажется, мы позвонили. Нам открыла старая женщина с широким морщинистым лицом, одетая во всё тёмное: серая юбка, серая кофта.

Прежде чем пустить, спросила, кто мы и что мы, и пошла впереди, шаркая на ступенях стоптанными туфлями.

Кто-то у Марии Степановны гостил, потому что отчётливо помню чай с малиновым вареньем, нехитрое печенье...

В её комнату можно было попасть через кабинет по довольно крутой лестнице. «Как она одна со всем справляется? Громадная библиотека, раритеты, Таиах в царственной нише?..»

— А я одна почти и не бываю, — она словно угадала мои мысли. — Всегда кто-нибудь гостит. Да и Володя опекает.

Речь шла, как я теперь понимаю, о Владимире Купченко, тогда ещё молодом филологе, который всецело посвятил себя творчеству Волошина.

— Вы можете спуститься, посмотреть, — предложила Мария Степановна.

Мы переходили от одной реликвии к другой, каждый раз перебарывая желание коснуться, потрогать...

Солнце золотило высокие окна. Богатство всего, что окружало нас, подавляло. Подавляло потому, что не имело цены. И действительно: чего стоила конторка, за которой Алексей Толстой писал «Петра», и уж вовсе ни на что не годный корень, когда-то подобранный Максом?

У Марии Степановны была прекрасная память и далеко не прекрасный характер, угодить ей было непросто. Мне повезло. Я угодил.

Даже тогдашним тупоголовым властителям было ясно, что сберегла Мария Степановна Волошина. Зарыла сокровища в землю, не пустила немцев на постой. Кто бы посчитался с Домом поэта, когда даже Петергоф не пощадили?..

К тому же Дом принадлежал Волошину не просто так, а по декрету Совнаркома. А декреты чтили.

Правда, сам поэт был немного не того, не нашим он был человеком, но с другой стороны не судим, не привлекался, в космополитах, как, скажем, Грин, не числился...

Словом, общественный статус Марии Степановны ни в какое сравнение с положением вдовы Грина не шёл. Но кончался курортный сезон, разъезжались титулованные постояльцы, в том числе и её собственные, и оставалась в громадном доме пожилая немощная женщина со всеми своими страхами и болезнями.

Справедливости ради следует сказать, что Литфонд отпуская ей бесплатные обеды из рабочей столовой, ежедневно приходила женщина убирать. Всё, что было здесь построено, стояло на земле, когда-то принадлежащей её мужу. Об этом старались не забывать...

Но однажды случилось непредвиденное: уборщица вдрызг разругалась с Марией Степановной и отказалась убирать, одновременно по непонятным причинам перестали приносить обеды...

Я приехал в Планерское в самый разгар этих событий. Посёлок гудел, как потревоженный пчелиный улей. Впрочем, сравнение слишком сильное. Интеллигенция (а её-то именно и задело) была многочисленна и представлена людьми ненамного моложе хозяйки Дома поэта.

На меня набросились: «Вам надо пойти к директору!», «В исполком!», «В горком!»

Я выслушал — и уехал в Феодосию. А на следующей неделе в Москву полетело письмо. В редакцию «Литературной газеты».

«Мы, офицеры Краснознамённого Черноморского флота, глубоко возмущены безобразным отношением к вдове нашего любимого поэта, Максимилиана Волошина...»

Далее шли требования возмущённых моряков-черноморцев и подписи. А подписали письмо два капитана 1 ранга, три — второго. О капитанах 3 ранга я уж и не говорю. Ни один из них не только не прочитал ни единой строчки Волошина — были и такие, что фамилии не слышали! Но все они знали меня — и этого было вполне достаточно.

Письмо произвело впечатление разорвавшейся бомбы. В Литфонде не иначе как решили, что боевые корабли завтра снимутся с якорей и направят орудия на Коктебель. Всё: и уборка, и обеды — возобновилось в самом лучшем виде.

Марию Степановну отличала естественность. Вот уж кто не играл на публику! Она, например, не жаловала Грина, особенно Грина-человека, и никакие славословия в его адрес не могли её в этом переубедить. Но уж зато пиетет обожаемого Макса был в её глазах неколебим. Как-то я имел неосторожность прочитать ей свой «Коктебель». Там были такие строки:

Каким это кажется прошлым,
А было на нашем веку!
Сейчас лишь филолог дотошный
Его откопает строку...

Боже мой, что тут было! «Вы ничего не смыслите!» — это было далеко не самое худшее, что мне пришлось услышать...

У неё гостил старинный друг Дома профессор Мануйлов. Вот она мне однажды и говорит: «Маркуша, я бы хотела, чтобы вы почитали нам с профессором». Я согласился и в назначенный день приехал. Она взяла меня за руку, повела в библиотеку. Там уже сидел Мануйлов.

— Здесь читали Цветаева, Гумилёв. Теперь вот вы.

Никогда я так не волновался...

Мне повезло: в мои феодосийские годы в Крыму жили три удивительных человека. И со всеми ими я был знаком. Но если Нину Николаевну Грин и Марию Степановну Волошину знали все, то Петникова — почти никто. В том числе и люди достаточно много знающие. Уже москвичом я пришёл на Всесоюзное радио с материалом о Григории Николаевиче и первое, что услышал: «А это кто такой?» И спрашивал не кто-нибудь: редактор литературного вещания!

Вот уж когда я остолбенел. Я и представить себе не мог, что в Москве есть люди, имеющие прямое отношение к литературе и ничего не слыхавшие о Петникове. Оказывается, были. И в большом количестве.

К этому времени, то есть к концу шестидесятых годов, Григорий Николаевич был основательно забыт. И немудрено: после войны он жил в Старом Крыму, нигде не показываясь. А знакомство моё с ним произошло, между прочим, благодаря радио. Не Всесоюзному, конечно, Крымскому.

Разыскать дом Петникова труда не составило. Да и расчёт симферопольцев оказался верен: Петников меня не прогнал. Совсем наоборот: усадил, стал расспрашивать.

Он не говорил — декламировал. Звучный голос, выверенные жесты. Он ходил, пересекая просторную комнату по диагонали, увенчанная седой гривой голова едва не касалась потолка. Стены были уставлены книжными полками, книги лежали на письменном столе, на стульях.

— Это всё, что уцелело. А сколько пропало во время войны! — он горестно махнул рукой.

Кое-что он показал. Бурлюк, Есенин, Маяковский, Блок, Хлебников. И все сплошь с автографами...

— Ну, их-то вы, конечно, любите. А Верлена, например?

О Верлене представление у меня было довольно смутное, но на всякий случай я кивнул. Да-да, люблю.

— Хотите, я вам кое-что прочту?

Петников скрестил руки на груди, длинные пальцы пианиста чуть дрогнули — и начал читать. По-французски. Потом, по-немецки, Рильке.

Рильке я незадолго до того прочёл и поэтому поинтересовался, о чём идёт речь.

— Как? — удивился Петников. — Вы, офицер Военно-Морского флота и не понимаете ни по-немецки, ни по-французски?!

Я понял, что он всё-таки порядком поотстал от жизни в своём Старом Крыму...

Мы расстались, когда хрусталики первых звёзд уже засверкали в синих окнах.

Он проводил меня на автобус. Шёл, взмахивая тяжёленной палкой, я едва поспевал за ним.

Всю дорогу я боялся только одного: расплескать рассказанное им, упустить имена, детали. Я ведь ничего не записывал, не до того было.

Разумеется, я пригласил Григория Николаевича побывать у нас, в Феодосии. Он согласился. Я думал — из вежливости. И был несказанно удивлён, когда уже в следующую субботу раздался звонок и я увидел на пороге высокую фигуру...

После той памятной поездки я у Григория Николаевича в гостях не был, а вот у нас он бывал — и сравнительно часто... Слушать его рассказы было истинным наслаждением. Мало того, что он бездну знал, он ещё и бездну помнил...

Григорий Николаевич окончил Харьковский университет, был славистом. Он очень рано заставил о себе говорить, сблизился с Хлебниковым, осенью семнадцатого они ночевали в Кремле, укрывшись одной шинелью. В Гражданскую войну Петникова мобилизовали, он служил в политотделе VIII армии, которой командовал Дыбенко. «Это было трудно даже вообразить: матрос саженного роста и рядом Коллонтай, хрупкая красавица — аристократка. А он её материт...»

В Петрограде Григорий Николаевич возглавил издательство «Лирень», книги, которые он показывал мне в Старом Крыму, в своём большинстве как раз там и выходили.

Было ещё одно обстоятельство, которое делало Петникова в моих глазах человеком воистину легендарным: он — последний оставшийся в живых Председатель Земного Шара.

Футуристы в своё провозгласили, что власть на планете должна принадлежать поэтам и фантастам.

Последняя книга стихов вышла у Петникова в 1930 году, с того времени он занимался только переводами. Как знать, возможно, это позволило ему сохранить не только лицо...

Григорию Николаевичу принадлежал ставший каноническим перевод сказок братьев Grimm. Уже одного этого должно было хватать на жизнь в Старом Крыму. Что же касается известности, то она его не волновала. «Поверьте, всё это уже у меня было: и публикации, и интервью, и восседание в президиуме...»

Впрочем, одна слабость у Григория Николаевича всё же имелась: он был абонирован в библиографическом отделе Ленинской библиотеки и ему оттуда высылали каждое упоминание о нём.

Однажды за чашкою чая он показал нам вырезку из нью-йоркской «Новой русской газеты»:

— Вы только прочтите! Оказывается, меня уже и не существует!»

И мы прочли: «...Григорий Николаевич принадлежал к поэтам левого направления, он искал «самовитое слово». В 1918 году поэт умер в Харькове от холеры».

На излёте «оттепели» у Григория Николаевича вышла всё же книга стихов. С предисловием Николая Тихонова, прекрасным портретом кисти Серебряковой. Он успел нам её подарить.

* * *

Был конец августа 1980 года. До столетия Грина оставались считанные дни. Я уже шесть лет, как не служил, судьба совершила крутой поворот — у моряков его зовут оверштагом, — литература стала профессией.

В результате всего этого в жаркие, настоянные на горьковатом запахе лаванды и моря дни, я очутился в Феодосии, куда вместе со мною приехали Алим Кешоков, тогдашний секретарь Союза писателей, Сергей Антонов, Вадим Ковский — литераторы, делегированные на юбилей.

Уже несколько лет в доме, где когда-то жили тётя Лиза и дядя Миша, располагался музей. Другой музей-квартира был в Старом Крыму. И вообще надо сказать, что восьмидесятые годы стали пиком популярности Александра Степановича. От Москвы «до с самых до окраин» создавались молодёжные клубы, назывались они «Алыми парусами», по вечерам у костров гитары пели о Лиссе и Зурбагане...

На мордовские лагеря, на психушки, на танки в Праге молодая Россия ответила невиданным всплеском любви к писателю, который выше всего ставил Честь и Отвагу.

Начальство не могло этого не видеть. И посему решило Грина «заюбилейть». Выступления, торжественные вечера, театрализованные действия...

Но кульминацией по замыслу организаторов должно было стать открытие мраморного бюста писателя во дворе его домика в Старом Крыму. Бюст изваяла талантливейшая художница и скульптор Таня Гагарина, сама уроженка Крыма, и это придавало событию особую значимость.

И вот наступил этот день. Наверное за всю свою многовековую историю города, даже тогда, когда он назывался Солхатом и был столицей Крымского ханства, не было в нём такого скопления людей. Толпы запрудили белокаменные улочки, они текли в одном направлении: вниз, на улицу Карла Либкнехта. Ковбойки

немыслимых расцветок, кеды. И гитары, гитары. Молодость шла на поклон к Грину. И ещё, что бросалось в глаза, так это обилие стражей порядка. Милицейских фуражек было не меньше, чем соломенных шляп.

А сколько поклонников Грина в штатском! Подозреваю, что их согнали сюда со всего Крыма.

Нашу делегацию с трудом «продёрнули» к домику, поставили перед бюстом, закрытом до поры белым полотнищем. Могучая дама из облисполкома объявила митинг открытым, и Алим Кешоков начал зачитывать речь.

А тем временем неожиданно стало темнеть. Изза Агармышы выглянула туча и поплыла в низину, за ней вторая, третья...

Кешоков не дочитал ещё до середины, а небо над Старым Крымом уже стало тёмно-лиловым. Ощутимый ветер понёс над головами жёлтые листья, сухие стручки с акаций. Взмыла в воздух и с карканьем прошумела над головами стая ворон...

Алим Пшемахович предоставил слово мне. Я стал читать «Старый Крым». Дыхание то и дело прерывалось, я еле сдерживал себя. Думал ли я, что доживу до такого!

И вот Кешоков подошёл к бюсту, взялся за шнур. Полотнище поползло вниз, открывая мраморный лоб Грина. И в этот момент, ни секундою раньше, молния опоясала небосвод от края и до края, гром разорвал тишину, и оглушительной силы ливень рухнул на Старый Крым!

Небо салютовало Грину.

В тот же вечер городские власти устроили в только что открытом новом кафе приём.

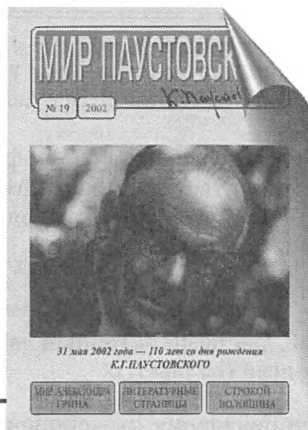
Стол, во всю длину зала, ломился от крымских вин, на блюдах томилась жареная дичь, истекали медовым соком груши...

За стол никто не садился, ждали высоких гостей «из области». Слышался чинный, приличествующий важности события, шепоток.

Но задерживались не только высокие гости. Опаздывал и наш мэтр, Сергей Антонов. И вот он появился в зале, окинул взглядом стол и громко, не снижая голоса, произнёс:

— Эх, если бы всё это Александру Степановичу, да при жизни!

Начальство безмолвствовало...



СТРОКОЙ ВОЛОШИНА...

ИЗ ПОЭТИЧЕСКОГО СОБРАНИЯ КОНСТАНТИНА ПАУСТОВСКОГО: МАКСИМИЛИАН ВОЛОШИН

* * *

Вечером — в Драмтеатре на лекции Максимилиана Волошина «Судьба Верхарна». Того Волошина, которого я читал в Таганроге, из книги которого взял это — «и стих расцветает венком гиацинта, холодный, душистый и белый!»

ПАУСТОВСКИЙ К. Из письма к Е.С. Загорской
1 февраля 1917 г.

РОЖДЕНИЕ СТИХА

Бальмонту

В душе моей мрак грозовой и пахучий...
Там вьются зарницы, как синие птицы...
Горят освещённые окна...
И тянутся длинные,
Протяжно-певучи
Во мраке волокна...
О, запах цветов, доходящий до крика!
Вот молния в белом излучьи...
И сразу всё стало светло и велико...
Как ночь лучезарна!
Танцуют слова, чтобы вспыхнуть попарно
В влюблённом созвучьи...
Из недра сознания, со dna лабиринта
Теснятся виденья толпой оробелой...
**И стих расцветает цветком гиацинта,
Холодный, душистый и белый.**
1904 г.

* * *

Мы брели вдоль аркад, и Берг вспоминал стихи
Волошина, уроженца Феодосии¹:

**И беден и не украшен
Мой древний град —
В венце генуэзских башен,
В тени аркад.**

Генуэзские башни, носившие имена римских пап, современников Данте, были скрыты от нас темнотой. Прошлое Феодосии лежало мраморными розовыми плитами в тесных и заполненных ночью залах маленького музея.

Музей, конечно, был закрыт. Около его дверей сидела худая женщина с корзиной рыбы. Она спозаранку шла на базар, присела на стёртые камни и закурила. От рыбы шёл запах морского песка. Чешуя блестела под жёлтой угольной лампой, горевшей над дверью.

ПАУСТОВСКИЙ К. Потерянный день
1937

МОЛИТВА О ГОРОДЕ

С.А.Толузакову

**И скуден, и неукрашен
Мой древний град
В венце Генуэзских башен,
В тени аркад;**
Среди иссякших фонтанов,
Хранящих герб
То дождей, то крымских ханов:
Звезду и серп;
Под сенью тощих акаций
И тополей,
Средь пыльных галлюцинаций
Седых камней,
В стенах церквей и мечетей
Давно храня
Глухой перегар столетий
И вкус огня;
А в складках холмов охряных —
Великий сон:
Могильники безымянных
Степных племён;
А дальше — зыбь горизонта
И пенный вал
Негостеприимного Понта
У жёлтых скал.

¹ М.А.Волошин родился в Киеве 28(16) мая 1877 г.

Войны, мятежей, свободы
 Дул ураган;
 В сраженьях гибли народы
 Далёких стран;
 Шатался и пал великий
 Имперский столп;
 Росли, приближаясь, клики
 Взметённых толп;
 Суда бороздили воды,
 И борт о борт
 Заржавленные пароходы
 Врывались в порт;
 На берег сбежали люди,
 Был слышен треск
 Винтовок и гул орудий,
 И крик, и плеск,
 Выламывались ворота,
 Вели сквозь строй,
 Расстреливали кого-то
 Перед зарёй.

Блуждая по перекрёсткам,
 Я жил и гас
 В безумьи и в блеске жёстком
 Враждебных глаз;
 Их горечь, их злость, их муку,
 Их гнев, их страсть,
 И каждый курок и руку
 Хотел заковать.
 Мой город, залитый кровью
 Внезапных битв,
 Покрыть своей любовью,
 Кольцом молитв,
 Собрать тоску и огонь их
 И вознести
 На распростёртых ладонях:
 Пойми... прости!
 2 июня 1918 г.

* * *

— Что вы на меня так смотрите? — спросил Кузьмин.

— Хороший вы человек, — ответил Башилов. — Вы могли бы быть художником, дорогой майор.

— Я топограф, — ответил Кузьмин. — А топографы по натуре — те же художники.

— Почему?

— Бродяги, — неопределённо ответил Кузьмин.

— «**Изгнанники, бродяги и поэты**, — насмешливо продекламировал Башилов, — **кто жаждал быть, но стать ничем не смог**».

— Это из кого?

— Из Волошина. Но не в этом дело. Я смотрю на вас потому, что завидую. Вот и всё.

— Чему завидуете?

— ...Чему завидую? — переспросил Башилов и положил свою красную руку на руку Кузьмина. — Всеми. Даже вашей руке.

*ПАУСТОВСКИЙ К. Дождливый рассвет
 1945*

Однажды в нашей хате появился рыжебородый человек в шинели внакидку. Папаха его непостижимым образом держалась на самом затылке. Глаза смеялись. Голос у рыжебородого был шумный, но приятный.

Он представился специалистом по бонам и волшебникам. Фамилию его никто не знал. Все звали его «Рыжебородым».

<...> Мы никак не могли выяснить его профессию. На прямые вопросы он отвечал стихами Максимилиана Волошина. Эти стихи, по его словам, хорошо выражали сущность его жизни:

**Изгнанники, скитальцы и поэты,
 Кто жаждал быть, но стать ничем не смог.
 Для птиц — гнездо, для зверя — тёмный лог,
 Но посох нам и нищенства заветы.**

Через два дня после появления Рыжебородого мы уже не могли себе представить, как могли жить в проклятом Замирье без этого человека.

*ПАУСТОВСКИЙ К. Беспокойная юность
 (Гнилая зима) 1954*

CORONA ASTRALIS

Венок сонетов (фрагменты)

Елизавете Ивановне Дмитриевой

1

В мирах любви неверные кометы,
 Сквозь горних сфер мерцающий стожар —
 Клубы огня, мятущийся пожар,
 Вселенских бурь блуждающие светлы, —

Мы вдаль несём... Пусть тёмные планеты
 В нас видят меч грозящих миру кар, —
 Мы правим путь свой к солнцу, как Икар,
 Плащом ветров и пламени одеты.

Но — странные, — его коснувшись, прочь
 Стремим свой бег: от солнца снова в ночь —
 Вдаль, по путям парабол безвозвратных...

Слепой мятеж наш древний дух стремится
 В багровой тьме закатов незакатных...
 Закрыт нам путь проверенных орбит!

8

**Изгнанники, скитальцы и поэты, —
 Кто жаждал быть, но стать ничем не смог...
 У птиц — гнездо, у зверя — тёмный лог,
 А посох — нам и нищенства заветы.**

Долг не свершён, не сдержаны обеты,
 Не пройден путь, и жребий нас обрёт
 Мечтам всех троп, сомненьям всех дорог...
 Расплёскан мёд, и песни не допеты.

О, в срывах воль найти, познать себя
 И, горький стыд смиренно возлюбя,
 Припасть к земле, искать в пустыне воду,

К чужим шатрам идти просить свой хлеб,
 Подобным стать бродячему рапсоду —
 Тому, кто зряч, но светом дня ослеп.

15

В мирах любви, — неверные кометы, —
 Закрыт нам путь проверенных орбит!

Явь наших снов земля не истребит, —
 Полночных солнц к себе нас манят светлы.

Ах, не крещён в глубоких водах Леты
 Наш горький дух, и память нас томит.
 В нас тлеет дух внежизненных обид —
 Изгнанники, скитальцы и поэты!

Тому, кто зряч, но светом дня ослеп,
 Тому, кто жив и брошен в тёмный склеп,
 Тому земля — священный край изгнанья,

Кто видит сны и помнит имена, —
 Тому в любви не радость встреч дана,
 А тёмные восторги расставанья!

август 1909

* * *

Болгары — большие патриоты. Но вместе с тем это люди, легко овладевающие всем ценным в культуре других стран и обращающие это ценное на потребу своему народу.

К Болгарии с полным правом можно отнести слова поэта Волошина:

**Каких последов в этой почве нет
 Для археолога и нумизмата!
 От римских гемм и эллинских монет
 До пуговицы русского солдата!..**

Раскопки, планомерно начавшиеся после утверждения в Болгарии народной власти, уже дали несколько находок мирового значения.

В конце войны вблизи города Казанлыка была открыта фракийская гробница. Фреска в этой гробнице была написана художником, равным по силе величайшим мастерам Возрождения.

ПАУСТОВСКИЙ К. Живописная Болгария
 1959

ДОМ ПОЭТА

Дверь отперта. Переступи порог.
 Мой дом раскрыт навстречу всех дорог.
 В прохладных кельях, беленных известью,
 Вдыхает ветер, живёт глухой раскат
 Волны, взмывающей на берег плоский,
 Полынный дух и жёсткий треск цикад.



Коктебель. Дом М. Волошина.
 Линогравюра худож. С. Малышева (Феодосия)

А за окном расплавленное море
 Горит парчой в лазоревом просторе.
 Окрестные холмы вызорены
 Колочим солнцем. Серебро полыни
 На шиферных окалинах пустыни
 Торчит вихром косматой седины.
 Земля могила, молитв и медитаций —
 Она у дома вырастила мне
 Скупой посев айлантов¹ и акаций
 В ограде тamarисков. В глубине
 За их листвою, разодранной ветрами,
 Скалистых гор зубчатый оком
 Замкнул залив Алкеевым стихом,
 Ассиметрично-строгими строфами.
 Здесь стык хребтов Кавказа и Балкан,
 И побережьям этих скудных стран
 Великий пафос лирики завещан
 С первоначальных дней, когда вулкан
 Метал огонь из недр глубинных трещин
 И дымный факел в небе потрясал.
 Вон там — за профилем прибрежных скал,
 Запечатлевшим некое подобье
 (Мой лоб, мой нос, ошечь и подлобье), —
 Как рухнувший готический собор,
 Торчащий непокорными зубцами,
 Как сказочный базальтовый костёр,
 Широко вздувший каменное пламя,
 Из сизой мглы, над морем вдалеке
 Встаёт стена... Но сказ о Карадаге
 Не выцветить ни кистью на бумаге,
 Не высловить на скудном языке.
 Я много видел. Дивам мирозданья
 Картинами и словом отдал дань...
 Но грудь узка для этого дыханья,
 Для этих слов тесна моя гортань.
 Заклёпаны клокочущие пасти.
 В остывших недрах мрак и тишина,
 Но спазмами и судорогою страсти
 Здесь вся земля от века сведена.
 И та же страсть, и тот же мрачный гений
 В борьбе племён и смене поколений
 Доселе грезят берега мои:
 Смолёные ахейские ладьи,
 И мёртвых кличет голос Одиссея,
 И киммерийская глухая мгла
 На всех путях и долах залегла,
 Провалами беспамятства чернея,
 Наносы рек на сажень глубины
 Насыщены камнями, черепками,
 Могильниками, пеплом, костяками.
 В одно русло дождями сметены
 И грубые обжиги неолита,
 И скорлупа милетских тонких ваз,
 И позвонки каких-то пришлых рас,
 Чей облик стёрт, а имя позабыто.
 Сарматский меч и скифская стрела,
 Ольвийский герб, слезница из стекла,
 Татарский глет зеленовато-бусый
 Соседствует с венецианской бусой.
 А в кладке стен кордонного поста
 Среди булыжников оцепенели
 Узорная турецкая плита
 И угол византийской капители.
**Каких последов в этой почве нет
 Для археолога и нумизмата —**

¹ Айлант — китайский ясень, теплолюбивое дерево.

От римских блях и эллинических монет
 До пуговицы русского солдата!..
 Здесь, в этих складках моря и земли,
 Людских культур не просыхала плесень —
 Простор столетий был для жизни тесен,
 Покамест мы — Россия — не пришли.
 За полтора века лет — с Екатерины —
 Мы вытоптали мусульманский рай,
 Свели леса, размыкали руины,
 Расхитили и разорили край.
 Осиротелые зияют сакли,
 По скатам выкорчёваны сады.
 Народ ушёл, источники иссякли.
 Нет в море рыб, в фонтанах нет воды.
 Но скорбный лик оцепенелой маски
 Идёт к холмам Гомеровской страны,
 И патетически обнажены
 Её хребты, и мускулы, и связки.
 Но тени тех, кого здесь звал Улисс,
 Опять вином и кровью напились
 В недавние трагические годы.
 Усобица, и голод, и война,
 Крестя мечом и пламенем народы
 Весь древний Ужас подняла со дна.
 В те дни мой дом — слепой и запустелый —
 Хранил права убежища, как храм,
 И растворялся только беглецам,
 Скрывавшимся от петли и расстрела.
 И красный вождь, и белый офицер,
 Фанатики непримиримых вер,
 Искали здесь, под кровлею поэта,
 Убежища, защиты и совета.
 Я ж делал всё, чтоб братьям помешать
 Себя губить, друг друга истреблять.
 И сам читал — в одном столбце с другими —
 В кровавых списках собственное имя.
 Но в эти дни доносов и тревог
 Счастливый жребий дом мой не оставил:
 Ни власть не огняла, ни враг не сжёг,
 Не предал друг, грабитель не ограбил.
 Утихла буря. Догорел пожар.
 Я принял жизнь и этот дом, как дар —
 Нечаянный, — мне вверенный судьбою,
 Как знак, что я усыновлён землею.
 Всей грудью к морю, прямо на восток
 Обращена, как церковь, мастерская.

И снова человеческий поток
 Сквозь дверь её течёт, не иссякая.
 Войди, мой гость, стряхни житейский прах
 И плесень дум у моего порога...
 Со дна веков тебя приветит строго
 Огромный лик царицы Таиах.
 Мой кров — убог. И времена — суровы.
 Но полки книг возносятся стеной.
 Тут по ночам беседуют со мной
 Историки, поэты, богословы,
 И здесь их голос, властный, как орган,
 Глухую речь и самый тихий шёпот
 Не заглушит ни зимний ураган,
 Ни грохот волн, ни Понта мрачный ропот.
 Мои ж уста давно замкнуты... Пусть!
 Почётней быть твердимым наизусть
 И списываться тайно и украдкой,
 При жизни быть не книгой, а тетрадкой.
 И ты, и я — мы все имели честь
 «Мир посетить в минуты роковые»
 И стать грустней и зорче, чем мы есть.
 Я — не изгой, а пасынок России
 И в эти дни — немой её укор.
 Я сам избрал пустынный сей затвор
 Землём добровольного изгнания,
 Чтоб в годы лжи, падений и разрух
 В уединеньи выплавить свой дух
 И выстрадать великое познание.
 Пойми простой урок моей земли:
 Как Греция и Генуя прошли,
 Так минет всё — Европа и Россия.
 Гражданских смут горячая стихия
 Развеется... Расставит новый век
 В житейских заводях иные мрежи...
 Ветшают дни, проходит человек,
 Но небо и земля — извечно те же.
 Поэтому живи текущим днём.
 Благослови свой синий окоём.
 Будь прост, как ветер, неистощим, как море,
 И памятью насыщен, как земля.
 Люби далёкий парус корабля
 И песню волн, шумящих на просторе.
 Весь трепет жизни всех веков и рас
 Живёт в тебе. Всегда. Теперь. Сейчас.
 19–25 декабря 1926 г.

Составитель **Илья КОМАРОВ**

Владимир КУПЧЕНКО

ПУТЬ К ВОЛОШИНУ

Из дневников

*Всё видеть, всё понять, всё знать, всё пережить,
 Все формы, все цвета вобрать в себя глазами;
 Пройти по всей земле горящими ступнями,
 Всё воспринять — и снова воплотить!*

В посёлке Лебяжье, под Ленинградом, 20 июля 1961 года сошли с электрички трое молодых людей. С увесистыми рюкзаками, в ковбойках и кедах, они вряд ли вызвали сомнения у прохожих: туристы! Но сами они с презрением отвергли бы это имя,

присвоив себе куда более почётное звание «бродяг». И немудрено: ведь они отправлялись не на воскресный пикник, и не на двухнедельную прогулку — их странствие должно было длиться ни более, ни менее, как два года...

Самый низкорослый из трёх, Леонид Ероховец, выделялся курчавой разбойничьей бородой; самый высокий — автор этих строк — был украшен очками; третьего звали Валерий Савчук и его отличали правильные, почти девичьи черты лица. Старший, Ероховец, через шесть дней собирался отметить двадцатичетырёхлетие; самому младшему, Купченко, месяц назад исполнилось 23. Все трое были выпускниками Уральского университета, — в недрах которого и началась их дружба. Там же зародилась и сама идея Похода...

Теперь ясно, что всё толкало нас к ней. Прежде всего, сказалось то, что университет у нас последовал сразу за школой: к десяти годам классов добавилось ещё пять лет аудиторий. Люди сеяли хлеб и рубили уголь; земля кипела садами и дрожала от ледоходов — а мы сидели в замкнутых стенах, питаюсь одними книгами, не зная толком ничего о «настоящей» жизни. Факультет журналистики, куда каждый из нас поступал с мыслью научиться писать, быстро разочаровал; присказка про студента, переступающего порог вуза с восторженным: «Храм науки!» и кончающего злым: «К хренам науки!» — полностью к нам подходила. Провинциализм и казёнщина УрГУ; менторы типа солдафона Курасова, тупицы Багреева, иезуита Архангельского, ханжи Павловского — вселяли всё большую ненависть к себе. Удивления достойно, что ни одна из наших попыток бросить учёбу до срока не была доведена до конца...

Мы были детьми 56-го года: камня на камне не оставив от всего того, во что нас так долго учили верить, он в то же время толкнул нас к поискам новых истин. Мы стали скептиками; нам требовалось всё перешупать своими руками... Между тем нас натаскивали для работы в «партийной печати». На практиках, учебных и производственных, мы вполне оценили, что это такое.

Мы получили — высшее! гуманитарное! университетское! — образование и ничего не знали о целых пластах не то что мировой — отечественной культуры. А то, что знали, так это был чистый энтузиазм, не имевший отношения к университетской программе. Ибо зачем кадру партийной печати знания о символистах и акмеистах?

В это время нас позвала Муза дальних странствий. Раз за разом, когда становилось невмоготу, мы забрасывали опостылевшие конспекты и, с краюхой хлеба и парой бутылок сухого, отправлялись в окрестные леса. Под шум сосен Палкиных палаток с нами говорили Ли Бо и Киплинг, Лорка и Элюар; «Но несгибаема ярость моя!..» — кричали мы лесистым берегам Таватуя... Паустовский был нашим богом: «Романтики», «Блisterающие облака», «Чёрное море» будоражили сильнее вина.

Этот бог — Паустовский — и заставил нас троих сняться с места. Дух бродяжничества слетел со страниц его прозы, нам уже мало было окрестных лесов — всю Россию подавай!

Мы обложились картами, справочниками по искусству — и подготовка началась. За весенние месяцы каждый отложил по несколько десятков руб-

лей; была продана Валеркина «Большая энциклопедия» и ещё ряд книг — его и моих; куплена палатка, котелок, топорик и прочая экипировка; составлен примерный маршрут — с ориентацией на памятники архитектуры и старины. Двигаться мы решили с севера на юг, «вслед за солнцем»; зимой остановиться на заработки, а весной возобновить поход, направляясь уже к северу, «в русские земли»...

В конце мая я, наконец, получил диплом — с распределением в Оренбургскую область. Однако проездных денег не взял (в точности последовав в этом примеру друзей) — и в начале июля мы с Валеркой выехали в Ленинград, где нашли Лёньку. Здесь нам довелось встретить первого «взрослого», который понял наш замысел и одобрил его: «Это будет хорошая аккумуляция», — сказал он. Он же справился: не заимствовали ли мы свою идею у В.Аксёнова (в «Юности» как раз печаталась его повесть «Звёздный билет») — совпадение весьма любопытное. Нет, нас одушевлял «Бросок на юг».

Через день-другой мы выбрались электричкой за пределы города — и вот, 20 июля, в Лебяжье, «встали на дорогу». Сейчас не помню, но думаю, что должны были в тот день провонять строчки Уитмена, с которыми жили последний год:

Пешком, с лёгким сердцем выхожу на большую дорогу,
Я здоров и свободен, весь мир предо мною,
Эта длинная бурая тропа ведёт меня, куда я хочу.
Большими глотками я глотаю пространство,
Запад и восток — мои, север и юг — мои...

У Паустовского мы вычитали, что нет надобности делать записи в путешествии: самое важное всё равно запомнится. В результате: несколько страниц в тощей записной книжке, перечень пройденных нами населённых пунктов да письма к матери, сохранённые ею, — вот все документы, которыми я сейчас располагаю. Запомнил я тоже немало — но оттенки, нюансы, детали исчезли начисто. Ко всему, каждый из нас почти всё увидел по-своему; заметил одно, упустил другое. «Смотри, какое облако: совсем дракон», — скажет, бывало, Валерка. «Какой там дракон! — негодую я. — В крайнем случае — носорог»... Почти всё мы видели по-своему и упрямо стояли на своём, приходя чуть ли не в бешенство от «слепоты» противника.

Лишь частично сохранились фотографии, сделанные нами тогда. К тому же мы были весьма скупы на них, задавшись целью фиксировать только самое интересное и делать лишь «художественные» снимки. Это также была моя идея, вызванная, с одной стороны, манией экономии (в данном случае — плёнки), а с другой — боязнью бездумного отщелкивания кадров (которые потом годами всё недосуг отпечатать)... Моё особенное пристрастие к памятникам архитектуры и старины (я мечтал тогда об искусствоведении) явилось причиной тому, что среди этих фото так мало портретов.

Зато пейзажей — достаточно. В эти первые дни природа говорила с нами ещё невнятно, но особенно пронзительно, кружа и туманя головы. Помню,

как мы шли по скрипучим дюнам — и в такт шагам поскрипывал мой новый чешский, на металлической раме рюкзак. Помню, как лазали по башням форта Красная Горка, заросшего дикой малиной. Помню ночлег на берегу Луги — с колдовской мутноватой, над шерстистыми стогами луной, и утром — размытые туманом верхушки елей на противоположном берегу...

А ещё — рериховский закат над рекой Великой и стук первых дождевых капель по палатке поутру. И минуты молчания перед затухающим костром: мерцание углей, подвижная мозаика чёрного и алого. И утреннее купанье на Черемнецком озере среди поднимающегося над водой пара. Ёлки в серебряной пряже; вспышка радуги на паутине. Рыжики среди опавшей, пластами уплотнившейся хвои; коричневые и оранжевые папоротники за деревней Синее Устье, заросшие окопы, пулемётные диски, осколки снарядов вокруг...

В эти дни я по-новому — а, может, и впервые — почувствовал, что это такое — русская земля. И написал тогда:

«Летела пушинка, я дунул. Повело немного, но летит себе, как раньше — плавно вверх. И вот я уже внизу, а она всё уходит куда-то в невидимых потоках, — в такую высоту, что я, как подумал об этом, показался себе невероятно, ничтожно маленьким»...

«На природе» мы также старались жить духовной жизнью. Читали друг другу стихи, изучали звёздное небо, я штудировал «Modern American stories». Лёнька, захлёбывавшийся в то время испанским языком, увлёк и нас его мужественной красотой — и, шагая по дороге, мы время от времени вопрошали: «Qui hoga es?» — а, горбясь под заунывным дождём, упрямо твердили: «Ноу хасе buen tiempo!» (Сегодня хорошая погода!).

Кругом было очень много воды: ручьи, реки, озёра; мы без труда находили место для ночлега и — раз в неделю — для днёвок. Не однажды мы попадали в болота; преодолевая одно, пришлось даже, на случай неожиданного провала, взять в руки по лесине. Одна из деревень была замкнута болотами с трёх сторон — и нашему появлению там были сначала удивлены, а затем, узнав, что мы шли босиком, и испуганы: вокруг, мол, много змей...

В этой деревне нас накормили супом и холодной картошкой со шкварками. Вообще мы быстро научились использовать деревенское радушие и хлебосольство. Заклинание скатерти-самобранки обычно происходило так. Постучав в ворота или оконницу, мы здоровались, давали себя разглядеть и начинали беседу. Выспрашивали, что за деревня (хотя, зачастую, уже знали это из карт), справлялись, сколько километров до следующей и как туда идти — а затем вдруг кто-нибудь проникновенно спрашивал: «А перекусить у вас, хозяйюшка, чего не найдётся?..» Огурцы, картошка и хлеб обычно не замедляли явиться; нередко следовали молоко или простокваша, иногда и сало. Не раз хозяйки первые зазывали «попутных людей» на угощение — и это при том, что деревни Псковщины были бедней бедного: избы

десятками стояли заколоченными, встречали нас одни старики (молодёжь разбежалась по городам).

«В поле» мы использовали концентраты, запас которых постоянно возобновляли. Но наш шеф-повар, Валерка, умел разнообразить это меню, устраивая то «луковую похлебку», то грибной суп. Грибов всюду была пропасть — мы их и варили, и жарили, и — по рецепту Солоухина — ели сырыми (рыжики, прежде всего). Мы собирали лесную ягоду; заваривали чай на листьях и травах; на окраинных огородах добывали то морковь, то турнепс — и не знали горя.

Из Новгорода я, наконец, сообщил домой о наших планах. Отправляясь в поход, я уверил мать, что это «только на месяц»: положение единственного сына обязывало меня беречь её нервы. В каждом из писем я рассыпался в восторгах от увиденного, удивлялся своему несокрушимо здоровью (предмет главной заботы домашних), превозносил полную безопасность и благополучие нашего предприятия. И вот, подготовив почву (тянуть дальше было нельзя), написал: «Будем ходить по земле русской. А подойдут к концу деньги — устроимся на месяц-другой поработать. И — дальше... Надо делать свою жизнь, мама».

Псков задержал нас ещё на 4 дня. Снова — десятки соборов и церквей, монастыри, кладбища — но ещё и целая россыпь интересных, увлечённых людей. Первым был директор художественного музея Иван Николаевич Ларионов. В прошлом художник, знавший Бурлюка, Татлина, живописцев «Круга», он сам бродил в 1919–20 годах по Псковщине, собирая в заброшенных усадьбах экспонаты для своего музея. Он охотно откликнулся на нашу просьбу показать запасники — и мы увидели прекрасные работы Бенуа, Бакста, Бориса Григорьева, Серебряковой, Рериха, Петрова-Водкина, — в то время ещё ховивших в «формалистах».

Латвию мы проскочили, 175 километров от Карсавы до Даугавпилса покрыв за один день. Зато в Литве задержались.

Первой остановкой здесь был Каунас — город, в котором царил Чюрленис. О нём тогда уже написал Паустовский, репродукции мы видели в старых «Аполлонах», — но художник ещё не приобрёл той известности, что сейчас: в музее было почти пусто. Мы кружили по залам с приглушённым мягким светом, вглядываясь и вслушиваясь в неяркие, какие-то матовые полотна; сидели в фондах; жадно внимали словам Валерии Константиновны Чюрленисте. Она говорила: — ...Не любил объяснять своих картин. Когда приходят дети, они больше понимают... интеллигенты хотят подогнать под какую-то школу — а для него ещё нет названия. «Меня поймут все, кто чист душой, кто не охвачен культурой»... Он не хотел дать никакой школы. Первая мысль: то, что я вижу — и надо это передать другим. Надо быть настолько творцом, чтобы не исказить себя. Это очень далёкий путь: всё знать и быть самим собой. Всё знать, — чтобы ничего не знать и всё отбросить, — это очень большая сила. «Я люблю всё, что очень трудно»... Ромен

Роллан писал о нём: «Это единственный художник, который музыкальную суть передаёт зрительно».

Кончался четвёртый месяц нашего странствия — и письма матери с призывами «определиться» становились всё настойчивее. Отделявшийся обычно бодряческими записками, я засел за обстоятельное письмо. «Мама, послушай немного, что я тебе скажу. Очень хочу, чтобы ты меня поняла. Самое главное: я буду писать. У меня есть что сказать другим, — то, что я понял, и чего не понимают многие. Но писать, быть «писателем» — очень трудно. Этому нужно отдать всего себя, всю жизнь... То, что мы делаем сейчас, — этаким бросок, путешествие галопом — только прикидка. С Крыма начнётся другое. Чтобы понять жизнь и людей, надо быть не наблюдателем, а участником... И геологическая экспедиция, и археология, и заграничное плавание — всё это мне нужно...

Ты знаешь: мы не стоим на официальных позициях, многого из окружающего не принимаем. Поэтому то, что мы будем писать, не всегда можно будет опубликовать. Может быть, мы всю жизнь будем писать — и ничего не напечатаем. Не страшно! Мы готовы на такое. Когда-нибудь, после — но люди услышат наш голос. Так бывало уже не десятки — сотни раз. Пойми: мы просто честные люди и того, что стало нашей верой, не меняем. Достаточно продажных писак, да неподражных почти и нет. А чтобы воплотить свои мысли в сильные образы, надо сильно жить. Недаром смена различнейших профессий, метания, отчаяние — удел почти всех больших художников...»

А с 25 ноября началась Одесса, продолжавшаяся целых десять дней...

Такая задержка была связана с нашими попытками устроиться в заграничное плаванье. Эта идея давно нас преследовала, прельщая возможностью повидать мир, подучить иностранные языки, отложить денюжку на свободное творчество и последующие походы. Мы таскались в порт, мучили каких-то полужнакомых — но всё, в конце концов, безнадежно уперлось в визу, получить которую можно было не ранее, чем через полгода работы на одном месте.

Кров мы нашли у нашего земляка Юры Шилина, приятеля Валерки, кончившего свердловский Горный институт. Жена его, Ира, училась в инязе — но в описываемое время нянчила «ляльку». Наши деньги были на исходе — и мы беззастенчиво сели Юрию на шею, позволяя себя кормить, поить и развлекать. Из развлечений помню посещение знаменитой Оперы, где мы посмотрели «Лебединое озеро», и не менее знаменитой толкучки, где мы загнали наш фотоаппарат. Прекрасное впечатление произвели Археологический и Ху-

дожественный музей (в последнем мы, по обыкновению, залезли ещё и в фонды). Не миновали мы и воспетого Куприным «Гамбринуса».

Запомнилась уютная, всегда оживлённая Дерibasовская, бронзовый дюк Ришелье над знаменитой лестницей, пустые дачи Большого Фонтана, где обитали Шилины, и пустынные его пляжи. Юра много порассказал нам об обычаях и нравах «Одессы-мамы» — в частности, о квартирных махинациях; о недавних беспорядках, во время которых была перебита чуть не вся одесская милиция, взявшая слишком много власти. Наконец, убедившись в тщете наших надежд на «загранку», мы выдули с Шилиным на прощанье ящик немецкого пива — и на теплоходе «Сванетия» отбыли палубными пассажирами в Крым.

Вот он, последний этап нашего совместного маршрута: ЕВПАТОРИЯ (7 декабря) — СИМФЕРОПОЛЬ — Бахчисарай — совхоз Софьи Перовской — СЕВАСТОПОЛЬ (11.XII) — Орлиное (Байдары) — Оползневое — Симеиз — ЯЛТА (15.XII) — Алушта — Приветное — Морское — СУДАК — Коктебель (24.XII).

Этот участок пути оказался очень насыщенным. В Симферополе мы попали на выставку акварелей М.А.Волошина, — в тот год впервые после смерти поэта и художника представших перед публикой.

Сорок лет спустя я не могу подобрать точных слов к тому мигу, когда на меня лавиной обрушился мощный дух этого гения, — поэта, мыслителя, художника, наконец, глубоко порядочного человека.

Великолепные акварели и живой почерк, передающие ощущение творческого процесса:

Осенний день по склонам горным
Зажёг прощальные костры.

Лазурь небес и золото земли...

Громады дымных облаков
По Веронезевскому небу.

Тишина от луны,
От холмов и от скал Карадага.



М.С.Волошина и В.П.Купченко, август 1962 г.
Коктебель, на смотровой площадке Дома поэта. Фото Юрия Высоцкого
Пересъёмка из книги: Купченко В. Киммерийские этюды (Феодосия, 1998)

Ошеломлённый, я ещё не знал, что ждёт меня впереди.

Из Ялты я писал матери: «Мне уже надоела беготня из города в город — это всё не то. Единственное место, куда мне ещё хочется, — это Коктебель (сейчас Планерское), дом Волошина. В Симферополе мы видели выставку его акварелей: совершенно бесподобно. Жива его вдова, но уже очень стара и, чтобы не опоздать, нельзя откладывать. Между прочим, там думают создать музей Волошина; если бы мне попасть туда — не раздумывал бы ни минуты».

Мария Степановна Волошина была одна. Появление трёх заросших щетиной, мокрых и грязных детей её не смутило: мы были усажены пить чай, её расспросы были метки и неожиданны. Разговор перешёл на Волошина, мы слушали, разинув рты. Затем нам была выдана десятка — и мы отправились устраиваться в автопансионат. Недельку мы сидели в мастерской, переписывая стихи; сходили на могилу поэта на горе; скромно встретили Новый год — а затем мне пришла в голову «мысль»...

Дело в том, что как раз в то время от Марии Степановны ушёл человек, который должен был помогать ей (74-летней) в быту. Я же, с первого взгляда ошеломлённый библиотекой поэта, только и думал о том, как бы окунуться в эти сокровища. И в один вечер меня осенило: ведь это отличный шанс остаться

в Доме! Незадолго перед этим мать предложила ежемесячно высылать мне по 20 рублей: я, пожалуй, мог бы на это просуществовать. И, помогая Марье Степановне по хозяйству, изучать книжные богатства Дома поэта...

И вот, наступил час разлуки. Совсем, как в песне «Так прощались в бухте серебрястой»...

— Ну, хоп! — Хоп... — Ребята пошли по пляжу, вытаскивая ноги из мокрой гальки, — на шоссе и дальше, в Керчь. Я смотрел на море, чувство облегчения было совершенно чётким. И все же — пять месяцев шли мы бок о бок, делили хлеб и соль, радости и невзгоды. Это незабываемо. Что бы ни случилось —

И в беде, и в радости, и в горе, —
Только чуточку прикрой глаза...

Друзья ушли дальше, а я остался. Колол дрова для Марии Степановны Волошиной, таскал воду. В 1964 году, женившись, поселился там постоянно. С 1968 года начал работу над книгой. Я работал тогда в Коктебеле ночным сторожем, на зиму меня сокращали, и я отправлялся в странствия по архивам, по живым современникам, ещё помнившим поэта — тогда их было немало, теперь почти не осталось. А в 1979 году я сам стал директором Волошинского музея.

Пётр ДОВЖУК

СТАРАЯ ПОЧТОВАЯ ДОРОГА

О её существовании я узнал у Паустовского. Читая его рассказ о Старом Крыме, не думал, что смогу пройти по ней когда-нибудь. Когда-то давно, в начале тридцатых годов, Грин ходил по ней в гости к Максимилиану Волошину.

Найти эту дорогу — стало моей заветной мечтой, но я не решался. Причина тому — боязнь разочарования. Может быть, потому, что я долгое время смотрел на мир как бы через розовые очки. Все мои действия подчинялись поискам необычного. И только много позже окружающая меня реальность, события жизни позволили сделать неожиданное открытие: необычное подстерегает нас на каждом шагу, оно есть в каждом прожитом дне, во многих поступках, движениях сердца и души. Все зависит только от того, чьими глазами оно воспринимается. И если ты не вставал с первыми лучами солнца, не бродил босиком по росе, если ты прятался от тёплого весеннего дождя и не любил бродить в молочном тумане под звуки шуршащей листвы осеннего леса, если ты не умеешь радоваться каждому новому восходу солнца, улыбке и не умеешь приносить радость другим — то тебе никогда не познать сущности необычного. И не увидеть...

Стоял жгучий полдень. И даже здесь, за околицей Старого Крыма, лёгкий ветерок не приносил с

зелёных предгорий желанной свежести. Я медленно шёл вдоль пшеничного поля... По краям его атели брызги мака. Невозможно было отвести восхищённого взора от красных узоров на хлебном поле. На вершине плоскогорья я остановился и огляделся.

Старый Крым, зажатый со всех сторон небольшими горами, утопал в зелени садов и ореховых деревьев. Маленький, сонный — он выглядел, словно последний полустанок мира. Как, должно быть, страдал Грин от своей болезни, если решился найти здесь своё пристанище после долгих и бурных скитаний. Бросить море, шумную жизнь города, весёлых и загорелых феоdosийцев значило для него лишиться возможности дописывать яркие пейзажи Зурбагана, Гель-Гью. А может быть...

В процессе рождения шедевра всегда наступает такой момент, когда последние мазки кисти могут испортить первоначальное впечатление. И мне кажется, что Грин бежал от себя, от возможных повторов в своём творчестве. Ведь уже появились к тому времени «Корабли в Лиссе». Он не мог обойтись без своих любимцев. А капитан Дюк, Эстамп давно вошли в жизнь первыми рассказами. Он к ним вернулся, но... стоило ли. Не спасал даже весельчак Битт-Бой, приносящий всем удачу лоцман со своей трагической судьбой. Грин решил вернуться к ре-

альности, закончить автобиографические наброски. Это было возможно только в таком городке, как Старый Крым. Уезжать далеко Грин не мог. Он должен хотя бы изредка видеть море. Видеть источник своего вдохновения...

Минут через тридцать поле закончилось, и я, наконец, попал под защиту леса. Я сделал первые шаги по забытой теперь старой почтовой дороге. А может быть, и хорошо, что о ней редко кто помнит, что её не превратили в затасканный маршрут, входящий в какую-нибудь плановую экскурсию.

Начался подъём. И всё же идти было легко. Живительная свежесть окружающего леса — удивительный эликсир бодрости. Звуки шагов заглушались мерным нарастающим шумом крон деревьев. Теперь он будет сопровождать меня всё время. Знакомый с детства голос североукраинских лесов вызывал поток воспоминаний.

По старой привычке в начале пути я решил определить своё местонахождение. Лучше держать ориентир по мху. Он всегда растёт у подножья стволов с северной стороны. И тут совсем неожиданно дорога задала мне первый вопрос — развилка. Или продолжать медленный подъём в западном направлении, или спускаться на Юг. Юг — это Коктебель. Интуиция подсказала первый вариант. Позже я узнал, что оказался прав. Иначе я вышел бы к морю километром на десять восточнее горы Узун-Сырт. А это ближе к посёлку Орджоникидзе, чем к Коктебелю. Была у меня в запасе и небольшая зацепка. На мелькомбинате мне кто-то сказал, что за день до меня на двух телегах отправили мешки на овечьи кошары по этой дороге. А они находились по ту сторону перевала перед коктебельскими виноградниками. К сожалению, все следы отрубей на каменной дороге сдул ветер. Но где-нибудь они всё равно попадутся. А пока оставалось положиться на интуицию.

Километра через два подъём закончился. Слева я увидел отроги соседней горы. И, наконец, за поворотом неожиданно открылась вся панорама. Оказывается, почтовая дорога шла по краю небольшого каньона. Впереди замыкал спуск, я даже представил себе схему дороги. Она, очевидно, походила на вытянутую петлю, каждое полукольцо которой растянуто до пяти-семи километров. А ширина — не более километра. Вот бы обладать талантом Друда из гриновского «Блистающего мира» и силой своей психики заставить себя медленно оторваться от земли и свободным парением в прохладных струях горного воздуха перенестись на ту сторону каньона. Я остановился и закурил. Струйки дыма поднимались вверх в причудливом танце, растворяясь в синеве бездонного неба.

Я сейчас забыл, у кого из писателей — его современников — прочитал, что Грин не считал фантастикой умение человека летать. Он даже с присущей ему страстностью доказывал:

— Человек будет летать без машины! Когда-то он летал. Но по неизвестным причинам способность угасла.

Глупо было бы сейчас удивляться наивности такого утверждения. Понятно и так — это мечта. Мечта человека, свободного от оков условности, косности, обывательства, мещанства. Заумные рассуждения эстетов от науки о невозможности подобного парения Человека — это такое же чистойшей воды обывательство, как и доказательства на ресторанных салфетках абсурдности полёта космических кораблей за пределы Галактики. А иначе пароконный трамвай был бы ещё и для нас чудом техники конца XX века.

На собственном опыте пришлось убедиться — спуск в горах, даже не очень крутой, труднее подъёма. Становилось прохладно. Надо мной горы и вершины деревьев. Заметно потемнело. Тучи и Аргамыш скрыли солнце. Даже немного жутковато. Временами шум деревьев усиливается, и предательский морозец первобытного страха пробегает по спине. Шумит, гудит девственный лес. А как было бы скучно без него жить. Я уж не говорю о пользе. Именно скучно, безрадостно. Сколько его уничтожено в погоне за прибылью, в угоду развивающейся цивилизации. Вспомнились строчки стихотворения Леконта де Лиля:

О лес! Ещё земля верна своей судьбине,
А ты уже страшишь очередного дня;
О гордых древ отец, вот смерть, идёт, дразня;
Уже топор торчит в твоей гордыни.
Ордою муравьёв, бегущих в вечной дрожи
При всех препятствиях, дорогою своей
Волна несёт к тебе царя последних дней,
Губителя лесов, пришельца с белой кожей.

Горько читать эти стихи. А тем не менее де Лиль прав в своём язвительном обвинении. С радостью смотрел я на живой, пока ещё не тронутый человеком густой лес, и мне вдруг захотелось крикнуть ему:

— Не бойся! Тебя не ждёт такая участь!

А он, словно сознавая это, постепенно заполнял всё окружающее пространство настороженным и мощным шумом.

Опять развилка. Но на этот раз меня выручают едва заметные следы рассыпанных отрубей, и я уверенно продолжаю путь.

Состояние настороженности леса передаётся и мне. Как бы не разразилась гроза. С востока тянется чёрная гряда облаков. Неожиданно выбежавший на дорогу дикий кабанёнок заставил меня остолбенеть. Но, очевидно, он испугался не менее моего. Какое-то время мы молча смотрели друг на друга, не двигались. Но вот кабанёнок, пронзительно хрюкнув, пулей метнулся в заросли. Спустя мгновение я увидел его мелькающую полосатую спину уже где-то внизу. Будь рядом с ним мамаша или папаша, боюсь, что мне пришлось бы пулей мчаться в кустарник. Но повезло, и я спокойно продолжил свой путь. И всё-таки неожиданная встреча не испортила настроения. Через полчаса, обогнув петлю каньона, я начал подъём. Вдруг листья деревьев, камни, вершины гор засияли всеми цветами радуги. Появилось солнце, освободившись от плена туч и Аргамыша. Идти стало значительно легче, а главное — веселее.

Интересно, как часто Грин ходил по этой дороге? Ведь трудно ему было. Очевидно, когда тишина и пасторальные пейзажи Старого Крыма не рождали желаемого состояния души, а может быть, надоедали, он бросал всё, и, преодолевая боль, усталость, болезни, отправлялся пешком в гости к шумному и неуёмному Максу. Не со многими людьми хотелось общаться Грину, но к Волошину он ходил. Как-то в первый приезд Грина (ещё из Феодосии) Волошин повёл его к морю. Он много рассказывал о Коктебеле, Сердоликовой бухте. А потом прочёл:

Его полынх хмельна моей тоской,
Мой стих поёт в строфах его прилива
И на скале, замкнувшей зыбь залива,
Судьбой и ветрами изваян профиль мой!

Это был гимн Коктебелю. Но последние строчки вызывали недоумение. Волошин заставил, очевидно, Грина оглянуться. И то, что вдруг тот увидел — поразило его. На спускающейся к морю горе Кок-Кая вырисовывался профиль, удивительно напоминающий волошинский. Поэт-отшельник любил иногда подобные эффекты.

...Я продолжал подъём. На той стороне, где часом ранее я шёл, узнавались знакомые места. И душа наполнялась чувством радости от осуществления давней мечты, от грядущей близости моря, просто от хорошего дня, воздуха и окружающего пейзажа. Дорога удалялась от южной части каньона. Подъём становился круче, и впервые за несколько часов я обнаружил следы человеческого присутствия. Появились штабеля вырубленных сухих деревьев. А вот и свежеспеленные стволы. Приготовленные для вывоза, они валялись в полном беспорядке. Снова вспомнил де Лиля. Мне стало стыдно. Я ведь собирался от избытка чувств успокоить лес, что его не ожидает та же судьба. Но присмотревшись к спиленным стволам, понял — волнения напрасны. То были больные деревья.

Неожиданно в размеренном ритме движения, в мелодии знакомых ощущений появилось что-то новое. Я даже остановился. Что это? Внимательно осмотрелся вокруг, прислушался. Но так же величественно шумел лес, те же зелёные просторы дали, а новое настроение настойчиво вклинивалось в сознание. И только пройдя несколько шагов, я понял. Это дыхание моря давало о себе знать слабыми струйками тепла, настоящего на морских ароматах. Минут через сорок пути сквозь зелень крон мелькнула водная гладь. А потом как-то совсем незаметно лес расступился. Далеко внизу во всю ширь горизонта предо мной заискрилось море. Со всех склонов южных предгорий к нему спускались ровные ряды винограда, и ты как бы оказался перед огромным полотном знаменитой картины Ван Гога.

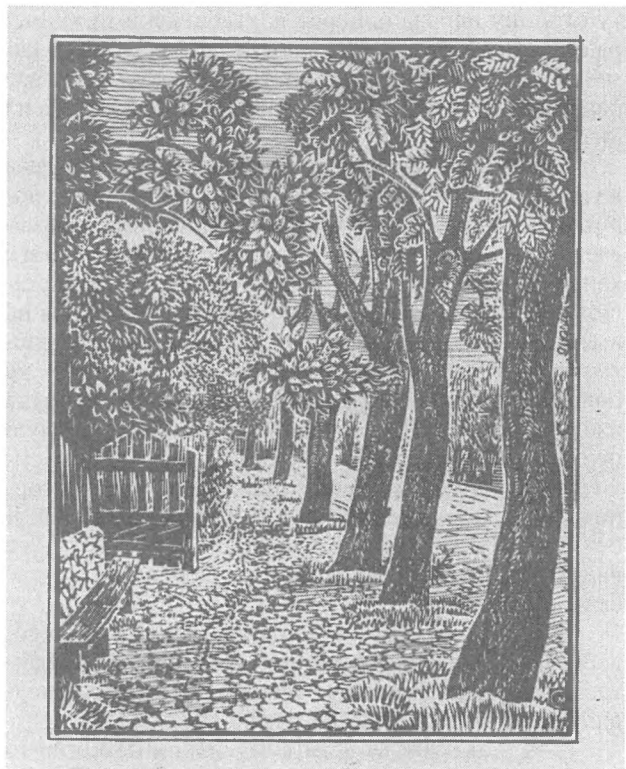
Узенькая полоска берега, украшенная высокими свечами пирамидальных тополей, застроена маленькими домиками. Их однообразие местами нарушалось современными корпусами белоснежных пансионатов. Где-то у самого берега, прижатый к морю первыми скалами мощной гряды Кара-Дага,

стоял домик Волошина. Это Коктебель. Восточнее его, словно исполинский валун в отблесках заходящего солнца, почти круто обрываясь к побережью, дремлет знаменитая гора Узун-Сырт.

Познакомившись ближе с судьбой коктебельского кудесника, я не переставал удивляться многогранности его таланта и знаний. Ведь именно он, Максимилиан Волошин, поэт, художник — смог изучить восходящие потоки воздуха над Узун-Сыртом, оценить их возможность для свободного парения легкокрылых планёров.

Но только не стоило этот волшебный кусочек Киммерии, где всё связано с именем Волошина, где на каждом камне его следы, где каждый кустик, каждая часть пейзажа воспеты строками лучезарной лирики, переименовывать. Можно было сам Узун-Сырт назвать горой Планерной, можно было так назвать соседний посёлок. А Коктебелю всё-таки следовало оставить его прежнее название. Ибо в нём угадываются едва уловимые очертания необычного. Оно должно манить души страждущих, вдохновляя на новую поэзию и новые поиски романтики, без которой наши души давно бы зачахли.

Иду чуть медленнее, стараясь продлить очарование многочасового пути. Это походит на допивание бокала ароматного искристого коктебельского вина. Постепенно белёсые, истёртые годами, известняковые камни старой дороги уступают место твёрдому песчанику. Дорога петляет среди лиственных деревьев, между которыми начинает появляться вечнозелёная туя. Море и Коктебель скрылись среди густых крон деревьев и кустарни-



У дома А.С.Грина в Старом Крыму. Гриновская аллея.
Линогравюра С.Малышева

ков. Повеяло зноем, запахом солёной воды. Временами привычный шум леса нарушался гулом далёкого прибоя.

Я часто спрашивал себя: а могли ли они не встретиться? У них разные судьбы, очень несходные характеры: общительность и замкнутость, радостное восприятие жизни и угрюмость. А почему Грин стал таким? Вот если задуматься над этим вопросом, понять причину кристаллизации характера Грина, то многое можно понять.

Тёплый, утопающий в зелени и дурманящем запахе цветущих каштанов, волошинский Киев и мрач-

ная, полусыльная Вятка Грина. Мир искусства, образованности родителей Макса и недалёкий, спившийся отец Гриневского. Гимназия, университет, Сорбонна, европейские музеи, шлифовавшие поэтический дар Волошина, и незаконченное реальное училище, скитания, бродяжничество будущего волшебника из Зурбагана. А пришли они к одному. Нет! Они не могли не встретиться. Пути людей, исповедующих одну и ту же религию — мир Красоты, Необычного — рано или поздно пересекаются. И местом их пересечения стали Киммерия и Старая почтовая дорога.

Любовь СОРОКИНА

МНЕ БЫЛО ВСЕГО ТРИНАДЦАТЬ

*В этих безлюдных местах я выбрал
самое уединённое место — уцелевший
после войны низенький дом над морем
у подножия горы Кара-Даг.*

Константин ПАУСТОВСКИЙ

Это было в 1951-м году, осенью — тогда мы вместе с Марьей Степановной начали на Янышарах могилу Максимилиана Волошина обустраивать. Взяли с собой два саженца айлантуса — любимое дерево поэта, маслину, два кувшина воды с источника Юнге. Мария Степановна несла кувшин поменьше, а я — татарский такой сосуд, медный и тяжеленный. Пока по узкой тропинке хребта втащили его на плече наверх, к могиле, несколько раз отдыхали.

Подготовили ямки для посадки. Землю эту мы долбили, долбили. Не земля — камень. Был чудный день — солнечный и тёплый. Всё нормально было. Потом начал дождь хлестать, шквальный ветер задул. Нас прямо там сваливало, но мы успели посадить айлантусы и маслину. Айлантусы сломали вскоре овцы, а маслина оказалась более крепенькая. Маслина ж, она привычная ко всему. Они её пообгрызали, но она всё одно росла. Эти два дерева испокон века разводили в Коктебеле, начиная с Юнге, первопоселенца. А кистями айлантуса до сих пор портрет Волошина украшаем в его Доме на день именин, 17 августа.

Потом какой-то год была снежная зима, потом недосуг... Время шло, и вот как-то девчонки мне говорят: слушай, там это дерево подросло, даже из Коктебеля видно. Потом стада туда не стали гонять. И маслина очень даже интересную форму приняла, крепенькая такая стала.

Потом положили плиту, два блока.

Плиту поставил Сергей Цигаль-Шагинян, скульптор, сын Мирели Шагинян. Его отец — художник Виктор Цигаль, а сама Мирель тоже художница — дочь Мариэтты Шагинян.

Константин Георгиевич жил в этом доме в крайней комнате, с той стороны, где крыльцо поднимается. Окнами на бухту, на Коктебель. Недалеко дорога на Карадаг.

Хозяин, старик Шумейко, жил с семьёй с другой стороны, где сейчас тётя Маруся... Все эти дома назывались по-местному Нижние Трассы. Трасс — это зелёного цвета минерал пуццолан, из которого цемент делают. Были ещё Верхние Трассы — на Святой горе, западнее и чуть выше Карадага. Здесь была дробилка. И со Святой горы по канатке на дробилку поступал вот этот Трасс. Верхние и Нижние Трассы одинаково относились к бывшему цементному заводу.

А потом от Коктебеля всё это вывозилось баржами в Новороссийск и там перемалывалось в муку.

День и ночь ходили баржи, день и ночь. Где-то с 27-го и до начала войны, по 41-й год. Потом разработки прекратились.

Ещё взрывали Святую гору и по жёлобу скатывали щебень вниз, к берегу. Огромный был жёлоб.

Паустовский приехал сюда весной, в начале 50-х годов. Думаю, что основной причиной его приезда был Грин, Грин его привёл сюда. Потому что не может быть, чтобы он приехал сюда просто так, а уже здесь узнал о Грине. Нина Николаевна Грин, когда я спрашивала её, ссылалась

МП: Любовь Петровна Сорокина (Печерикина) — прообраз девочки Любы в рассказе Паустовского «Встреча» (в машинописных вариантах — «Сухое вино»), уроженка посёлка Коктебель. Она с детских лет воспитывалась и работала в доме Максимилиана Волошина в Коктебеле — ещё задолго до открытия в нём музея, — помогала Марии Степановне, вдове поэта. В настоящее время — музейный смотритель Дома-музея.

Беседа с Л.П.Сорокиной в мае 1999 года велась у дома, где несколько дней жил и работал Константин Паустовский.

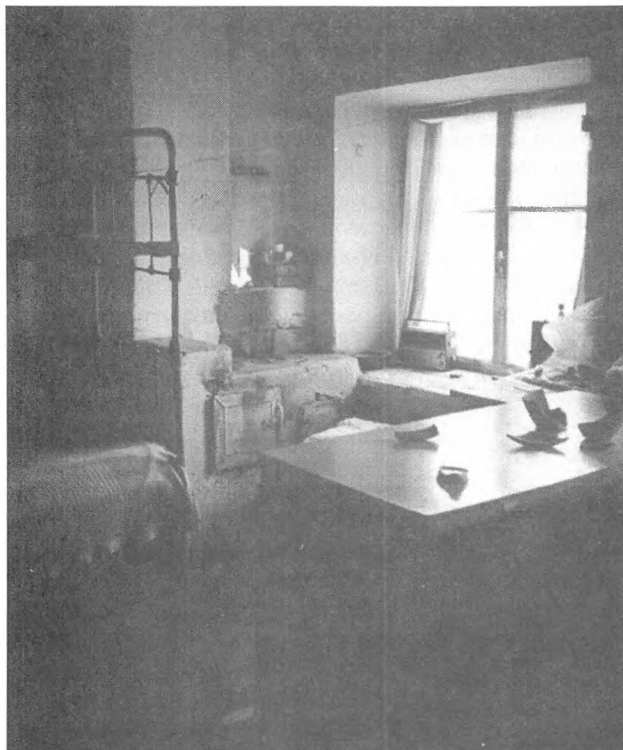
на Паустовского. Ведь, если бы не Константин Паустовский, то неизвестно вообще, знал ли бы кто-нибудь об Александре Степановиче.

И всё же Коктебель — это, конечно же, Максимилиан Александрович... И как только Паустовский приехал, сразу пришёл к Марии Степановне.

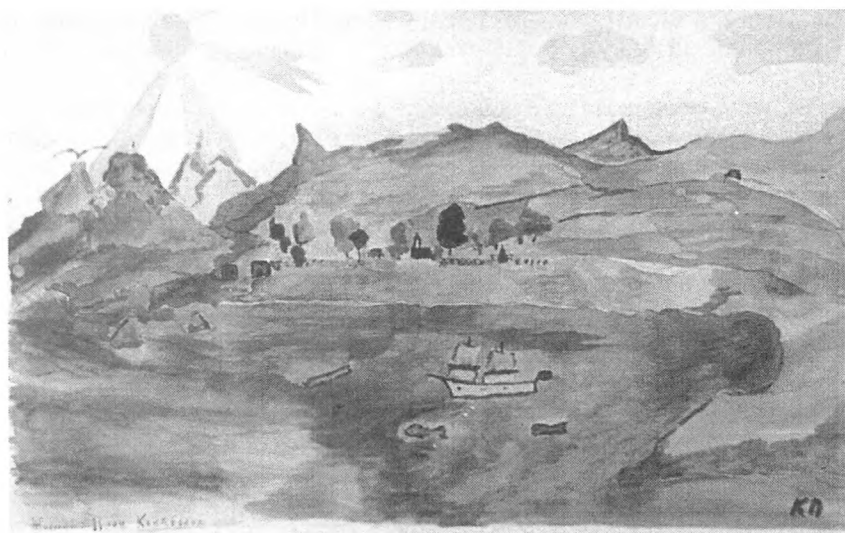
Он исходил здесь все места по Карадагу и бухтам Янышар. Может быть, Мария Степановна рассказала ему о всех наших тропинках, — она, кстати сказать, очень хорошо Карадаг знала и окрестности. Но этого не могу утверждать, потому что сама не слышала.

Я видела несколько раз Константина Георгиевича у Марии Степановны. Они сидели за столом, как мы сейчас с вами сидим. Анчута¹ его всегда первая встречала. При первой моей встрече с ним Анчута мне шепчет: «Знаешь, кто это?» И фамилию назвала со значительностью.

Он очень скромно выглядел, всегда раскланивался... Мария Степановна и Анна Александровна к нему не просто доброжелательно, а с каким-то особым уважением относились. Скорее всего, Мария Степановна предлагала даже ему пожить в доме Волошина, но я так думаю, что он отшельником был, любил природу...



Фрагмент комнаты, в которой останавливался К.Г.Паустовский
Фотография А.А.Кириленко, май 1999 г.
Из архива Моск. лит. музея-центра К.Г.Паустовского



Живописный план Коктебеля.

Акварель К.Г.Паустовского для сына Алёши, [1960].

(Под картиной написано: «Сердоликовая бухта, Лягушачья бухта, Гора Сюрю Кайя, Дом отдыха писателей «Дом Волошина», Памятник матросу, Могила М.А.Волошина, Мёртвая бухта». Стрелками указаны направления).

Пересъёмка акварели из тарусского дома К.Г.Паустовского

Здесь, в этом доме, он жил один, жил несколько дней. У хозяев была корова, они пекли хлеб, так что, думаю, его подкармливали. Но он был очень скромным. Здесь и подружка моя жила, Галя Шумейко... Хозяева с очень большим уважением к нему относились, настолько привыкли, что просто расставаться не хотели. Говорили, по вечерам что-то пишет в комнате, и чтобы мы с Галей ему не мешали.

Писал, зажигая керосиновую лампу. У нас ведь не было тогда электрических лампочек, они потом уже появились. И мы, школята, уроки делали тоже при керосиновых лампах.

В этот дом я к нему не заходила, стеснялась, но как-то я видела его, стоящего на крылечке. Крылечко каменное, гераньки стояли в вазончике.

Дом тогда выглядел очень хорошо, побелен... Цветов масса было, герань была...

И баня в доме у бабулек была. Здесь в бане и мы мылись водой из Эфенди-чешме, из источника.

А когда мы на Карадаг лазали, в этом доме я у Гали спать оставалась. В кино на детские фильмы отсюда бегали. Бабушка очень боялась за Галю, не пускала, — сеансы поздно кончались, — а мы всё равно мчимся.

Очень чистенький был дом. Сколько лет уже прошло! Немцы, татары, русские не трогали... А электростанцию взорвали, отступая, наши. Потом взрывали и разбивали сами жители. После войны. Очень добротный камень был. Отсюда вывозили полуторками, «газиками». Строили себе дома. Вот здесь в соседнем доме контора была. И крыша, конечно, была

¹ Анчута — Анна Александровна Кораго — родственница поэта Тютчева, племянница Гаршина, умерла в 1953 году. Анчутой («Анна чуткая») её назвал М.А.Волошин за любовь к Дому, к людям... Умирая, он просил её остаться в Доме вместе с Марией Степановной, женой. Всю свою оставшуюся жизнь она была хранительницей Дома поэта.

у него. На электростанции мой папа работал, старшим механиком-дизелистом. Его каратели в сорок втором расстреляли, по доносу...

А вообще-то Паустовского мы под Святой горой впервые увидели. Мы — это Галя, я, брат мой и ещё кто-то из ребят, — малышня, одним словом. Кричали, носились, играли кто во что горазд... Мы на лужайке были, на той, где сейчас тюльпаны растут. Там такой есть маленький склон, на который через кусты трассовская дорога выходит.

Вдруг ветки этих кустов раздвинулись, и кто-то там остановился. Какой-то человек, которого мы прежде не видели. И смотрит на нас внимательно, будто изучающе. Мы сначала так растерялись, — мальчишки все удрали. И я на лужайке одна осталась, опешила и не знаю, куда бежать. Стою, а он ничего не говорит — ни «девочка...», ни что-нибудь еще. Потом мне как бы поклонился и пошёл стороной.

Я Гале, когда её встретила, говорю: «Галь, знаешь, там какой-то странный человек ходит». — «Да это, — отвечает, — наш писатель».

Его имя я первый раз узнала от Анчуты. Я ей рассказала, как мы его видели в лесу и как испугались. А она засмеялась и говорит: «Не надо пугаться, это замечательный и очень добрый человек».

А потом он опять зашёл к Марии Степановне. Теперь мы поменялись ролями — я за ним наблюдала, внимательно разглядывала. Сидела одна в столовой и наблюдала.

Они говорили о Максимилиане Александровиче, о том, как они зиму пережили. О войне говори-



Карадагский природный заповедник. Станция мониторинга окружающей среды в Верхних Трассы. Дом, в котором останавливался К.Г.Паустовский в 1949 г. Фотография А.А.Кириленко, май 1999 г. Из архива Моск. лит. музея-центра К.Г.Паустовского

ли. Ну, а как же? А я просто сидела и молчала. Анчута мне с осуждением даже пальцем грозила: мол, слишком уж ты пристально всматриваешься. А он говорит, говорит, а потом как-то так повернётся, улыбнётся мне...

Что меня поразило, — это его взгляд. Не колючий, а очень пронизательный взгляд.

Потом мы несколько раз его видели, — он проходил по тем местам, где мы с мамой гравий заготавливали. Это возле старой бани и электростанции. Наверное, видел и нашу работу. Носилки были очень тяжёлые, и таскать этот камень на носилках... Сейчас просто страшно вспомнить. Хотя бы даже потому, что был случай, когда из гравия вымыло мину, и она торчала палкой среди гравия, совсем рядышком. Но случай нас уберёт, — мину заметил какой-то прохожий: «Не шевелитесь!» — говорит.

Мы высыпали носилки рядом с тем местом, где я живу, где все эти нынешние «боксы»¹ сейчас построены. Нам с мамой нужно было определённое количество этого гравия заготовить. Потом этот гравий на полуторках подвозили к Дому творчества, где его расходовали на разные цели.

А вы знаете, какой это был гравий?! Там же полудрагоценные камни! Насыпаешь лопатой, и вдруг — сердолик, агат... Их я набирала в карманы и всегда приносила Анчуте и Марии Степановне.

В очередной раз, когда я принесла целый носок этих камней и попросила Анчуту, чтобы та передала их Константину Георгиевичу,



Вид на Станцию мониторинга от верхнего леса (видна крыша дома, вдали — бухта Коктебеля). Фотография А.А.Кириленко, май 1999 г. Из архива Моск. лит. музея-центра К.Г.Паустовского

¹ Имеются в виду новые частные невзрачные постройки с гаражами на берегу между Коктебелем и Карадагом.

она сказала, что он уже уехал. «Ничего, — добавила, — даст Бог, приедет когда-нибудь ещё».

Потом я училась, закончила школу, пыталась поступить в училище, Топловское садово-винодельческое, там теперь женский монастырь... Но это уже отдельный разговор.

А Анчута ему, очевидно, рассказала о моих увлечениях. Я-то была девочка хоть и бродячая, но замкнутая — сама о себе никогда и никому не рассказывала. Из меня вытянуть что-нибудь было страшно тяжело. Я могла довериться только Анчуте. С Марией Степановной у меня из-за моей молчаливости были даже иногда и конфликты, или так называемый «термидор». Она меня, например, спрашивает: «Ты почему молчишь?» — а я молчу. Она: «Ты поняла, что нужно было за молоком проследить?» Отвечаю: «Да», а сама думаю об Ассоль, о Грее... Какое там молоко!

Анчута знала о моих настроениях и подсовывала мне разные интересные книги. Я, будучи на кухне, зачитывалась иной раз так, что всё горело и убежало. Вот тогда-то и происходил «термидор», который устраивала Мария Степановна. Она обычно говорила: «Вот сидят две дурочки... Одна, конечно, читает и витает в облаках. А Анчута совсем девчонку испортила: та начиталась и теперь бродит по Карадагу, ищет всяких динозавров... Чёрт знает, какие у неё теперь мозги, и что из неё получится!»

После того, что мне рассказала Анчута о Паустовском, я ожидала, что от него услышу что-нибудь приключенческое, очень интересное...

Однажды мы встретились с ним на рыбалке, но тогда мы просто молча раскланялись. А разговор один единственный с Паустовским всё же произошёл. В Янышарских бухтах. Вот там уже нам некуда было деться. Я шла с бухты Провато, а Константин Георгиевич шёл мне навстречу. Пустынная бухта, и только мы двое. Деваться некуда — нос к носу. И вот тут мы разговорились. Не о писательстве, нет — простой и обыкновенный человеческий

разговор. Но я всё равно была потрясена: как неожиданно и в таком диком, совершенно пустынном месте мы встретились. Мне казалось, что в этих местах только я хожу. Как будто это моя бухта, мои, так сказать, Янышары.

Я уже знала, что этот «странный» человек и есть Паустовский — он уже был у Марии Степановны, и моя настороженность и замкнутость по отношению к нему, как ни странно, исчезли после рассказа Анчуты.

Сейчас он расспрашивал меня о бухтах и их названиях. И я ему рассказывала о них. Янышарские бухты небольшие, они за Коктебелем, в сторону Феодосии. Начинаются сразу за мысом Хамелеон (Топрак-Кая) и тянутся до мыса Джанкутаран. Я называла Биюк-Янышары, Кучук-Янышары... Биюк — малые, а Кучук — это большие холмы и бухты. В Янышарах был средневековый монастырь.

Могила Волошина на Кучук-Янышарах. Правильнее даже надо говорить: Алан-Кучук-Янышары. Но сейчас «Алан» не говорят, а просто — Волошинская могила, горка.

В бухтах весной или осенью редко кого можно было встретить.

За мысом Джанкутаран рукой подать до Двухъякорной бухты, где посёлок Орджоникидзе. Туда нас тогда не пускали, там было что-то такое сверхсекретное. Но в рассказе Паустовского такое название и не присутствует, там — посёлок Якорный.

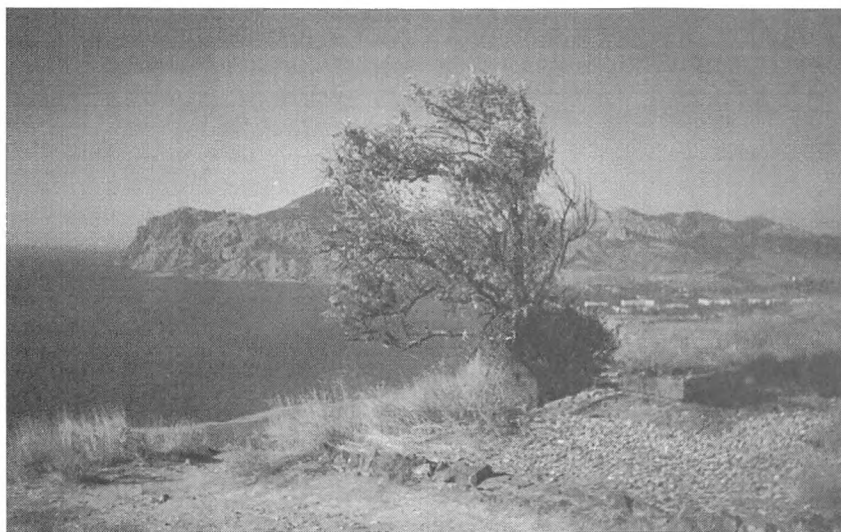
До бухты Провато от Коктебеля идти и идти. Далековато, прямо надо сказать. Для меня это трудности тогда не представляло никакой. Я шла на могилу Максимилиана Александровича, потом с могилы спускалась вниз, туда, в бухты и всё... Сейчас, — конечно... А тогда — запросто: вниз и...

Паустовский был очень сдержан и, конечно же, не сказал, что собирается написать об этой встрече. Запомнились его глаза, очень внимательные, и долго потом, несколько дней, этот взгляд не выходил у меня из головы. Спокойная улыбка, лицо... — никакой назойливости, как равный с равным.

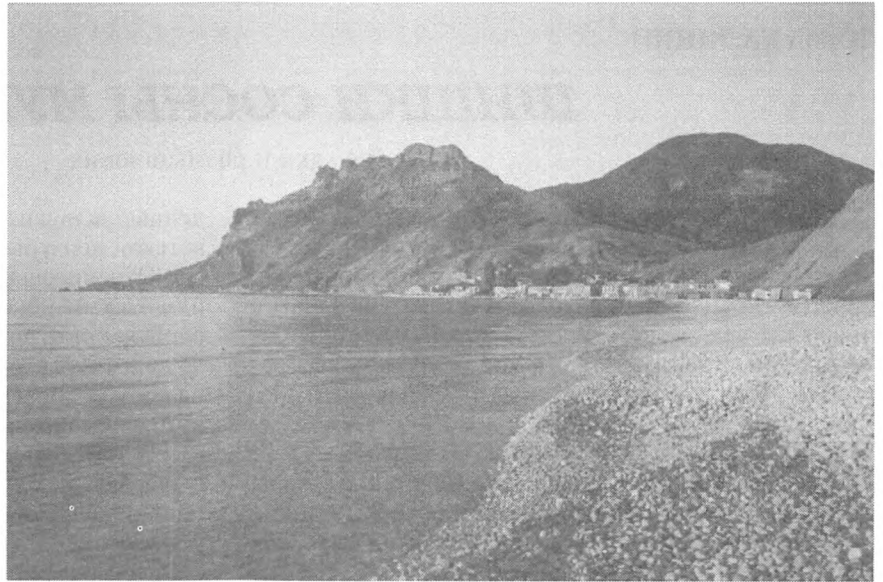
Эта встреча казалась мне совершенно романтической, я бы так сказала. Беседа совпала с моей натурой, с моим настроением, с мироощущением. Наконец, мне было тогда всего тринадцать, четырнадцать лет шёл. Я ещё думала, что он будет писать о пиратах и разбойниках... Наверное потому, что у меня башка была с самого малолетства забита всем этим, думала, что тут вдруг алые паруса поплывут. Мне хотелось в каждой бухте что-то подобное найти, открыть...

Это была такая единственная — в том промежутке моей жизни — встреча, запомнившаяся мне навсегда.

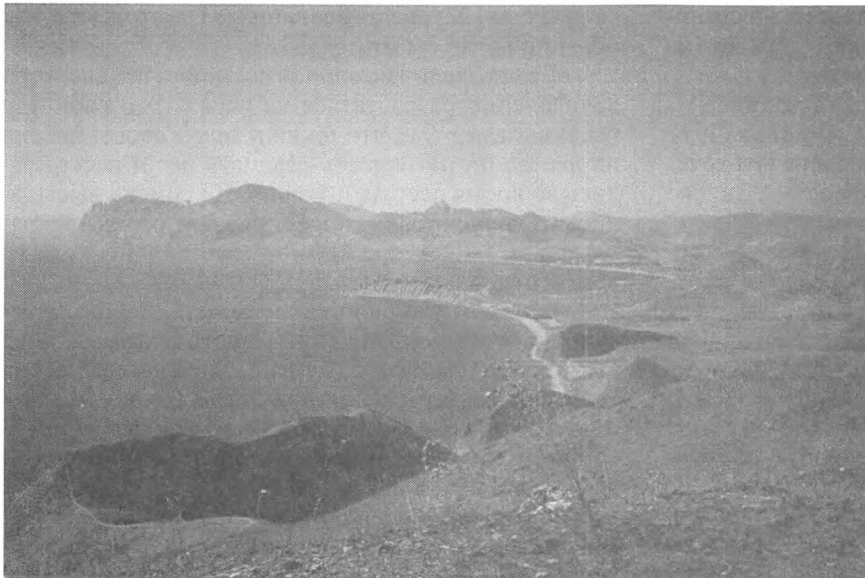
Литературная обработка А.Кирилленко



У могилы М.А.Волошина.
Фотография И.И.Комарова, 1998 г.



Коктебель. Бухта.
(Под Святой горой угадывается дом
Станции мониторинга).
Фотография А.А.Кириленко, май 1999 г.



Вид на Коктебель от Жданкутарана.
Фотография И.И.Комарова, 1998 г.



Вид на мыс Двукорный от Жданкутарана.
Фотография И.И.Комарова, 1998 г.

Юрий КАЛИНИН

ШИШКИ СОСНЫ МУРРЕЯ

Догадки и размышления

Впервые я прочёл Паустовского почти пятьдесят лет тому назад, студентом. То была «Повесть о лесах». Она поразила меня водопадом трепетных чувств, скрытых от моего осязания звуков, запахов и красок, как выяснилось, всюду наполнявших окружающее пространство, и той ясностью изображения этого, которая даётся автору только откуда-то свыше.

Так ароматно, так сочно и так заманчиво в те годы у нас не писал почти никто. Советские авторы напрочь позабыли, что, если литература — пища духовная, то она по определению должна быть, как минимум, вкусной и не набивать оскомины.

Проза Паустовского источала такое обилие людского тепла, что при чтении почти явственно возникало предощущение вечной потребности каждого из нас — счастья.

И ещё. Было в ней некое, ускользающее от точного определения откровение, адресованное автором только одному тебе. Нашупать его хотелось нестерпимо, но удавалось не сразу и далеко не всегда.

Теперь мне глубоко за шестьдесят, и я не разочаровался в своём пристрастии. Но с годами проза Паустовского стала открываться мне не только с её цветочной, но и с корневой — профессиональной стороны. И мой интерес к ней стал вновь подогреваться необычайно.

Повесть «Чёрное море» я прочитал в 1957 году и тогда обратил внимание на то, как почти мимоходом писатель умел бросить читателю острую мысль, надёжно прикрытую сюжетным ходом. В повести есть эпизод, когда один из просоветски настроенных персонажей, уходя от врангелевцев, пробирается из Севастополя в Коктебель и десять дней скрывается у Максимилиана Волошина. Потом он уходит в Феодосию. Провожая его, Волошин снабдил беглеца письмом к знакомому художнику.

«В Феодосии я провёл два дня у художника. Спал в его мастерской за неоконченными картинами.

Художник — старый поляк, человек сухой и молчаливый, — меня почти не замечал. Только при первой встрече он проворчал:

— Мне совершенно всё равно, кто вы и почему скрываетесь. Мне нет никакого дела до офицеров и большевиков. **ВСЕ ВЫ МЕШАЕТЕ ЛЮДЯМ РАБОТАТЬ**».

Написать такое — и опубликовать! — в 30-х годах требовало от автора не только мужества, но и незаурядного колдовства...

Время для жизни не выбирают. Какое досталось, в том и живи, в том и реализуй заложенное в тебя Богом. Не каждый в этих условиях находит верную дорогу к конечной цели. Тем более писатель, вынуж-

денный всю жизнь двигаться по минному полю советской цензуры.

Относительно своего времени Паустовский себя иллюзиями не тешил. И потому выработал свою особую осмотрительную поступь, которая позволяла двигаться вперёд, не теряя лица, и твёрдой рукой на ходу подбрасывать в лунки зёрна своих убеждений, своего понимания происходящего.

В том, что они прорастут, сомнений у него не было. Минное поле — тоже почва, а у мыслей, если они пророческие, та же биологическая природа, что у любого зерна — ждать своего часа.

При более позднем перечтении «Повести о лесах» меня как током ударило от провидческого описания сосны Муррея, обронённого Паустовским, как обычно, вроде бы мимоходом:

«Её прозвали «пожарной сосной» за её свойство великолепно разрастаться на горях. Это свойство было вызвано тем, что шишки такой сосны висели на дереве по пятнадцать-двадцать лет и раскрывались во время лесных пожаров. Но семена высыпались из шишек только после того, как огонь прекращался. Семена «пожарной сосны» не теряли всхожести десятки лет».

Однако в рукописях такие семена требовали безупречного камуфляжа. И Паустовский овладел этим ремеслом. Как опытный иллюзионист, он на глазах цензора — чужими устами — ронял главную мысль, а своими неотразимо убеждал, что сам-то автор всюю и во всём шагает с неповторимой эпохой в ногу.

В «Чёрном море» он глубоко упрятал смельчака, изрекшего сверхкрамольную мысль в вымышленный рассказ вымышленного же им писателя Гарта и тут же обезоруживающе просто разыграл финал этого эпизода:

«— Если я вам мешаю, то уйду, — ответил я и пошёл к двери.

— Если вы выйдете раньше, чем я вам позволю, — сказал он, — то я сейчас же пойду в контрразведку и донесу на вас. Поняли?»

Через три дня он так же на ходу, не отрываясь от работы, сказал мне:

— Теперь можете убираться.

Я ушёл. Вскоре я узнал, что в городе рыскала по улицам отчаянная офицерская сотня и выйти было невозможно. В тот день, когда художник меня выгнал, сотня ушла в Симферополь».

Старый ворчун спас-таки беглеца! И всё. Какие тут вопросы?!

Мысль о том, как мешает людям жить и работать противостояние общественных группировок, поражала живучестью. Сказанная в 30-х годах, она соответствовала и середине годов 50-х. Хрущёвский

доклад на XX съезде КПСС взорвал страну, вскрыл чудовищные язвы прошлого, но и вновь заострил борьбу. Начавшаяся победой «оттепели», она закончилась торжеством брежневской «слякоти». Да и сегодня — оглянитесь! — разве раскол общества на «рыночников» и «распределителей» способствует творчеству? Разве ожидание, когда СВОИ начнут бить СВОИХ, может способствовать делу людей работающих?

Формальный носитель крамольной мысли «художник — старый поляк, человек сухой и молчаливый» вовсе не выдумка Паустовского. Это уроженец Феодосии Константин Фёдорович Богаевский.

При необходимости Паустовский мог бы добавить, что Богаевский, воспитанный в известной всей Феодосии обрусевшей немецкой семье Ивана Егоровича и Софьи Антоновны Шмитт, в совершенстве владел немецким языком, был аккуратен в одежде и педантичен в быту. Дома у него царил незыблемый порядок, а в мастерской прямо-таки аптекарский лад: кисти тщательно отмыты, палитра выскоблена, краски — каждая на отведенном месте. Сходство с аптекой состояло ещё и в том, что художник постоянно экспериментировал: смешивал масло с воском, с керосином, менял грунты... Лаки не покупал, варил собственноручно.

В повести его настоящее имя не названо по вполне понятным причинам. Времена стояли паскудные, а для доноса хватало и меньшего.

Паустовский не раз возвращался к образу этого человека. Так в эссе «Воспоминания о Крыме», опубликованном в 1948 году, он написал:

«Крым оставил глубокий след в нашем искусстве. Достаточно вспомнить имена Пушкина, Мицкевича, Чехова, Горького, Толстого, Сергеева-Ценского, Вересаева, Куприна, Грина, Волошина, Малышкина, художников — Богаевского, Кончаловского, Дейнеки».

В таком блистательном ряду отвёл он место Богаевскому.

Паустовский — да. А вот у официальных властей имена Волошина, Грина и того же Богаевского вызывали скрипучую гримасу. По их мнению, все они как-то не вписывались в понятие художников «социалистических», да к тому же каждый из них имел в биографии эпизоды, с позиций власть предержащих предосудительные. Волошин тем, что во время гражданской войны прятал не только «красных» от «белых», но и «белых» от «красных». Грин был вообще не от мира сего, и его имя всю притормаживали слухи о якобы имевшем место сотрудничестве его последней жены с гитлеровцами. Что же касается Богаевского, то у него в биографии выпирало одно обстоятельство, упоминание о котором вообще категорически не имело шансов попадания в печать.

Но вот какое дело — именно Волошин, Грин и Богаевский были на острие зрения Паустовского. Он писал о них и много, и хорошо. Что же касается Богаевского, то Паустовский рискнул преодолеть цензурный барьер о нём в условиях, близких к невозможным.

Мне долго пришлось идти к разгадке этого, и потому позволю себе рассказ издалека.

В моей жизни так произошло, что после окончания ленинградской «корабелки» служебная стезя вывела меня на Феодосию. Тридцать лет провёл я там в командировках — испытывал на полигоне завода «Гидроприбор» самые передовые советские торпеды.

О Феодосии я ничего не знал, но в тот момент как раз запоем читал «Повесть о жизни» Паустовского, где случайно выудил краткую, но запомнившуюся информацию:

«В лавке у Караваева были собраны товары со всей страны — табачи из Феодосии, грузинские вина, астраханская икра, вологодские кружева, стеклянная мальцевская посуда, саратовская горчица и сарпинка из Иваново-Вознесенска».

Табачи из Феодосии стояли в ряду первейших российских товаров, и это во мне зацепилось. Но я и предположить не мог, что эти табачи неожиданным образом подведут меня к удивительной литературной тайне...

В командировку я ездил вдвоём с женой, Галиной, и этому обстоятельству мы радовались безмерно. Крым был тогда самым, пожалуй, праздничным уголком СССР. Миллионы туристов — диких и организованных — годами копили деньги, чтобы шикануть на солнечном берегу Чёрного моря. Уникальное сочетание бездонного летнего неба, благоухающего побережья с античной древностью, полной тайн и легенд, не просто трогало душу, но основательно ремонтировало её. Нам же на это и денег тратить не приходилось. Пребывание в Крыму щедрым ВПК ещё и оплачивалось: суточные, квартирные, да ещё и зарплата, да ещё и — вдвоём!..

Правда, работа была изматывающей, мы всю стремились обогнать американский ВПК, бытовые условия — примитивными, но мы были молоды и каждой клеточкой своего тела старались впитывать в себя полюбившийся нам Крым.

Довольно скоро я заметил, что Феодосия крепко держит в себе память о прошедшей войне. Удивляться тут было нечему. С начала войны не прошло ещё и двадцати пяти лет. Поколение её участников, конечно, постарело, но было ещё многочисленным и на выбеге лет активным. Да и внешние городские атрибуты не давали повода к потере этой памяти. Она жила в многочисленных памятных досках, в названиях улиц — Боевая, Партизанская, Победы...

Посреди Феодосийской бухты ещё торчал из воды клотик потопленного во время десанта 1941–1942 годов корабля «Жан Жорес». Поднимать его эпроновцы поостереглись. Трюмы корабля были заполнены танками, приготовленными с ходу ринуться в бой, и огромным количеством боеприпасов. Говорили, что если всё это от неосторожного движения сдетонирует, то снесёт полгорода.

Каждый год 13 апреля Феодосия принаряжалась, чтобы торжественно отметить очередную годовщину освобождения города от немцев.

Тогда я уже начинал писать рассказы. Городская газета «Победа» охотно печатала их, и постепенно военная тема поглотила меня целиком.

Особо меня заинтересовали крымские партизаны. До сих пор мне удивительно, как они сумели сохраниться на такой небольшой и притом практически островной территории? Почему вооружённые до зубов отборные немецкие войска не сумели справиться с ними?

Каждый свободный день я отправлялся бродить по старинным улочкам Феодосии, насыщался их неповторимым приморским очарованием, а заодно отыскивал адреса бывших партизан и записывал их исповеди.

Всё это были измотанные жизнью старики, выжившие в боях, но не ставшие удачливыми в мирной жизни. За человека, который готов внимательно выслушать их, они хватались, как утопающий за пробковый круг. Не видя во мне официального лица, а лишь внимательного и сострадающего собеседника, распалившись воспоминаниями о своей молодости, они в простоте душевной наговаривали мне такие откровения о тех днях, что у меня порой едва ни буквально волосы вставали дыбом.

Особенно о том Феодосийском десанте, закончившемся так печально.

Народу тогда погубило — пропасть. Но не столько в боях, сколько в расправах. Когда в Феодосию ненадолго вернулись наши, они тут же перестреляли тех, кто, по мнению соседей, способствовал оккупантам. А когда наши отступили, немцы произвели повальные расстрелы тех, кто, опять-таки по мнению соседей, помогал десантникам. Никаких судов, естественно, в тех условиях ни с той, ни с другой стороны и помину не было. Стреляли без разбору.

В советских книгах о той войне ничего подобного мне встречать не приходилось. Лишь вспоминались горькие слова Льва Толстого, тоже, кстати, вложенные в уста героя его основного романа Андрея Болконского: «Война не любезность, а самое гадкое дело в жизни, и надо понимать это и не играть в войну».

Тогда-то, воспитанный на том, что День Победы — самый светлый праздник нашей страны, я постепенно стал понимать, какой страшной ценой он был оплачен моим народом...

И скоро, а главное с неожиданной стороны, получил я тому вещественное подтверждение.

Хозяйка дома, у которой мы снимали комнату, — увечная, не ходившая без подмышечного костыля Надежда Васильевна (дом её на улице Победы, наискосок от городской пожарной части стоит и сейчас) каждое божье утро, кряхтя, уходила со двора на рынок.

Стоило ей пропустить базарный день, как она начинала ворчать и нервничать. Ругалась с беспобудным пьяницей-сыном, жаловалась на нерадивую невестку, бранила ненасытных кур и беззлобного попрошайку Тобика — сидящего на гремящей цепи кобеля редчайшей по своей неизвестности породы.

Феодосийский базар во все времена не столько снабжал горожан продуктами окрестных сёл, сколько являлся привычным информационным центром. Появление газет, радио и телевидения его статуса ничуть не затронуло. Слухи о происходящем вокруг опережали официальные публикации о них, а главное, обрастали такими смачными комментариями, что запоминались мгновенно. Пропустить базарный день для феодосийца означало, что он оступился с земли и кубарем полетел в безыформационное космическое пространство. Произойди с Феодосией вселенская катастрофа и останься в ней живыми хоть два-три горожанина, на следующий же день они непременно встретились бы на месте бывшего базара, чтобы задать друг другу главный вопрос:

— Ну, шо там балакают?

Видя, как трудно Надежде Васильевне носить кошёлку с провизией, Галина иногда сопровождала её на базар. И однажды не выдержала, спросила:

— Где же это вас так, Надежда Васильевна, покалечило?

— Так на базаре жиж!

— Как? Когда?

— Так в войну жиж! Самолёты налетели и прямо на базар. А народу там было — битком. Тогда ведь кроме базара нигде ничего... Вот и... Хорошо ещё, я к Сухареву попала. Он меня зашивал и лечил.

Онисим Иустиневич Сухарев личность в Феодосии легендарная — хирург, главный врач карантинной больницы, заслуженный врач республики. Его могила на старом городском кладбище одна из посещаемых. В те годы. Сейчас — не знаю...

При оккупации немцами Феодосии он из города не ушёл, остался при больных. Их же никто не эвакуировал. Лечил всех без разбора — и наших, и немцев. Больных! Вообще я ещё тогда удивился тому, как притягивала Феодосия талантливые личности, для которых в нашем мире не существовало деления на СВОИХ и ЧУЖИХ — Волошин, Богаевский, Сухарев... Но война — дело жесткое, суровое. В зиму 1943–1944 года партизаны выкрали Сухарева из города — увели в лес. Там ему в шалашах организовали передвижной госпиталь, где он оперировал раненых, обмороженных, гангренозных. Городские болели и умирали без него. К ним он вернулся немедля, 13 апреля 1944-го.

Когда Галина пересказала мне разговор с хозяйкой, я засомневался и пошёл уточнять.

— Надежда Васильевна, а когда была та бомбёжка?

— В феврале сорок третьего.

— Вы точно помните?

— А то — забудешь!

— Так Феодосия тогда была под немцами!

— Была.

— Так кто же базар-то бомбил? — холодея от догадки, спросил я.

— Так наши жиж и бомбили!

Сколько было мною читано, сколько видано с киноэкрана героических поступков той войны, ког-

да окружённые врагами НАШИ вызывали огонь на себя и НАШИ же, умытаясь слезами, начинали стрелять по СВОИМ. Но то и мотивировалось тем, что СВОИ же и взывали. А тут...

С тех пор всякий раз, разговаривая с феоdosийцами о минувшей войне, я непременно спрашивал их о той бомбёжке. Вскоре я убедился, что этот факт войны в городе старательно сдвинут в зону молчания. Даже те, кто помнил о нём, вводили разговор в сторону, мол — война!.. В музее, в редакции «Победы», в совете ветеранов, в комнате партизанской славы тоже мялись с ответом, а однажды и осадили:

— Далась вам та бомбёжка?.. Война была. Порт-то рядом. Видать промазали, вот и... О героическом лучше пишите. О героическом!

Тогда-то по наводке городских музейщиков я посетил любопытного человека — Георгия Емельяновича Тимашова, краеведа, бывшего учителя.

Жил он под самой стеной генуэзской крепости по адресу, если мне не изменяет память, Портовая, 12, в собственном доме с крохотным садиком.

Старых учителей в малых городах знает каждый, но тут был ещё и особый случай. Мальчишкой Егор видел два события: заход в Феодосийскую бухту мятежного броненосца «Потёмкин» и сброс портовыми грузчиками с пьедестала первого в России памятника Александру III, установленного стараниями И.К.Айвазовского.

Об этом на старости он написал воспоминания, которые отдал в музей. Но периодически изымал их оттуда — переписывал. Музейщики посмеивались: «Не стало «вождя всех времён и народов» — переписал, скинули Маленкова — внёс поправки, убрали Хрущёва — переработал рукопись наново...»

Когда я осторожно спросил его, зачем он это делает, старого учителя даже приподняло над стулом.

— Молодой человек! Постигание истории — дело ответственное, идеологически важнейшее. История, как учебник, должна отвечать задачам нынешнего дня, формировать наше сознание.

Мой вопрос о базаре, о его бомбёжке оказался для него неожиданным и не на шутку насторожил. Он даже глаз прищурил.

— А зачем вам это?

— Не могу понять причины.

— А на войне не всё от причин. Бывает, и от чувств.

— Тем более интересно...

— Вы вот это вот... — Заволновался он так, что у него затрясся подбородок. — Вы о той бомбардировке не особо и спрашивайте. Вам наговорят...

На том он наше знакомство и оборвал.

Вообще-то говоря, понятие отмашливости моих собеседников от назойливого вопрошателя было можно. С одной стороны, стоило ли отыскивать ржавчинки в нашем, безусловно, героическом военном прошлом? Они есть у любой страны, у любой войны. А с другой стороны, всякая война вообще, любое силовое противостояние людей — это в определённом смысле неизбежный огонь по СВО-

ИМ. Миллионы их, polegших во всех войнах, — и завоевательных, и освободительных, и гражданских, и отечественных, — разве тому не подтверждение? Потому-то после всех войн с такой неохотой и так оттянуто по времени обнародуют цифры СВОИХ потерь...

Всё так, но мне не давал покоя вопрос о том, как же это наши «инженеры человеческих душ» ушли от этой темы? Почему не углубились в неё?

Минное поле цензуры? Да, конечно. Державный патриотизм? Несомненно. Он, как шахтёрская пыль, пропитал все поры нашего общества. Но ведь писатели — люди исключительные. Им свыше предписана обязанность — искать правду... Неужто никто не рискнул?

Так бы и застрял во мне занозой этот вопрос, когда бы однажды, штудирюя шеститомник Паустовского в поисках упоминания в его произведениях имени Феодосии, я не наткнулся на забытый мною рассказ «Робкое сердце», и — брови у меня поползли вверх!

Нет, Феодосия в рассказе не была названа ни разу, но первые же строки рассказа заставили меня насторожиться.

«Варвара Яковлевна, как только вышла на пенсию, тотчас переселилась на окраину города в Карантин... В Карантине во всех домах было очень чисто, тихо, а в садах пахло нагретыми листьями помидоров и полыни. Полынь росла даже на древней генуэзской стене, окружавшей Карантин. Через пролом в стене было видно мутноватое море и скалы. Около них весь день возился, ловил плетёной корзинкой креветок старый, всегда небритый грек Спиро... Сосед Варвары Яковлевны по усадьбе был бывший преподаватель естествознания, или, как он сам говорил, «естественной истории» Егор Петрович Введенский».

Меня так и ожгло — Егор, Карантин, генуэзская крепость с проломом в сторону моря... Это же Портовая улица в Феодосии! Это же её люди! Я принялся лихорадочно отмечать и другие приметы.

«Осенью немцы заняли город. Варвара Яковлевна осталась в своём домике на Карантине, не успела уйти. Остался и Егор Петрович».

Всё точно. Немцы заняли Феодосию в начале ноября 1941 года. Но далее, далее!

«Однажды зимним утром с тяжёлым гулом налетели с моря советские самолёты... Тяжёлая немецкая батарея была сильно разбита, засыпана землёй».

Однако скоро выяснилось, что были жертвы и среди горожан. Варвара Яковлевна была этим потрясена.

«— Что же это, Егор Петрович? — тихо спросила Варвара Яковлевна. — Значит СВОИ СВОИХ... До чего же мы дожили, Егор Петрович?»

— Так и надо! — ответил Егор Петрович, и борода его затряслась. — Не приставайте ко мне. Я занят.

— Не верю я, что так надо, — ответила Варвара Яковлевна. — Не могу я понять, как это можно занести руку на своё родное...

— А вы полагаете, им это было легко? Великий подвиг! Великий!

— Не умещается это у меня в голове, Егор Петрович. Глупа я, стара, должно быть...»

Нужно ли говорить, как всё это меня взволновало? Я кинулся читать примечания к пятому тому. Там значилось: «Робкое сердце. — Впервые напечатан в сборнике рассказов «Ленинградская ночь», Военмориздат, 1943». Спрятан в ведомственном издании!

Хронологически складывалось, что рассказ написан по свежим следам событий. Видимо, факт феодосийской бомбёжки был чем-то отмечен, чем-то прогремел на войне. Не зря же Военмориздат решился дать о нём, хоть и художественный, информационно-глухой, но — материал. Без высоких инстанций тут вряд ли обошлось...

Но помимо этого походило, что за фактом бомбёжки оказалось и нечто, взволновавшее писателя. Обжигающее — «СВОИ СВОИХ» было брошено в лунку цензурного поля взволнованной рукой... Но этому зёрнышку и прикрытие требовалось практически железобетонное. Предлагать рассказ в печать следовало наверняка.

Финальную часть сюжета Паустовский построил на том, что среди бомбивших Феодосию оказался племянник Варвары Яковлевны Ваня, которого во время налёта немцы сбили, пленили и уготовили ему прямо в городе публичную казнь. «Дабы жители имели возможность видеть большевика, который убивал их детей и разрушал имущество», — так было сказано в прокламации коменданта города обер-лейтенанта Зуса.

Варвара Яковлевна побежала в город. Немецкий конвой с приговорённым двигался ей навстречу.

«Когда отряд поравнялся с Варварой Яковлевной, толпа перед нею расступилась, несколько рук осторожно схватили её, вытолкнули вперёд на мостовую, и она очутилась в нескольких шагах от Вани. Он увидел её, побледнел, но ни одним движением, ни словом не показал, что знает эту трясущуюся маленькую старушку. Она смотрела на него умоляющими, отчаянными глазами.

— Прости меня, Ваня! — сказала Варвара Яковлевна и заплакала так горько, что даже не увидела, как быстро и ласково взглянул на неё Ваня, не услышала, как немецкий офицер хрипло крикнул ей: «Назад!» — и выругался, и не заметила, как Егор Петрович и старый Спиро втащили её обратно в толпу и толпа тотчас закрыла её от немцев».

Гоголевский финал из «Тараса Бульбы»!

Но Паустовский поостерёгся, что и этого будет мало, развернул в конце рассказа картину, занимающую у кинематографических братьев Васильевых — знаменитую лаву Чапаева на бегущих от блеска его шашек каппелевцев.

«Ночью в гул моря неожиданно врезался тяжёлый гром, завывали сирены и снаряды, загрохотали взрывы, эхо пулемётного огня застучало в горах. Егор Петрович вбежал в сарайчик к Варваре Яковлевне и что-то кричал ей в темноте. Но она не могла

понять, что он кричит, пока не услышала, как вся ненастная ночь вдруг загремела отдалённым протяжным криком «ура». Он рос, этот крик, катился вдоль берега, врывался в узкие улицы Карантина, скатывался по спускам в город.

— Наши! — кричал Егор Петрович, и жёлтый кадык на его шее ходил ходуном. Егор Петрович всхлипывал, смеялся, потом снова начинал всхлипывать.

К рассвету город был занят советским десантом. И десант этот был возможен потому, что советские лётчики разбомбили, уничтожили немецкие батареи».

Вот так — не более и не менее... К такому не придерёшься.

Можно себе только представить, что испытывал художник масштаба Паустовского, откровенно заимствующего для своего произведения, хоть и классические, но ведь уже и отработанные клише.

Но он на это пошёл. И более того, через пятнадцать почти лет включил рассказ «Робкое сердце» в собрание своих сочинений.

Разве не повод задуматься — почему?

Приезжая в Феодосию, я всё время об этом и думал.

Когда в 1990 году обозначились первые признаки расползания по прелым швам прогнившего большевистского режима, это прежде всего почувствовали мы, представители военно-промышленного комплекса. Безбрежные ассигнования вдруг стали заметно укорачиваться, программы испытаний свёртываться. Гигантски налаженное производство оружия притормаживало бег. Подходил конец и моим феодосийским командировкам.

Очевидная неизбежность этого не просто тревожила меня. Она означала, что у меня из-под ног уходит только-только нащупанная литературная почва. Запасаясь впрок местным материалом, я стал лихорадочно вести дневники, записывал подряд, без обработки устные городские истории к даже малейшие намёки на них. Каждую свободную минуту я вновь, как в молодости, убегал в Карантин, напиткивался видами на порт и море, старался закрепить в сознании облик древнейшего приморского города, наносил на бумагу всё, что видел, что слышал, что чувствовал...

К моменту, когда я приехал в командировку, оказавшуюся для меня последней, Феодосия бурлила. Накал общественных страстей грозил перехлестнуть законные пределы. На привокзальной площади ночью кто-то пытался взорвать памятник Ленину, пугающе быстро пустели прилавки продовольственных магазинов, поползли вверх цены на рынке. И однажды в городе исчез хлеб. Началась паника.

Ситуация развивалась по знакомому октябрьскому сценарию. Горкомовцы спешно собрали митинг. Я на нём присутствовал. Он был малочислен, но исключительно криклив.

— Дело Ленина бессмертно!

— Эти, рвущиеся к власти, Попов и Собчак!..

— Не допустим!
 — Народ требует порядка в стране!
 — Срочно призвать Горбачёва!..
 — Резолюцию! Резолюцию от имени народа в адрес руководства!

И тут на митинге я узнаю от знакомого, что за период моего отсутствия в Феодосии произошло ещё одно ЧП — сгорела табачная фабрика!

К ней я отправился в один из воскресных дней.

В районе Карантина стояла привычная, ничем не нарушаемая тишина. Фабрика с провалившейся крышей и слепыми проёмами обуглившихся окон безмолвно стояла в городском пространстве, источая запах гари — тревожный признак непоправимой беды.

Если последовательно выложить феодосийские страсти — демонстративную попытку взрыва памятника Ленину, опустошение прилавков магазинов, резкую пропажу хлеба и теперь вот — лишение курильщиков Юга России папирос и сигарет, то цепочка получалась занятной, и было очевидно, что кто-то держит конец её в умелых руках. Кто-то старательно выводил события на лобовое противостояние СВОИХ против СВОИХ. В городе поговаривали, что это затеи местного КГБ...

К фабрике я поспешил не случайно. Там на стене была одна любопытная отметинка истории прошедшей войны — мемориальная доска, содержание которой я всё откладывал, да и откладывал записать.

К счастью стена с доской уцелела, не рухнула. Я тщательно переписал содержание доски:

Вечная слава работникам фабрики, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

**Арановский Илья Иосифович
 Бруштейн Хаця Исаакович
 Варлогин Павел Сергеевич
 Кубланов Зиновий Самойлович
 Лигман Израиль Михайлович
 Соборенко Анатолий Семёнович
 Тимашов Пантелей Емельянович
 Щичко Алексей Александрович.**

Такой вот национальный состав...

В исторических документах, а эта мемориальная досочка, безусловно, относилась к той категории, важно всё. И то, что в них перечислено буквально, и то, что обойдено молчанием. В списке погибших не значилось ни одной татарской, греческой и армянской фамилии. А ведь представители этих национальностей составляли в городе едва ли не половину населения. И в войне они участвовали, и партизанами были, и погибло их много, и многие работали на фабрике ещё с тех времён, когда она принадлежала королю российских табаков Стамболи...

Доска была повешена после войны, а татар, армян и греков выдворили с полуострова весной 1944-го. Сталинская депортация была осуществлена ещё и как ампутация людской памяти. Фабричная мемориальная доска иллюстрировала это с полной очевидностью.

Через улицу от фабрики располагался клуб табачников. Пожар его не затронул, и я решил туда зайти. В клубе, я слышал, была хорошая библиотека, и я давно собирался в ней поискать литературу по истории табачного дела в России.

Однако мне не повезло. По воскресеньям библиотека не работала. Вахтёр, полноватая пенсионерка, сидела у окна и читала книгу. После её ответа о работе библиотеки я уже намерился уходить, но по привычке задал дежурный вопрос.

— Вы коренная феодосийка?

— Коренная! Правда, с перерывом...

— Войну помните?

— А то! Мне уже десять лет было!

— Кого-нибудь с той вот памятной доски знали?

— Нет.

— Там Тимашов Пантелей Емельянович. Не брат ли он Георгия Емельяновича?

— Учителя?!

— Да.

— Не знаю. А учителя знала. Он в доме под крепостной стеной жил. У него в войну мельничка ручная была. Мы к нему носили зерно молотье. Он себе за это немного муки отсыпал и тем жил. Все тогда, кто чем мог, промышляли.

— Голод был?

— Я бы не сказала. Трудно было, но так вот прямо — голод, нет. Не было голода.

— Где же вы в городе еду доставали?

— А грабили! Когда наши уходили, в магазинах и складах полно продуктов пооставалось. Я вот помню, родители мукой на мельнице запаслись, зерном, и бутылку подсолнечного масла принесли, и много-много банок кабачковой икры. Так вот, мы первый год лепёшечки на том масле пекли и кабачковой икрой намазывали. Каждый день! А потом, когда под Новый год наши десант высадили, когда немцы в одном белье в гору удирали, мы уже ихнее потащили в дом. И шинели, и сапоги, и еду какую... Ну, а когда немцы десант прогнали, мы из порта картошку гребли. Наши её для нужд десанта завезли и при отступлении бросили. Мы её в подвал. Пудов, не соврать, двадцать, а то и больше. Весь город таскал. На наше счастье, после десанта к нам в дом двух немецких офицеров определили, и потому у нас потом обыск не делали. А сделали бы, не разговаривать мне с вами — постреляли бы. У нас же в подвале и сапоги ихние, и шинели, и кителя... Мы это поскорее в печь. Уйдут офицеры на службу, а мы палим, жалко было — такое добро! Такое... Потом, когда в городе с едой совсем прижало, к весне сорок третьего, немцы разрешили тем, кто хочет, переехать в деревню — в Ички, в Ислам-Терек, в Старый Крым.

— Немцы свирепствовали?

— А то! Особенно поначалу. Евреев сразу согнали в монастырь, что у кинотеатра «Украина», и всех постреляли. По городу то один известный человек пропадёт, то другой... Двух татарчат повесили на дереве прямо напротив управы. Украли они что-то у солдат, а немцы страсть воров не терпели.

Ну, а потом, месяца через два после десанта, поспокойнее стало.

— Не учились?

— Как же! Учились! Управа снова гимназию в старом здании открыла. С классной дамой! Глядела за нами... Только тогда мало кто учиться хотел. Промышляли больше. И я бросила. А училась — отличницей! Так потом и пошло: уехали мы с матерью в Ички и прожили в деревне целых двадцать лет.

Женщина горько вздохнула.

— Как была я никто, так никто и осталась. Сижу вот вахтёром.

— Ну, а базар-то, — вспомнил я, — при немцах был?

— А куда ему из города деваться? Был. Там все и толклись — покупали, продавали, менялись, вести разные узнавали. Там меня чуть не убило! В бомбёжку.

— Когда?!

— А зимой сорок третьего.

— Кто бомбил?

— Так наши же и бомбили! Налетели низко и давай бомбы кидать. А базар — полный. Народу порвало — страсть! Убитых на кладбище подводами увозили. В тот день художнику Богаевскому голу оторвало. Немцы его сами похоронили. Торжественно. Вовсю раструбили, как большевики — СВОИХ!... О похоронах по городу были расклеены распоряжения немецкого коменданта. С тех пор Богаевский так на кладбище и лежит... Как зайдёте через калитку, — справа.

Женщина вздохнула и кивнула на раскрытую книжку.

— Вот прочитала, что Богаевский помогал спасать картины Айвазовского от немцев, а тогда, в войну поговаривали, что он скрывал во время нашего десанта у себя в доме немецких офицеров. Говорили, что из-за тех офицеров, спасённых Богаевским, немцы отпустили многих наших заложников, которых похватили после десанта. Богаевский за них просил... Хоть и не знаешь, где правда, а читать — интересно.

Рассказ женщины взбудоражил меня, и я побегал в городскую библиотеку. Контрпропагандистская подоплёка рассказа Паустовского стала предельно очевидной, но теперь — я не сомневался в этом

— мне удастся отыскать в рассказе «Робкое сердце» нечто такое, что не заметил никто.

Быстро раскрыв пятый том, построчно ошупывая текст рассказа, я обнаружил крохотный, теперь легко дешифруемый абзац:

«После налёта пробралась из города в Карантин пожилая рыбачка Паша и рассказала, что убита какая-то молодая женщина около базара и больной старичок провизор».

Богаевский был убит на семьдесят первом году жизни. Паустовский всего лишь перепрофилировал профессию старичка. «Провизор» для знавших Богаевского был намёк достаточный. Цензору не говорил ничего.

Иным способом в 1943 году откликнуться на гибель большого художника, да ещё и торжественно похороненного немцами в могилу Шмиттов, Паустовский не мог. Но он трезво понимал, что делает. Во-первых, в его рассказе укрыта точная датировка той бомбёжки. Он ведь не сомневался, что со временем имя Богаевского попадёт во все энциклопедии. Теперь в них чётко указаны даты жизни художника: 12(24).01.1892–17.02.1943. А во-вторых, такого редкостного неприятия войны, в которой ради локального военного успеха — «СВОИ СВОИХ», я не встречал ни у какого другого нашего писателя.

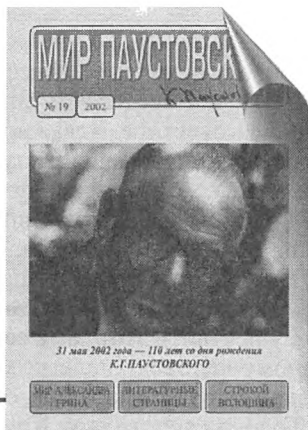
И теперь, перечитывая «Робкое сердце», понимаешь, как далеко — в наши и далее дни! — смотрел Паустовский, кидая устами Варвары Яковлевны в лунку цензурного поля своё нескораемое зерно.

Недаром, повествуя о шишках сосны Муррея, он «любил рассказывать, как однажды такая шишка вросла в ствол сосны, вокруг неё образовалось пятьдесят годовых слоев, а когда шишку выковыряли из глубины дерева и исследовали, то в ней нашли совершенно свежие семена».

Что писатель — звание только посмертное, я понял давно. И Паустовский этой категории соответствует, как мало кто из его современников. Но именно Паустовский преподал мне как читателю ясный урок того, что истинный масштаб писателя нужно искать не столько в его строке, сколько в строке.

Низкий ему за это — до земли — поклон.

г. Ломоносов (Ораниенбаум)



ШКОЛА ПАУСТОВСКОГО

Лев ЛЕВИЦКИЙ

ПРОЖИЛ ЖИЗНЬ КАК ХОТЕЛ

Одиннадцать лет назад мне позвонил Николай Панченко и попросил написать о Льве Кривенко, рассказы которого намечалось поместить в коллективный сборник, задумывавшийся как продолжение «Тарусских страниц». Того самого, что готовился при ближайшем участии Паустовского и, выйдя в свет в 1961, наделал столько шума.

Я тем охотнее взялся за выполнение этого «заказа», что меня связывали с Кривенко прочные дружеские отношения. Бывали друг у друга, встречались у общих друзей, вместе шастали по книжным магазинам. А главное — читали друг другу то, что только что написали, и в тогдашних условиях имело мало шансов обрести типографский облик.

Текст мой был принят. Но продолжения «Тарусских страниц» не последовало. Сборник, готовившийся Панченко и его коллегами, по неведомым мне причинам так и не вышел.

Не берусь судить, кому и чему он был обязан этим. Своим ли вольнолюбивым предкам, крестьянам Смоленской губернии, чьи черты он унаследовал. Или крутым житейским обстоятельствам, в каких складывался его характер. Скорее всего, наверно, тому и другому. Но отличительной особенностью Льва Кривенко было упрямое стремление идти непременно своей, пусть и ухабистой дорогой. Только не шагать путями, пройденными другими. Сдаётся мне, что это свойство больше всего подкупало в нём его литературного учителя Константина Георгиевича Паустовского, который хорошо знал, как редки в эпоху тотальной стандартизации люди независимого склада ума и души.

Сын дореволюционного социал-демократа, Лев Кривенко жил в доме политкаторжан на улице Чаплыгина. К его отцу по-соседски заживал бывший народоволец Сажин с женой Евгенией Николаевной, сестрой известной на всю Россию Веры Фигнер. Как рассказывал Кривенко, отец предупредил его, что, поскольку Сажину случилось несколько раз встретиться с Карлом Марксом и вступать с ним в теоретические баталии, не стоит в его присутствии распространяться об авторе «Капитала». Но юный Кривенко был не из тех, кто внимает благоразумным советам. Если их даёт даже любимый отец. И однажды, затеяв разговор о политике, он — не без умысла, понятно, — возьми да и сошлись на основоположника научного социализма. Старик Сажин побагрел и выпалил: «Пальцем в небо попал твой

Карл Маркс. Сколько раз я говорил ему об этом. Доказывал, что он не прав. Но он, бородатый упрямец, слышать не хотел никаких разумных доводов... Рабочий класс, пролетариат... Как будто крестьяне люди второго сорта».

Кривенко признался мне, что при своей мальчишеской дерзости он опешил от этой тирады. Кругом на все лады твердили, что единственный свет в окошке — это Маркс, а тут такая отважная непочтительность. «И знаешь, — сказал Кривенко, — хоть Маркс был тогда для меня почти что богом, мне слова Сажина понравились и на всю жизнь в память врезались. Молодец старик, подумал я. Чего бы там ни было, а он стоит на своём. И ничего не боится».

Кривенко в глубине души тоже ничего не боялся. Он не очень-то выставлял на показ свой строптивый нрав. Как не очень, при всей своей общительности, склонен был приоткрывать, что делается у него на душе. Но мысль его, свободная от робости, не останавливалась ни перед какими барьерами и не страшилась самых решительных выводов. Сколько помнится, Анатолий Франс сказал, что самая редкая смелость — это смелость мысли. Так, по-видимому, оно и есть. Чтобы прозреть, Кривенко не пришлось ждать перестройки, до которой он, к сожалению, не дожил.

Мысль Кривенко работала непрерывно. Он хорошо кормил её. Хотя внимание его привлекали и литературные новинки, особое расположение он испытывал к классике. Он не расставался с

любимыми Стендалем и Львом Толстым. Круг его чтения наполовину состоял из философских книг. Аристотель, Платон, Монтень, Руссо, Шопенгауэр были постоянными его духовными спутниками. Мне кажется, что читал он этих мыслителей не только для расширения кругозора. Он рассчитывал, опираясь на них, выработать стройную философскую систему, которая помогла бы ему постичь логику происходящего. И вещи, которые он писал, несли на себе следы этих поисков. Каждую подробность, ставшую предметом его сосредоточенного внимания, он стремился не просто впечатляюще изобразить, а и осмыслить как часть мироустройства и судьбы человеческой.

Трудно складывалась его биография. В семь лет он потерял мать. Когда ему было восемнадцать, арестовали и расстреляли отца. В первые дни войны Кривенко не взяли в армию из-за того, что на нём было тавро сына врага народа. А когда он оказался в её рядах, то попал едва ли не на самый тяжёлый Ленинградский фронт, где ко всему, что сопутствовало на переднем крае, прибавились блокадные муки.

Лев как-то сказал мне, что, читая книги сверстников, испытывает странное чувство, что война, в которой он участвовал, совершенно не похожа на войну, какую описывают их авторы. В этих книгах как-то слишком уж скользко и мимоходом говорится о двух обстоятельствах, сильнее всего изнурявших его на фронте. Нескончаемого копания земли и нескончаемого голода.

«Понимаешь, — говорил он, — сволочная логика была в чём? Чтобы навсегда не уйти в землю. Копаешь, копаешь. Из сил выбиваешься. Почва ка-

менистая или мёрзлая. Лопату не пускает. И всё время сосёт под ложечкой. И одна неотвязная мысль. Где бы раздобыть что-нибудь съестное. Неважно что, лишь бы пожевать. Ко всему привыкаешь. К пулям, снарядам, минам, бомбёжкам. А вот к голоду привыкнуть не получается. Ни когда бодрствуешь, ни когда спишь. Это страшнее всего. И хоть в журналах и в издательствах и слышать о таких вещах не хотят, я напишу о войне, на которой я воевал».

Увы, он не успел осуществить этот замысел.

Такому своеобразному человеку нелегко было пробиться в печать. Годами ему не удавалось опубликовать ни строчки. Голоса сверстников Кривенко уже гремели в литературе, кто-то из них успел выпустить однотомники и двухтомники, а кто и собрание сочинений, когда в 1967 году вышла первая его книжка. Да и то довольно тощенькая. Объёмом всего в 6 печатных листов. Лишь восемь лет спустя, в 1975 уже в Москве сумел он выпустить вторую книгу рассказов, насчитывавшую что-то около 10 печатных листов. И только после смерти Кривенко были изданы более или менее полновесные его книги.

Несмотря на все невзгоды, Кривенко никогда не плакался на свою судьбу. Он был независимым человеком, исполненным чувства собственного достоинства. Он был лишён и тени суетности. Он никогда не приспособлялся к конъюнктуре. Не подлаживался к влиятельным людям. Он спокойно работал, черпая в работе удовлетворение, какое она даёт каждому, кто по-настоящему предан ей. Прав был Юрий Трифонов, написавший, что «Кривенко был счастлив в своём творчестве и прожил жизнь как хотел».

Лев КРИВЕНКО

ПОКУПАЕТСЯ БРОШЕННАЯ ИЗБА

А всё началось, может быть, вот с этой лошади... Я приезжаю в Березники — город шахт. Приехал я по заданию редакции журнала «Природа и люди», чтобы собрать материал для статьи о новых разработках калийных солей — камней плодородия. Если листья чернеют с краёв, коробятся, а затем начинают отмирать и само растение не идёт в рост, а сникает, то это происходит оттого, что растения испытывают голод в калии.

Сам город меня не привлёк, не заинтересовал, я просто не замечал вокруг того, к чему привык. Что меня, москвича, здесь остановило и по-настоящему удивило, так это то, что я увидел на центральной улице среди машин косматую лошадь, которая тянула повозку, нагруженную ящиками и тюками. Лошадь с косматой шерстью, с выгнутым брюхом — ломовая, битюжная и безо всякой ипподромовской грациозности — везёт воз в каком-то полусонном, ко всему безразличном состоянии.

И вдруг мне вспомнилась такая же лошадь, пахнущая потом и клевером, — воспоминание сорокалетней давности. Помню, влезли мы с братом на воз сена, как на горку. С этой горки даже ушей впереди шагавшей лошади не было видно, и воз сена ехал как бы сам по себе. Впереди, то обгоняя, то отставая, бежал жеребёнок, смешно, угрожающе взбрыкивающий задними ногами, когда к нему подбегала собака. Жеребёнок облизанный, весь чистый — гладить и целовать его хочется. А когда он, устав, сразу ложился, вытягивал задние лягавшиеся ноги, то передние поджимал. И вдруг снова вскакивал и нёсся. Когда, помню, сделаешь резкое движение рукой, то он сразу отпрыгивал, а если спокойно к нему подойдёшь, то начинал лизать руку. Нас, пацанов, он подпускал к себе, а взрослых сторонился.

Меня тогда удивило: как это такая лошадь, неуклюжая, с отвислым брюхом, родила вот такое существо, которое хотелось обнять.

А в деревне, куда мы приехали на всё лето к товарищу отца, нас, ходивших в трусах, прозвали «бештанниками». Мать ругала нас за то, что не могла загнать пообедать. Мы сами словно вырвались на простор... Нас, вспомнилось, звали в каждую избу и чем-нибудь обязательно угощали, и когда ты не отказывался от угощения, то люди испытывали радость оттого, что ты их уважил, раз ел их мёд, их сало, пил их квас.

Вспомнив обо всём этом, я даже ощутил во рту вкус вишни, почерневшей и особенно сладкой, с запекшейся кожей, обклёванной птицами.

А местные ребята не раз брали нас в ночное стелечье лошадей.

...И вот всё это, казавшееся навсегда ушедшим, вдруг не просто вспомнилось, а ожило — так захотелось опять в деревню. И я с этого момента, с этого воспоминания начал искать место, где можно было бы сделать — уже навсегда конечную остановку. На чём-то на этот раз окончательно остановиться.

...А может, всё началось вот с чего... На обратном пути из Березников в Москву я глядел из окна вагона на пробежавшие мимо станции, проскальзывающие посёлки и вдруг... И вдруг остановка.

«Вот это да», — подумал я.

В окне вагона неширокая речка со сверкающей водой... На другом берегу поднимается лес, на нём поляна, поле с участками пшеницы, овса. У самого берега стоит почерневшая изба, огород, сад. Я успел сосчитать — пять яблонь и три груши, — никогда прежде не считал. По краю сада заросли малины с крапивой. И ещё небольшая луговая полянка со светло-зелёной, ещё не поднявшейся в рост травой, — старую траву, видно, недавно скосили. А на поляне тяжёлая лошадь щиплет траву и обмахивает хвостом привалившегося к ней жеребёнка.

И с тех пор, куда бы я ни поехал, я начал выбирать для себя место постоянной остановки.

Первое, что я сделал в Москве, — заглянул в магазин «Семена». Прежде ни разу не заходил в такие магазины.

На исходе лета я начал думать уже о другом лете, другой весне. Накупил пакетики с семенами шпината, белокочанной и цветной капусты, моркови, петрушки, сельдерея, редиса и, конечно, укропа. Лук, который можно было купить на рынке, был не тем, нужным мне луком, не моим... И редис, петрушка и укроп, которые покупают, — всё не то, не моё... Даже не сама по себе капуста и не сама по себе картошка, а такие названия, как цветная капуста или поздний картофель, начали заключать в себе какой-то особый для меня смысл. С давно не овладевавшим мною азартом я целых полгода разыскивал брошюру «Советы начинающему огороднику». И, достав эту брошюру, читал с интересом о том, что «для моркови подбирают участки, хорошо освещаемые в течение дня».

Я начал прислушиваться к разговорам об избах, брошенных в деревнях. И представлял себе: вот настало твоё утро... Ты проснулся, никого нет. Ударом ноги растворил дверь. Комнату заполняет сол-

нечный свет. И ты волен провести весь день так, как захочешь, — пойти в лес по грибы или ягоды, рыбалку организовать или огород полоть... Или вообще растянуться на береговом песке, положив под голову руки, и смотреть, жмурясь, на облака и слушать, как поют птицы и где-то далеко и одновременно близко раздаётся писк твоих цыплят.

Во дворе я подобрал лопату — пригодится, а уезжая куда-нибудь в командировку, брал с собой семена и коробок с крючками, леской.

Без семян, крючков будто чего-то стало не хватать.

И дело мне представилось сделанным, когда я, получив гонорар за статью, припрятал его на избу.

А когда я говорил, что хочу купить избу, то одни меня одобряли, другие иронизировали, третьи, посмеиваясь, заключали:

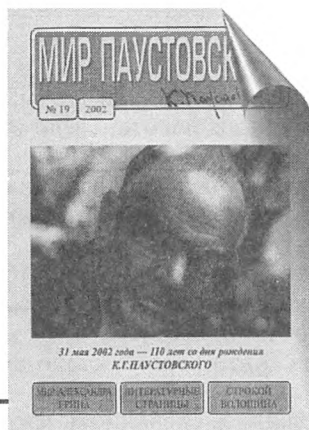
— К собственности потянуло, к той самой, — и рассказывали о тех, кто на одной только клубнике наживался. Рассказывая, они сожалели, что прежде обо всём этом и не думали и вот растратили зря целые годы на выяснение каких-то вопросов. И остались к концу жизни ни с чем. Приобретательством заняться уже было поздно.

— Да меня всё это не притягивает, — возражал я. — Изба просто нужна.

Они улыбаются, как бы говоря: «Знаем мы это «просто»».



Лев Кривенко с К.Г.Паустовским в стенах Литературного института. [1950-е гг.]



ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТРАНИЦЫ

Владислав КРАПИВИН

РЖАВЧИНА ОТ СТАРЫХ ЯКОРЕЙ

Из цикла «Паустовские» рассказы

Тётя Шура

Ливень трубно ревел за хлипкой стеклянной дверью. Дверь дрожала и позванивала. Голые лампочки под низким потолком часто мигали. Их жёлтые нити отражались в лужицах чёрного кофе на мраморных столиках. Хозяин — усатый, щекастый, с носом, похожим на коричневый огурец, — не спешил вытирать лужицы. Зачем суетиться? Всё равно при такой погоде сюда никто не придёт. Можно дремать за стойкой, перебирая старинные янтарные чётки...

Большинство столиков были пусты. Лишь мы с тётей Шурой устроились в полутёмном уголке, да в другом конце кофейни сидели трое пожилых горбоносых завсегдатаев. Мне казалось, что иногда они поглядывают в нашу сторону с молчаливым неодобрением. Я уже знал, что такие вот окраинные, без туристического сервиса кофейни считаются заведениями для мужчин. Появление женщины было нарушением традиции. Но, во-первых, тётя Шура была давней здешней жительницей, и могла поспорить со старыми батумскими обычаями. К тому же хозяин её хорошо знал. Во-вторых же, нынче тётя Шура пришла не одна, а с мужчиной. Со мной то есть. А кроме того, трое посетителей, как истинные кавказцы, были крайне вежливыми людьми и никогда не позволили бы себе реплик вслух...

Мы потягивали из похожих на яичную скорлупу чашечек густой турецкий кофе, но чаще прикладывались к рюмкам с крепким батумским ликёром. Отдельно его здесь не продавали, но можно было взять кофе с тройной порцией ликера. Мы с тётей Шурой заказали по две чашечки, и шести ликёрных порций на каждого нам пока хватило.

Запах кофе, ровный гул водопадов за дверью и окнами, неяркий свет и тёплый покой полупустой кофейни... Хорошо... Мы не спешили. Конечно, в наших глухих дождевиках мы добрались бы до близ-

кого тёти-Шурино дома без больших неприятностей, но уходить не хотелось.

Казалось бы, чего общего? Утомлённая жизнью прачка шестидесяти лет и непоседливый начинающий литератор, которому двадцать четыре года? Однако же было нам друг с другом славно, уютно. И разговор наш был интересным для обоих.

— Да ты, Славушка, чего про меня всё спрашиваешь? Про себя расскажи побольше. Мы, старухи, ох какие любопытные. Невеста-то есть?

Я сказал, что есть. А пока не дошло до свадьбы, живу у старшей сестры, на краю далёкого отсюда Свердловска, у самого леса.

— Выпрыгнешь из окна, сделаешь десять шагов вверх по склону, и можно грибы собирать...

Ещё я сказал, что у сестры есть дочка-пятиклассница, моя племянница. На чердаке двухэтажного дома она с приятелями устроила штаб дворовой компании, где ребята стали сочинять фантастические истории, придумывать всякие игры. А меня уговорили стать своим командиром.

— И теперь никак не получается от них отвязаться...

— А ты и не отвязывайся. У тебя, видать, душа к ребятишкам лежит. Вот и книжка твоя вся про них, а вчера весь вечер читала...

Свою первую книжку, что вышла полгода назад, я подарил тёте Шуре накануне.

— Может, и так, — смущённо согласился я, — наверно, в родителей пошёл. Отец учителем был, мама детским садом заведовала. Правда, в войну пошла работать в госпиталь. Вроде как вы, тётя Шура...

Она слушала с добрым неназойливым интересом, переспрашивала иногда, и я рассказывал о себе и о родных с охотой. Потому что успел соскучиться по дому. Я уже долго был в дороге.

В мае того далёкого шестьдесят третьего года меня послали в Москву на совещание молодых писателей. Оттуда я не поехал домой, а решил побывать в разных городах. Тем более, что в редакции «Уральского следопыта» дали отпуск, а в местном издательстве — небольшой аванс за вторую книгу (обещали выпустить её осенью).

Сначала я двинулся в Минск, к отцу. С отцом съездил в чудесный Вильнюс, погостил у старшего брата в городе Молодечно и, вернувшись в Минск, оттуда улетел в Крым. Добрался до милого сердцу Севастополя. Затем решил познакомиться с Чёрным морем получше. Сел на большущий лайнер «Россия», который зашёл в Севастополь рейсом из Одессы до Батуми.

Погода стояла чудесная, ни штормов ни дождей. Публика была весёлая. Целый день распевала песни под гитару жизнерадостная компания одесских бродяг-туристов. Можно было плескаться в бассейне, загорать на шлюпочной палубе и неспешно сочинять сюжеты будущих рассказов.

А по вечерам я читал.

Экономя деньги, я купил билет в третий класс и готов был к неуюту, как в плацкартных тесных вагонах. Но здесь оказалась просторная восьмиместная каюта с обширными койками. Койка заслонялась от окружающих зелёной занавесью из тяжёлой саржи. Получалось крохотное, но отдельное купе. С лампочкой. Даже с индивидуальной системой вентиляции. Это был расположенный в гнезде над изголовьем чугунный шар. Как старинная пушечная бомба среднего калибра. Не ядро, а именно бомба. Потому, что имелась трубка (вроде запальной). Из неё била струя солоноватого морского воздуха, который всасывали наверху громадные вентиляционные трубы. Можно было поворачивать шар, меняя направление струи, можно было краном регулировать её напор.

Трубку на шаре окружали выпуклые готические буквы: «Adolf Hitler». Таково было прежде название «России». Говорили, что в давние времена это океанское судно было личной яхтой фюрера.

Не смущаясь сомнительным идеологическим прошлым вентиляции, я настраивал её как надо, включал ночник и доставал из-под подушки большой серый том — «Избранное» Паустовского. Книгу выпустило в прошлом году издательство «Московский рабочий». Там была новая повесть Константина Георгиевича — «Бросок на юг».

Я читал описания кавказских портовых городов и думал, что скоро окажусь в Батуми — в том фантастическом Батуме, который столь живописно, со многими красками, запахами и пёстрыми картинами тропической приморской жизни описал Паустовский. Конечно, я понимал, что за сорок лет город стал другим. И всё же надеялся найти в нём что-то из того, что успел полюбить, читая повесть.

Скажу заранее, что я не ошибся. Я увидел живописный порт, восхитительные джунгли ботанического сада, южную густую зелень улиц, горячие от солнца белые здания, тесноту старых переулков. Здесь, в этих переулках, деревянные застеклённые

веранды вторых этажей нависали над каменными тротуарчиками и подпирались кривыми столбами. Смуглые девочки играли на этих верандах, перебрасывая над мостовой похожие на апельсины мячи. Иногда мячи падали между домами и резво прыгали по камням. Девочки поднимали крик, словно увидели под ногами стаю мышей. Мячи ловили такие же смуглые мальчишки и, подразнив девчонок, швыряли обратно. Иногда мяч попадал не в ладони девочке, а в стекло. Тогда раздавался серебряный звон, а мальчишек выдувало с улицы, как сухие семена клёнов... Иногда мне представлялось, что я попал на окраину Стамбула.

На улицах пахло так, как я прочитал в книге. Крепким кофе, шашлыками, мандаринами, грязной водой гавани, какими-то портовыми грузами. А ещё — незнакомыми цветами и листьями... И стояла прямо экваториальная жара.

На «России» я познакомился с невозмутимым белокурым латышом Альбертом и его решительной женой Ингой. Они были почти мои ровесники, чуть постарше. Мы договорились, что в Батуми постараемся поселиться вместе. Но за воротами порта Ингой и Альбертом завладела пестро одетая брюнетка с цыганскими серьгами. Она сулила супружеской паре удобства, сравнимые с теми, что в отелях Риоде-Жанейро. И всего за два рубля в сутки.

— Ладно, идите, — сказал я. — После обеда встретимся. Только где?

Брюнетка сообщила, что встречаться лучше всего на набережной, у памятника. Это место известно всем.

Оставшись один, я стал оглядываться. Меня окликнули негромко:

— Что, милый, небось угол тебе нужен?

Я увидел грузную старую тётушку в светлом ситцевом платье, в стоптанных башмаках на босу ногу. Лицо было... да, какое-то знакомое. Привычное. Таких тётушек можно встретить на любой российской улице, в очереди любого продуктового магазина.

Я сказал, что угол мне, приедем, конечно, нужен.

— Вот и ладно. Идём ко мне. Есть у меня каюта, в самый раз для одного. Рупь в день, как водится. А прописку я тебе враз оформлю. С пропиской-то бывает непросто, город пограничный, да у меня всё пограничное начальство тут знакомое... А звать меня тётя Шура.

Жила она неподалёку, в приземистом белом домике, похожем на севастопольский. Мне отвела прохладную комнатушку с железной солдатской кроватью и голыми побелёнными стенами. Сказала, что живёт одна, что пора ей давно на пенсию, только не хочется. Работает прачкой на ближней погранзаставе. Денег ей, старухе, хватает, а постояльцев пускает она, чтобы не скучать одной. И не всяких, а кто при первом взгляде окажется по душе.

Видать, я оказался таким.

Почти сразу тётя Шура стала звать меня Славушкой. Угостила чаем с чёрными (наверно,

солдатскими, с заставы) сухарями, взяла для прописки паспорт и объяснила, как добраться до набережной. Бодро посоветовала:

— Гуляй, голубчик, ни о чём не заботься.

Я и не заботился. Мне было хорошо. Такое ощущение, что я нашёл кров у старой знакомой и каждый вечер буду приходить как домой.

Оговоренное место встречи я отыскал быстро. Медный Иосиф Виссарионович царил над набережной. Тяжело вздымался над окружающим пространством. Инга, Альберт и я обрадовались друг другу, словно не виделись месяц. Сдержанный Альберт даже похлопал меня по плечу. Инга тут же пожаловалась, что молодежавшая квартирная хозяйка на Альберта «положила глаз». А я похвастался: мне с моей хозяйкой повезло, душевная тётушка.

В этот момент мы услышали громкий разговор — на русском языке, но с кавказским акцентом. Мимо нас шли три молодых человека. Все — смуглые красавцы. Средний — в ослепительно белых отутюженных брюках, в такой же сияющей рубашке с запонками и лаковых чёрных туфлях. Два других были одеты потемнее и в громадных, как цирковая арена, кепках. Тот, что посередине, нервно растопыривал локти. Те, что про краям, предупредительно эти локти придерживали.

— Ай, нэт! — говорил красавец в белых брюках. — Я уже решил. Я его зарэжу...

— Не надо, дарагой! — уговаривали его с двух сторон спутники. — Зачём тебе это дэло? Будут нэприятности...

— Нэт! Я уже решил! Зарэжу!..

Мы переглянулись. Сценка была такой, словно её кто-то специально срежиссировал, чтобы показать туристам местные нравы. Альберт пожал плечами. Поднял голову и стал разглядывать памятник.

Вот что характерно! Обычно медь памятников быстро тускнеет, зеленеет, покрывается патиной. Этот же «вождь всех народов» сиял так, словно его чистили каждое утро, как заботливая хозяйка начищает любимый самовар.

Грозивший кого-то зарезать юноша вдруг оглянулся. Прицельно посмотрел на Альберта. Тот ощутил его взгляд, обернулся.

— Что? Нэ нравится? — придиричиво сказал обладатель белых штанов.

Альберт снова пожал плечами. Отозвался с чисто прибалтийским хладнокровием:

— Да нет, почему же... Пусть стоит. Теперь-то никому не мешает.

Три красавца одинаково склонили к левому плечу головы и приоткрыли рты, стараясь осознать всю глубину этого суждения. Инга взяла нас под руки и повела прочь. Она говорила о здешней жаре и время от времени делала замечания о привлекательности встречных красоток. Вернее, об отсутствии таковой. Замечания отличались решительностью слов и остротой взгляда. Альберт хмыкал и на красоток иногда оглядывался...

Мы решили сперва прогуляться по городу, а потом отправиться на пляж.

Пошли наугад. Свернули с главной улицы. Через несколько кварталов оказались в переулке с обшарпанными двухэтажными домами. Каждый дом был с длинным балконом, где сушилось что-то разноцветное. Пахло чем-то жареным. Во дворах стояли пыльные низкорослые деревья с похожими на гигантские перья листьями — то ли пальмы, то ли бананы. У дверей сидели чёрные невозмутимые старухи.

Инга была откровенно любопытна. Заглядывала во дворы через калитки и невысокие изгороди. Умилилась, увидев привязанного к сухому искривлённому стволу ишачка (экзотика!). Потом вдруг радостно сказала:

— Смотрите, какой беленький! Прямо как у нас!

Во дворе, отгороженном от тротуара лишь невысоким штакетником, она увидела мальчишку. Лет одиннадцати. Совсем светленького. Действительно он был похож на маленького прибалтийца. Или, может быть, москвича, рязанца, уральца. Но никак не на тех смуглых пацанов, которых мы то и дело встречали здесь на улицах. А впрочем, что такого? Может, он из живущих здесь россиян (есть ведь такие), а может, приехал на юг отдыхать, как мы... Но для гостя мальчик вёл себя слишком обыденно. Занимался каким-то хозяйским делом. Стоял коленями в широком жестяном корыте с водой и оттирал мочалкой непонятный зелёный предмет.

Мальчик заметил нас, наше любопытство и сказал без удивления. И без акцента:

— Здравствуйте. Это паровоз.

В самом деле, он мыл пластмассовый паровоз размером с большого кота. Быстро вытер его куском мешковины, вытянул шею, крикнул в сторону дома:

— Нана!

Тут же в дверях возникла красавица лет пяти. С чёрными, как деготь, волосами до плеч, в похожем на клумбу платье и громадными, как розовые облака, бантами. Мальчик что-то сказал ей непонятно для нас — видимо, по-грузински. Она ответила неторопливо и чуть капризно. Подошла, взяла на руки, как ребёнка, паровоз. Пошла обратно.

— А спасибо кто будет говорить? — окликнул её мальчик по-русски. Наверно, чтобы поняли и мы.

Она оглянулась. Ответила что-то по-своему. Мальчик посмотрел на нас:

— Вот такая девочка...

— Твоя подружка? — ласково спросила Инга.

— Сестра... Наказание, а не сестра. Все девочки играют куклами, а Нана играет паровозом. Да ещё таскает его по грязным лужам. А мыть не хочет... — Он по-прежнему говорил без всяких кавказских ноток. А затем опять сестре, что-то по-грузински. Кажется, с укоризной.

Она только молча повела бантами.

Мальчик встал, вытер ладони о красные штанишки с чёрным лаковым пояском, заправил под него белую маечку. Шагнул из корыта, сунул мокрые ступни в ременчатые сандалии.

— Ну, пойдёшь на концерт, Нана?

Та что-то ответила, надув красные губы.

— Ну и зря не пойдёшь, — сообщил брат. — Миша будет танцевать.

Нана разразилась несколькими сердитыми фразами. Мальчик сказал убедительно:

— Ну и что же, что поссорились! Помиритесь. Он вчера про тебя спрашивал... Ну, какая ты...

Нана с паровозом в обнимку удалилась в дом. Мальчик вслед ей покачал головой. Потом с разбега прыгнул через штaketник, побежал. Оглянулся. Сказал «до свиданья» и побежал опять.

— Пстой! А где концерт? — окликнул я.

— Там! Во дворце! — Он махнул рукой и помчался опять. Растоптанная сандалетка слетела со скользкой ступни, он поймал её, стал натягивать, ловко прыгая на одной ноге и не сбавляя скорости...

Конечно, мы не собирались на концерт, но шли по той же улице, следом за мальчиком и вскоре опять оказались где-то в центре. У большого здания, которое, без сомнения, было Дворцом пионеров. Двухметровая разноцветная афиша сообщала, что сегодня, в два часа дня, состоится концерт детского аджарского ансамбля песни и пляски. Было без пяти два.

Верный своей литературной тематике, я предложил:

— Может, зайдем, посмотрим, как пляшут ребяташки?

— Есть хочется, — сказал Альберт.

— Ты и без того начал толстеть, — сказала Инга.

— На пляж хочется.

— Пляж никуда не убежит, — решила Инга. — Хочу посмотреть на детей. Я соскучилась по Яну. — У неё и Альберта остался в Риге пятилетний сынишка.

— Билетов же нет, — оказал последнее сопротивление Альберт. — А где касса?

— Нас пустят так! Мы скажем, что издалека и очень хотим посмотреть национальную детскую культуру.

И нас пустили. Очень охотно. Двое подростков даже притащили и поставили в проходе три стула, поскольку свободных мест в зале не было — несмотря на дневной час и жаркую летнюю погоду.

Ну, концерт был обычный для таких ансамблей. Ловкие мальчики в черкесках и мягких сапожках лихо вставали на цыпочки, падали на колени и метались по сцене, вскинув руки на уровень плеч. Били в бубны. Девочки, плавно изгибаясь, ходили по кругу. Руки их колыхались, как лилии... И пели хорошо. Песни были мелодичные, красивые, хотя и непонятно о чём... К тому же в зале оказалось прохладно, и Альберт больше не вспоминал о пляже и обеде.

Объявили очередной танец. В зале ощутилось какое-то особое оживление. Захлопали, не дожидаясь начала.

Сначала был танец как танец, с бубнами и дудками, в довольно быстром темпе. Потом случился сбой. Потому что на сцене вдруг появился растерянный мальчонка. Он был не из танцоров. Не в кавказском наряде, а в синих трусиках и белой матроске. Небольшой, лет восьми, и, кстати, такой же светло-

головый, как наш недавний знакомый. Похоже, что он заблудился, случайно выскочил из-за кулис. Испуганно оглядывался.

К мальчику в матроске подбежали двое танцоров — протянули руки, чтобы успокоить и увести. Тот отскочил — боязливо, но ловко. Двое других поспешили к нему. Мальчик отпрыгнул и от них. Похоже, что теперь уже не просто, а с танцевальным движением. Несколько человек захотели поймать мальчика, но он, изогнув спину, сканнул назад, на руки, перевернулся и встал на цыпочки, подняв локти на уровень плеч, а кисти рук к подбородку. Это был уже не испуг, а вызов. Явное желание участвовать в пляске.

Мальчика обступили широкой дугой, взмахнули ладонями, ударили в бубны и барабаны. Мальчик пустился в пляс. Воротник матроски метался у него за плечами, как на штормовом ветру...

Плясал мальчуган прекрасно. Конечно, это был юный талант. И номер был, конечно, тщательно отрепетирован, однако сейчас казался озорной импровизацией, смесью традиционных танцевальных приёмов и мальчишечьего баловства. В дурашливом прыжке мальчик сдёрнул с одного из танцоров папаху, нахлобучил на себя. Завертелся, размахнув руки-лучинки, замер на цыпочках и упал на колени со вскинутыми над головой ладонями.

Зал радостно гудел и рукоплескал. «Миша! Миша-а!» — слышались крики. Многие вскочили и хлопали стоя. Я заметил и нашего знакомого. Брат капризной Наны сидел на бархатном барьере невысокого балкона и вдохновенно болтал босыми ногами. Снятыми сандалетами он звонко аплодировал — подошвой о подошву. Я подумал, что своенравная Нана зря не пошла на концерт.

Миша на бис бурно и коротко сплясал вприсядку — уже не под грузинскую, а под русскую музыку. И раньше других танцоров умчался за кулисы...

Потом был у нас обед в ресторанчике на берегу, шашлык, красное вино с запахом винограда «Изабелла». Был пляж, гулянье по приморским улицам. В общем, обычные радости курортного бытия. Вполне бездумные. Но мне сквозь эту «бездумность» вспоминались время от времени светлоголовые брат Наны и маленький танцор Миша. Хорошо так вспоминались, будто привет из родных мест.

...Что-то похожее испытал я лет через десять, когда на Кубе, в городке Сан-Розарио, где очередной раз сломалась наша машина, увидел стайку местных школьников. Среди маленьких мулатов и ребяташек с креольской внешностью резвился на лужайке один — сероглазый, курносый, белокурый. Этакий Ванечка или Серёжка. Вот-вот подбежит и, запыхавшись, скажет по-русски: «Дяденька, который час?» Но «Ванечка» громко болтал с друзьями по-испански, а на меня лишь разок глянул с любопытством, когда увидел в руках у «компаньера советико» кинокамеру.

В таких случаях кажется, что видишь в незнакомой южной траве привычную ромашку или

одуванчик. Ясно, что никакие ветры не могли перенести семечко через океан, что это здешнее растение, но всё равно радуешься.

В этих моих рассуждениях не ищите намёка на расовые настроения. Наоборот. При таких встречах думаешь, что все мы, по сути, один народ на нашем повисшем в холодном космосе шарике. Давно пора бы понять это и не смотреть волками на тех, кто живёт далеко, и на тех, кто рядом. А то ведь: «Нэт, я решил, я его зарэжу»... Впрочем, думаю, что это был обычный юношеский трёп. Но далеко не трёп то, что делается в наши дни. Да и не только в наши. Во все времена горестной земной истории...

Вечером, с ноющими от усталости ногами, с гудящей от солнца и вина головой, я вернулся к тётке Шура.

— Нагулялся, голубчик... Я оладушек напекла. Хочешь?

Есть не хотелось, но в слове «оладушки» было что-то тёплое, домашнее. И я сказал, что хочу.

Мы пили чай в тесной тётки-Шуриной кухне. С маленькими пышными оладьями и мёдом. Мне казалось, что чай пахнет здешними тропическими травами. Усталость из меня уходила, в голове светлело. Тётя Шура ласково, неназойливо расспрашивала, как я провёл время. Ей, видать, хотелось побеседовать. Я ощущал беспричинное веселье и рассказывал охотно, «с деталями». Упомянул и о встрече с тремя молодыми людьми, один из которых собирался когото «зарезать». Вспомнил про памятник.

— А почему он тут у вас такой надраенный? Будто его каждое утро шершавыми языками вылизывают...

— А кто его знает, — потускнев, сказала тётя Шура.

Я спохватился и примолк. Вот болтун! Ведь многие старые люди до сих пор считают «великого вождя всех народов» чуть ли не святым. «Мы с его именем в атаку ходили...» Может, и тётя Шура?

Но она сказала после молчания и долгого вздоха:

— Уж десять лет прошло, как он концы отдал, а я всё ещё каждый день радуюсь... Кровушки-то было при ём. Вот и муж мой первый, до войны ещё... А, да чего там про горькое вспоминать! — и махнула рукой. — Подожди-ка... — Она достала из шкафчика зелёную бутылку, налитую до половины. Это оказалось вино, вроде того, что днём я с прибалтийскими друзьями употребил уже в добром объёме.

Новые полстакана вновь привели меня в бодрое состояние духа. Тётя Шура плотнула и тоже повеселела. Сказала, что любит посидеть вот так, поговорить с хорошим человеком. Хотя вообще-то на скуку не жалуется.

— На работе каждый день с людьми, а то, что живу одна, так оно и привычнее. Сама себе хозяйка...

Я узнал, что где-то далеко (не то в Пскове, не то в Смоленске, не помню) есть у тётки Шуры дочь и внуки. Только в гости сюда их не дозовёшься, а самой ей на старости лет в такую дорогу пускаться боязно, да и билет недешёвый...

Просидели мы вдвоём допоздна и расстались, как говорится, с «чувством полного взаимопонимания».

Утром я опять встретился с Ингой и Альбертом, часа два мы пожарились на пляже, а потом они собирались к каким-то знакомым, которых неожиданно обнаружили в этом городе. Мне к «незнакомым знакомым» не хотелось, я решил в одиночку поболтаться по Батуми — по портовому району и старым кварталам, где можно увидеть что-нибудь «паустовское». И поболтался, и увидел, но прогулка оказалась недолгой. Неожиданно потемнело и взревел оглушительный ливень. В точности такой, о каких я читал у Константина Георгиевича.

Ну, на первый раз это было даже интересно — экзотика. Однако, что дальше-то делать? Ливень загнал меня в маленькое кафе. Чтобы не торчать в нём просто так, я выпил кофе с пересошим кексом, но дождь не думал униматься. Я вспомнил, что такие тропические дожди в Батуми могут хлестать непрерывно несколько суток. Этого ещё не хватало!

Я встал у двери, в которую густо летели брызги. По тротуарам и мостовой неслись клокочущие жёлтые потоки. Сверху низвергались водопады. Однако, на какие-то полминуты водопады ослабели, и я — промокнув не более, чем под обычным дождём, — скачками перелетел улицу. На другой стороне был магазинчик с привычной для всего Советского Союза вывеской «Промтовары».

В «Промтоварах» вежливая черноокая девица предложила мне на выбор несколько зонтов и плащей. Ну, зонт разве защита от таких потоков! Я выбрал полупрозрачную накидку с капюшоном, просторную и длиной до пят (как сейчас помню — за одиннадцать рублей пятьдесят копеек).

Превратившись в водонепроницаемый кокон, я пустился к своему жилищу. Это было даже весело, похоже на приключение где-нибудь в Африке, в период экваториальных дождей. Когда я был уже рядом с домом, ливень кончился. Словно его отрубил! По мокрым стенам, листьям, камням потекло жидкое солнце. Над тротуарами закурчался горячий пар.

Оказалось, что тётя Шура тоже только что вернулась. С заставы. Она была в широченной мокрой плащ-палатке.

— На работу нынче больше не пойду. Надо и отдохнуть старухе.

— Тётя Шура, да какая же вы старуха! Вы ещё это... в расцвете сил.

— Ох, ты и скажешь, Славушка... — Видно было, что тётя Шура довольна моим неуклюжим комплиментом. А я был настроен игриво. Поскольку недавно в случайной забегаловке пил не один лишь кофе.

— Да нет, тётя Шура, в самом деле!

Она глянула вдруг непонятно: и с виноватинкой, и как заговорщица:

— Славушка, ты вот что... угостил бы бабушку ликёрчиком. А?

Признаться, такого я не ожидал. Но тут же изобразил полную готовность.

— О чём разговор! Где здесь близко подходящий магазин?

— Да не надо в магазин. Есть неподалёку одно заведенье... Я, бывает, в него и одна захоживаю, да с мужчиной оно как-то... обстоятельнее.

Мужчина вновь выразил готовность.

— Только плащи возьмём с собой, — предупредила тётя Шура. — Вот-вот опять польёт и, скорей всего, до ночи.

По каменной, сырой, полной солнечного сияния улице мы прошли квартал. На кособоком двухэтажном доме я увидел длинную вывеску. Она была в кривой деревянной раме, железная, с облезлой жёлтой краской и пятнами ржавчины. На краске и ржавчине темнели словно дёгтем написанные буквы: ЧОРНОЕ КОФЕ.

Ну как тут было не вспомнить духаны и кофейни, о которых рассказывал Паустовский! Все эти «Свежие требушки», «Бедные Миши» и «Не заходи, пожалуйста!». Правда, здешняя вывеска была попроще, но от её обшарпанности и орфографии тоже несло местной экзотикой.

Едва мы вошли, тропический водопад снова рухнул на Батуми. Но сейчас он лишь добавлял уюта старой малолюдной кофейне.

Мы долго сидели и неспешно разговаривали про жизнь. Тётя Шура поведала о том, как в войну работала на санитарном поезде и в госпиталях. Как в те годы второй раз вышла замуж, а после войны приехала с мужем сюда, на его родину.

— Два года прожили душа в душу, а потом он помер от военных ран...

Затем стала расспрашивать меня. Про чужую жизнь ей было слушать интереснее, чем говорить про свои невзгоды.

Чтобы стало ещё интереснее, мы снова взяли по чашечке кофе с тройным ликёром. Ливень, между тем, не думал слабеть, наоборот. От его непроницаемости, а, может, от подступившего уже вечера, за окнами делалось всё темнее. А здесь — хорошо.

Я рассказал тёте Шуре, как в школьные годы в городе Тюмени мы с приятелями на лодке с самодельным парусом отправились в путешествие по реке Туре и попали под такой же сумасшедший дождь. Выдернули мачту, вытащили лодку, и под ней, под перевёрнутой, отсиживались на голом песчаном берегу.

— Ну, правда, тогда ливень был не такой долгий. Зато с грозой. На другом берегу молнией расщепило надвое сухую сосну...

— Страх-то какой... Я до сих пор боюсь, когда гроза. Будто обстрел на фронте... Славущка, может, ещё по одной? Да ты не бойся, у меня денежки есть...

— Да я не того боюсь, тётя Шура. Я за вас. Не слишком ли много...

— Что ты! Думаешь, ослабну? Мне ликёрчик никогда не вредит, я к нему привышная...

— Я не про него, а про кофе. Говорят, для сердца опасно, если чересчур...

Кофе здесь был не тот, что я днём пил в забегаловке. Этот — густой, пахучий, чёрный как смола

(или «чорное»?)). Признаться, у меня сердце уже постукивало невпопад.

— Славущка, ты не пей, если не по душе. А за меня не бойся. У меня спина хворая, ноги болят иногда, а сердце пока ещё как мотопомпа...

Мы взяли ещё две порции (хозяин за стойкой индифферентно смотрел в сторону). Тётя Шура повторила:

— Сердце у меня пока ещё ничего... Это с виду я развалина, а внутри вроде без гнилости. Как это ты сказал? В расцвете сил! Ох и выдумщик...

— Тётя Шура, вы ещё и с виду очень даже вполне... — кажется, ликёрчик на меня действовал заметнее, чем на тётушку. — Я, как погляжу, так песенку вспоминаю. Нашу, студенческую...

— Что за песенка-то?

— Да вот как раз про тётю Шуру.

— Вон как! А ты спой!

— Да ну... Неудобно... — Я оглянулся на трёх кавказцев за дальним столиком, на хозяина за прилавком.

— А ты, Славущка, потихоньку. А? Очень я тебя прошу...

— А вы не обидитесь?

— Да что ты! Не стесняйся. Я в жизни всякого наслушалась.

Что было делать, коли сболтнул? Вполголоса (вернее, «в самую чуточку голоса») я напел ей дурашливую песенку, которую мы, студенты, голосили на вечеринках и на деревенских улицах, когда ездили на осеннюю уборку картошки. Шагаем с поля и, чтобы разогнать усталость, горланим в маршевом ритме:

Тётя Шура, тётя Шура, тётя Шура!
Очень видная фигура!
Про неё все говорят,
Что тётя Шура просто клад!

Это был припев.

Откуда она, такая песенка, не знаю. То ли из какой-то оперетты, то ли студенческий фольклор. В любом случае она была в большой мере нашим творчеством, потому что, кроме припева, почти все слова мы сочиняли на ходу.

И в Москве, и в Воркуте, и на Амуре
Знают все о тёте Шуре!
Без неё нам никуда!
Без тёти Шуры нам беда!

Или ещё:

Испытал я на своей на бедной шкуре,
Как перечить тёте Шуре!
Двое суток я без сна,
И до сих пор болит спина!

Тётя Шура смеялась, вытирая под глазами капельки толстыми заскорузлыми пальцами прачки. Загорелая кожа при этом разглаживалась, на месте морщинок возникали паутинчатые светлые полоски.

Особенно смеялась тётя Шура, услышав такой куплет:

Мой приятель, мой приятель как-то сдуру
Вдруг влюбился в тётю Шуру!
Сам себя не узнаёт
И ходит задом наперёд...

— Ох, весёлый вы народ, молодые. Старики те-
перешнюю молодёжь ругают, а я вас люблю...

Дождь так и не перестал. Мы шли домой под
гулкими потоками, в которых растворялся жёлтый
свет окон. Для поддержания бодрости я, перекры-
вая шум ливня и рёв водостоков, исполнил ещё один
куплет. Его я придумал на ходу:

Пусть погода, пусть погода будет хмурой!
Мне не страшно с тётей Шурой!
Дождик льёт как из ведра,
А нам опять глотнуть пора!

Дома тётя Шура дала мне «для сугрева» допить
из бутылки красное вино (сама не стала) и велела
отдать для стирки все мои грязные рубахи.

Я лёг на свою железную кровать с книгой Паус-
товского и прочитал о чудесном действии на орга-
низм крепкого вина маджарки. Прошедший день
казался мне замечательным...

Я прожил в Батуми неделю. Но теперь представ-
ляется, что не меньше месяца. Наверно, потому, что
очень разной была погода. Солнечная жара то и дело
сменялась бурными дождями, и каждая такая смена
казалась началом новых суток.

То с меланхоличным Альбертом и неугомонной
Ингой, то один я бродил по Батуми, всё время от-
крывая новые экзотические места. То жарился на
пляже. Однажды навалилась пасмурная, но без дож-
дя погода. Откуда-то издалека подкатила к городу
жёлтая взбаламученная зыбь — крупная, с пенны-
ми гребнями. Я искупался в этих волнах, но остро-
жно — помнил давний алуштинский урок, когда
меня едва не унесло в море. Вода была тёплая, как
полустывший чай, и выплёвывала на берег манда-
риновые корки.

Волны гулко бились о борта столпившихся в
гавани судов. У пассажирского причала стоял белый
румынский лайнер с большущим сине-жёлто-крас-
ным флагом на корме. Назывался он «Свобода». Это
по-русски. А по-румынски не помню, что-то похо-
жее на испанское «Либертад» или английское «Ли-
берти». Лайнер был такой длинный, что вдоль него
открыли специальный катерный маршрут для тури-
стов. Но желающих было мало. Катера прыгали в
крутых волнах, как поплавки...

Вечером я с удовольствием шёл в одноэтажный
окраинный переулочек. Горели неяркие окошки, в пор-
ту светились иллюминаторы и мачтовые огни, в море
мигал маяк.

Возможно, это был тот маяк, где в начале двад-
цатых годов скрывался бывший лейтенант Черно-
морского флота Ставраки — тот, что после восста-
ния на крейсере «Очаков» и приговора суда
расстрелял лейтенанта Шмидта и его товарищей. Об
этом я читал у Паустовского в «Броске на юг», в гла-
ве «Маячный смотритель». А ещё я — совсем не-
давно, в Вильнюсе — знакомился с архивом знаме-
нитого юриста Тадаса Врублевскиса, который в 1906
году защищал Шмидта на суде. В деле были пись-
ма, написанные рукой Шмидта. Я брал их в руки,
как нечто нереальное, занесённое в наши дни стран-
ным ветром времени. Но всё, что случилось со

Шмидтом, было реально. Его яростный порыв, его
боль, его кровь. И горькая радость последней люби-
ви. И чудовищное, за рамками человеческого пони-
мания, предательство Ставраки, бывшего друга...

Я рассказывал историю Шмидта тёте Шуре, и
она покачивала головой, снова вытирая капельки
под глазами.

Возвращаясь из города, я знал, что тётя Шура
встретит меня как своего. Как нагулявшегося люби-
мого племянника. Мне казалось, что мы знакомы
давным-давно.

Несколько раз я уже по своей инициативе вспо-
минал о ликёрчике. Тётя Шура не отказывалась, хотя
и вздыхала смущённо:

— Ох, балуешь ты старуху, Славушка.

Но я баловал не её, а, скорее, себя. Мне нрави-
лись уютные вечера в старой полупустой кофейне и
неспешные беседы с тётей Шурой.

Если бы я писал просто рассказ, а не мемуары с
претензией на верность фактам, то, наверное, придум-
ал бы какой-нибудь хитрый сюжетный ход. Чтобы
ярче обрисовать характер тёти Шуры и внести в по-
вестование столь любимой читателями драматизм.
Но ничего выдающегося там не случилось. Просто
были вот эти вечера в кофейне, спокойная, ненавяз-
чивая ласковость пожилой прачки и ощущение, что
из города я возвращаюсь не в случайную комнатуш-
ку, снятую за рубль в сутки, а к себе домой.

Солнечным утром уезжал я из Батуми, мокрого
от ночного дождя. С тётей Шурой мы расцеловались
у порога. Она промокнула ребром ладони глаза.

— Ты пиши, Славушка...

— Обязательно, тётя Шура!

— Может, ещё и заедешь когда-нибудь...

— Очень даже может быть!

Признаться, в горле слегка заскребло.

На углу я помахал тёте Шуре и быстро свернул
к автобусной остановке.

...Поезд очень долго и словно нехотя шёл по
берегу моря. Волны подкатывали к самым рельсам.
Я стоял в тамбуре, смотрел на сверканье тропичес-
кой природы. Неторопливость поезда была такой,
что мне вдруг представилось: вагоны тащит пласт-
массовый паровозик. Зелёный, вымытый в корыте
рассудительным братом девочки по имени Нана. Сам
брат сидит на паровозике верхом и, чтобы тот не
набирал лишнюю скорость, скребёт пятками санда-
лий по шпалам. Гравий и мелкие ракушки со шел-
каньем выстреливают из-под подошв...

Эта картинка развеселила меня. Но печаль от рас-
ставания с тётей Шурой всё-таки шевелилась в душе.
Впрочем, не сильная печаль. Я думал, что, может
быть, и вправду ещё не раз побываю в замечатель-
ном городе Батуми. А пока меня ждало продолжение
путешествия: Тбилиси, Баку, Астрахань. Потом пла-
вание от Астрахани до Казани. Лишь в Казани, окон-
чательно соскучившись по дому, я прервал теплоход-
ный рейс (хотел сперва плыть до Перми), сел на поезд
и через полсуток оказался в Свердловске...

С тётей Шурой мы переписывались года два.
Поздравляли друг друга с праздниками. Я послал ей

свою новую книжку. Потом переписка заглохла. Теперь уже не помню, кто кому не ответил на очередное письмо. То ли я потерял адрес тёти Шуры, то ли её письма затерялись из-за моих частых переездов. То ли... но не хочется думать о грустном.

А в Батуми я больше не был. Никогда. И теперь уж, конечно, не буду. Да и зачем? Тётю Шуру я там уже не разыщу. Мне теперь самому столько лет, сколько ей было тогда...

А снимок тёти Шуры сохранился.

Она стоит рядом со своим домом, на мокром от прошумевшего дождя асфальте, подбоченилась и держится за ствол дерева. С чуть заметной улыбкой. Грузная тётушка в шлёпанцах, в мятом ситцевом платье. И всё же в ней ощущается чуть заметный

намёк на прежнюю девичью грацию. Та тень давней молодости, которая у многих женщин сохраняется до конца дней.

Этот снимок (даже не пожелтевший, будто сделанный лишь вчера) — единственная вещественная память о моём длинном путешествии в давнем шестидесятом третьем году прошлого века. О пёстром, сверкающем жидкими солнечными огнями и гудящем ливнями городе Батуми. Там было много всего — ярких тропических цветов, портовой романтики, мимолётных встреч, шумного морского приёма, гриновской экзотики старых улиц... Но прежде всего Батуми остаётся в моей памяти городом тёти Шуры — старой прачки, с которой мы вели неспешные добрые беседы в приморской таверне «Чёрное кофе».

Мячик

К августу Тюменка всегда сильно мелела. Усыхла. Кое-где она делалась такой мелкой, что можно перескочить без разбега. Воды почти всюду — по щиколотку и лишь в самых глубоких местах чуть выше колен. Русло съёживалось, осока, оказавшаяся в отдалении от воды, делалась сухой, скрежетала, как жёсть. Но стрекозы не покидали родную речку. Они по-прежнему шуршали над водой и травой слюдяными крыльями. Были стрекозы маленькие, с очень тонкими тельцами — в основном синие. Но изредка попадались красные и жёлтые. Пятнышки на прозрачных крыльях у каждой были того же цвета, что тельце...

Высоко в небе августовские норд-весты неторопливо двигали кучевые облака и шумели в верхушках тополей. А на дне лога было тихо и очень тепло.

Я часто играл в логу у обмелевшей речки.

Мой приятель Альга Головкин в начале августа уехал в деревню. Бежать каждый день к старым приятелям на улицу Герцена, где я жил раньше, было мне лень. И я играл один — в зарослях, на откосах и на берегу.

Отправляясь в лог, я надевал старенькие летние штаны, которые были у меня ещё во втором классе. Теперь, когда я закончил уже четвёртый, штаны стали тесноваты, зато в них удобно было бродить по Тюменке — строить плотины, собирать в карманы ракушки мелких речных моллюсков и пугать, бултыхая ногами, крохотных рыбёшек.

Плотины я строил в самых узких местах. Меня толкала на эту работу наивная надежда: вдруг я сумею запереть Тюменку полностью. Понимал, что это — вопреки законам природы, но всё-таки думал: а вдруг получится? Представлял, как вода замрёт у плотины, а ниже её русло делается безводным, усеянным всяким потонувшим мусором (вдруг найдётся и что-то интересное?). Порой казалось, что я почти достиг цели. Плотина, сложенная из глыб сырой глины, вроде бы совсем останавливала течение. Но лишь на миг. Через секунду то в одном, то в другом месте упрямые струи размывали кладку, и вода уст-

ремлялась по привычному пути. Я тогда не знал выражения «Сизифов труд», но это был именно он.

И самое интересное, что был такой труд совсем не в тягость. Мне нравилось единоборство с тихой, но хитрой и упрямой речонкой. А когда оно надоедало, я надевал брошенные в траве сандалии и шёл «на войну».

Вот ещё зачем я надевал старые штаны — у них были «военные» лямки. С патронташами. Позапрошлым летом я пришёл к лямкам брезентовые, собранные в гармошку ленты. Мучился с этой работой несколько дней и всё же сделал, что хотел. Сам. В каждую складку «гармошки» можно было затолкать револьверную гильзу. В левый и правый патронташи их умещалось по тридцать штук.

Оружейные гильзы в те времена не были редкостью. Знающие люди (постарше и похрабрее меня) находили их на стрельбищах рядом с военным городком. Вообще-то гильзы после стрельбы полагаются подбирать и сдавать, но, видимо, делалось это через пень колоду. По крайней мере, те, кто ходил за такой добычей, без неё не возвращались.

Форма и калибр у гильз были самые разные. Но для наших ребячьих дел больше всех годились те, что от наганов. Они в самый раз надевались на карандаши — вместо колпачков. Из них получались хорошие наконечники для стрел — не острые, но крепкие и подходящие по весу. Шли они и на тяжёлые орудийные стволы для кораблей, сделанных из основной коры. Кроме того, из них можно было делать неплохие колокольчики для удочек и свистки. Можно было играть ими как солдатиками. Ну и для моих патронташей они подходили в самый раз — и по размеру, и по солидному виду.

Оснащённые гильзами, лямки приятно тяжелели, вызывая ощущение, что на тебе настоящие боеприпасы. Я казался себе матросом времён гражданской войны. Или, по крайней мере, юнгой из фильма «Мы из Кронштадта». Куцые «шкеррики» никак не напоминали героические флотские клёши, но похожие на пулёмтные ленты лямки явно придавали их

носителю мужественный вид. Приятели сдержанно завидовали.

Правда, этим летом я в таком виде уже не играл с приятелями. Прежние «фронтовые друзья» остались на улице Герцена, а топать к ним через полгорода с патронташами на груди я стеснялся. Взрослые прохожие будут тарачить глаза, а незнакомые мальчишки хихикать и приставать. Но в логу всегда было пустынно, и я без опаски спускался туда с полным «боезапасом».

Играть можно и одному, если есть хоть немного фантазии! А у меня, в дополнение к фантазии, было ещё настоящее оружие. То есть почти настоящее. Раньше-то я играл с деревянным пистолетом, а в конце нынешней весны нашел на свалке ржавые останки нагана. Отчистил их, снабдил медным стволом, рукояткой и курком на резинке. Натуральный револьвер получился! Я заталкивал его за солдатский ремень, который мне подарил отчим, и отправлялся в разведку или в засаду на коварного врага.

Засады я устраивал в зарослях высоченных сорняков, которыми поросли откосы лога. Эти джунгли скрывали меня с головой. Звенела солнечная тишина. От запахов полыни и конопли кружилась голова. Мелкие семена сыпались под майку, жёсткие листья царапали и щекотали кожу. Но я терпел — на войне как на войне. Было необходимо выследить и уничтожить злодеев.

Своих противников я в этих засадах никогда не представлял людьми. Мой отчим — охотник, стрелок-спортсмен — давно привил мне истину, что нельзя ради игры и забавы целиться в людей из настоящего оружия. Это неприлично, это грех и дурная примета. И в конце концов это обязательно приводит к беде. А сейчас-то как раз была с одной стороны игра, а с другой — настоящий (хотя и ржавый, не действующий) наган.

Поэтому я придумал врагов, похожих на зубастых двухметровых горилл. Они были в рогатых касках и с немецкими автоматами, но явно не люди. Просто фашисты во всей их звериной сути. Бессловесные, злобные, хищные. Таким только попадись в лапы...

Выследив чудовищ, я умело вставлял гильзы (боевые патроны!) в гнезда барабана, наводил на врагов ствол и открывал из чащи огонь.

— Тах!.. Тах!.. Тах!..

После каждого щёлканья курком я поворачивал барабан. А после шестого выстрела выбивал из барабана проволочным шомполом «стреляные гильзы». Подбирал и складывал в кармашек. Чтобы всё было как по правде...

Вот так я однажды безжалостно уничтожил целую орду фашистских тварей, освободил воображаемых пленников, а сам счастливо избежал гибели и ран. Лишь одна вражеская пуля (а на самом деле — колочка) чиркнула меня по локтю. Я погладил рану помусоленной ладонью, заново зарядил револьвер и оснастил патронташи и, почёсывая ноги и плечи, выбрался из бурьяна и чертополоха на открытое место. К пологой глиняной осыпи.

Был уже вечер. Солнце ушло за кромку высокого берега. Где-то слышались очень далёкие голоса, прогудела машина. А здесь, в логу, самым отчётливым звуком было тихое воркование обмелевшей Тюменки — она неторопливо размывала мою построенную днём плотину. Потом я услышал ещё один тихий звук — что-то лёгонькое катилось вниз по осыпи.

Это был мячик. Потёртый синий мячик с белой полоской «по экватору». Величиной с небольшое яблоко. Он прикатился прямо к моим сандалиям и застрял в стеблях подорожника.

Я поднял мячик и вскинул глаза.

Высоко на берегу стоял мальчик. Скрытое от меня солнце оранжево искрилось в его светловолосой стрижке.

— Эй! Это твой мячик? — громко спросил я. Голос мой с неожиданным звоном разнёсся в тишине лога.

— Да! — так же звонко отозвался сверху мальчик. — Брось его мне, пожалуйста!

Было бы понятнее услышать другое: «Конечно мой, не лапай!» Или так: «Кидай быстрее, чего смотришь, как мышь на сало!» Такова была манера мальчишек, среди которых я обычно вращался. Даже воспитанный Алька Головкин обошелся бы в данной ситуации без «пожалуйста». А этот незнакомый пацан разговаривал, как те «хорошие мальчишки», что встречаются в детских фильмах и книжках.

Я однако не почувствовал ни досады, ни насмешливого удивления. Может, потому, что в тишине лога было что-то слегка сказочное. Мне и раньше приходилось ощущать здесь по вечерам нечто похожее. Вроде как ожидание какой-то находки или необычной встречи.

Оттого, быть может, и слова такие отчетливые, а голоса звонкие.

— Наверно, мне до тебя не добросить! — с прежней громкостью признался я. В таких случаях лучше не хвастаться, не казаться сильнее, чем есть, чтобы не оскандалиться.

— Тогда я спущусь! — донеслось сверху.

Мальчик на фоне вечернего неба раскинул тонкие руки и побежал вниз по сухой сыпучей глине. Побежал зигзагами, чтобы не случилось опасного разгона. Ловко тормозил на поворотах подошвами. Глинистая пыль вырывалась из-под сандалий. Через несколько секунд он оказался передо мной.

Мальчик был такой же, как я. Тоже белобрысый, лопоухий и одетый почти так же, только без патронташей и без ремня засунутым за него револьвером. Я почему-то слегка застеснялся своего вооружения. Протянул мячик.

— Спасибо... — он взял мячик в ладони. Показал его, словно побаюкал. Потом зачем-то подышал на него, вытер о майку. Глянул на меня. — Он сбегал... Мы играли, играли, а потом он прыг в сторону — и сюда. Не правда ли, хитрый какой?

— А с кем ты играл? — Я опять глянул наверх. Странно, что приятели мальчика не показывались на кромке берега.

— Да вот с ним же! — сказал мальчик со спокойной веселостью. И чуть подбросил мячик на ладони.

Игры с таким вот мячиком известны каждому. Это и «вышибалы», и «собачка», и «штандер», и «лунки», и много ещё всякого. Но известно также, что все эти игры требуют компании. А в одиночку — как? Разве что стукать мячиком о стенку и ловить. Но на пустом поле Царёва городища, откуда спустился мальчик, не было ни забора и даже ни единого столба.

— Вот удивительно. Скажи, если можно, как ты играл с ним один? — спросил я, чувствуя, что невольно подчиняюсь тону мальчика.

— Очень просто! Подброшу — поймаю, подброшу — поймаю. Или пушу изо всех сил по траве, а сам вдогонку. Успею поймать, пока не остановился, или не успею...

Я подумал, что он говорит о мячике, как о живом. А ещё подумал: неужели он не заинтересуется моим оружием? Я и стеснялся немного своего военного вида, но и гордился тоже...

Мальчик словно услышал мои мысли. Прошёлся глазами по «пулемётным лентам», остановил взгляд на револьвере.

— Он был раньше настоящий?

— Был... — вздохнул я. — Посмотри, если хочешь. — И торопливо выдернул наган, протянул.

Мальчик сунул мячик под майку, взял моё оружие, покачал. Кивнул:

— Тяжёлый...

— Да. Потому что он и сейчас почти настоящий. Только не стреляет...

— Я догадался, что не стреляет — улыбнулся мальчик. И протянул револьвер обратно.

— Как же ты догадался? — сказал я слегка уязвлённо. — Он мог бы и стрелять, если бы я захотел. Хотя бы пистонами.

— Но я же не слышал ни одного выстрела. Поэтому и догадался... А ещё догадался, что это ты строишь тут плотины. Правда?

— Правда, — не стал отпираться я.

— Ты хорошо строишь. Только надо оставлять проток для воды. Трубу или лоток. Иначе обязательно размоет.

Я решил не объяснять, что у меня была другая задача. Мальчик решит, чего доброго, что я ненормальный. А он мне нравился. И я кивнул в знак согласия. Мальчик сказал:

— Я хотел один раз вставить в плотину кусок водосточной трубы...

— Почему же не вставил?

— Ну... подумал: вдруг тот, кто строил, обидится. Скажет, вот кто-то посторонний полез не в своё дело...

— Я бы не обиделся, — проговорил я. И стал неловко заталкивать наган за ремень. Мальчик достал мячик из-под майки, снова побросал на ладони. Быстро глянул на меня:

— Хочешь, поиграем вместе?

— Да! — быстро сказал я. Потому что очень хотел. — А как? В войну или в мячик?

— Конечно, в мячик! У меня же нет оружия.

— Тогда надо там, где ровно! Пошли наверх!

И мы стали забираться по глинистому склону. И получилось само собой, что взяли друг друга за руки. И помогали друг другу, если наши одинаковые стоптанные сандалии начинали скользить на осыпи.

Запахавшись, мы встали на травянистой верхней кромке. И были здесь, как и прежде, одни. Заросшее сорняками поле Царёва городища широко лежало в свете вечерних лучей. Наши длинные тени легли на верхушки трав. Ветра к вечеру совсем не стало, неподвижно висели над нашими тенями пушистые летучие семена.

Мы снова посмотрели друг на друга. И опять мне подумалось, что он такой же, как я. Даже дырка на его голубой застиранной майке была, как у меня.

— Давай в «воротца»! — улыбаясь, предложил он.

— Давай!

Это была самая простая игра для двоих. Один, как вратарь, стоит в самодельных воротах, другой старается закинуть в эти ворота мячик. Если вратарь пропустит бросок, он пускает на свое место «кидальщика».

Ворота мы выбрали между двух кустов сухого репейника. Мальчик зажал в кулаке две травинки: кто вытянет короткую — вратарь. Выпало ему...

Обычно такая игра довольно быстро надоедает. Но нам не надоедала. И мы не очень-то стремились забить друг другу гол. Я старался бросать так, чтобы мальчик, хотя и не без труда, поймал мяч в полёте. Было приятно смотреть, как ловко это у него получается. По-моему, и он бросал так же, когда мы менялись местами.

И мячик, по-моему, подыгрывал нам...

Наконец покрасневшее солнце съехало за крыши дальних кварталов. Небо над крышами сделалось оранжевым, в нём загорелась пунцовая полоска облака. Резко запахло полынью. Мы, чтобы отдохнуть, сели рядышком в траве. Я молчал, мальчик тоже молчал. Постукивал мячиком по зелёным от травяного сока коленкам. Потом вздохнул:

— Домой пора... — И хотел спрятать мячик под майку.

— Дай, пожалуйста, подержать, — попросил я. Мне захотелось попрощаться с мячиком, как с маленьким приятелем. И мальчик понял:

— На...

Мячик был тёплый, не очень тугой, скорее с ощущением живой мягкости — такой же, как у щеки моего братишки-мальша. Я погладил его мизинцем. И вдруг решился.

— Слушай, а давай меняться! Ты мне мячик, а я тебе наган!

Конечно, любой пацан со стороны посмотрел бы на меня, как на чокнутого. С одной стороны обычный старый мячик, а с другой — хоть и ржавый, поломанный, но «бывший правдашный» револьвер. Но во мне сейчас неизвестно откуда появилась иная система ценностей, своя.

Однако и у мальчика она была своя.

— Н-нет... — с неудовольствием сказал он. — Я не хочу.

Мне самое время было остановиться, чтобы не порвать первой ниточки приятельских отношений. Но я глупо сказал:

— Таких мячиков полным полно на свете. А наган — это же редкая вещь. Может, из него тут в гражданскую войну стреляли...

— Ну, в том-то и дело... — со спрятанной досадой выговорил мальчик. — Из него стреляли... а мячиком играли. Они же разные. Одно на другое не меняется, так нельзя...

Кажется, он пытался объяснить мне то, что для него самого было просто и бесспорно. И я начал ощущать его понимание. Только в нём оно было ясным, изначальным, а во мне проступало смутно и медленно...

— Ну ладно... — Я встал, начал застёгивать на себе снятый перед игрой ремень, сунул за него револьвер. Мальчик вскинул на меня глаза. К нему вернулась спокойная весёлость:

— Можно ведь сделать обыкновенно! Бери его просто так! — Он взял мячик из травы и бросил мне. Я машинально подставил ладони.

Мальчик пружинисто вскочил.

— Пусть он будет твой, если хочешь.

— Но... я же... — счастливое смущение вылилось на меня, как тёплый вязкий кисель.

— Бери, вот и всё... А мне дай знаешь что? Один патрон... — Мальчик мизинцем коснулся моей «пулемётной» ленты. — Я в него буду свистеть.

Я, неловко сопя, выбрал для мальчика самую блестящую гильзу. И он тут же дунул в нее, получился чистый мелодичный звук. Мальчик глянул с хитринкой:

— А мячик, он ведь даже и не мой...

— А чей? — слегка испугался я.

— Неизвестно. Я утром нашёл его в канаве. Может быть, он такой... путешественник. Жил у кого-то, а потом сбежал, как колобок. И попал ко мне. А теперь пусть у тебя поживёт.

— От меня не сбежит, — неловко пообещал я. И сунул резиновый «колобок» под майку — в точности, как делал это мальчик. И спохватился: — Спасибо...

— Не стóит, — серьёзно сказал мальчик. И встряхнулся: — Ну что, по домам?

— Ага, — вздохнул я. — Ты где живёшь?

— Там, — он махнул в сторону чернеющих на закате крыш.

— А сюда ещё придёшь?

— Приду. А ты?

— Конечно! Завтра!

— И я завтра. В два часа, ладно?

— Ладно!

— Ну, пока... — И он сразу стал уходить. Шагов через двадцать оглянулся и помахал мне. И я помахал. Больше он не оглядывался, шёл через траву, превращаясь в тонкий силуэт и делаясь всё меньше. И всё время посвистывал гильзой.

Я смотрел мальчику вслед, пока он не пересёк всё поле. Потом он, еле различимый, как бы погру-

зился в траву — стал спускаться с дальнего берега, чтобы пересечь другой рукав лога.

Тогда и я начал спускаться. И думал, что не знаю, как его зовут. И он не знает про меня. В ту пору у мальчишек было не принято знакомиться с ходу. Считалось, что если сразу спрашиваешь «как тебя звать», значит, навязываешься в друзья. А навязываться нельзя, дружба — дело тонкое... Ладно, может быть, завтра...

В логу по-вечернему резко запахло болотом. Кое-где вдоль Тюменки появились полосы тумана. Воздух лежал слоями — то очень тёплый, то прохладный. При спуске я проник через несколько таких слоёв.

У речки было прохладно. Можно было перескочить на другой берег, но я снял сандалии и вошёл в воду. Пусть прохладные струйки слижут со щиколоток зуд от кусачих сорняков. Но струек я не ощутил. Вода в этом месте застоялась и была совсем гладкой. В ней отражалось высокое, всё ещё светлое небо. И я отражался, перевёрнутый.

Я нагнулся, чтобы получше разглядеть себя. Лицо было тёмным и всё же хорошо различимым. И... я увидел *того* мальчика.

То есть, это был я, но в то же время и тот мальчик. Да, я и раньше улавливал сходство, но оно было в росте, в одежде, в остроте загорелых плеч и локтей. В белобрысой причёске «полубокс» — когда-то короткой, но к августу изрядно отросшей. А сейчас я увидел и удивительную похожесть лиц. На минуту даже не по себе стало. Я не знал тогда слова «мистика», но ощутил эту мистику кожей.

Уж нет ли здесь какого-то колдовства, кем-то навязанной сказки или сна? Может быть, мне показалось от полынного запаха, что откуда-то я сам пришёл к себе, чтобы подарить синий мячик?

Зачем? И откуда? Понятие «параллельные пространства» мне в ту пору тоже было незнакомо, но интуитивно об их существовании я догадывался.

Я всматривался всё пристальнее. И всё больше мне хотелось быть таким, как *он*. Потому что у того мальчишки — я чувствовал это — был более чистый, более ясный и смелый, чем у меня, характер. «Пулемётные» ленты теперь показались мне смешным детсадовским маскарадом. А наган... Я понимал, что могу потом пожалеть, но понимал и то, что в эту минуту надо действовать, как велит душа. Я вынул револьвер из-за пояса, выдернул из него и сунул в тесный кармашек (пригодится ещё на что-нибудь) медный ствол. И кинул лишённое дула оружие далеко вдоль русла. Булькнуло...

Затем я побросал в воду гильзы. Оставил лишь одну — для свистка. Завтра мы с мальчиком сможем играть в пряталки, подавая друг другу сигналы из зарослей...

А назавтра дико испортилась погода. Несколько дней лил холодный непрерывный дождь. Взрослые безрадостно говорили, что это уже осень. Одна лишь надежда, что в сентябре, может быть, выдастся несколько дней бабьего лета.

В такую слякоть нечего было думать соваться в лог. Склоны стали скользкими, заросли напитались водой. Тюменка сделалась жёлтой и разбухшей. Конечно, я грустил. Гладил мячик и шёпотом утешал его и себя, что, может быть, всё ещё наладится.

Взрослые ошиблись, лето вернулось в последнюю неделю августа. Едва дождавшись солнца, я побежал по скользким тропинкам в отсыревший лог. Но мальчика там, конечно, не встретил. И ходил потом ещё раз и ещё, даже в сентябре. Но напрасно. И вдруг понял, что встреча эта с самого начала была запланирована судьбой как единственная. С каким-то особым смыслом.

Зимой мы переехали ближе к центру, и я оказался опять рядом с милой моему сердцу улицей Герцена. Снова были рядом привычные с дошкольных времён друзья-приятели. Встреча в логу вспоминалась теперь так, будто и вправду была сном. То, что она не сон, доказывал синий мячик. Но... мало ли откуда такой мячик может взяться?

В первые дни, пока я грустил по мальчику, мячик ночевал у меня под подушкой. А потом, после переезда, я поселил его в корзине со всяким своим мелким имуществом.

Но нет, я не забыл про мячик. Он сделался одной из моих привычных игрушек. Следующим летом, отправляясь к друзьям на улицу Герцена, я часто брал мячик с собой. Мне шёл двенадцатый год — возраст, когда у мальчишек той поры игры в лапту, в ляпы-выставлялы и в «штандер» были привычным и частым развлечением.

Однажды под вечер играли в «штандер».

Нынче игра эта почти забыта, а в середине двадцатого века в летних дворах и переулках только и слышалось: «Штандер!.. Штандер!..» То есть «стой, ни с места!» Кто-то один швырял мячик свечкой над головами и выкрикивал имя другого. Тот, кого кликнули, мячик ловил и тогда кричал это «тормозящее» слово. И разбегавшийся народ замирал. Поймавший мячик выбирал жертву из тех, кто поближе, и должен был, не сходя с места, залапать её точным попаданием. Ну, а концовки были разные. Иногда игроки просто менялись местами, а порой самому невезучему назначали несколько «горячих» мячиком меж лопаток. Поэтому твёрдые мячики (например, для тенниса) для такой игры не брали.

Вариантов у игры было множество, новые правила часто выдумывались на ходу. Например, в тот раз мы играли не во дворе, а на улице и договорились, что каждый кон будем начинать с того места, где залапали последнего неудачника. Таким образом вся команда постепенно смещалась вдоль квартала по пыльной дороге, по заросшим одуванчиками канавам и дощатым тротуарам (к неудовольствию сидевших у ворот соседок).

Наконец мы оказались на углу улиц Герцена и Челюскинцев. Вовка Покрасов схватил мячик, прицельно глянул в зенит.

Я считаю, я считаю,
Я на третий раз кидаяу!
Раз, два... три!

При слове «три» все рванули кто куда, а Вовка зафитилил мячик в высоту.

— Славка! — прокричал он.

Я резко тормознул, бросился обратно, чтобы с лёту поймать мячик в ладони. Задрал голову...

Мячика не было. То есть он не летел ко мне. Он гулко стукнул о крышу двухэтажного деревянного дома.

Стукнул — и больше ни звука.

Ребята медленно сошлись в кучку.

— Всё, копец шарик, — с сумрачным злорадством сообщил рыжий Толька Петров.

Вовка Покрасов виновато сопел.

— Фиг туда заберёшься, — сказал Амирка Рашидов.

Сёмка Левитин высказал предположение, что мячик застрял в водосточном жёлобе и сам по себе, конечно, не скатится.

Со двора на крышу можно было, наверно, забраться по приставной лестнице. Но попробуй-ка! Взрослые жильцы такой вой поднимут: «Хулиганы! Марш отсюда!..»

Когда-то в этом доме жил товарищ моего старшего брата Витя Ножкин. Но, сейчас, увы, всё здешнее население было незнакомым. И старый дом с деревянной резьбой на карнизах и узорчатой жестью водосточных труб был для нас полностью чужим и неприступным, как крепость.

— Да ладно, — решил наконец деловитый Вовка Пятериков. — Я сейчас за своим мячиком сбегаяю.

Я стоял с равнодушным лицом. Потеря старого мячика не считалась такой бедой, из-за которой пятиклассники распускают нюни. А что у меня на душе — это моё личное дело. Лишь мой друг Сёмка Левитин (он-то лучше всех знал меня) шёпотом утешил:

— Да ладно, чего уж теперь...

— Чего уж теперь, — сказал и я. И постарался успокоить себя мыслью, что мячик-то — он ведь путешественник. Пожил у меня, а теперь отправился искать новых приключений. Когда-нибудь скатится с крыши и прыг-скок по неведомым дорожкам...

Вовка Пятериков прибежал со своим красным мячиком. Игра пошла по новому кругу. Было лето пятидесятого года...

А в семьдесят третьем году я проездом, на несколько часов, оказался в Тюмени.

До этого я не был в родном городе несколько лет и теперь пошёл бродить по знакомым улицам. Стояла середина лета, но день выдался прохладный и пасмурный, недавно прошёл дождь. В клочкастых облаках лишь изредка просвечивала желтизна. Одноэтажный домик на улице Герцена, где я провёл свое дошкольное детство, стоял с закрытыми ставнями. Двор, в котором когда-то обитали мои друзья, был пуст. Многие оказалось уже незнакомым, перестроенным. Лишь могучий тополь по-прежнему охранял пространство наших давних игр. Я потрогал щекой его влажную бугристую кору: «Привет, старик...»

Потом я прошёл туда-обратно несколько кварталов. В сыром воздухе пахло знакомой с детства травой — городской безлепестковой ромашкой. Запах её похож на земляничный. Я смотрел по сторонам. Вот дом, в котором жил когда-то мой друг Юрка Рудзевич. Вот крохотный домик с венецианским окном, который мне всегда казался немного заколдованным. Вот деревянная больница, где я лежал со скарлатиной (а приятели с ближнего двора прибегали ко мне под окна палаты)...

Я подошёл к углу улицы Челюскинцев. Из ржавой водосточной трубы с журчанием и плеском бежала струйка. Падала в прозрачную круглую лужицу.

В лужице, купаясь и подставляя струйке блестящие бока, плавал мячик.

Синий, с белым пояском.

Неужели тот самый?!

А почему бы и нет? Наверно, в давнем пятидесятом году застрял на крыше в жестяном жёлобе или под оторванным кровельным листом, а сейчас наконец сильный ночной ливень освободил его. Мячик нырнул в водосточную трубу и — «здрасьте, вот он я!»

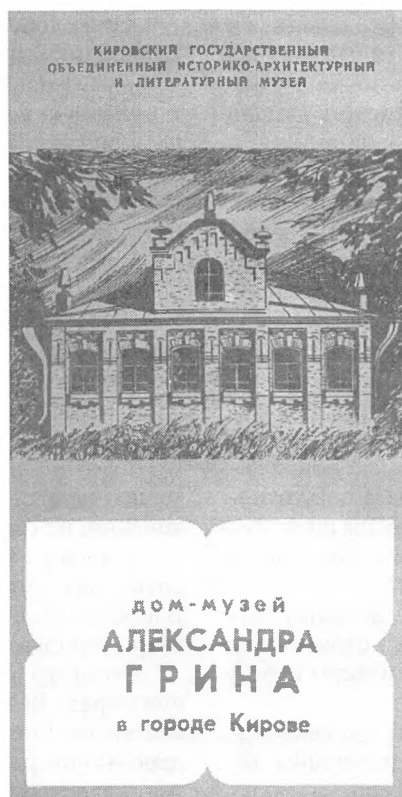
— Здравствуй, малыш... — Я присел на корточках, взял мокрый мячик в ладони. Он сразу стал высыхать и будто затеплел изнутри. Я погладил его и положил в карман плаща.

И сразу вся эта скучная, ненужная мне командировка показалась важной, исполненной особого смысла. А серый день сделался ласковым и серебристым...

Потом синий мячик жил у меня дома несколько лет. Но я опять же не стал делать его сувениром или талисманом. Им играл мой старший сыннишка, играли соседские ребята. Гонял его по углам рыжий мамин кот... И в конце концов мячик опять пропал. «Ну и ладно, — решил я. — Видимо, снова отправился бродяжничать...»

Еще одна встреча с мячиком случилась в девяностом году. Я с женой и четырнадцатилетним сыном путешествовал по Волго-Балту на туристическом теплоходе. Плавание подходило к концу. Утром четырёхпалубный «Юрий Андропов» причалил к дебаркадеру рядом с какой-то деревенькой. Это была так называемая «зелёная стоянка», последняя перед столицей. Жена осталась в каюте, а мы с Алёшкой отправились на прогулку. Бродили по вытоптаным лужайкам ближней рощицы, лениво перекидывались сосновыми шишками. Я заметил в траве корягу, похожую на припавшего к земле громадного кота. Приподнял её, чтобы поставить «котика» на задние лапы. И тогда из-под коряги к моим башмакам выкатился синий, с белой полоской мячик.

Потёртый, знакомый. *Соскучившийся.*



Алёшка не сразу понял, почему я так по-детски обрадовался. Я торопливо объяснил, что в точности такой же мячик был у меня в детстве. О том, что, возможно, он *тот самый*, я, конечно, сказать не посмел. Но для себя-то я решил сразу — случилось невероятное.

Мы долго перекидывались мячиком среди кустов и сосен, и я вновь чувствовал себя тюменским пацаном. Наконец мы оказались на берегу. Травянистая поляна долго уходила к воде. Туда вёл длинный дощатый тротуар, в конце которого торчал над водой фанерный домик. Наверно, пристань для катеров. Вход на тротуар преграждала высокая проволочная изгородь.

Мячик вдруг выскользнул у меня из пальцев. Поднырнул под проволоку, запрыгал вниз по доскам. Резво так, ловко, словно дразнил нас. Или звал поиграть в догонялки.

Мы растерялись. А мячик исчез в широкой щели, недалеко от домика.

Конечно, надо было искать проход, спешить вниз, догонять беглеца. Но в изгороди не было прохода. А внизу у домика маячил какой-то дядька, скорее всего сторож. Я всю жизнь боялся сторожей и вахтёров... И тут загудел теплоход. Это был уже не первый гудок. Возможно, даже последний перед отходом. Я взял Алёшку за руку.

— Идём! — До пассажирского дебаркадера было метров сто.

— А как же мячик!

— А мама? Она там с ума сходит!

И мы заспешили. Алёшка не упрекал меня.

Теплоход и правда отвалил, едва мы зашли на палубу. Не зря спешили. И всё же меня царапала совесть.

А потом случилось то, чего не забуду никогда. Мы стояли на кормовой палубе. И когда корма поравнялась с катерной пристанью, мы снова увидели мячик. Синий, блестящий, он прыгал недалеко от берега в мелких волнах. Прыгал так, словно хотел подскокить повыше и перелететь на палубу, к нам...

А может быть, он просто резвился, купался? Или отплыл от берега, чтобы проводить нас? Да нет же, он *хотел с нами*.

Мы с Алёшкой посмотрели друг на друга.

— Ну, у него своя дорога, — неловко сказал я. — Повидался с нами, а теперь отправился дальше. Путешественник...

Алёшка молчал. Мне даже почудилось, что он думает обо мне с печальным укором. Конечно я был не прав. Но так мне казалось, потому что сам я о себе тогда думал горько и безжалостно.

И думаю до сих пор. И ругаю свое взрослое здравомыслие, свою дурацкую осторожность. Ну, что, в конце концов, могло случиться, если даже опоздали бы на теплоход? Догнали бы по берегу на такси или попутных машинах. Не в диком же краю... Были бы, конечно, несколько часов нервотрепки и волнений, зато мячик остался бы с нами. Зато не пришлось бы вспоминать все эти годы, как он прыгает среди волн в безнадежных попытках догнать нас.

...Иногда я обрываю эти мысли. Опомнись! Любой здравомыслящий читатель сочтёт тебя идиотом. Среди множества глобальных проблем, экономических кризисов, экологических катастроф, кровавых событий в горячих точках и сообщений про летящий к земле астероид, ты, выживший из ума пенсионер, печалишься о каком-то старом резиновом мячике... Но... верите или нет, а едва вспомню, как он, беспомощный, прыгал в гребешках жёлтой воды, комок встаёт в горле. Так бы и дал себе с маху по роже!..

И вот ещё на чём ловлю себя. С какой стати я вздумал затолкать историю о мячике в цикл «Паустовские рассказы»? Нигде у Паустовского ни про какие мячики я не читал. Но, поразмыслив, понимаю, в чём дело. Когда-то я видел фотографию мальчика Костика. Он снят в дедовом хуторе Городище. Снимку около сотни лет. Костик стоит среди зарослей чертополоха. Наверно, он только что играл здесь, воображая себя казаком-запорожцем (играл в одиночку, как и я в зарослях тюменского лога). Он подпоясан широким, похожим на военный, ремнём — тоже как у меня. И Городище у нас в Тюмени было. Даже не одно, а три — Большое, Малое, Царёво...

Столько похожего.

Но и здесь меня грызёт совесть. Мне кажется, что мальчик Костик смотрит с фотографии на меня с укоризной: «Я-то ни за что не оставил бы свой мячик...» И тот мальчик, в логу, не оставил бы. Он доверил мячик мне, а я...

Лишь одно слегка утешает меня. Надежда, что, может быть, я повстречаю мячик снова. Или найду где-нибудь в траве газона, или вдруг в парке какой-нибудь малыш догонит меня:



Владислав Крапивин после вручения ему премии А.С.Грина в доме-музее писателя в Кирове. Фотография Т.Рыловой

— Дядя, это не вы уронили под скамейку?

Конечно, чудес не бывает. И смешно: с какой стати малыш со своей находкой будет догонять меня? Он же знает: старые дяди не играют мячиками... И всё-таки думаю порой — вдруг мячик вернётся?

Я знаю: если бы это случилось, я обрёл бы что-то важное и постоянное. И на этот раз — навсегда, до конца дней. А может быть, и после конца...

Февраль–апрель 2001 г.

Давид ШРАЕР-ПЕТРОВ

ЗА ОГРАДОЙ ЗООПАРКА

Рассказ

За оградой Зоопарка ревел бегемот. Больница находилась по соседству с Зоопарком в самом центре Москвы на Садовом кольце. В ней лечили детей и подростков. Окна дежурки, в которой сидел доктор Гарин, выходили на зады Зоопарка, где был вольтер с бассейном. Там жил бегемот. Наверно старый и капризный. Обычно он ревел по утрам и на закате, требуя морковку и свёклу у служителя. Но была глубокая ночь, а бегемот ревел и ревел, не пе-

реставая. Может быть, он был болен? Ночной рёв выводил доктора Гарина из себя. Не давал ему сосредоточиться. Он отложил историю болезни, вытащил подушку и одеяло из шкафа и прилёг на разбитом кожаном диване. Сон не приходил. Он откинул синее одеяло, сотканное из грубой колючей шерсти, нашарил пачку папирос и спички. Закурил в темноте. Выкурив папиросу, укрылся с головой и отвернулся к спинке дивана. И всё равно

не мог уснуть. Но и не было сил встать, присесть к столу и снова вчитываться и вдумываться в историю болезни Наташи Альтман. Доктор Гарин не мог найти выхода. Такое случалось с ним. Случалось, как это бывает с каждым врачом. Болезнь не поддавалась лечению.

Наташу доставили в Москву из Анапы на самолёте санитарной авиации. В Анапе она отдыхала с подругой в молодёжном лагере. Купалась в Чёрном море, играла в волейбол и заводила романы со студентами Краснодарского педагогического института, которые были там на летней практике. Наташа перешла в десятый класс и считала себя абсолютно взрослой. Однажды они всей компанией отправились в горы собирать плоды терновника. Кусты терновника были покрыты неумолимыми ороговевшими шипами. Страшнее всего были старые засохшие ветки, валявшиеся в пыли на каменистой почве горного склона. Удар шипа пришёлся под самую пятку, пробив кроссовку. Наташа вскрикнула от резкой боли, но кто-то отвлёк её, Борис или Сергей, соперничавшие из-за хорошенькой москвички-десятиклассницы. Она ответила на шутку, осознала, что наступила на рыжую высохшую ветку, увидела, что ветка пристала к подошве кроссовки, отодрала от ноги ветку с шипом, опять поморщилась, потому что в подошве засадило, и... забыла об уколе. Но через три дня нога начала болеть да так, что стало трудно ступать. Подруга отвела Наташу к медсестре. Медсестра наложила повязку. Ещё через два дня боль стала нестерпимой. Поднялась температура. Стопа раздулась. Испуганная медсестра отвезла Наташу в больницу. Её положили в хирургическое отделение, назначили антибиотики и сделали разрез, чтобы выпустить гной. Гной вытекал из разреза, жёлто-зелёный, с дурным запахом. На два дня боль поутихла. Потом всё возобновилось. Температура бесновалась, как зверь в клетке, то бросаясь вверх, то припадая на влажные лапы изнуряющего пота. Наташа потеряла сознание. Начался бред, какой бывает при заражении крови — сепсисе. Редкие часы ясного сознания сопровождались безумной слабостью. Врачи позвонили родителям Наташи в Москву. Отец Наташи, профессор Альтман, тот самый, который придумал, как делать самолётные шины из отечественной нефти, прилетел за ней специальным рейсом санитарной авиации. Так Наташа оказалась в больнице, в палате у доктора Гарина.

И теперь после трёх суток самых отчаянных попыток «вытащить» Наташу из сепсиса доктор Гарин пришёл к выводу, что он в тупике. А следовательно, у больной почти не оставалось шансов выжить. Трое суток доктор Гарин не уходил домой, в то время как жена Лара была с детьми на даче. Вечера была пятница, и доктор Гарин должен был отправиться к семье на электричке. Но остался в больнице, не смог поехать к Ларе, к шестилетнему Алику и трёхлетней Сонечке. Которые сутки капельница впрыскивала растворы антибиотиков в заражённую кровь. Никакого эффекта. Сепсис сжигал Наташу. По данным лаборатории микробы должны были

поддаваться лечению. Но они упорствовали. Рентген показал, что гнойные очаги гнездятся в костях левой ноги. Той самой, в подошву которой вонзился шип. Гнойники начали образовываться вокруг почек. «Если микробы захватят почки, наступит конец», обречённо подумал доктор Гарин, снова и снова рассматривая тревожные, как ночное небо, затянутое тучами, рентгеновские снимки. «Но ведь это невозможно! Это абсолютно непозволительно. Абсурд какой-то!» — сам себя гипнотизировал доктор Гарин, в который раз направляясь полуосвещённым больничным коридором в палату номер 7, где лежала Наташа.

За трое суток смешались день и ночь. Доктору Гарину казалось, что Наташа вечно лежит в больнице, а перевязки и прочие процедуры образуют нескончаемый круг, из которого не вырваться ни ей, ни ему. То есть доктор Гарин ясным умом опытного врача представлял себе неумолимую развязку, грозившую наступить, если он не предпримет чего-нибудь чрезвычайного, никем ещё не применявшегося в лечении этой болезни. Потому что все традиционные способы борьбы он испробовал. Он уповал на чудо.

Наташа то забывалась в бреду, горячо споря с кем-то невидимым доктору Гарину. Временами в забытии напевала она детские песенки и снова проваливалась в глухой сон. Доктор Гарин только силой воображения мог представить себе, какой была Наташа до болезни. Судя по фотографиям, которые принесла (от отчаяния?) мать Наташи в больницу, девочка была выше среднего роста, сероглазая, в летящей стрижке каштановых волос. Она была снята в короткой клетчатой юбке, открывавшей стройные ноги. Доктор Гарин никак не мог соединить эти радостные фотографии с истрадавшимися высохшим телом, обтянутым серо-жёлтой кожей.

Он поймал себя на мысли, что снова стоит в ночной палате номер 7 около Наташиной постели. Зашла медсестра Коробова. Принялась менять капельницу с растворами солей. «Вы бы прилегли, Борис Эрастович, — сказала Коробова, навалившись на него грудью, едва запелёнутой в халат-размахайку. — Вы бы прилегли, а я бы вам чаю принесла. Мы бы, Борис Эрастович, с вами вместе и попили бы чаю, а?» Она прошлась упругими грудями по его плечу. «Спасибо, Коробова. Как-то не до чаю. Видишь, как всё оборачивается, — доктор Гарин отодвинулся от медсестры и начал считать пульс у Наташи, сокрушённо качая головой. — Швах дела, как говорила моя бабушка».

Медсестра Коробова обхватила большим и указательным пальцами ампулу с лечебным раствором, и, нежно поглаживая округлый гладкий сосуд, опять припала молодым телом к его плечу и горячо зашептала: «Прилегли бы, а я бы чаю принесла и сочников. Ночной выпечки сочники. Годится, Борис Эрастович?» Он вежливо отодвинулся: «Как-нибудь в другой раз, Коробова».

Были те самые часы московской летней ночи, когда всё замирает. Не слышно грохота и воя гру-

зовиков, вылетающих из тоннеля на Садовом кольце, не доносятся пьяные выкрики и разухабистые песни бессонных гуляк, не царапает нервы стальной стрёкот и усатое жужжание подметально-поливальных машин. Москва затихает, забывается в эти часы, чтобы в пять утра начать новый безумный день столицы.

Доктор Гарин сидел на краешке Наташиной постели. Она спала. В это время за окнами больницы, за оградой, которая граничила с Зоопарком, в темноте сгущающейся до состояния космической чёрной дыры, раздался рёв бегемота. Пока бегемот не подавал голоса, доктор Гарин забыл о его существовании. Но теперь в чёрной тишине ночи рёв бегемота был единственным зовом внешнего мира, единственным, не имевшим никакого отношения к больнице, к доктору Гарину, к Наташе и её сепсису. И доктор Гарин обрадовался этому голосу ночи.

«Он зовёт меня», — сказал кто-то в полумраке палаты. Доктор Гарин не сразу осознал, что голос принадлежит Наташе. Он включил ночник на её тумбочке. Глаза девочки были прикрыты тёмно-жёлтыми веками. Губы её были в трещинах. И эти сухие губы повторили ещё раз: «Он зовёт меня».

Едва дождавшись утра, доктор Гарин отправился в Зоопарк. Но не как посетитель, а совсем с другими намерениями. Да в такую рань никакой Зоопарк в мире не открывается. Надо же покормить зверей, почистить их клетки и загоны. Он не раз бывал здесь с детьми, Аликом и Сонечкой. Жена Лара не любила ходить в Зоопарк. «Воняет, как на чёрной лестнице!» — говорила Лара, когда наступало воскресенье, отведённое в календаре для очередного посещения зверинца. Доктор Гарин знал расположение вольеров и загонов, знал, что в ту половину Зоопарка, где обитает бегемот, надо входить с Малой Грузинской улицы. Он туда и пошёл.

Кассы Зоопарка были ещё закрыты, калитки заперты. Никакой возможности проникнуть внутрь не было. Доктор Гарин вернулся во двор больницы и двинулся вдоль забора, высматривая возможный лаз. Со стороны всё это выглядело, по крайней мере, странно. Не какой-нибудь уличный хулиган, спасающийся от милиции, а солидный тридцатидвухлетний мужчина в приличном костюме и рубашке с галстуком крадёт вдоль глухого поросшего лебедой и крапивой забора в поисках дыры. Но что было делать! Доктор Гарин крепко верил в чудеса. То есть, доктор Гарин не сомневался, что в исключительных обстоятельствах (если судьбе угодно!) начинают вмешиваться иные, не изученные ещё до сих пор наукой силы исцеления. Когда-то прежде в самом начале своей карьеры, то есть лет восемь назад или девять, доктор Гарин завёл было на клинической конференции речь о таких *паралечебных* путях исцеления, но его тотчас поставили на место: «Что вы, Борис Эрастович, это же *чистый идеализм!*» И он больше об этом с коллегами не говорил. Хотя не переставал верить в чудесное.

Две доски в сером от старости, поросшем зелёными пятнами лишайника больничном заборе оказались выломанными. Он шагнул в сырое пространство пограничной зоны и, к своей радости, увидел, что два железных прута зоопарковского забора тоже были разведены чьими-то незаконными усилиями так, что образовывали силуэт амфоры, подсказывающий воображению очертания женского тела. Тут, некстати, вспомнились ему дерзкие формы медсестры Коробовой, выпиравшие всеми округлостями из ткани халата. Он пролез во вторую дыру и оказался рядом с бегемотником.

Доктор Гарин моментально узнал это место. Здесь он прогуливался с Аликом и Сонечкой ровно три месяца назад, когда был конец мая. Лара в тот день повезла задаток хозяевам дачи на станцию Снегири. Да, именно здесь он поднимал Сонечку на руки, чтобы она увидела, как бегемот открывает огромную пасть, напоминающую пару гигантских галош, прикрепленных друг к другу розовым нутром. Он поднял тогда Сонечку на руки, чтобы она увидела, как служитель, здоровенный парень, забрасывает буро-красную свёклу и оранжевую морковку в бездонную пасть бегемота. Из ревности, наверно, что подняли на руки Сонечку, а не его, Алик перебросил мячик через ячеистую проволочную ограду бегемотника. Это был мячик Сонечки, и она громко заплакала. Служитель помахал Сонечке рукой (мол, *не плачь, дитя!*) и вынес мячик из вольера. Так они познакомились. Служителю по имени Николай Сорокин было двадцать лет от роду. Он учился в ветеринарной академии. А по вечерам и в выходные дни подрабатывал в бегемотнике. Николай мечтал стать дрессировщиком.

В бетонном бассейне бегемотника никого не было. Бегемот, намаявшись за ночь (доктор Гарин был убеждён, что бегемот болен), спал во внутреннем помещении. Собственно говоря, доктору нужен был сейчас не бегемот, а кто-нибудь из служителей. Лучше всего, если это будет тот самый симпатичный студент ветеринарной академии Николай Сорокин. Всё-таки, коллеги. Доктор Гарин прошёлся вдоль вольера. Никого не было. Он даже начал сомневаться, не ошибся ли местом? Вдруг, это не бегемотник, а место обитания моржей или белых медведей? С ним такое случалось. Он мог назначить встречу с кем-нибудь и ждать не на том углу площади. Или оказаться около дома с правильным номером, но на совершенно другой улице. Или задуматься о своих пациентах и поехать по неизвестно какой линии метро. Всё дело в том, что он терял свои записочки с адресами. Или засовывал в непонятные места. Жена Лара на всякий случай, если поездка куда-то или встреча с кем-то были связаны с домашними делами, записывала ему нужный адрес дважды. Чтобы один адрес он положил в карман пиджака, а другой в брюки. Когда же встречи были деловые или, как нынешняя, незапланированные, всякое могло произойти.

Зная за собой эту слабость, доктор Гарин начал искать табличку, которую в Зоопарке вывешивают

на клетках с животными. Чтобы посетители знали научное название этого зверя или этой птицы, откуда он (она) родом, что ест, чем интересен (интересна) для науки. Он разыскал табличку и убедился, что находится в нужном месте. Там было написано, что бегемот (*Hippopotamus amphibius*) очень крупное африканское животное, обитает в воде; что у него тёмная толстая и почти безволосая кожа, короткие ноги и огромная, широко распахивающаяся пасть; и, наконец, что он питается преимущественно растительной пищей.

Доктор Гарин выкурил папиросу и, неся окурок к зелёной железной урне, услышал шарканье метлы. Кто-то подметал внутри вольера и пел. Доктор Гарин сложил ладони рупором и громко, чтобы звук перелетел над бассейном и достиг внутреннего помещения, позвал: «Николай! Николай!» Он был уверен, что подметает его знакомый Николай Сорокин. Кто же ещё? Ведь была суббота. Никто не вышел наружу. Тогда доктор Гарин пошарил вокруг себя глазами и нашёл камушек. Он размахнулся и перебросил камушек через ограду бегемотника. Он услышал, что камень шлёпнулся где-то далеко, за бассейном и песня оборвалась. Доктор Гарин увидел Николая, который с метлой вышел из внутреннего помещения наружу. Парень походил на древнего скандинавского мореплавателя. Высоченного роста, в гриве волнистых волос цвета спелой пшеницы, в коричневом фартуке и высоких сапогах да ещё с метлой, Николай был похож на викинга с веслом. К тому же при близорукости доктора Гарина многие предметы на дальнем расстоянии могли быть восприняты метафорически. Николай скинул фартук, оставил метлу и вышел наружу на дорожку.

— Доктор, вы ли это? Как вы попали сюда, ведь Зоопарк ещё закрыт? — изумился Николай.

И тогда доктор Гарин рассказал Николаю историю болезни Наташи Альтман. В особенности, про то, как она отозвалась во сне на крик бегемота. Как будто бы тот звал её.

— Классика! — восхитился Николай.

— Что классика? — переспросил доктор Гарин.

— Классическое взаимодействие биологических полей животного и человека, — пояснил Николай.

— Вы думаете, так сразу? — усомнился доктор Гарин.

— Наверно, не так и не сразу, — степенно пояснил Николай. — Сначала заработало биополе бегемота. Он подал голос. Она отозвалась. Вроде, родные души. Нуждаются во взаимной поддержке. Постепенно он *достучался* до вашей пациентки.

— Гениально! — воскликнул доктор Гарин. — Пойдёмте же со мной! Здесь совсем рядом...

Он показал в сторону забора, за которым стояли корпуса больницы.

— Ну не в таком виде! — Николай покрутил метлой и показал на фартук. — К тому же я при исполнении...

— Хорошо, хорошо! — торопливо согласился доктор Гарин, боясь, что Николай передумает. —

Когда вы смогли бы прервать... хм... эти санитарные процедуры в бегемотнике?

— Ну, скажем, часика в два. У меня обед в это время.

— Договорились! Я вас буду ждать по ту сторону забора. И доктор Гарин показал Николаю лаз, через который можно было очень быстро проникнуть из Зоопарка в больницу.

Они встретились в условленное время. Доктор Гарин дал Николаю халат и повёл в палату к Наташе. Она была в забытьи. Сухие потрескавшиеся губы шептали что-то неясное. Что именно, невозможно было разобрать. Николай присел к ней на кровать. Прикоснулся пальцами правой руки к её ладони. Она никак не прореагировала. Тогда он поднёс свою руку к подбородку девочки, обхватил его своей крупной ладонью. Доктор Гарин наблюдал во все глаза за его движениями. В это время в палату заглянула медсестра. Не Коробова, которая сменилась утром, а другая. Она позвала доктора Гарина: «Борис Эрастович, вас супруга к телефону требует».

Когда он вернулся в палату, его изумила перемена, которая произошла с Наташей. Она тихонько беседовала с Николаем. Вернее, кивала ему головой и говорила:

«Да, конечно... Его так жалко... Как только поднимусь...» Николай касался кончиками пальцев её подбородка, щёк и шеи и рассказывал про своего питомца: откуда бегемот родом, что он любил есть, пока не заболел. Между его неторопливыми фразами она улавливала паузы и слабым голосом отвечала. Слабым голосом, но вполне впад:

— Конечно, я хочу... Он, наверно, забавный... Жалко старого бегемота... Вот только поднимусь...

На прощанье Николай спросил:

— Принести тебе морковку?

Наташа улыбнулась:

— От бегемота?

Николай ответил:

— От нас обоих.

В электричке доктор Гарин читал своего любимого писателя Грина. Его рассказы всегда помогали доктору Гарину вернуться к ровному состоянию духа. Была суббота. Шёл третий час дня. Он ехал в Снегири на дачу к Ларе и детям. Наташу Альтман он оставил на попечение дежурного персонала. Он уже не так тревожился за неё, как в последние ужасные дни. Николай пришёл к Наташе, и это изменило ход болезни. Доктор Гарин представил себе, как этот здоровенный парень войдёт завтра в палату и станет угощать Наташу морковкой. Она будет улыбаться и отгрызать кусочки от брызжущего соком оранжевого корнеплода. А Николай — гладить ладонью её подбородок, шею и щёки. Он даже перестал читать и захлопнул Грина. «Ведь это и есть то самое, о чём ты не смел и мечтать ещё вчера вечером. Перелом в болезни, который старые врачи называли счастливым кризисом. Разве ты не

рад этому?» — спрашивал себя доктор Гарин, машинально рассматривая мелькающие столбы, кусты и свалки придорожного мусора.

Следующий день был воскресным. Доктор Гарин взял велосипед и *сгонял* на железнодорожную станцию, где был переговорный пункт. Он позвонил в больницу, в своё отделение. Дежурный врач сказал ему, что ночь прошла спокойно. Поступил мальчик Ц. с ревмокардитом. У девочки П. из 3-й палаты опять упал гемоглобин.

— А что у Наташи Альтман? — спросил доктор Гарин.

Дежурный врач ответил, что температура у неё тридцать семь и пять, но состояние явно улучшилось и даже аппетит появился.

— Она ела морковку? — спросил доктор Гарин.

— Что? Что? — переспросил дежурный врач раздражённо, потому что ему надо было делать записи в историях болезней. — Какую морковку?

— Да это я так, не обращайтесь внимание, — заторопился доктор Гарин повесить трубку и закурить папиросу.

С понедельника по пятницу следующей недели дни катились, как шары бильярда — солнечные на зелёном летнем поле. Николай приходил к Наташе каждый день, приносил морковку и разные фрукты, рассказывал ей про жизнь Зоопарка. Когда он приносил морковку, то говорил: «Это от бегемота». Когда — банан: «Это от шимпанзе». Когда — яблоко: «Это от Николая Сорокина».

Однажды девочка спросила:

— Коля, а почему твой бегемот ревет по ночам?

— Он болен и тоскует, — ответил Николай.

— Тоскует по кому?

— По тебе.

— Странно, — сказала Наташа и задумалась.

В пятницу доктор Гарин уехал на дачу в Снегири. Вернувшись в понедельник утром и зайдя в палату номер 7, он не узнал Наташу. Она сидела на кровати, спустив ноги на пол и причёсываясь перед овальным зеркальцем с перламутровой ручкой. Она расчёсывала свои густые каштановые волосы и пела. Больничная пижама сползла, и доктор Гарин увидел нежное матовое плечо и разбег груди. Он десятки раз слушал и осматривал Наташу, но сейчас видел её совсем другими глазами. Она встрепенулась, услышав его шаги, засмеялась и скользнула под одеяло.

Доктор Гарин поздоровался с Наташей и остальными девочками, которые лежали в этой палате. Осмотрев больных и сделав назначения, доктор Гарин отправился к рентгенологу Карпову. Они сравнили Наташины рентгенограммы и нашли потрясающий прогресс: очаги в костях ноги и вокруг почек рассосались.

— Борис Эрстович, воскликнул рентгенолог Карпов, — да это же готовая статья в журнал «Педиатрия»!

— Вы полагаете, статья? — переспросил доктор Гарин, а мысли его были далеко.

В будние дни он не ездил на дачу. Не получалось. Он работал на полторы ставки, да ещё руководил отделением. Раз в неделю, обычно по понедельникам, доктор Гарин посещал медицинскую библиотеку, которая находилась на площади Восстания. То есть от больницы было рукой подать. Поэтому, было вполне естественным зайти в больницу и взглянуть на пациентов на обратном пути из библиотеки домой. Доктор Гарин прочитал несколько статей, в которых обсуждался новый метод лечения ревматизма, и отправился домой. Было около десяти часов вечера. Над округлой, как купол храма, крышей Планетария горели яркие звёзды августа. Одна из них отломилась от чёрного небосвода и упала в больничный сад.

В отделении было тихо. Медсестры пили чай в буфетной комнате. Доктор Гарин спросил у старшей из них, всё ли в порядке? Тревожных случаев не было. Доктор Гарин заглянул в палаты. Дети спали. Внезапно он услышал рёв бегемота. Он давно не дежурил, а когда заглядывал по вечерам в больницу, бегемот не напоминал о себе. Может быть, и вовсе успокоился, поправился, понял, наконец, что реветь по ночам бессмысленно. А сегодня, вот поди, заревел опять. Две недели назад ночной рёв ассоциировался у доктора Гарина с тяжёлым периодом болезни Наташи Альтман. Но она счастливо выздоравливала, ждала дня выписки из больницы, и доктор Гарин постепенно перестал думать обо всей этой истории. Да и Николай теперь реже посещал Наташу. Во всяком случае доктор Гарин больше не встречал студента-ветеринара. Поэтому неясное раздражение, которое Николай вызывал у доктора Гарина, забылось в суете сует больничного быта. Но сегодня, стоя в палате номер 7, доктор Гарин снова услышал рёв бегемота, который доносился из приотворённого окна над кроватью Наташи. Однако Наташи не было в больничной палате. Доктор Гарин даже прошёлся рукой по одеялу сверху вниз. Кровать была пуста. Он вышел в коридор. Заглянул в ординаторскую. Посидел минут пятнадцать, почитав что-то из последнего номера «Медицинской газеты». Вернулся в палату номер 7. Наташи не было. Рёв оборвался.

Вольтова дуга подозрения вспыхнула в мозгу доктора Гарина. Он выбежал в больничный сад. В темноте было трудно найти дыру в заборе, но он нашёл. Ему казалось, что тёплый и сладкий запах тела девочки, проскользнувшего в лаз, ведёт его к цели, как это было с нашими предками — неандертальцами. Не выбирая дороги, он вышел к бегемотнику. Большой бассейн с чёрной водой был пуст... Он обошёл вольер и увидел калитку, просунул руку и отодвинул щеколду. В зимнем помещении был ещё один бассейн, поменьше. На бетонной площадке над бассейном стоял бегемот. Он был огромный, и шкура у него казалась чёрной и блестящей. Всё это было, как метафора августовской ночи. Бегемот стоял боком к калитке, а рядом с ним — Николай и Наташа. Все трое были, как на сцене: бегемот с разинутой пастью, Николай в комбинезоне и с лопатой, тоненькая

девочка в мужском пиджаке, накинутом поверх больничной пижамы. У неё был профиль египетской царицы Нефертити — тонко очерченный нос и чуть вытянутые припухшие губы. Николай держал на лопате крупные треугольники моркови, которые Наташа брала и забрасывала в пасть бегемота. Проглотив морковь, бегемот тёрся носом об руку девочки, мол, давай ещё. И она угощала его опять и опять. «Он ест с охотой, а ведь, помнится, Николай жаловался, что бегемот болен и отказывается от пищи», — подумал доктор Гарин. Он забылся, вытаскивал папиросу, закурил и закашлялся от волнения. Чуткий бегемот передёрнул ушами и захлопнул пасть. Девочка приподнялась на цыпочках, всматриваясь в темноту, а Николай крикнул:

— Кто это?

Доктор Гарин выскользнул из вольера и поспешил назад к потайному выходу...

В ближайший четверг доктор Гарин дежурил по больнице. Кончалась третья неделя августа. На субботу была заказана машина, на которой доктор Гарин собирался ехать в Снегири, чтобы перевезти семью с дачи в Москву.

Оставалось отдежурить, попрощаться в пятницу с Наташей и подумать о предложении рентгенолога Карпова: описать этот удивительный случай выздоровления и послать статью в научный журнал.

Было около десяти вечера. Позвонили из приёмного отделения. Доктор Гарин спустился вниз. Привезли пятилетнюю девочку с приступом бронхиальной астмы. Он пробыл в приёмном отделении около часа, до тех пор, пока дыхание восстановилось и девочка уснула, положив на подушку своего любимого плюшевого медвежонка. «Точно, как дочка», — подумал доктор Гарин и мучительно захотел увидеть своих детей.

Не заходя в палаты, он заглянул в процедурную. Медсестра Коробова (её дежурство по странной слу-

чайности опять совпало с дежурством доктора Гарина) раскладывала по конвертикам лекарства для утренней раздачи. Он кивнул ей и отправился отдохнуть в дежурку. Улёгшись на диван, он закурил и задумался. Перебирая преимущества нынешнего лета над прошлогодним, доктор Гарин дошёл, наконец, до невероятного случая излечения Наташи Алтман. Это был несомненный успех! Но едва он вспомнил об этом случае, как невольно прислушался. Стояла тишина. Он отворил обе створки окна. Приглушённо шумело ночное Садовое кольцо. Ветер трепал листву. Пошёл дождь. Всё это были нормальные, ожидаемые шорохи и шумы. Доктор Гарин прислушался опять и понял, что ему не хватает ещё одного ночного звука. Бегемот молчал...

Прошло несколько лет. Три. Пять. Семь. Пожалуй, пять, потому что Алик учился в четвёртом классе, а Сонечка — в первом. Доктор Гарин оказался на Цветном бульваре. Там, где соседствуют Цирк и Центральный рынок. Был конец апреля. Распускались листья на липах. Он оказался здесь, потому что хотел купить гвоздики для жены. Через день был юбилей их свадьбы. Он купил цветы и внезапно увидел афишу Цирка, на которой было написано:

ВПЕРВЫЕ НА АРЕНЕ ЦИРКА!!!

НОВЫЙ АТТРАКЦИОН:

НАТАЛЬЯ И НИКОЛАЙ СОРОКИНЫ
С ГРУППОЙ ДРЕССИРОВАННЫХ БЕГЕМОТОВ!!!

На афише были изображены Наташа и Николай. Она танцевала на спине бегемота, а он держал перед распахнутой пастью гиганта огромную оранжевую морковку.

Доктор Гарин зашёл в кассу Цирка. Купил на всю семью четыре билета. В ближайшем киоске нашёл почтовый конверт и поздравительную открытку. Написал адрес Николая и бросил письмо в голубой, как апрельское небо, почтовый ящик.

Провиденс, США

Сергей МИХЕЕНКОВ

ИВАН МЕНЬШОЙ

В то лето, в августе, когда открылась охота на тетеревов и боровую дичь, я опять поехал на родину.

Лето, особенно июль и начало августа, просто-жарким, почти без дождей, и в полях уже успели убрать хлеба. Пахло жнивьём. Вязкий запах его, волнующий, густой, как нагретый на солнце мёд, захлёстывал в кабину машины вместе с порывами тёплого ветра всякий раз, когда дорога из лесу вырывалась в поле. Я не выдержал и притормозил. Съехал с Варшавки и заглушил мотор.

Небольшое поле, обрамлённое с двух сторон лесом, а также оврагом, заросшим ольхами, и деревней, было часто уставлено копнами.

Я подошёл к одной из них, она буквально светилась, сияла на солнце, и сел в мягкую, скользкую, как шёлк, солому. Откинулся на спину, закрыл глаза. «Детство, детство, где ты, родимое?» — «Да вот я, рядом».

И правда. Так же, как и теперь, пахла свежая солома, которой мы азартно набивали на зиму холщовые матрацы. Она пахла хлебом и уставшей землёй. Солому давали матери на трудодни. И так же кружил над окраиной поля перепелятник. Вот сейчас сложит крылья и стремительно кинется вниз. Нет, не кинулся, улетел куда-то в глубину поля, искать добычу. Мышь или перепёлку. Да и само поле было почти таким же.

Неподалёку паслось стадо коров. Небольшое. Коровы разномастные. Два или три телёнка. Деревенское стадо.

Я лежал в соломе, рассеянно смотрел в яркое с белёсыми закраинами у горизонта небо, слушал, как, остывая, потрескивает и пощёлкивает моя потрёпанная машинёнка, как кричат в деревне петухи и тоскливо, будто потеряв свою семью, звал ястреб. Что ж, так оно и есть, подумал я, птенцы выросли, научились добывать себе крылом, клювом и когтями пищу и разлетелись. Инстинкт позвал. Полей и лугов вокруг много, а небо — бездонно.

Но вскоре мое блаженство было нарушено.

Сперва я услышал шаги. Грубые кирзачи шумрыгали по жнивью. Шаги были усталыми, осторожными. Послышался голос:

— Здравия желаю.

Я привстал.

Возле моей машины стоял щупленький, как воробышек после купанья, мужичок. И точно, как я и определил, в кирзовых сапогах с подвёрнутыми голенищами, белевшими полосками вытертой изнанки. В камуфляже, изрядно поношенной куртке и пузырящихся на коленках брюках. На голове — кепи армейского образца. Он удивлённо смотрел на меня светлыми, какими-то прозрачными, как это поле, глазами и ждал, что я отвечу.

— Да вот устал. Прилёг отдохнуть, — сказал я.

Он был местный житель, и это была его территория. А своё появление здесь я, конечно же, должен ему как-то объяснить.

— Это дело Божеское. Тогда я, пожалуй, и пойду. Стадо моё вон... гуляет...

Я молчал. Мне хотелось продлить своё блаженное одиночество. Я и на охоту ехал, чтобы побыть одному, побродить по холмам моей тихой родины. Вспомнить, как ходили на тетеревов с отцом, как строили на опушке леса или в поле, в торце стога, шалаш, как маскировали его еловыми лапками и клочками соломы, как выставляли чучела, как отец пристраивал возле бойницы свою старенькую и не очень надёжную одностволку и как аккуратно раскладывал на плащ-палатке слева от себя патроны...

— А то, думаю, что это Фёдорыч на голые поля заехал? Комбайны-то от нас ещё вчера уехали. — Мужичок в камуфляже не уходил. Ему явно хотелось поговорить со мной. — Машина у него такая же, сивенькая, небольшая. Это директор наш. Да, строгий мужик. Если что, у-у...

Я снова сел и, уступая гостю, хотя гостем здесь был скорее я, спросил:

— А какая это деревня?

— Полукнязево, — ответил он.

И я удивился — какое красивое название! Должно быть, с историей. На Руси так: за каждым необычным названием — история. И зачастую удивительная.

— Да, — сказал мужичок, каким-то образом проникая в мои мысли, — Полукняземом именуется. Барин здесь был, Полукнязем его звали. Э-э, давно. Ещё до большевиков. Князя Голицына незакон-

ный сын. Дворовая девка от княжеских милостей мальчонку родила. А папаша не признал. Но девку ту не прогнал, как бывало, а отправил на хутор и отписал ей вольную. На хуторе она сынишку-то и родила. Вот так. Оттель, видать, мы и пошли — полукнязевские. Мальчонка-то вырос. Князь ему образование дал. Тут у него и дом был со службами. И конный завод. И пруды. И большая библиотека. Не хуже самого князя жил. Когда в революцию книжки из дому выволокли и в пруд покидали, остров серед пруда образовался. Во сколько книжек было!

Я был уже рад, что встретил этого пастуха. Слушал его неожиданный рассказ и желал слушать его ещё и ещё. И сам мужичок, и его ременный кнут через плечо, и его речь, и желание скоротать хоть минутку-другую с проезжим случайным человеком — всё это было частью не только пейзажа, который вольно простирался вокруг, образуя свой неповторимый мир и своё очарование, но и частью всего здесь сущего, частью этой скудноватой на первый взгляд жизни при дороге, в вечных, с рассвета до темна, крестьянских заботах о хлебе насущном, зачастую изнурительных, от которых рано старятся, надрываются и сходят в могилу. Он, пришедший так внезапно и нарушивший мои воспоминания и мысли, мой мир желанного одиночества... — он, разрушивший моё сокровенное, был и сам частью моего сокровенного. Потому что был частью моей родины.

Сейчас он уйдёт, подумал я с сожалением. Не предлагать же ему выпить...

Я встал и пошёл к машине. Открыл багажник и вытащил из сумки бутылку водки и пакет с огурцами, хлебом, варёными яйцами и разной снедью, которую мне всегда собирала в дорогу жена.

— Что это? Угощаете?

— Угощаю.

— О! Нечаянные радости! — сияя глазами, воскликнул мужичок и указал загорелым, изуродованным полиартритом пальцем на мой дорожный припас.

— На охоту еду. На выходные.

— То-то, вижу, ружьишко лежит...

— Давай-ка по маленькой.

— Давай-давай, коли не шутишь, — живо согласился он; глаза его и вправду сияли — голубые, совсем молодые, и я невольно подумал: а ведь, может, мой ровесник, или года на три постарше, а вот уже старик, и, минуту назад вынимая из сумки бутылку водки, я хотел назвать его «батей»...

— На кого же нынче охота?

— На тетеревов.

— У-у, тетеревов у нас пропасть! — с той же живостью, видимо, на радостях стараясь мне угодить, сказал он. — На вырубках. Да по опушкам. Так и шомочут в траве. Бегают! Да так шибко, что у-у!.. Иной поднимется, перелетит. Выводки. Петухи особенно тяжёлые. Оттелились к осени.

А может, и правда здесь остаться? Заночевать в этом Полукнязево. Заодно порасспрашивать, не осталось ли чего от помещицкой библиотеки? А утром

пойти, побродить по вырубкам и опушкам, поискать выводки.

Я невольно окинул взглядом поле, лесную опушку на горизонте, будто оценивая угоды, хороша ли будет охота?

Нет, надо ехать в свою деревню. На родину. Домой. Повидать родню, знакомых.

Пить я не стал. Впереди, на Спас-деменской развилке, был милицейский пост, километров через пятнадцать, в Кузьминичах, другой. Мало ли что... Остановят, сунут трубку. Вот и вся охота. Нет, уж лучше трезвому с пьяным, чем с сержантом на дороге разговаривать.

А мужичок мой славно дёрнул три стаканчика и засоловел. И тут-то он мне и рассказал ещё одну историю. На этот раз охотничью.

— Живём мы хоть и в лесу, и далековато от благ цивилизации, но — не угрюмо. Нет! Народ у нас весёлый. На разные выдумки горазд. Народ у нас такой, что, как говорится, гляди и гляди, чтобы телугу из-под тебя не укатили... Вот, к примеру, прошлой зимой было дело! Да, аккурат после Васильева дня и случилась эта потеха. У нас в Полукнязеве живут два Ивана. Друзья закадычные. Иван Фомич и Иван Тимофеич. Тимофеич-то и затеял эту постановку. Охотник, между прочим, тоже. Да. Ружьё у него хорошее, от тятки досталось. Трофейное, бельгийское. Раз из города двое приехали, на хорошей такой машине, так большие деньги предлагали. Не отдал. Память об отце. Какие уж там деньги... Да. А Фомич он, брат, тоже охотник, но по другой статье, по этому самому... — И мужичок чиркнул ребром ладони по загорелой морщинистой шее. — Приходит раз Фомич к Тимофеичу и слёзно, братски просит: налей, мол, сосед, и всё такое прочее... Приболел. Это ж дело такое... Налил ему Тимофеич стакан самогону. Самогон, надо сказать, у нас в Полукнязеве отменный. Вот, не побоюсь побожиться, не хуже вашей калужской. — Мужичок кивнул на бутылку, кивнул деликатно, с уважительной улыбкой. — И говорит: пойдём, мол, Иван, со мною на охоту. Я, говорит, двух лис утром загнал в ёлочки. Пошли, выгоним. Как раз: одна — тебе, другая — мне. Шапки сошьём, князьями ходить будем! А тот ему: у меня, говорит, ружья нет. Тимофеич ему на это: а и ладно, мол, что нет, я стрелять буду, а ты загоняй. Собака-то моя, говорит, по сёрену лапы порезала, лежит, болеет. Зайдешь со стороны поля и что есть мочи гони к деревне. А то в поле, мол, я их дробью не достану. Только вот что: лай по-собачьи. Помнишь, как моя Тальма лает? Вот и ты старайся так же. Чтобы громко и натурально выходило. А то лисы забьются в кусты и не выбегут. Собаки же побоятся, аккурат на выст-

рел и выскочат. А когда я свистну, лай ещё громче. Понял? Покачал тот Иван, который стакан самогону в лечебных целях тяпнул, своей притомлённой головой, вроде как малость усомнился, но, делать нечего, тут же и согласился. Один раз он уже другу помогал, выгонял лису из норы. Правда, тогда он не лаял. Но ведь сейчас там, в ёлочках, целых две лисы! И Тимофеич посулил ему одну из них! Как тут от соблазна душу уберечь?! Шапка-то из лисы и правда добрая, завидная получится...

Пошли.

Фомич со стороны поля забежал и в ёлочки подался. И тут и вправду на лисий след напал, побежал по нему, не заметил, как и залаял. Тимофеич-то ему именно так наказывал действовать.

А другой Иван тем временем собрал на околице баб, ребятишек и говорит: «Гляньте-ка, бабы, у Ваньки-то нашего крыша, видать, поехала...» Да ещё как свистнет в пальцы! А Фомич-то как взвонит голос! У-у! Что там Тальма и все наши полукнязевские кобели!..

Вскоре солнце повисло над ближним лесом. В тени стало прохладно и прозрачно, будто в лощине в полдень. Коровы начали рекать и поднимать головы в сторону дворов. Там ждали их хозяйки, добрые и заботливые, с кусочками хлеба в тёплых ладонях. Там было добренное мучицей и комбикормом поило и пахнущие родным хлевы. Над Полукнязевом собрались в большую стаю галки и грачи и залетали прозрачным галдящим облаком над липами и вязами, над их сухими высокими шпильями. Видимо, это были остатки помещичьей усадьбы.

Расстались мы с пастухом друзьями. На прощанье он подал мне жёсткую, как сухой корень, ладонь с крючковатыми, распухшими в суставах пальцами, и сказал:

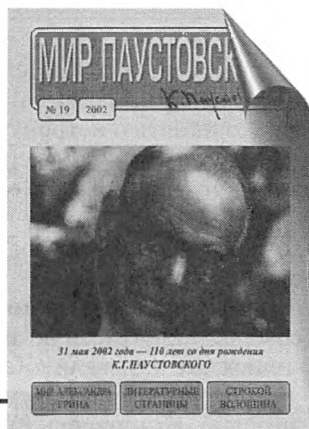
— Ежели будете трапиться в другой раз, то и заезжайте. Крайний дом. На ночь-другую не стесните. Спросите Ивана Фомича. Или так — Ивана Меньшого. Это я и есть. Всякий покажет. А Тимофеич, видишь что, повыше меня будет, поздоровше в плечах и так. А Иванов нас в Полукнязеве всего двое... — Иван Фомич засмеялся, озарил меня напоследок весёлым светом своих полевых глаз, повернулся и, сдёрнув с плеча кнут, проворно побежал перенимать своих коров, потянувшихся к деревне, заматерился, затряс коротким кнутовищем:

— Э-их, я вам, грёб-вашу!..

Я только покачал головой, глядя ему вслед.

И, садясь в машину, подумал, что в другой раз, пожалуй что и заеду в Полукнязеве, разыщу Ивана Меньшого, остановлюсь у него и поохочусь здесь. Вот, может, на весеннюю тягу и соберусь.

г. Таруса.



ИССЛЕДОВАНИЯ

Олег ЛАРИН

ЗДЕСЬ ЖИЛ ССЫЛЬНЫЙ ГРИНЕВСКИЙ...

«Гранька вышел, озираясь из-под руки по привычке, так как утомительный блеск солнца погас, сменившись прелестными, дикими сумерками. Комары струнили над землёй и водой; над островерхим мысом струился ещё бледный огонь заката, а внизу, по воде и болотам, за синюю лесную даль, легла прозрачная тень. Казалось, что и не подступают к мысу воды озера, а повис он над бездной среди ясных, дымчато-голубых провалов, полных таких же белых овчин-облаков, что и над головой...»

«Струистая, чёрная от глубины русла и хмурого неба поверхность дикой реки казалась мглой трещины: гоняясь за мошкой, плавали хариусы; тысячелетняя жуть трущоб покровительственно внимала человеческому дыханию. Ивняк, закрывая отмели, теснился к реке; он напоминал груды зелёных шапок, разбросанных лесовиками в жаркий день.»

Первый отрывок взят мною из новеллы «Гранька и его сын», второй — из рассказа «Глухая тропа». Место действия — окрестности уездного города Пинеги Архангельской губернии. Автор обоих рассказов — Александр Грин.

В «Автобиографической повести» писатель обещал рассказать о пинежском периоде, который, по признанию его жены В.П.Калицкой, он считал одним из лучших в своей жизни. Но выполнить своё обещание просто не успел. Повесть кончается 1907 годом, тогда как в пинежскую ссылку Грина привезли в ноябре 1910-го.

В летописях говорится, что еще в XII веке пришли сюда войны вольнолюбивого Новгорода Великого. Подивились обилию ягод на болотах зыбучих, красной дичи и пушного зверя — в лесах дремучих, косякам семги — в реках жемчужных. И осели тут смельчаки-первопроходцы, распахали землю еловыми сохами, срубили себе избы на речных излуках. «Леса чёрные, блага и мхи непроходимые» отгородили край от остального челове-

ства, отбросив время на несколько веков назад. Между собой жители поговаривали, что до губернского города вёрст будто пятьсот, а то и более — судить об этом трудно, потому как вёрсты эти злая ведьма клюкою мерила, да клюку где-то и потеряла. Ну а «Питенбур» стоял вообще где-то на краю света, куда и ходу нет.

Человеку, впервые попавшему в это захолустье, трудно было свыкнуться с унылостью провинциального существования, мёртвой тоской, отсутствием духовных интересов. А людей, живших здесь «по не зависящим от них обстоятельствам», было достаточно много. В 1711 году сюда был сослан любимец царевны Софьи, некогда влиятельнейший временщик князь Василий Голицын, один из образованнейших людей своего времени. Он жил на Пинеге с семьёй и, по преданию, занимался коневодством, улучшая породу местных, «туземных» лошадей. Красная Гора, где он похоронен, — самое красивое место на Пинеге. И Грин, конечно же, знал голицынскую могилу и, надо думать, часто приходил сюда, любясь с высоты серебряной лентой реки в прихотливых и светлых коленах. То вступающей в могучие каменные берега, то разливающейся среди широченных плёсов, то кружащейся змейкой вокруг деревень. Простору — сколько хватает глаз!

В разное время на Пинеге отбывали ссылку такие известные личности, как писатель Александр Серафимович, рабочий-революционер П.А.Моисенко, большевики С.Я.Аллилуев, К.Е.Ворошилов, В.В.Володарский, М.С.Урицкий и другие. («У нас тут в Кулогорах Рыков Алексей Иваныч жил, — рассказывал мне лет десять назад местный житель, престарелый Василий Кузьмич. — Думаешь, его сюда на голодную смерть загнали? Как бы не так! Ему каждый месяц двенадцать рублёв суточных шло от царского правительства. И квартирные тоже. Это большевику-то, а? Партия, само собой, тоже

подкидывала. И никто ему подрабатывать не мешал, и еда стоила сушие копейки. Климушка Ворошилов, к примеру, на этих хлебах хорошие деньги скопил — и сиганул из нашей закланной ссылки. Во как! А мы говорим: царская Россия — тюрьма народов. «Долго в цепях нас держали, долго нас голод томил.» Нет, москвич дорогой, тюрьмой она позже сделалась») После революции 1905 года число ссыльных достигло здесь восьмисот пятидесяти человек.

Долгое время Пинегу называли Волоком или Большим Погостом. Она стояла у начала четырёхвёрстного пути-волока, который вёл на реку Кулой. Оттуда древние русские переселенцы попадали в Баренцево море, в Мезень и на Печору. В 1784 году указом Екатерины II Пинега получила статус уездного города. Архитектурная планировка, утверждённая в конце XVIII века, сохранилась здесь до сих пор: две главные улицы, растянувшиеся километра на два параллельно реке, и несколько переулков, соединяющих первую улицу со второй. Окраины городка венчают деревни Мурга, Великий Двор и Кулогоры, где в основном и селили ссыльных эсеров, анархистов и большевиков.

По воспоминаниям людей, бывших в ссылке одновременно с Александром Степановичем, был он человеком живым, весёлым и приветливым. Писатель много читал и гулял по окрестностям. Письменный стол его всегда был завален книгами и рукописями. Очень любил охоту, иногда по несколько дней пропадал в заповедных лесах и озёрах. Уходил с раннего утра и возвращался к ночи, весь увешанный битой птицей, в основном рябчиками. (Не случайно, наверное, на старинном гербе Пинеги помещены два рябчика на золотом фоне. Это знак того, что здесь водится «наилучшая, отменной величины сего рода и прочая дичина», которая в течение веков являлась главной отраслью в экономике глухого края.) Часто бывал в гостях у таких же, как он, ссыльнопоселенцев, но долго не засиживался; дома его ждала неоконченная рукопись. «Компания, окружавшая Александра Степановича, — вспоминали М.О.Машинцева и А.Д.Федотова-Петрова, — жила дружно, весело и ласково друг к другу. Озорничали часто, как малые дети.»

Биограф писателя В.Сандлер рассказывал, что однажды некий москвич принёс ему фотокопии двух страничек, вырванных из рабочего блокнота. Это было небольшое предисловие, написанное рукой А.С.Грина 30 июня 1930 года и озаглавленное «Охотник и петушок» (из повести «Таинственный лес»).

«От автора. В настоящем произведении изображена природа Пинежского уезда Архангельской губернии. Автор был там ссыльным в 1910–11 году.

Среди бесчисленных озёр этого края автору хорошо помнится одно огромное овальное озеро, погружённое в раму мрачнозеленоватого леса. На стальной, с голубым пятном, не подверженной морщинам и (слово неразборчиво) глади озера плавали два лебедя».

Рассказы, написанные по свежим пинежским впечатлениям, и две странички предисловия разде-

ляли почти двадцать лет жизни писателя. Между ними пролегла война, две революции, НЭП, новые впечатления, новые книги. Но память о нетронутой пинежской природе была, по-видимому, столь сильна, что Александр Степанович мечтал вновь вернуться к теме «таинственного леса».

Что же касается «огромного овального озера»... Мне думается, что эти воспоминания относятся к июню 1911 года, когда писатель с женой, братом и местными охотниками совершили «чудесную прогулку в страну, которую пинежане называли «Карасеро». Было ли у этой прекрасной страны другое официальное название, не знаю. Начиналось Карасеро километрах в двадцати пяти – тридцати от Пинеги. Сеть этих причудливых озёр, островков, покрытых вековым лесом, протоков, заросших камышами, изобилие населяющих их птиц Александр Степанович описал в повести «Таинственный лес», — рассказывала В.П.Калицкая в сборнике «Воспоминания об Александре Грине». Правда, здесь мемуаристка не совсем точна: в действительности озеро называется не Карасеро, а Карась-озеро, или, по-местному, Карасезеро. И находится оно не в двадцати пяти – тридцати километрах от Пинеги, а всего лишь в шестнадцати. Сейчас эта территория включена в состав Пинежского государственного заповедника.

Но в 1971 году, когда я впервые попал в эти места, здесь не было никакого заповедника. По речкам Сотке и Полте свободно разгуливали моторки с рыбаками-любителями. Помню, один из местных жителей пригласил меня на вечернюю рыбалку, и мы за каких-нибудь два часа натаскали полсотни хариусов. А потом мы карабкались по береговым кручам, разыскивая дриаду — белоснежный цветок с нежными лепестками, который пережил нашествие скандинавского ледника. Но вместо него собрали букетик «венериного башмачка», не подозревая о том, что совершаем кощунство. Ныне это растение внесено в Красную книгу как редкий, исчезающий вид... Ходить по береговым скалам было довольно опасно: неосторожное движение ногой — и обломки камней летели вниз, в холодную прыткую Сотку с чистой хрустальной водой, похожую больше на горную кавказскую, нежели на спокойную северную реку.

Вообще Сотка — речка уникальная. Она пробила себе русло среди гипсов и известняков и течёт, словно по дну ущелья. Белые, красные, розовые, синие скалы, оплетённые разноцветными мхами и лишайниками, окружают её со всех сторон. Солнце, вода и ветер извлекал из каменных глыб подобия сказочных чудищ, скифских баб, древних рыцарских замков. Повсюду свисают деревья с корнями, будто схваченными ревматизмом, повсюду голый камень, воронки, по-местному, «мурги», напоминающие следы бомбёжек. Типичный карстовый пейзаж!

Да, Пинежье, где когда-то рыбачил и охотился Грин, признано ныне самым северным и, возможно, самым крупным карстовым районом в России, где до

сих пор идёт процесс образования пещер. Учёные-геоморфологи насчитывают здесь более восьмидесяти подземных галерей, длина некоторых подземелий достигает от десяти до шестидесяти километров. Это анфилады огромных залов, соединённых узкими лазами (в одном из них я однажды застрял, и проводник сказал мне: «Лежите и ждите, пока не похудеете»), в которые с трудом втискивается отнюдь не толстый человек. Такова, например, знаменитая карстовая пещера неподалёку от Красной Горы с подземным «Святым озером», которое раньше было окружено магией суеверий. Много здесь и других, загадочных и коварных, лесных озёр. Так, двадцать лет назад озеро Лебяжье вдруг «утонуло», исчезло вместе с рыбой, оставив на дне завалы жидкой глины. Прошёл год-другой — и оно снова наполнилось с ихтиофауной. Учёные предположили, что в толще земли, под известняками, произошёл «карстовый взрыв», в результате чего образовались бреши и промоины, куда и устремилась озёрная вода... Карст — уравнение со многими неизвестными, явление малоизученное; сложнейшие взаимоотношения воды, гипса и известняка ещё предстоит разгадать человеку. Закон спелеологии гласит: пока пещера не исследована, она не существует. С карстом шутки плохи!

А ещё есть здесь речка-резвушка, которая называется Карьяла, — она обтекает Ераськины озёра. Мне рассказывал о них местный лесничий Шаврин. Наверное, это те самые озёра, где бывал Александр Степанович, описав их в рассказе «Гранька и его сын». Озёра в общем-то небольшие, соединены протоками, со всех сторон их обложили первобытные

леса и труднопроходимые скалы. Каменные останцы напоминают фигуры каких-то анатомических чудовищ, а один очень уж смахивает на собаку. Не случайно и кличку ему дали — Барбос... Но дело не в останцах, говорил лесничий: в заповеднике есть скалы покрасивее и поинтереснее — главное тут сама речка. Откуда она взялась и почему имя такое носит — Карьяла? Загадка! И всё, что с ней дальше происходит, тоже полно таинственных и необъяснимых загадок. Впадая в Ераськины озёра, она вдруг тайно покидает их. Почему, каким образом? А очень просто — через карстовые пустоты, промоины. Гидрогеологи обнаружили четыре места, четыре неведомых подземных колодца, через которые речка уходит из озёр, не желая растворяться в них. Все ли четыре полости являются так называемой Карьялой — пока неизвестно. Но удивительно то, что, побродив по подземным лабиринтам и соединившись в единый поток, река снова выныривает на свет божий. Поиграет на перекатах, порезвится на порогах, взбаламутит пену — и опять скрывается под землю. Уходит на целых шесть километров! И лишь незадолго до впадения в Пинегу, вспомнив, очевидно, что она всё же река, а не водяная отшельница, Карьяла выходит на поверхность...

Слушаешь — как сказка! Верится и не верится. И на память приходят былинные строчки, которые писатель, должно быть, не раз слышал на пинежских посиделках:

Небылица в лицах, небывальщина,
Да невидальщина, да неслыхальщина...

Константин ПАУСТОВСКИЙ

АРХАНГЕЛЬСКИЕ НАХОДКИ

Я очень люблю Грина и не раз писал о его творчестве. Это человек, который прожил жизнь сложную и трудную. На его долю выпало немало лишений, скитаний. Его сажали в тюрьмы, отправляли в ссылки. Александр Грин был призван в царскую армию, и именно здесь началась его революционная деятельность. Потом было дезертирство из армии, тревожная жизнь под чужим паспортом, бесконечные скитания по городам России. Но куда бы ни забрасывала Грина судьба, везде он служил делу революции. Его арестовали в Севастополе. Два года

он просидел в тюрьме. И здесь началась новая веха в жизни Грина — он начал писать.

Потом были недолгая свобода и снова арест и ссылка. Так Грин оказался в Архангельской губернии...

Пожалуй, в рассказах той поры впервые проявляются черты писателя Грина, которого мы знаем и любим, — Грина-мечтателя, страстно верившего в прекрасное будущее, которое ждёт человека. А архангельские документы говорят о том, что Грин не просто мечтал, не просто верил, — он боролся за это будущее.

Архангельский период важен в жизни Грина-писателя и в жизни Грина-революционера. Найденные документы говорят о том, что ссылка не сломила его. Он остался здесь таким же — несдающимся, непримиримым, боющимся...

Грин — писатель, творчество которого по чистоте помыслов, по

МП:

В середине шестидесятых годов в Архангельске были найдены документы, касающиеся биографии Александра Степановича Грина. Это были протоколы допроса Грина, карточка его примет, характеристики, полицейские донесения. В одном из писем, направленных канцелярией петербургского

градначальника архангельскому губернатору, А.С.Грин характеризуется как опасный политический преступник.

Корреспондент «Литературной газеты» М.Гранова обратилась тогда к Константину Паустовскому с просьбой прокомментировать материалы, помогающие созданию более точного биографического портрета А.Грина.

юношеской свежести восприятия мира несравнимо ни с чем. И, вероятно, человек, далёкий от революционной борьбы, не смог бы создать такие произведения. Чтобы так писать, надо очень сильно любить людей и верить в них.

Я не раз писал о Грине. В «Золотой розе», обращаясь к читателям, я спрашивал, нужен ли Грин на-

шему времени. И сам уверенно отвечал: безусловно, особенно нашему юношеству.

Его произведения полны оптимизма, необыкновенной, именно гриновской романтики, веры в светлое прекрасное завтра. Его герои — это люди будущего, за которое он боролся так страстно...

(ЛГ, 1964, 29 авг.)

Людмила СКЕПНЕР

ОБ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ССЫЛКЕ А.С.ГРИНА

Документы, которые комментирует К.Г.Паустовский по просьбе корреспондента «Литературной газеты» М.Грановой — это, очевидно, материалы «Дела канцелярии Архангельского губернатора о состоящем под гласным надзором полиции потомственном дворянине Александре Степанове Гриневском, высланном за принадлежность к социал-революционной партии». Летом 1964 года их разыскал в Государственном архиве Архангельской области, с помощью сотрудников архива, писатель К.И.Коницев. Уроженец Вологодской губернии, он два десятилетия жил в Архангельске, в 1951 году переехал в Ленинград. Летом 1964 года Коницев путешествовал по Северу, был в Архангельске, знакомился с материалами областного архива. 6 сентября в архангельской областной газете «Правда Севера» была опубликована его статья «Документы рассказывают: Александр Грин в Пинеге и Кегострове», которая знакомила читателей с некоторыми материалами «Дела» об А.С.Гриневском.

Поскольку никаких других публикаций, в которых были бы использованы эти материалы, ни в 1964 году, ни в ближайшие после этого годы не было, другие исследователи знакомились с «Делом» Гриневского, хранящимся в архангельском областном архиве, позднее. Естественно предположить, что именно эти материалы стали известны редакции «Литературной газеты» (и К.Г.Паустовскому) от К.И. Коницева.

Что же это за материалы? В «Деле» о А.С.Гриневском 66 листов — официальная переписка, прошения Гриневского и его жены и некоторые другие материалы.

Первый документ — письмо архангельскому губернатору из департамента полиции министерства внутренних дел, отправленное в сентябре 1910 года. Директор департамента уведомляет, что «при пересмотре обстоятельств дела о подлежащем высылке в Тобольскую губернию под гласный надзор полиции на четыре года потомственном дворянине Александре Степанове Гриневском, г. Министр Внутренних дел 23 сентяб-

ря 1910 года постановил: заменить определённую Гриневскому высылку в Тобольскую губернию водворением его в Архангельской губернии на два года, считая срок с 29 марта 1906 года, но без зачёта времени, проведённого названным лицом в бегах с 11 июня 1906 года по 27 июля 1910 года, ввиду чего срок его высылки истекает 15 мая 1912 года...

Помимо сего Департамент сообщает... что при докладе обстоятельств настоящего дела г. Министру, Его Высокопревосходительство приказал, при хорошем поведении Гриневского в месте водворения, войти в обсуждение вопроса о дальнейшем облегчении участи названного лица.

Другие содержащиеся в «Деле» документы дают более конкретное представление о некоторых фактах биографии Грина и причинах его ссылки на Север. Так, Петербургский градоначальник в письме архангельскому губернатору от 17 октября 1910 года сообщает, что в делах подведомственного ему охранного отделения имеются следующие сведения: «В 1902 году Гриневский дезертирует из 213 пехотного резервного Оровайского батальона, а в 1903 и 1904 гг. привлекался в Севастополе к судебной ответственности по обвинению в противоправительственной пропаганде среди нижних чинов Севастопольской крепостной артиллерии и флота. В 1905 году Гриневский был приговорён Севастопольским военно-морским судом... к ссылке на поселение, но затем в силу Высочайшего указа 31 октября 1905 года освобождён от определённого ему по судебному приговору наказания».

«7 января 1906 года, в ликвидацию в С.-Петербурге боевого летучего отряда партии социалистов-революционеров, Гриневский был арестован под именем мешанина местечка Нового Двора, Волковышского уезда, Гродненской губернии, Николая Иванова Мальцева и по настоящему делу... Гриневский был выслан под гласный надзор полиции в отдалённый уезд Тобольской губернии на четыре года, с водворением в гор. Туринск, откуда он 11 июня 1906 года бежал и был об-

МП: Скепнер Людмила Сергеевна, кандидат педагогических наук, и.о. профессора кафедры литературы Поморского государственного университета им. М.В.Ломоносова в Архангельске. Неоднократный участник Гриневских научных конференций-чтений в Феодосийском Доме-музее А.С.Грина.

наружен лишь 27 июля (1910 г. — Л.С.) проживавшим в С.-Петербурге по чужому паспорту на имя личного почётного гражданина Алексея Алексева Мальгинова».

Из рапорта архангельского полицмейстера мы узнаём, что А.С.Гринеvский 3 ноября 1910 года¹ доставлен этапным порядком в Архангельск и помещён в пересыльную тюрьму.

В тюрьме Грин пишет прошение архангельскому губернатору, в котором просит оставить его «для отбытия надзора в городе Архангельске, ввиду крайней болезненности моей, усилившейся теперь полной слабости», а также слабого здоровья жены, которая «добровольно пребывает со мной... Нам хотелось бы жить здесь, где существует, на случай надобности — более совершенная быстрая медицинская помощь». Резолюция губернатора от 6 ноября: «Отклонить». В тот же день «дальнейшим местом водворения» Грина назначен Мезенский уезд. Однако уже через день, 8 ноября, Гринеvскому взамен Мезенского уезда дальнейшим местом водворения архангельский губернатор назначил уездный городок Пинегу, куда он (вместе с женой) был отправлен в тот же день. 12 ноября Гринеvские добрались до Пинеги.

27 ноября 1910 года Грин просит губернатора разрешить ему сопровождать до Архангельска жену, которая намеревалась 15 декабря на время выехать в Петербург. О том же просит и В.П.Гринеvская. Оба прошения были отклонены.

22 января 1911 года Грин просит разрешить ему хотя бы кратковременную отлучку из Пинеги в Архангельск в связи с необходимостью немедленного обращения к врачам-специалистам.

Отправляя это прошение Грина губернатору, пинежский уездный исправник затребовал у местного врача Ольшванга справку о состоянии его здоровья. На обороте рапорта исправника Ольшванг свидетельствует, что «состоящий под надзором полиции Александр Гринеvский страдает, действительно, пороком сердца и кариозностью зубов, требующей пломбирования».

В самом рапорте, сопровождавшем прошение А.С.Гринеvского, исправник, зная, что в связи с каждым прошением требуется его заключение о поведении просителя, сообщает губернатору, «что Гринеvский поведения хорошего и образ жизни ведёт скромный».

Грину была разрешена отлучка в Архангельск на три дня, с 21 февраля 1911 года, которая затем, по его просьбе, была продлена на месяц, в связи с необходимостью основательного лечения.

10 июня 1911 года Грин вновь обращается к губернатору — с прошением разрешить ему перевод в Архангельск. «Причиной настоящего моего прошения следует признание архангельскими городскими врачами болезни сердца и общая слабость, требующая постоянного врачебного присмотра и усиленного лечения».

Снова, как и положено, прошение отправляется через уездного исправника; снова врач Ольшванг подтверждает, «как и в прошлый раз, что Гринеvский страдает пороком сердца». Исправник снова доносит о поведении Гринеvского: «... со дня прибытия в Пинегу вёл и ведёт себя одобрительно».

О переводе мужа в Архангельск хлопочет и Вера Павловна.

А.С.Гринеvскому разрешён перевод с 15 августа 1911 года, но не в Архангельск, а в Кегостров Архангельского уезда — населённый остров в дельте Северной Двины напротив Архангельска, который был одним из мест поселения политссыльных.

13 марта 1912 года Грин обращается к губернатору со словесной просьбой о разрешении отбыть оставшиеся два месяца ссылки в Архангельске, на что получает согласие.

15 мая 1912 года, по истечении определённого ему срока, Грин освобождён от надзора полиции и в тот же день уехал в Петербург.

Одна из интересных мыслей К.Г.Паустовского, высказанных в беседе с корреспондентом «Литературной газеты», — мысль о важности периода архангельской ссылки в жизни и творчестве Грина. Сам Грин в «Автобиографической повести» назвал время, проведённое в северной ссылке, одной из интереснейших страниц своей жизни. К сожалению, он не успел осуществить намерение рассказать о нём подробней.

Чем же интересен и важен этот период? «Пожалуй, в рассказах той поры впервые появляются черты писателя Грина, которого мы знаем и любим, — Грина-мечтателя, страстно верившего в прекрасное будущее, которое ждёт человека», — замечает Паустовский. Замечание точное и важное. Эта вера Грина в прекрасное будущее человека ярко выражена в повести «Жизнь Гнора» (1911) и в «Зимней сказке», герой которой — беглый ссыльный, полный жизнерадостия и оптимизма, утверждает: «Мы проснёмся, честное слово... Будем... открыто смотреть... Заразительно хохотать... пылко любить, яростно ненавидеть... подлости отвечать пощёчиной, благородству — восхищением, презрению — смехом, женщине — улыбкой, мужчине — твёрдой рукой».



А.С.Грин. 1910 г.
Снимок сделан в Петербургском охранном отделении

¹ Все даты приводятся так, как они даны в документах, т.е. по старому стилю.

В произведениях Грина той поры — периода северной ссылки и написанных вскоре после неё — появляется новый романтический герой. Он сохраняет лучшие черты романтических героев рассказов предшествующего периода: интеллект, мужество, волю. Но меняется его отношение к людям: в нём нет свойственного героям ранних произведений писателя презрения, равнодушия к людям, стремления уйти от них, заплатив за это любой, даже самой высокой ценой — ценой жизни (вспомним Тарта — «Остров Рено»). Теперь романтический герой Грина делает первый шаг навстречу людям — пусть робкий, пусть мост через пропасть, отделявшую его от людей, перебрасывается пока ради лишь единственного человека — женщины, способной понять, полюбить, быть верной («Сто вёрст по реке», «Жизнь Гнора»), но всё-таки шаг не от людей, а — к людям.

А в реалистическом рассказе «Глухая тропа» мысль о товарищеской поддержке, единстве, сплочённости на трудном пути становится одной из главных. Чувство локтя, забота о товарищах — качества, принципиально отличающие героев «Глухой тропы» от Тарта и других созданных двумя-тремя годами ранее образов героев-индивидуалистов, чей жизненный принцип — «Каждый за себя, братец!» («Остров Рено»).

То, что изменение гриновской концепции романтического героя происходит именно в годы архангельской ссылки и непосредственно за ними следующие, вряд ли случайно. Чем же обусловлено это?

Документы, найденные в 1964 году в Архангельске, сами по себе ответа на этот вопрос не дают. Помогли найти его воспоминания, опубликованные и хранящиеся в архивах — В.П.Гриневской (Калицкой по второму браку), тех, кто знал Грина в ссылке, их родных и близких, и некоторые другие архивные материалы, где названы имена людей, с которыми Грин встречался, а с некоторыми и подружился. Архивные документы дали возможность многое узнать об этих людях.

Соседями Гриневских в деревне Великий Двор (рядом с Пинегой), где они жили в первые месяцы ссылки, были Нестор Алексеевич Кулик с женой. За участие в революционной деятельности Н.А.Кулика (он был членом Казанского комитета РСДРП) исключили из Казанского университета и выслали в Архангельскую губернию. В ссылке он хотел посвятить себя медицине и просил губернатора разрешить ему заниматься практической медициной при Пинежской городской больнице, но получил отказ. Натура деятельная, он не отчаивается, не успокаивается, настойчиво ищет возможность применения своих сил и знаний. В 1909 году он участвует в экспедиции А.В.Журав-



А.С.Грин в ссылке. 1911 г.
Деревня Великий Двор Архангельской губернии
(Рядом с писателем его первая жена Вера Павловна)

кого по изучению Печорского края, Большеземельской тундры. Уже тогда Н.А.Кулик сделал важное научное открытие, а впоследствии стал известным учёным, одним из организаторов и руководителей изучения природных ресурсов Севера.

В экспедиции по изучению Печорского края участвовал и другой знакомый Грина по ссылке, Георгий Михайлович Шкапин, рабочий Путиловского завода в Петербурге, один из первых рабочих поэтов и журналистов. Когда Грин познакомился с ним, Шкапину было немногим более тридцати лет, но за участие в революционном движении, в организации стачек он уже сидел во многих тюрьмах. В 1907 году его выслали под гласный надзор полиции в Печорский уезд Архангельской губернии, а потом перевели в Пинегу. Мизерного казённого пособия не хватало даже на пропитание, приходилось бедствовать. Но Шкапин не дал отчаянию овладеть собой. Трогательные своей наивностью стихи, которые он продолжал писать в ссылке, проникнуты глубокой верой в светлое будущее.

Осенью 1911 года Грин познакомился в Архангельске «со ссыльным инженером Рудольфом Лазаревичем Самойловичем, — рассказывает В.П.Гриневская. — Они быстро подружались». Р.Л.Самойлович получил прекрасное образование в Германии (он окончил Фрейбургскую горную академию). Человек яркого темперамента, талантливый, мужественный, энергичный, он стал впоследствии учёным с мировым именем, исследователем Арктики. Активный участник социал-демократического движения, в 1906 году он был арестован и выслан под гласный надзор полиции в Холмогорский уезд Архангельской губернии, откуда вскоре бежал в Петербург, где продолжал активно участвовать в революционной работе. В 1908 году снова арестован, выслан в Пинегу, а в феврале 1910 года переведён в Архангельск. В Пинеге Самойлович исследует карстовые пеще-

ры, позже ведёт более широкое изучение геологии Севера, которое увлекает его настолько, что после окончания срока ссылки в 1911 году он остаётся в Архангельске, чтобы принять участие в экспедиции на Шпицберген.

Самойлович обладал тонким музыкальным слухом и певческим голосом, великолепным чувством юмора и был, можно сказать, в душе романтиком. Дружба Грина и Самойловича сохранилась на многие годы.

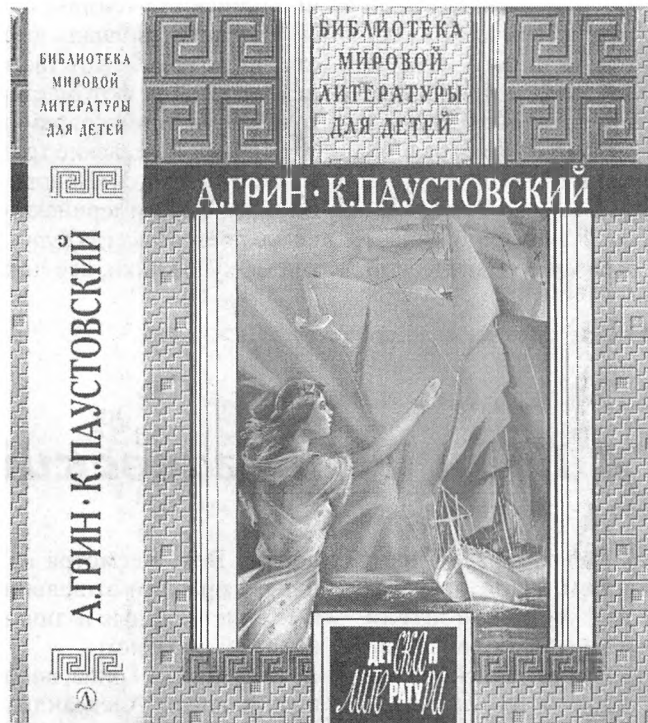
Мы рассказали очень немного лишь о некоторых из тех, кого узнал Грин в архангельской ссылке. Можно было бы рассказать и о Н.И.Студенцове, с которым подружился Грин в Пинеге, и об И.И.Кореле — «знакомом эсдеке с Кегострова», как потом, через десять лет назовёт его Грин, и других, кого узнал, с кем сблизился он в ссылке. Каждый из них был личностью по-своему замечательной. Все они в условиях унижительного полицейского надзора, жёстких ограничений смогли не только не предаться отчаянию, не опустить руки, — они сумели найти применение своим силам, способностям, сумели и здесь найти способы действовать на благо людей, во имя будущего. (Как непохожи были они на боль-

шинство из тех, с кем свела Грина судьба прежде, в годы работы в партии эсеров, в которых он давно разочаровался.)

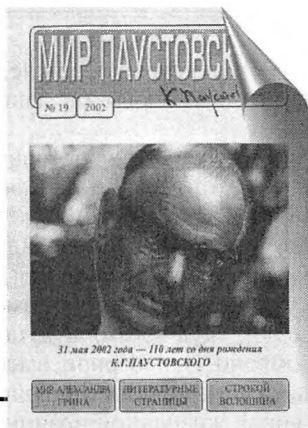
Могли ли встречи с такими людьми не оставить следа в чуткой, открытой «всем впечатлениям бытия» душе Грина — человека и художника!

И то, что преодоление гриновским героем индивидуализма начинается именно в этот период, когда Грин узнал тех, для кого смыслом жизни стало самоотверженное служение людям, труд во имя будущего, — естественно и закономерно. И, наверное, именно встречи и общение с этими людьми помогли Грину и его герою в обретении новой жизненной позиции, помогли писателю сделать первые шаги на том пути, который привёл в дальнейшем к рождению таких его героев, как Битт-Бой («Корабли в Лиссе»), Грэй («Алые паруса»), Давенант («Дорога никуда»).

О круге общения Грина в архангельской ссылке Паустовский не знал и не мог знать; потребовались долгие архивные разыскания, чтобы установить его. Но, чуткий художник, он точно почувствовал, как важен был этот период в жизни Грина. И конечно, он прав, сказав: «Чтобы так писать, надо очень сильно любить людей и верить в них».



Суперобложка избранных произведений А.Грина и К.Паустовского, объединённых в одну книгу (М., Дет. лит., 1999)



ПИСЬМА ИЗ ФЕОДОСИЙСКОГО МУЗЕЯ

Людмила КОРЯКИНА
директор музея

Литературно-мемориальный музей А.С.Грина

Музей русского писателя Александра Грина, созданный в июле 1970 года, был задуман и оформлен как «музей романтики». Главным замыслом авторов экспозиции Геннадия Золотухина и художника Саввы Бродского было стремление воссоздать «блистающий мир» воображения писателя, самую живописную грань его творчества — эстетику морских странствий. Небольшие комнаты-каюты со строгим интерьером тёмного дерева, насыщенного воздухом мечтаний, населённые гриновскими героями, создают образ старинного парусного корабля.

Эффект достигнут благодаря органическому соединению точно продуманного внешнего и внутреннего декора — морская атрибутика, произведения живописи и графики, монументальная роспись и пластика — с исторической канвой биографии: книги, рукописи, фотодокументы, мемориальные предметы.

Такое решение было и остаётся своеобразным музейным феноменом, оно отражает «магический

кристалл» вечного литературного жанра — притчи, сказки, легенды, сам поэтический дух литературного творчества.

Огромная популярность гриновского наследия, особенно среди молодёжи, людей возвышенного склада души, способствует многообразию форм музейной жизни: литературные вечера, концерты, фестивали искусств, Пушкинские праздники поэзии, традиционные встречи со студентами, школьниками, учеными-филологами ближнего и дальнего зарубежья на научных конференциях «Гриновские чтения».

Большая площадь выставочных залов позволяет широко показывать творческую палитру живописцев, графиков, фотомастеров разных времён и поколений, лучших современных художников.

Просветительские традиции, связанные с именами Айвазовского и Волошина, позволяют литературному музею киммерийского края быть неким храмом искусства, где всегда будут встречаться поэты, музыканты, художники, все поклонники прекрасного.

Людмила ВАРЛАМОВА
ведущий научный сотрудник

1. А.Грин и К.Богаевский

Дата и место знакомства Александра Грина с художником К.Ф.Богаевским точно не установлены. По свидетельству жены писателя Н.Н.Грин, их встреча вероятнее всего произошла в доме М.А.Волошина, с которым Богаевский был близок давно.

Можно предположить, что они познакомились уже в 1924 году, вскоре после приезда Грина в Феодосию.

Ведь несмотря на широко бытующее мнение о «мрачном отшельнике Грине», многочисленные эпистолярные и личные контакты писателя говорят об обратном.

Переписка Грина, воспоминания современников представляют Александра Степановича в его отношениях с писателями И.А.Новиковым, Д.И.Шепеленко, Г.А.Шенгели, художником И.С.Куликовым из

старинного русского города Муром, феоdosийцами М.А.Волошиным и К.Ф.Богаевским.

В книге «Над Понтом Эвксинским», посвящённой художнику, О.П.Воронова писала: «И ещё одного друга послала судьба Богаевскому — Александра Степановича Грина».

И далее на протяжении нескольких страниц она говорит о том, что сближало Богаевского с Грином: их самозабвенная приверженность искусству, романтичность, полная самоотдача в творчестве. Воронова упоминает также о том, что рассказ Грина «Акварель», повествующий о благотворном влиянии искусства на души людей, по словам жены Грина, был посвящён К.Ф.Богаевскому, но по редакционной ошибке посвящение было снято.

К сожалению, в хранящихся в фондах музея воспоминаниях Н.Н.Грин об этом факте не упоминается, но в целом они представляют любопытный документ в биографии обоих художников. Собственно, эти воспоминания, а также отрывок из письма Грина к Богаевскому пока единственные документальные свидетельства, рассказывающие об их отношениях.

В письме Грина Богаевскому, датированном 14 февраля 1930 года, читаем: «Как мрак с души спадает — придём в Вашу большую, ночную, подземную пещеру, озарённую светом истинного искусства». Омовение, очищение, источник радости — вот чем было для Грина творчество Богаевского. И несмотря на сложности личных отношений, простилавших из разности характеров, они тянулись друг к другу.

О том, что соединяло этих разных и в то же время духовно близких людей, очень ярко рассказала Н.Н.Грин. Обратимся к её воспоминаниям:

«Константин Фёдорович Богаевский был культурная «персона грата» Феодосии, как М.Волошин — Коктебеля. Все писатели, поэты, художники, приезжая на восточный берег, бывали гостями того или другого.

Худенький, небольшого роста, всегда изящно одетый, Богаевский жил на Карантине в низеньком длинном старинном домике, в глубине заросшего зеленью двора, комфортабельном и изящно уютном, и в великолепной, полной све-

та, воздуха и настоящих произведений искусства мастерской.

Мы бывали у Константина Фёдоровича редко, но с удовольствием. У Грина уже жила в воображении «Недотрога». Пришли мы однажды к Богаевскому. Константин Фёдорович был в мастерской. И мы пошли туда. Он рисовал. На полотне была начатая картина, одну из деталей которой — обрыв скалы — Богаевский в этот момент отделял. Зашёл разговор о реальности передаваемого живописцем, об умении некоторых художников как бы чуть отделить изображаемое от реального. Грин рассказал Богаевскому, что в задуманном им романе должна фигурировать картина, изображающая каменный выступ скалы, вернее, пропасти. В край вцепились руки повисшего над пропастью человека. Сам человек не виден, видны руки. В этих крепко вцепившихся в каменистый край пропасти руках должны быть выражены предсмертное отчаяние, безнадежность и пламенная жажда жизни гибнущего человека.

— Может ли живописец это выразить? — спрашивал Александр Степанович Богаевского. И будет ли это искусством, рассуждали они оба. На прощанье художник обещал вскорости показать свою новую картину «Утро». В ней как раз есть нечто от нашего разговора о некоем сдвиге реального».

И когда Грин с женой увидели позже эту работу Богаевского в Москве, на выставке, то были поражены и восхищены ею.

«Он прав, — сказал Александр Степанович, — это в чистоте своей чуть нереально и бесконечно пленительно».

Оба художника были романтиками по своему мироощущению. Сдвигая пласты реальной жизни в сторону блистательного вымысла, каждый творил свой мир — прекрасный и удивительный — во имя торжества добра и красоты.

И поклонялись они свято и беззаветно единому для себя богу — Искусству.

«С утра до позднего вечера день в моём распоряжении, и я весь его без остатка отдаю искусству, — так писал молодой Богаевский. Как бы переключаясь с поздним Грином, сказавшем в конце творческого пути: «Я никогда не изменял искусству, творчеству».

2. Грин и Булгаков: Одна встреча

Когда в начале 80-х годов один из посетителей после экскурсии по музею А.С.Грина, спросил: «Был ли знаком Грин с Михаилом Булгаковым?» — невозможно было ответить что-либо определённое. Сведений об этом не было.

Однако близость этих писателей ощущалась во многом. Она прослеживается в сходстве их творческого почерка, в совпадении многих красок художественной палитры. Об этом подробно и аргументированно пишет М.Чудакова в статье «При-

сутствует Александр Грин», опубликованной в 1976 году.

Подтверждая основную мысль своего исследования о влиянии творчества Грина на Булгакова, она приводит отрывок из рассказа М.Булгакова «Пропавший глаз» (1926), герой которого вспоминает: «Вот читал я как-то об одном англичанине, попавшем на необитаемый остров. Интересный был англичанин. Досиделся на острове даже до галлюцинаций. И когда подошёл корабль к острову и лодка выбросила

людей — спасателей, он — отшельник — встретил их револьверной стрельбой, приняв за мираж. Но он был выбрит. Брился каждый день. Помнится, громадное уважение во мне вызвал этот гордый сын Британии».

Это пересказ произведения А.Грина «Жизнь Гнора». Пересказ вполне точный.

«Не так уж много произведений современников упоминает Булгаков в своей прозе», — подчёркивает Чудакова. И развивая мысль далее, она устанавливает связь гриновского творчества с самым известным романом Булгакова «Мастер и Маргарита».

Незадолго до того, как писатель начал первую редакцию романа, в московском альманахе приключений был напечатан рассказ А.Грина «Фанданго» — одно из ярких и необычных гриновских произведений, где фантастические образы причудливо вплетены в чёткую конкретность реальных исторических фактов.

В центре его фабулы — появление в Петрограде голодной и морозной зимой 1921 года возле Дома учёных группы экзотически одетых иностранцев. Они оказываются испанцами, которые привезли подарок Дому учёных.

Завязка рассказа — яркое зрелище в центре города, живущего будничной жизнью, привлекло внимание Булгакова и отразилось в появлении Воланда с его свитой в Москве.

Подтверждением этому служит много деталей. Например, описанное Грином сборище в Доме учёных, где гости показывают публике привезённые ими подарки. «Караван хлеба, гитары, херес, шелка, бархатные плащи, красные и белые кораллы образовали наглядным путём странно дегустированную смесь, попиравшую серый тон учреждения звоном струн и звуками языка, напоминавшего о жаркой стране». Эта сцена заставляет вспомнить сеанс Воланда в Варьете, так поразивший московских зрителей.

Серьёзная и даже патетическая окраска сцены у Грина сменяется у Булгакова фиглярскими ужимками Фагота, нелепой свалкой в конце сеанса. Есть сходство и у персонажей. Так, некоторые черты Воланда совпадают с обликом главы испанской делегации Бам-Грана, как описывает его Грин. Сидел он прямо, слегка откинувшись на твёрдую спинку стула и обводил взглядом собрание. Его чёрно-зелёные глаза с острым стальным зрачком направились на меня».

Взгляд этот памятен читателям Булгакова: «Два глаза упёрлись Маргарите в лицо. Правый глаз чёрный, левый почему-то зелёный».

Таким образом, можно совершенно определённо утверждать, что творчество Александра Грина оказало влияние на Булгакова и путём различных ассоциаций трансформировалось в его произведениях. А вот были ли они знакомы друг с другом?

Ответ на этот вопрос мы получили в 1986 году, когда в фонды музея поступила книга Л.Е.Белозерской-Булгаковой «О, мёд воспоминаний», вышедшая в 1979 году в США, в издательстве «Ардис». Кстати, в 1990 году и у нас в Москве, в издательстве «Художественная литература» были опубликованы воспоминания Л.Е.Белозерской-Булгаковой, куда вошла и книга «О, мёд воспоминаний», посвящённая её совместной жизни с Булгаковым с 1924 по 1932 год.

Рассказывая о поездке в Коктебель к Волошину летом 1925 года, Любовь Евгеньевна вспоминала: «Как-то Максимилиан Александрович подошёл к Булгакову и сказал, что с ним хочет познакомиться писатель Александр Грин, живший тогда в Феодосии, и появится он в Коктебеле в такой-то день. И вот пришёл бронзово-загорелый, сильный, немолодой уже человек в белом кителе, в белой фуражке, похожий на капитана большого речного парохода. Глаза у него были тёмные, не весёлые, похожие на глаза Маяковского, да, и тяжёлыми чертами лица напоминал он поэта. С ним пришла очень привлекательная вальяжная русая женщина в светлом кружевном шарфе. Грин представил её как жену.

Разговор, насколько я помню, не очень клеился. Я заметила за Михаилом Афанасьевичем ясно проступавшую в то время черту: он значительно легче и свободнее чувствовал себя в беседе с женщинами. Я с любопытством рассматривала загорелого «капитана» и думала: вот истинно нет пророка в своём отечестве. Передо мной писатель — колдун, творчество которого напоено ароматом далёких фантастических стран. Явление вообще в нашей оседлой литературе заманчивое и редкое, а истинного признания ему в те годы не было.

Мы пошли проводить эту пару. Они уходили рано, так как шли пешком. На прощание Александр Степанович улыбнулся своей хорошей улыбкой и пригласил к себе в гости: «Мы вас вкусными пирогами угостим».

Но так мы и уехали, не повидав вторично Грина, о чём я жалею до сих пор».

Строки воспоминаний дополняет дарственная надпись Белозерской-Булгаковой на книге, хранящейся в фондах: «Музею Александра Грина в Феодосии. Краткое упоминание в моей книге, посвящённой личности моего мужа Михаила Булгакова, не отражает моего постоянного интереса к творчеству Александра Грина. На мой взгляд, некоторые страницы прозы Булгакова после знакомства с Грином прониклись подлинно гриновским романтизмом. А, возможно, взял что-то и Грин от Булгакова».

Будем надеяться, что это подтвердят будущие исследования творчества этих ярких и самобытных художников.

Ирина ПАНАИОТИ

старший научный сотрудник

Ловушка для мечтателя

Феодосия... Имя города пришло к нам из глубины веков. Мы к нему привыкли и живём на этой древней земле в повседневных житейских заботах. Весной город молодеет, и мы любим его, радуем глаз свежая зелень, трава, нарядные стены отремонтированных домов.

Этот трогательный город
Акварельный, в стиле ретро,
Где июль в песок измолот
И песок подхвачен ветром...
Он почти ненастоящий, —
А иначе бы откуда
Этот вкрадчивый, щемящий
Этот тонкий привкус чуда...

Наверное именно такой увидел Феодосию Александр Грин 10 мая 1924 года. Вот как вспоминает об этом жена писателя Нина Николаевна Грин:

«...Ранним утром подъезжаем к Феодосии. Первое впечатление приятное. Вокзал невелик, изыщен. Приятно пахнет морем и цветущими акациями. Мы на юге, навсегда...

Поселяемся во втором этаже гостиницы «Астория», напротив вокзала и моря. Оно видно из большого окна нашего номера, оно синее-синее, не как северное — серо-зелёное... Идём втроем на базар. Он живописен и весел, как все южные базары, но конечно, не так красив, как севастопольский. Дешевизна его нас потрясает. Мама удовлетворённо вздыхает, она впервые на юге: Да тут жить, слава Богу, можно!..»

Наш город стал для писателя, прожившего ко времени переезда в Феодосию многотрудную жизнь, местом, где сбываются мечты.

Он всегда стремился к морю, и теперь, покинув сырой и холодный Петроград, Александр Степанович обосновался в залитом солнцем провинциальном тихом приморском городке. Уже первое знакомство с Феодосией по-настоящему обрадовало Грина, заставив воскликнуть: «Молодец, Александр Степанович! Вот здесь мы попишем!»

Небольшой город жил своей особенной южной жизнью. Писателя покорила самобытная архитектура старинных зданий, узкие улочки Карантина, развалины Генуэзской крепости, море, окружавшее Феодосию почти со всех сторон.

«... Огромные иностранные пароходы, пришедшие за зерном, стояли на рейде. По жарким улицам, покрытым жидкой зеленью пропылённых акаций, проходили шумными группами английские, итальянские, греческие моряки. В кабаках завывали молдавские скрипки. Рыбаки сушили на песчаных отмелях свои сети», — так писал Всеволод Рождественский, посетивший Феодосию в конце 20-х годов.

В сентябре 1924 года Грины сняли квартиру в доме по улице Галерейной, 8 (ныне 10). После мно-

гих лет скитаний Грин впервые ощутил себя хозяином, это доставляло ему радость. Всё в квартире было куплено самим Александром Степановичем. Нина Николаевна и её мать Ольга Алексеевна создавали в доме покой и уют.

«...Теперь у нас была довольно большая полутёмная столовая, — вспоминает Н.Грин, — комната побольше для работы Александра Степановича (в ней же мы спали) и совсем крошечная — для мамы, а внизу — шесть ступенек — большая низкая, разлапистая живописная кухня. Если Александр Степанович работал поздно вечером, он уходил из кабинета в столовую, чтобы не дымить. Через несколько месяцев нам удалось присоединить к нашей квартире ещё одну совсем изолированную комнату, которая стала рабочей комнатой Александра Степановича.

Он, едва мы получили эту комнату, сделал ремонт во всей квартире, провёл электричество; многие тогда ещё в Феодосии жили с керосиновыми лампами, нам же, привыкшим к яркому свету в Петрограде, трудно было жить в темноте.

В этой квартире мы провели четыре хороших, ласковых года».

...Грины жили довольно замкнуто, среди узкого круга их знакомых в Феодосии — Волошин, Богаевский, Вересаев. В этот круг входил и Николай Шкарин — главный архитектор города. Его сын, в то время подросток, тоже бывал в доме писателя. Потом, взрослым, Александр Николаевич напишет воспоминания о той благословенной поре и пришлёт их в наш музей:

«Александр Степанович был высоким, худощавым человеком, лицо задумчивое, угрюмое, в морщинах. Даже улыбка его была какой-то серьёзной, но очень доброжелательной. Носил он парусиновый костюм. В доме у Гринов было очень скромно, просто. Нина Николаевна, жена писателя, говорила: мы с Александром Степановичем всегда мечтали о красивых домах, красивых вещах, об уюте и комфорте. За неимением денег удовлетворяемся опрятной простотой и не горюем...

У Нины Николаевны и моей мамы нашлись общие интересы, они вместе шили, иногда готовили. Постепенно и я сдружился с Александром Степановичем. Наши семьи ходили друг к другу в гости. Несмотря на внешнюю замкнутость, в доме у Гринов всегда было очень весело, много шуток и юмора.

Пока женщины занимались своими делами, мы с Александром Степановичем — своими. Мы разговаривали, спорили, играли иногда в «дурачка». Реакция Александра Степановича в играх была бурная, по-детски непосредственная. Несмотря на внешнюю оболочку — мрачность, выработавшуюся за многие годы вроде какой-то самозащиты, Александр

Степанович был на самом деле очень добрым и даже нежным человеком, но душа его открывалась только самым близким людям. Он часами мог смотреть на наши мальчишеские игры. Любил слушать наши неумелые рассказы, иногда тактично поправлять. Но больше всего мы, мальчишки, радовались, когда он сам начинал рассказывать. Выдумки, фантазии там хоть отбавляй! Героями устных рассказов Грина были непременно добрые, чуткие люди, а зло всегда оказывалось побежденным. И этому он учил нас, хотел, чтобы мы, мальчишки, выросли такими, какими рисовало его воображение. Заканчивая свои рассказы, он часто любил повторять, что надо «мечтать, идти вперёд и не хныкать о прошлом». Уже позднее я понял, что эти слова стали девизом его жизни...»

Феодосия была далека от столиц, и политические изменения докатывались до неё позднее. Воз-

Светлана ТИТОВА
научный сотрудник

«Счастье в нас самих...»

Один из последних гриновских романов долго кочевал по издательствам и вышел в свет в начале 1929 года в ленинградском издательстве «Прибой». Прошло уже более 70 лет, а этот роман остался единственным из романов Грина, до сих пор не получившим обстоятельной оценки.

Имя Александра Грина никогда не было в безвестности. Первое собрание сочинений начало выходить ещё при жизни писателя, а критики сопровождали появление каждой его книги множеством откликов. Только «Джесси и Моргиана» удостоилась всего лишь незначительного упоминания.

А.Грин говорил, что «любой рассказ должен содержать жестокую борьбу добра со злом». Гриновские «университеты» были подобны горьковским, и Грин в своём творчестве в полной мере учёл тот реальный суровый жизненный опыт, который дала ему действительность, и изобразил эту действительность с её жестокой несправедливостью в человеческих отношениях, перенёс это в вымышленный мир, где проповедовал добро и обличал зло с неугасившей до последних дней страстью.

Этой борьбе Грин остаётся верен и в романе «Джесси и Моргиана», повествовании о двух сёстрах — прекрасной Джесси и злобной уродливой Моргиане.

Гармонически прекрасный мир видел Грин в женщине. Он создал замечательные и неповторимые образы: Тави, Гелли, Ассоль... Они могут быть шаловливы, порывисты, легко огорчаются и ещё легче

можно, переезд в Феодосию спас писателя от репрессий. В начале 30-х годов начались аресты эсеров, с организацией которых А.Грин был связан в молодости. Писатель упрямо не желал участвовать и в многоголосом хоре, приветствующем социалистический реализм.

В это время он испытывает необычайный творческий подъём: пишет романы «Золотая цепь», «Бегущая по волнам», «Джесси и Моргиана», «Дорога никуда» и более сорока блестящих рассказов и новелл, ставших классикой и принесших писателю мировую известность.

Наша древняя земля, чаруя и притягивая писателя, стала источником многих тем и сюжетов его произведений. Не случайно Александр Грин считал Феодосию ловушкой для мечтателя, откуда отплываешь по волнам времени к берегам прошедших эпох.

— Следует показывать жизнь такую, какая она есть в твоём умении её показывать, — сказал мне Грин летом 1928 года, когда он приехал в Ленинград с романом своим «Джесси и Моргиана»...

Леонид Борисов. «Александр Грин»

смеются, а иногда непростительно коварно проказливы. Но в серьёзных случаях они проявляют мужество и глубину понимания, «какие есть лишь удел высоких и чистых душ».

Джесси, наделённая необычайной внешней красотой, всегда естественная и отвергающая всякое лицемерие, уверена в том, что человек может и должен стать лучше, духовно красивее.

Образ Моргианы — это претворение общечеловеческого зла, выросшего на почве жестоких «овеществлённых» отношений. Внешний вид Моргианы отталкивающе безобразен: это женщина «с лицом врага». Она и сама определяет себя очень точно и лаконично: «смесь шимпанзе с идиотом».

С нравственной красотой Грин прямо связывает и красоту физическую. Вот почему Джесси твёрдо убеждена, что Моргиана изменится внешне, если станет добрее: «Будь доброй, Мори! Стань выше себя, сделайся мужественной! Тогда изменится твоё лицо. Ты будешь ясной, и лицо твоё станет ясным... Пусть оно некрасиво, но оно будет милым...»

Безобразие Моргианы — это прямое продолжение и порождение её духовного уродства. Моргиана — это вместилище всех существующих человеческих пороков. Ненависть — это естественная атмосфера, окружающая её. Своим лицемерием и цинизмом она постоянно ранит сестру. Но ни на какие компромиссы Джесси не идёт и чувствует, что должна отвечать за совершающееся вокруг нее. Она не может изменить своей сути, не перестав быть самой собой.

В романе есть эпизод, где Джесси увидела картину, изображающую знаменитую Леди Годиву. Художник нарисовал прекрасную женщину обнажённой, на белом коне. Граждане города, которых Леди Годива спасла от налогов, из деликатности заперли ставни и не выходили на улицу, чтобы никто не увидел её позора. Джесси возмутило такое решение картины: «...сколько теперь зрителей видело Годиву на полотне?! О, те жители были деликатнее нас!» Для Джесси эта картина — обман. Леди Годива прекрасна красотой своего поступка, впечатление от которого в предоставлении Джесси подобно лучу света, проникающему сквозь закрытые ставни.

В вопросе выбора для Джесси не существует чужого мнения, она всегда сделает только то, что подскажет ей душа, чувства. Только с велением сердца она и может считаться. Иных подсказок для неё не существует. Конечно, если в романе — такая героиня, там обязательно будет любовь. Но если другие писатели рассматривали любовь как бегство от действительности, то для Грина любовь — это главный критерий духовной стоимости человека, а настоящая любовь всегда гуманна.

Зло активно и деятельно. Писатель настойчиво проводит мысль о противоестественности зла. Свет, тепло и красота блекнут с приходом Моргианы, а доверчивая натура Джесси не в состоянии поверить мысли, что она отравлена, что Моргиана её отравительница, и «...если бы от неё зависело помочь Моргиане, — Джесси не задумывалась бы отдать богатство и красоту». Но даже когда Джесси всё наверняка уже знает, она пытается оправдать Моргиану, старается зло сделать добрым, не понимая, что это невозможно. Зло есть зло. Оно сплошь чёрного цвета. Моргиана чудовищно расчётлива и безгранично ненавистна в своей жадности. Подлинной причиной попытки убийства Джесси было её наследство. «Перспектива денег» оживляла Моргиану, «богатство естественно вытекало из преступления». Безобразие Моргианы является порождением пресловутого: «ЭТО МОЁ».

А.С.Грин уверен: как бы ни было трудно, человек верит, что он, пусть чудом, но останется жив. И Джесси верит. Она находит в себе такие внутренние силы, которые помогают ей преодолевать недуг. Болезнь не окрашивает душу Джесси безысходностью,

Лариса КОВТУН
главный хранитель

«Я вспоминаю невский...»

Не так давно в музей А.С.Грина пришло письмо, в котором автор беспокойно спрашивал: «Функционирует ли ещё ваш музей?» Тревога понятна. Культура сейчас переживает не лучшие времена. Дорога к памятникам оказалась перекрыта стеной высоких цен. Заметно меньше стало экскурсантов. А ведь ещё совсем недавно в музей трудно было попасть из-за большого числа желающих. Их,

напротив, пробуждает в ней необыкновенную жажду жизни. Её невозможно удержать в постели, а похожей на неё незнакомке она готова подарить целый сад цветов.

Грин подчёркивает множественность воплощений своего идеала в жизни. Отсюда и появляется вторая Джесси: это двойник Джесси и в наружности, и в характере, и в имени. Загадка появления второй Джесси объясняется распространённостью добра и красоты, их постоянным присутствием в жизни. Такую Джесси можно встретить и в старушке, и в девочке, и в зрелой женщине, потому что такие простые и милые лица, одухотворённые внутренней красотой, встречаются сплошь и рядом.

Душой же Моргианы завладевает страх и порабощает её. Гонимая страхом разоблачения, Моргиана начинает ещё сильнее ненавидеть жизнь и всё живое. Она становится опасной. Ненависть и бешенство приумножают её силы и находчивость. Она живо погребает своего сообщника и ничуть не раскаивается в этом. Таковы принципы Зла.

Милосердие эшафота — вот единственный вид «милосердия», свойственный ему: «Когда ты исчезнешь, — думает она о Джесси, — я буду тебя любить сильно и горячо... Лишь так могу я выразить мою — будущую — к тебе любовь». Духовный и физический садизм — вот апогей аморальных достижений зла в душе человеческой.

Зло наносит удары, но его победа не может быть окончательной. Торжество Зла для Грина — эпизод, победа Добра — закономерность жизни. А.С.Грин в этом не сомневался, и его герои в этом тоже уверены, и поэтому даже в самых трудных условиях они остаются людьми в лучшем смысле этого слова.

Торжество зла призрачно и недолговременно. Но бедствия, которые сопутствуют ему, неисчислимы. Орудие Джесси в этой борьбе — её безграничная душевная доброта, вера в добро. Рано или поздно, произвольно или непроизвольно, но всегда закономерно, утверждает Грин, рука правосудия настигнет зло и воздаст суровую кару.

Зло, представшее в романе в форме безобразного уродства, неминуемо погибает. Оно несовместимо с подлинной человечностью.

«Счастье в нас самих, если мы всё делаем для того, чтобы друг был счастливым...»

конечно, не уменьшилось, просто возможности приехать на поклон к писателю у многих не стало. Но интерес к Грину не исчезает. Об этом свидетельствуют и многочисленные подарки, присылаемые в музей, и письма. Житель Вятки — города детства А.Грина В.Семибратов, ставший большим другом музея, пишет: «Помнится, 16-летним юношей перешагивал я порог дома № 10 по улице Галерейной.

Затем был в Старом Крыму в филиале музея и на кладбище — и до сих пор то моё первое дальнее путешествие (летом 1976-го) для меня как дивная сказка. Надеюсь, что, несмотря на все трудности, музей ваш по-прежнему будет притягательным центром для поклонников творчества А.С.Грина, для всех тех, чьё сердце открыто мечте».

Так будет, Грин заслужил любовь людей всей своей жизнью. В его судьбе было всё: нелёгкие скитания и недолгие приятные путешествия, быстрое увлечение романтикой революционной борьбы и скорое разочарование в ней, тюрьмы, ссылки, побеги, голод, неустроенность, мучительные поиски своего места в жизни и на фоне всего этого — светлая радость творчества, отвоёванное у жизни право быть всегда самим собой. Он никогда не приспособлялся ни к каким режимам, не примыкал ни к каким группировкам. Его душе было противно любое насилие. Он не потакал ничьим вкусам и интересам. И был горд и счастлив этим. «Ни деньги, ни карьера, ни тщеславие не столкнули меня с истинного моего пути». И этот путь — путь писателя бескомпромиссного, честного — пройден был им достойно. Он отказывался отображать современность, но оказался самым современным писателем, потому что весь был обращён к человеку, его душе.

«Наружные глаза души — это мысль». Это остро подмеченное Грином определение было сказано им в одном из писем. Написано оно было в январе 1911 года и адресовано петербургскому редактору-издателю журнала «Пробуждение» И.В.Корецкому. Грин в это время отбывал ссылку «за старые грехи» в г.Пинеге Архангельской губернии. Письмо ранее публиковалось, но с некоторыми ошибками, вероятно, из-за неразборчивого почерка писателя. Работая с гриновскими документами в архиве, и, в частности, с этим письмом, научным сотрудникам музея удалось уточнить его текст, который и предлагаем вашему вниманию, как ещё одно свидетельство человечности, блеска ума и юмора этого большого писателя.

«Многоуважаемый Николай Владимирович!

Скучно, скучно без «Пробуждения». Я привык к этому журналу, и, когда приходит почта, грустно,

что не видишь знакомой обложки. Не поспешите, вышлите «Пробуждение»!

Я узнал, что Вы больны. Это меня беспокоит, я знаю по себе, что такое ревматизм, ибо пролежал раза три по 1½ и 2 месяца совсем без ног. При болезнях я вообще утешаюсь всегда тем, что есть ещё худшие болезни, чем претерпеваемые в данный момент.

Я грущу. Я вспоминаю Невский, рестораны, цветы, авансы, газеты, автомобили, холодильник каналов и прозрачную муть белых ночей, когда открыты внутренние глаза души (наружные глаза души — это мысль). Здесь морозы в 38 гр., тишина мёрзлого снега и звон в ушах, и хочется подражать Бальмонту:

Заворожен, околдован,
отморожен, без ушей.
Ярким снегом огорожен,

получив в этапах
вшей.

Вши давно «отыди с

миром» — получили
от небес.

Но, измучен ими — сырим
Я смотрю на тёмный лес.
Граммфон орёт в гостиной.
На стекле — желток луны.
Я настойкою рябиновой
Облил новые штаны.
За стеной бушует

дьякон:

На Крещенье, сторяча,
Он, в святой воде

обмакан,

Принял внутрь «спотыкача».
За окном скрипят
полозья;
Там, по берегу, к реке
Ледяных сосулек гроздь
Едут вскачь на мужике.
Между тем, у стен

Розетты

Катит волны жёлтый

Нил.

Пальмы. Финики. Галеты.
Зной, чума и крокодил.

Извините за баловство. Желаю от души выздоровления.

А.С.Грин»

Николай НОВИКОВ

МЕЧТАТЕЛЬ

Путь в три тысячи вёрст отмахав,
Озираясь вокруг с интересом,
Шёл мечтатель в больших сапогах
По булыжникам старой Одессы.

Где-то в прошлом остался вокзал,
И перрон, и с родными разлука,
И впервые он, провинциал,
Темперамент почувствовал юга.

В тихой Вятке своей не привык,
Чтобы так вот — все тайны наружу.
Тот же русский, но странный язык
Забавлял, щекоча ему уши.

И казался в какой-то момент
Незнакомым в неслыханном слове,
Расставляя еврейский акцент
На российско-украинской мове.

Мельтешил и горланил Привоз,
Проносились возки и коляски.
«Молодец, — думал он, — что привёз
Я с собой акварельные краски!»

А когда меж домов бирюза
Промелькнула сиянием вскоре,
В первый раз засосала глаза
Даль, смешавшая небо и море.

Ах, Одесса... Он ехал сюда,
В этот город чужой, но желанный,
Потому что отсюда суда
Отплывают во все океаны.

Вон на рейде построились в ряд
Перед тем, как отправиться в рейсы,
Чёрный угольщик, белый фрегат
И трёхтрубный сверкающий крейсер.

Первым делом, — конечно же, в порт
По ступенькам — походкой упругой,
К кораблям — попроситься на борт
В экипаж — не матросом, так юнгой.

Спотыкаясь о тросы, идёт.
Вот к отплытью готов пароход
(Через пару недель — на Востоке).
Вьётся «Юнион Джек» на флагштоке.
Англичанин, везущий зерно...

Оглядел его бегло, поморщась,
И ответствовал вежливо: «No,
Plase», — явившийся к трапу помощник.

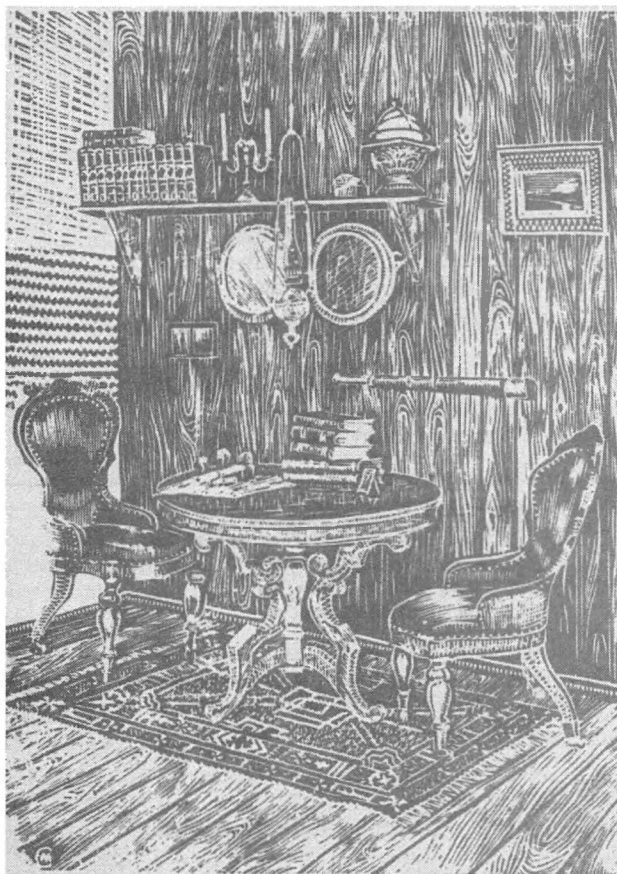
По глазам, по движению губ
Понял: «нет» — догадаться не трудно.
Что поделаешь, выбор был глуп,
Мы поищем российское судно.

Сколько было прочитано книг
О морях. Полагал — пригодится.
Но не выучил этот язык,
Без него, как без рук, за границей.

Веет лёгкий попутный зюйд-вест.
Вот и парусник встал под погрузку.
Вышел шкипер усагый: «Нет мест».
То же самое, только по-русски.

В самом деле, худой, как скелет,
Нет на вид и шестнадцати лет.
Ничего не умеет, бездельник.
Кто учить его будет без денег?!

Ни грести, ни конца оплести,
Ни узла завязать, ни найтовить
В трюме груз, ни швартов завести,
Даже борщ не умеет стготовить.



Каюта капитана Геза.
Рисунок С.Малышева (г. Феодосия)

«Эй, на шхуне!» и «Эй, на барже!»
 Не баржа даже — грязная лайба!
 А в ответ ничего, кроме лая.
 Тут уж кошки скребут на душе.

Ну так что? возвращаться домой?
 Это мертвые сраму не имут.
 Неудачник пришёл... Боже мой!
 Все знакомые на смех подымут.

Половой! Кружку пива налей!
 Посидим, погрустим на закате,
 Ведь шести сбережённых рублей
 Всё равно на дорогу не хватит.

Негде спать? На скамье отдохнем
 На бульваре, а нет — на кладбище.
 Благо тёплые ночи, а днём
 Работёнку какую подыщем...

И ведь он переломит судьбу!
 И по сходне — и узкой и шаткой —
 Будет уголь носить на горбу,
 В море вцепится мёртвою хваткой!

И в матросы пробьётся потом,
 И появится твёрдость во зворе,
 И на транспортном судне «Платон»
 Обойдёт он всё Чёрное море.

И в Египте оставит свой след —
 Вот куда завернула дорога!
 Сохранился позднейший портрет:
 Да, узнал человек этот много...

Видел Каспий и видел Урал,
 По столицам скитался и дырам.
 Гнал плоты и бумаги писал,
 Лес рубил, золотишко искал.
 Стал солдатом и стал дезертиром.
 Стены красил и красил дома,
 Снова плавал. На волжском раздолье.
 И свобода была, и подполье,
 А была и сума, и тюрьма.

«Эк, — заметит читатель, — какой
 Путь извилистый, ломаный, тряский».
 Это так. Ненавидел покой,
 Но зато он придумывал сказки.

Лес дремучий. В окне синева.
 Утонула в лесу лесосека.
 В печке с треском пылают дрова.
 Перед печкою два человека.
 Освещает рассказчика печь,
 Льётся тихая ровная речь.

Широко открывает глаза
 Богатырь бородач — весь вниманье,
 А в глазах — корабли, паруса,
 И канатный плясун над домами.

И красавицы южных кровей,
 И в таверне кружком — капитаны,
 А у мола — пиратский корвет
 Отплывает в далёкие страны.

...Это только экспромт. Не беда.
 И рука его станет тверда.
 Оборвётся тогда пуповина.
 И мечтатель Гриневский тогда
 Превратится в писателя Грина.

Всё творящему в пользу идёт —
 Голодуха его, бытовуха,
 Нескладуха, худая житуха...
 Ну, не может без сказок народ,
 Слишком дико кругом, слишком глухо.

Виктор НЕКИПЕЛОВ

ПАМЯТИ ГРИНА

*Детское живёт в человеке
 до седых волос.*

А.Грин

Мне встречи с ним судьба не подарила.
 И лишь недавно поздние цветы
 Я положил на узкую могилу
 Прославленного рыцаря Мечты.

Но с детских лет, с тех пор, когда впервые
 Я в мир чудес, им созданных, проник,
 Идут со мною рядом, как живые,
 Весёлые герои его книг.

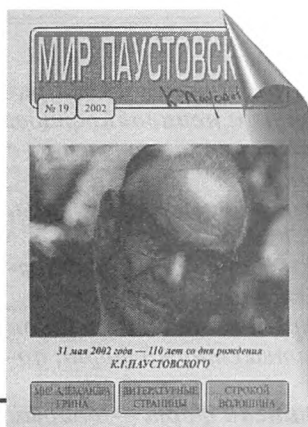
Они живут в равнинах Зурбагана,
 Где молодая щедрая земля
 Распахнута ветрам и ураганам,
 Как палуба большого корабля.

Где солнце бьётся золотою рыбкой
 На голубой ладони океана,
 Где миром правит женская улыбка
 И звонкий пламень полного стакана.

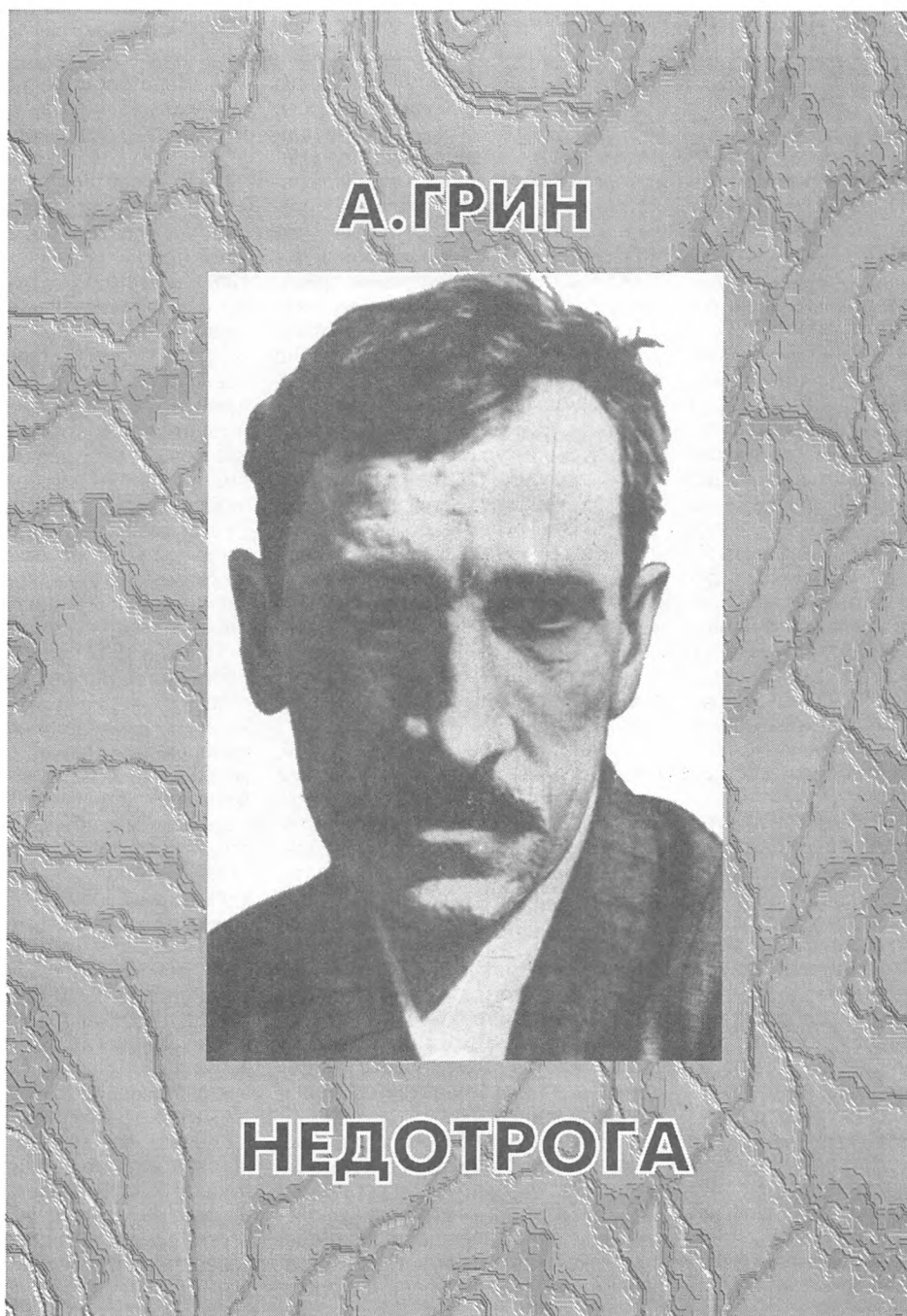
Где жизнь кипит во всём своём расцвете...
 Они живут вольны, как альбатросы,
 Невинны и бесхитростны, как дети, —
 Поэты, птицеловы и матросы.

...Пусть тот мир, нездешний и старинный,
 От нашей современности далек;
 Читаешь удивительного Грина —
 И душу греет теплый огонёк.

А он идёт, весёлый, добрый спутник,
 Повсюду с нами в дружеском строю
 И вносит в наши творческие будни
 Романтики певучую струю.



НЕЗАВЕРШЁННАЯ РУКОПИСЬ А.С. ГРИНА



...вблизи Аберврака на острове был расположен старый форт Саизон. Французское правительство очень дёшево продавало этот форт за полной его старостью и ненадобностью.

Блоку очень хотелось купить этот форт. Он даже подсчитал, что покупка его вместе с обработкой земли, разбивкой сада и ремонтом обойдётся в 25000 франков.

В этом форте всё было романтично: и полуразрушенные подъёмные мосты, и казематы, и пороховые погреба, и старинные пушки.

Семейные отговорили Блока от этой покупки. Но он много рассказывал друзьям и знакомым об этом форте, — мечта не так легко уступала трезвым соображениям.

Грин услышал этот рассказ Блока и написал роман, где некий старый человек с молодой красавицей-дочерью, прозванной «недотрогой», покупает у правительства старый форт, поселяется в нём и превращает валы в душистые заросли и цветники.

В романе происходят всякие события, но, пожалуй, лучше всего написан форт — добрый (давно разоружённый), мирный, романтически старый. Прекрасно также большое описание сада с живописными определениями деревьев, кустов и цветов.

Константин ПАУСТОВСКИЙ
«Золотая роза» (Александр Блок)

МП: Перед Вами — последний роман Александра Грина. Он остался незавершённым. Уже после смерти писателя были напечатаны отдельные отрывки из этого произведения. Опубликованные с большим временным интервалом (с 1935 года по 1981-й) в различных периодических изданиях, они не давали читателю представление о развитии сюжета и характере героев.

Собрав их впервые воедино, а также используя рукописные листы «Недотроги», хранящиеся в фондах Фиодосийского музея А.Грина, мы получили возможность выстроить сюжетную линию в более-менее последовательном виде. Впервые такая возможность появится и у читателя.

Конечно, стройность сюжета — относительная, да и прорисовка деталей во многих местах требует уточнения, что естественно для незавершённого произведения. И все таки роман «Недотрога» предстаёт как целостное произведение. Однако хотелось, чтобы читатели, знакомясь с «Недотрогой», имели в виду те обстоятельства, которые повлияли на его особенность.

Как свидетельствует жена писателя Н.Н.Грин, роман был задуман Александром Степановичем в начале 1930-х годов.

Это было очень трудное время для Грина, когда книги писателя практически перестали издавать. Управляющая в то время литературным процессом Российская Ассоциация пролетарских писателей требовала произведений «на злобу дня», бытовых, социальных. Грин со своим условноромантическим миром никак не вписывался в рапповские каноны. Поэтому у него практически не было надежды на встречу с читателем, а без этого писателю существовать было невозможно.

И всё же Грин не прерывает работу, несмотря на все сложности, о кото-

рых он сообщает в письме к писателю И.А.Новикову 11 февраля 1931 года: «Я кончил писать свои автобиографические очерки... Теперь взялся за «Недотрогу». Действительно, это была недотрога, так как сопротивление материала не позволяло подступиться к ней больше года. Наконец, характеры отстоялись, странные положения приняли естественный вид, отношения между действующими лицами наладились, как должно быть. За пустяками стояло дело: не мог взять верный тон. Однако наткнулся случайно и написал больше 15 листов».

Это были страницы, рассказывающие о девушке по имени Харита, её отце, оружейнике Феролле, их добрых друзьях Флетчере, Вансульте, проводнике Деже, а также о злодеях, вроде мясника Гайбера и его сына Гуда, так жестоко поплатившегося за своё коварство.

Глухую ненависть и злобу вызывали у них Харита, её отец и другие люди, воплощавшие в себе тип человека-недотроги.

«Недотроги» по Грину — это люди, ничем особенным не привлекающие к себе внимания. Их довольно много среди нас. Они остро — а в беде болезненно — ощущают несправедливость, душевную тупость, грубость, хамство. Страдают от этого, но только равно с ними чувствующие люди понимают их.

Для Грина это последнее произведение не было проходным, случайным. Он был погружён в него глубоко, всесторонне, отдавая немало творческих сил. Даже подступающая болезнь не могла заставить Грина прервать работу.

«Я чувствую себя немного лучше: часа два-три в день могу сидеть за столом, даже в саду; но пройти три-четыре квартала мне ещё трудно — слабею... Мне запрещено писать, но привычка — вторая натура, и 2-3 страницы я пишу каждый день. Застряла

моя «Недотрога», написал только первую часть (5 листов), да и то требует хорошего частого гребня».

Письмо к Новикову от 12 октября 1931 года даёт нам убедительное доказательство верности Грина себе, своему писательскому призванию, несмотря ни на какие сложности бытия. И вместе с тем эти строки должны помочь нам дать верную оценку «Недотроге».

Перед нами — гриновское, безусловно гриновское произведение, насыщенное характерными приметами его неповторимого стиля, его особой образностью, причудливыми направлениями в развитии действия. И всё же — незавершённое произведение. Отсюда — все шероховатости, некоторая схематичность в обрисовке героев. Трудно сказать, как выглядел бы роман в окончательном виде. Ведь его действие прервалось в самом начале...

8 июля 1932 года Александра Грина не стало. Незадолго до смерти писатель сказал жене: «Недотрога» окончательно выкристаллизовалась в моём воображении. Некоторые сцены так хороши, что, вспоминая, я сам им улыбаюсь». Эти сцены, возможно, не были перенесены на бумагу. И всё же этот роман имеет значительную художественную и историческую ценность не только как последнее произведение Грина, но и как убедительное доказательство верности писателя самому себе, всей своей творческой жизнью оправдавшего собственные слова: «Когда я осознал, понял, что я художник, хочу и могу им быть, когда худшая сила искусства коснулась меня, то всю свою последующую жизнь я никогда не изменял искусству, творчеству; ни деньги, ни карьера, ни тщеславие не столкнули меня с истинного моего пути; я был писателем, им и умру; я никогда не забывал слов Брюсова поэту: «Да будет твоя добродетель — готовность взойти на костёр».

Людмила ВАРЛАМОВА

Александр ГРИН

НЕДОТРОГА**I**

Отец с дочерью ехали из Бедвайка в Ласпур на пароходе, который останавливался в Гертоне.

По дороге старик Ферроль заболел, Харита вынуждена была отвезти его в Гертонскую благотворительную больницу, а сама поселилась у одинокой старухи-вязальщицы.

— Мы совсем разорились, — рассказывала Харита старухе. — Отец плохой делец, он выдал много векселей; наш дом и оружейную мастерскую продали за долги.

— Куда же вы едете и зачем?

— Мы ехали в Ласпур, где есть два оружейных завода; отец хотел найти на заводе место.

— Так вы поедете туда, когда ваш отец поправится?

— Не знаю, — вздохнула девушка, — у нас почти нет денег; я ведь тоже трачу на себя, например, на молоко, хлеб и кофе; но один хлеб я есть не могу...

— Быть может, попробовать вам поступить на место или найти работу? — сказала старуха, уставив на Хариту сквозь очки серые маленькие глаза. — У меня много знакомых.

— Ах, бабушка Санстон, я вам буду очень благодарна.

— Не надо благодарить, милая, ведь девушек с такой привлекательной наружностью очень мало на свете.

— Да что вы! — рассмеялась Харита. — Но вы преувеличиваете, и какое значение может иметь наружность, если у меня всего одно платье?

— Вы умная, Харита; вам будет легко устроиться, — сказала Санстон, шмыгнув носом, и ушла, надев чёрную шляпу с чёрным пером. Харита отправилась навестить отца и увидела, что Клаус Ферроль в довольно весёлом настроении полусидит в кровати, читая газету.

— Через два дня ваш отец сможет уйти, — сказал доктор Харите, когда она встретила его в коридоре, и протянул руку к подбородку девушки, но она так рассеянно издали своих мыслей взглянула на него, что доктор остыл.

— Ну, вы — недотрога, — сказал он и ушёл от ничего не понявшей Хариты в мир стеклянных дверей, источающих запах лекарств.

Возвратясь к себе, в крохотную комнату подвала Санстон, Харита уселась, заложив ногу за ногу

и стала рассматривать затрёпанный том иллюстрированного журнала.

Было тихо. Вошёл кот и, подняв хвост, принялся ходить вокруг стула Хариты, мурлыча с полным сознанием важности вещей, сообщаемых им девушке; но она не поняла его.

Тогда кот вспрыгнул к ней на колени и, мурлыча всё явственней, нервнее, достиг результата: Харитой овладела тревога. Она сняла кота, встала и вынула из своего сака револьвер.

Вскоре пришла старуха и, пропустив впереди себя рослого мясника в отличном сером костюме, сказала:

— Вам, Харита, удобно будет сейчас поговорить с господином Гайбером; он всеми уважаемый человек, очень солидный и состоятельный, и ему нужна бонна к мальчику.

Гайбер склонил голову набок, ухмыльнулся и развёл большие волосатые руки, как будто играя в жмурки.

— Не знаю, какая выйдет из меня бонна, — сказала, краснея от удовольствия, Харита, — Но я действительно согласна поступить на любое место. Сколько лет вашему мальчику?

— О, он очень большой! Громадный! Великан-мальчик! — воскликнул Гайбер, придвигаясь к Харите так, что она отстранилась.

— Не понимаю, — сказала Харита, и сердце её упало.

Приоткрыв дверь, старуха Санстон шепнула Гайберу:

— Мы одни, окна и двери заперты.

Гайбер шагнул и взял Хариту за плечи. Нашарив сзади себя револьвер, который лежал под журналом, Харита толкнула дулом в жилет Гайбера, едва внятно проговорив:

— Взгляните, что у меня в руке.

Мясник вздрогнул; отступая, он держал руки, обращёнными ладонями к дулу, а когда хлопнул дверью, за стеной раздались его проклятья:

— Вы, старая гадина, должны знать, за что берётесь!

— Я всегда знала, — дребезжал голос Санстон. — А от вас тоже многое зависит, — как и что.

Пока Харита спешно увязывала свои немногочисленные вещи, перебранка окончилась, мясник оставил квартиру, а старуха вошла к девушке и присела.

«Цветок **Недотрога** — прозрачная, как хрусталь, чашечка из восьми прямых лепестков удлинённого яйца, остриём внутрь. Срединка жемчужная с тонкими оттенками радуги. Над её выпуклостью, отмеченной канальцем, нет тычинок, лишь по основаниям лепестков расположены крошечные белые шарики. Подцветник твёрдый, гладкий, чёрно-зелёный. Листья формы длинного, свободно изогнутого пера, как цветы оранжево-золотистого с коричневым и красным рисунком. Подкладка их серая. Размещены симметрично на тонком, твёрдом, неправильно изогнутом стебле тёмно-зелёного цвета и покрыты острыми шипами. На солнце, подкрапленный росой, цветок сверкает, как подлинно хрустальный, украшенный серебром и жемчугом»

Из записных книжек Александра Грина. (РГАЛИ, ф. 127).

— Взбалмошный, но хороший человек, — говорила она, считая петли чулка, — сначала вот так напугает, а потом просит прощения.

— Прощайте, бабушка Санстон, — сказала Харита, вздевая на руку узел, — я вас не забуду.

— Значит, расстаёмся? А жаль; давно не ели у меня свежего мяса, не зажимали рта ладонью; давно не слышала я визга и писка. Убирайся; пусть ты станешь калекой, ослепнешь, пусть волосы твои вырвет под забором бродяга.

— Бабушка, бабушка, сколько вам лет?

— Семьдесят, милочка, семьдесят!

— Как же вы будете умирать, бабушка Санстон?

— Лучше, чем ты, бродяга! — вскричала старуха и, рассвирепев, вытолкала Хариту на улицу.

Девушка, утерев слёзы, принудила себя дышать ровнее. Был поздний вечер. Прохожие приглядывались к ней и приглашали зайти в пивную. Харита пришла в больницу и попросила служащего передать записку отцу: «Хозяйка прогнала меня, она — сводня, — писала девушка, — пойдём куда-нибудь, сынок, если ты не очень болен, а если не можешь, то напиши, что я должна теперь делать».

— Ничего ты не должна делать, — сказал, явившись через полчаса в вестибюль, старый Ферроль. Он был бледен, лишь слаб, но здоров и уже застегнул поднятый воротник пальто английской булавкой. — Идём, Харита. Дежурный врач отпустил меня. Вот и воздух, вот ночь и мир. Дай мне.

Он отнял у неё узел, и так как других вещей у них не было, Харите идти было легко. Они вышли за город и тронулись по шоссе; редкие огни мелькали в равнине.

— Что же мы будем делать, сынок? — сказала Харита, звавшая отца «сынком». — Ведь нам надо где-нибудь спать, а в особенности тебе, потому что ты ещё слабый. Надо бы тебе также поесть.

— Не беспокойся, — ответил Ферроль и, незаметно для Хариты сняв обручальное кольцо покойной жены, оставил девушку на опушке роши, а сам прошёл к затерянному в кустах огню; этот дом принадлежал учителю Гревсу. Ферроль постучал, Гревс, сжав узкое лицо костлявой рукой, скопил глаза на дверь, а его рыжие дети, пять девочек и три мальчика, спавшие в другой комнате, закричали:

— Папа, папа, не пускай; это опять пришли просить милостыню!

Жена Гревса подняла палец и сказала:

— Почему собака не лает?

— Не лает, потому что не бита, — ответил Гревс и, нехотя оставив занятия — разборку карманных часов, снял с двери запоры.

— Немного поздно, — сказал он, успокоенный седеющей бородой Ферроля и его ясными морщинами вокруг острых, прямых глаз, — что вам нужно?

— Не купите ли вы кольцо? — ответил Ферроль. — Мне нужны не деньги, а пища; я только что оставил больницу и иду с дочерью искать работу.

— Это кольцо — обручальное, — сказал Гревс своей остроносой жене, женщине небольшого роста, беременной и сварливой. — Отойдём в сторону, — шепнул он.

Ферроль прислонился к стене, устало смотря, как из рук в руки ходит кольцо, уже не блестя, как блестело на пальце двойника Хариты — Таис.

В раскрытую дверь спальни дети кричали:

— Папа! Там кто? Мама, я тоже хочу смотреть! Папа, гони бродягу, выстрели в него из ружья! Мама, я боюсь!

— Да... а потом узнаем, что на дороге кто-то зарезан, — говорил Гревс.

— Кольцо доказывает, — возражала жена. — А пастор сказал: «Блажен тот, который...». Ну, понимай сам. Вот мне пришло в голову, что если ты их не пустишь ночевать, я заболела.

— Будь по-твоему, Кетти, — ответил муж и, обратясь к Ферролю, сказал: — Идите, приведите дочь вашу; мы положим вас спать, а за кольцо я утром вам дам провизии.

— Вы очень добры, — ответил Ферроль и ушёл позвать Хариту, сидевшую в полной простора и сна тьме под старым орехом.

— Что, сынок, дали тебе что-нибудь? — спросила девушка, слыша покашливание вблизи себя.

— Дадут, нас позвали ночевать, — сообщил Ферроль, — идём со мной.

Девушка вскочила и отряхнулась, весьма довольная.

— По крайней мере, мы хорошо выспимся, — сказала она, — смотри, как нам повезло!

Опять собака не лаяла, хотя её скачущий силуэт гремел цепью, порываясь рассмотреть тех, кто не внушает тревоги.

Все дети вышли смотреть прохожих; рыжие, полуголые или закутанные в одеяла, они сидели на стульях и подоконниках, гримасничая и надевая друг друга щелчками. Харита опустила узел на пол и встретила взгляд жены учителя, затем взгляд Гревса; первый недружелюбно метнулся, второй начал мерцать.

— Странно, что собака на вас не лаяла, — снова удивилась Кетти, и её намерение сварить кофе исчезло. — Чего же ты стоишь? — обратилась она к мужу: — Принеси-ка из сарая соломы да те одеяла, которые я буду перешивать. Садитесь, милочка.

Она положила на стол хлеб, поставила блюдо с тыквенным пирогом и кувшин молока. Мешочек с провизией был готов. — Вот это вы заберёте с собой, — говорила Кетти. Там яйца, сыр и хлеб. Садитесь и ешьте.

Гости уселись, но, как ни хотелось Харите есть, дать себе волю она не могла и, медленно отломив кусок пирога, стала, опустив глаза, прихлёбывать молоко.

Ферроль ел, как автомат, стремясь насытиться раньше, чем горло начнёт сопротивляться еде. Отодвинув тарелку, он закурил трубку.

— Тётя драная, — сказал крошечный мальчик, ползая под столом, он тыкал пальцем в лопнувший башмак девушки.

— Мама, ты заперла серебряные ложки? — спросила старшая, чинно сидевшая девочка, нахмурив рыжие бровки и не спуская глаз с посетителей.

— О, да! — значительно заявила мать и, разостав у стены кукурузную солому, опустила на неё старые одеяла. — Так куда же вы идёте, хорошие мои?

— Мы пойдём по дороге — всё прямо, как ведёт дорога, — ответила ей Харита, — ведь нам ничего другого не остаётся, не правда ли, сынок?

— Харита называет меня «сынком», — сказал Ферроль, видя, что Гревс поднял брови.

— Вы откуда... позвольте спросить? — вежливо обратился Гревс к девушке, но ответа не получил, так как жена быстро прикрикнула:

— Тебе-то какое дело!

— Я ехал с дочерью из Бедвайка, — ответил вместо Хариты Ферроль, — обстоятельства разорили нас.

Гревс побоялся спрашивать, а Кетти двинула бровью в знак безразличия, и вопросы окончились.

Дети подняли рёв, — двое из них получили шлепки за намерение тайно допить оставшееся молоко; между тем Гревс, видя, что Харита почти ничего не ела, вознамерился намазать ей кусок хлеба маслом; он сделал это вполне корректно, даже чуть сухо, подвигая угощение, покраснел до ушей. Отчётливо и звонко старшая девочка донесла:

— Мама, мама, смотри: папа намазал ей хлеба с маслом... и как толсто!

Взгляд Кетти лизнул по хлебу.

— Твой отец готов всем делать доброе, кроме нас, — сказала она. — Что же вы не едите ваш хлеб?

— Я не хочу, — сказала, нервно смеясь, Харита. — И нам даже пора идти.

— Да, пора, — тихо подтвердил Ферроль, выкопачивая трубку. Ночь хороша и тепла, а днём идти очень жарко.

— Они гордые, — сказал горбатенький мальчик с бледным острозубым лицом, — им здесь не нравится.

— Ну да, разумеется, как хотите, — смешался Гревс. — Провизия готова.

— Нет! Я хочу знать, в чём штука? — подступила жена. — Что дети изволили пошутить, что ли?

— О, нет, — сказал Ферроль, с трудом удерживая гнев, — но моя дочь страдает припадками эпилепсии, и я один замечаю, что у неё должен быть припадок.

— Ах, так! Что же вы не сказали раньше? Нехорошо с вашей стороны, — отозвался Гревс. — А давно это у вас?

— Давно, — сказала, помолчав, девушка. — Ты готов, сынок? — и она положила ему на голову шляпу, которую он поправил.

Они встали и вышли, сопровождаемые смешливым, хотя и стеснённым молчанием. Вслед им раздался голос старшей девочки:

— Вымой хорошенько тарелки, мама, они большие и грязные.

Крепко прижимаясь к отцу, несшему узел и провизию, тихо говорила Харита:

— Под ветерком, сынок, — правда? Под пальтишком твоим? А как нравится тебе семейство?..

И она рассмеялась сквозь слезы так заразительно, что небрежно рассмеялся и Ферроль, уводя девушку к приюту чистой травы.

Кетти сказала хмуро чинившему часы Гревсу:

— Опять собака не лаяла. Наверное, они прикормили её.

Между тем, старуха Санстон легла спать и увидела при спущенном огне лампы, что кот бросился ловить выбежавшую из-под кровати мышь.

— Прочь, проклятый! — закричала она, вскакивая, и кинулась гнать его в соседнюю комнату, но оступилась и, падая, ударилась виском об угол стола.

Кот выбежал, затем, когда всё утихло, вернулся, подошёл к трупку издохшей ведьмы, обнюхал её прикушенный зубами язык и, выгнув спину, стал громко мурлыкать.

II

К вечеру следующего дня Ферроль и Харита, нигде не найдя работы, постучались в ворота небольшой мызы. Её хозяин оказался приветливым добрым человеком. Несмотря на возраст, лет шестьдесят было ему, он сохранил ясность духа, юмор, ловкость движений. Его звали Абрагам Флетчер. На умном твёрдом лице Флетчера всегда мелькала проницательная улыбка, а полуседые волосы его лежали с изяществом пудреного парика XVIII столетия.

Встретив путников как гостей, накормив их отличным ужином, Флетчер приказал служанке Миранде устроить две постели в свободных комнатах левого крыла здания.

Миранда, смуглая женщина с суровым лицом, отправилась исполнять приказ, а Ферроль поведал Флетчеру свою историю.

— Мой план, — сказал в заключение Ферроль, — состоит в том, чтобы по дороге к Покету заработать денег на проезд наш в Риоль, есть там оружейные заводы, а дело это мне хорошо знакомо.

Меж тем Харита, отдохнув, спокойная, сытая, чувствовала подъём духа, но куда ей было излить его, она сидела и улыбалась, медленно глядя кожаный валик кресла, а ногу с лопнувшим башмаком прятала под сиденье.

— Надо вам отдохнуть, — сказал ей Флетчер, — хотите, я покажу вам, где комната?

— Хорошо, — встала Харита.

Гостям были отведены две комнаты рядом, а двери их выходили в небольшой зал. Здесь стоял шкаф с книгами; Флетчер сказал Харите:

— Шкап не заперт, читайте, сколько хотите.

— Хорошо, я потом за него примусь, — ответила девушка.

Флетчер наклонился и сделал что-то с её ногой, но она, рассматривая шкаф, поздно заметила его движение, — лишь когда он выпрямился.

— Что это? — спросила Харита, отступая и смотря на пол.

— Ничего, ничего, — сказал Флетчер, пряча нитку за спину.

На нитке он прижал ногтем две мерки: длину и ширину башмака.

«Какой он странный, — подумала девушка, — верно, он нашёл что-нибудь».

Открыв дверь комнаты, Флетчер пожелал Харите спокойной ночи и неторопливо ушёл, а Харита заговорила с Мирандой, расстилавшей белое одеяло.

— Надо ли вам помочь, Миранда?

— Нет, — сказала служанка.

— Это окно выходит к морю?

— Да, — ответила Миранда, наливая в умывальник воду.

Харита помолчала.

— Будьте добры меня разбудить пораньше, — сказала она, вздохнув, — потому что нам надо идти.

— Хорошо, — ответила Миранда и, подобрав тряпки, ушла.

Девушка взглянула в окно: там, чернеясь на заоблачном свете позднего неба, стояли горы. «Ах, всё равно, — подумала девушка, — какое дело мне до глупой Миранды.»

Она вышла посмотреть, как обстоят дела в комнате отца, и услышала за дверью залы отчётливый разговор:

— Миранда, — говорил Флетчер, — я слышал, как вы невежливо, нехорошо отвечали бездомной девушке, которая не сделала вам ничего худого.

— Она врёт, если пожаловалась, — сказала Миранда. — Сама же пристала ко мне и говорит: «А что, богат ли ваш хозяин?»

— Неправда, я слышал, когда проходил под окнами, другое.

— Ну, хорошо, я буду говорить как с принцессой.

— И это лишнее, говорите с уважением, так как она моя гостья. Это всё, а на следующий раз я выдам вам ваше жалованье и забуду о вас.

— Что это ты такая весёлая? — спросил Ферроль, когда Харита пришла вниз.

— А вот так, мне весело, — сказала Харита и села рядом с Флетчером. — Я отошла. Побывала в комнате. Я засну крепко, сынок. Застряло? — обратилась она к Флетчеру, который не мог прососать трубку. — Сейчас. Чем же? Гвоздя нет. Разве булавкой? Но нет и булавки.

— Обнищала, — шутит Ферроль.

— Нет, сынок, мы не нищие, у нас нет только денег.

Харита выбежала на двор и принесла длинную колючку акации.

— Колупайте-ка этим, — сказала она, предварительно тронув пальцем колючки.

— Прочищено, — заявил Флетчер, испытыв орудие Хариты. — У акации есть колючки, они защищают её, а есть ли они у вас?

— Нет! Абсолютная бесколючесть кругом, можно пощупать, — расхохоталась девушка, потом задумалась и стала водить пальцем по скатерти.

Вскоре после того Ферроль улёгся спать, весьма довольный настоящим отдыхом после утомительного пути; ушла, поцеловав на ночь отца, и девушка в свою комнату, но не разделась, а стала прислушиваться. Когда Ферроль начал храпеть, она тихо зашла к нему, взяла его сильно поношенные брюки и, пятясь на цыпочках, удалилась, но когда притворяла дверь, то увидела, что в зале стоит Флетчер.

Смутясь, Харита быстро свернула брюки и потупилась, а Флетчер подошёл к ней.

— Вы не спите ещё? — сказала девушка, держа отцовскую вещь за спиной.

— Я ложусь поздно. Отнесите эту починку к себе и вернитесь, я хочу поговорить с вами.

— Хорошо, а потом я буду штопать, так как тут есть, понимаете, небольшие отверстия. Необходимо, ничего не поделаешь. Я вернусь, только я отнесу.

Флетчер стоял, задумавшись. Рассеянно взглянув на возвратившуюся девушку, он увёл её на маленький железный балкон.



— Сегодня ли, завтра ли, но этот разговор нужен. Я одинок, стар и соскучился без людей. Оставайтесь здесь жить навсегда.

— Благодарю вас, — сказала, оторопев, Харита, — но я не могу решать сама такой важный вопрос.

— Да, поговорите с отцом.

— Допустим, он согласится. Как же мы будем жить? Горестно жить из милости.

— Горестно жить из милости, но приятно из дружества, — ответил Флетчер.

— Правда, вы особенный человек, я это сразу заметила и доверяю вам, — задумчиво начала Харита, но уже ей хотелось смеяться от удовольствия. — Но вы совсем не знаете нас; ещё один только вечер мы здесь.

— Немного надо времени, чтобы отличить воду от вина, оленя от козы и золото от меди, — сказал Флетчер. — Быстрота решения ещё не означает его несостоятельности.

— Но другое означает. Может быть, мы преступники! Какие-нибудь жулики, хотя, — поспешно закончила Харита, — этого нет, конечно, но как примерно сказать!?

— Примерно сказать, что вам пора спать, — ответил Флетчер, — итак, снова поговорим утром.

— Я не знаю, что будет, — помолчав, сказала девушка, обратив к Флетчеру растроганное лицо, — но я знаю, что теперь не забуду вас никогда. Спокойной ночи! — Она вошла в комнату, подрезала фитиль свечи, уселась и пришила пуговицу к изнанке материи.

III

— Делайте, как хотите; вы дома, — сказал Флетчер.

— Я остаюсь с тем условием, — заявила Харита, — что мне дадут работу.

— Дадим работу, — ответил Флетчер, — впрочем, вы сама найдёте её, где, когда, как и что вам захочется.

— Напрасно вы так сказали, — встревоженно заметил Ферроль, — потому что Харита существо деятельное и беспокойное, она перебьёт массу вещей и наделает хлопот всем.

— Сынок, сынок! — укоризненно сказала Харита. — Хорошо ли так говорить?

— Следовательно, ваше представление о себе иное? — спросил Флетчер.

Обиженная, Харита выпрямилась и некоторое время молчала, но принудила себя, наконец, ответить:

— Я сужу так: если я делаю что-нибудь хорошо, — похвалите меня, а если делаю плохо, — стоит ли обращать внимание?

— Нет, не стоит, — важно сказал Флетчер.

— Не стоит, — подтвердил Ферроль.

— Лучше я встану и пройду, — вздохнула девушка, — так как вы оба подшучиваете надо мной, а за что?

— За то, — угрюмо обронил Флетчер.

— За то, — удачно скопировал его Ферроль.

— Я действительно скучаю сидеть без дела, — сказала Харита, — без дела и без движения. Но, когда

я читаю, — я могу сидеть спокойно и долго, я двигаюсь тогда в книге, с теми, о ком читаю.

Она встала и ушла к себе, где увидела новые башмаки. Что башмаки предназначались именно ей, явствовало приложенная к ним тут же на стуле записка Флетчера: «Так надо, так хорошо». Вспыхнув, Харита залилась слезами и, отплавав, надела башмаки с великим облегчением.

— Действительно, что так хорошо, — говорила она, притопывая носком, а затем бегая по комнате и склоняя взгляд к стройным своим ногам, — те были совсем дырявые. Значит, я — нищая? Нет, нет; только всё это трогает, волнует меня; мыслей много противоречивых. Всё равно.

Но, обувшись, она села на стул, не решаясь теперь сойти вниз. Так она сидела бы долго, если бы ей не пришла разумная мысль о равновесии, и, порывшись в узле, Харита надела ещё почти новую светлую блузу, волосы обвязала бархатной синей лентой и пристегнула к рукавам ажурные нарукавники.

На лестнице встретила она отца и показала ему ногу.

— Видишь? У меня башмаки, — сказала Харита, — они очутились в моей комнате с запиской, что они для меня. Я их взяла. Хорошо ли это, отец?

Ферроль очень удивился, задумался, но в конце концов правильно отнёсся к поступку хозяйки.

— Что же такое? Он одинокий и великодушный человек, а башмаки — увьи! — тебе нужны очень давно. Я чувствую к Флетчеру доверие и горячо признателен ему. Когда мы поправим свои обстоятельства, то подарим ему тоже какую-нибудь приятную вещь, а пока не думай больше об этом.

— Бедный ты мой! — сказала Харита, обнимая Ферроля и прижимаясь к его плечу головой. — Не можешь мне купить башмаков. Я даже устала, сынок; доброта, может быть, утомительнее злобы. Куда ты идешь?

— К Флетчеру, осмотреть мызу.

Они сошли вниз по лестнице, а Флетчер позвал девушку идти с ними, но она отказалась:

— Если позволите, я сделаю это одна как-нибудь в другой раз, — сказала Харита и показала носок башмака. — Вы видите, дядя Клаус принёс мне подарок. Поблагодарите его, пожалуйста, за меня от всей души.

— Клаус не любит благодарности, — ответил, низко кланяясь ей, Флетчер, — впрочем, точно ли я снял мерку вчера?

— Ах!.. Вспомнила: вы нагнулись, когда я стояла у шкапа.

— Право, дорогой Флетчер, — сказал Ферроль, — вы отнеслись к нам с таким участием, что я никогда не забуду вас, и очень хотел бы в свою очередь быть вам полезен. Надеюсь, вы намекнёте, при случае.

— Стары мы с вами, — отвечал, помолчав, Флетчер, — чтобы не понимать друг друга.

На этом разговор кончился, и, сказав: «а мне предстоят хозяйственные занятия», Харита, снова взойдя наверх, собрала грязное бельё. Проходя с ним вокруг дома, к ручью, текущему под обрывом сзади мызы, девушка остановилась перед сквозной нишей

стены двора — там сверкал сад Флетчера. Харита зашла посмотреть.

Вокруг этого небольшого участка лежал глубокий овраг, делая тем излишней ограду. Край обрыва засажен кустами, покрытыми множеством живых цветов. В центре сада мерила облака вершиной высокая араукария, нижние ветви которой лежали среди кактусов и алоэ. Цветы магнолий, оттенка слоновой кости, пурпурные цветы и кусты роз раскидывались на фоне синих теней или яркого света. В саду не было аллей, только тропы, ведущие к отдалённому тенистому месту под тюльпановым деревом, где на четыре камня был положен толстый срез красного кедра, и вокруг этого стола поместились каменные скамьи.

Отсюда видна была за оврагом виноградная плантация и затуманенные расстоянием горы.

Харита любила сады, любила самое слово «сад», а потому внимательно осмотрелась и заглянула под араукарию. Там сокровенно, в тёмной тени, стояла трава. Казалось, только что здесь был кто-то или бывает, но его пока нет. Затем она выползла из-под этого укрытия и через двор сошла по тропе к основанию берегового выступа тихо текущего ручья.

Оглянувшись, Харита увидела над собой тыловую сторону мызы: лишь одно окно, в правом углу под крышей, было на той стене. Её нижняя часть скрывалась в уцепившихся за неё ворохах вьющегося и колючего кустарника.

Харита опустила бельё к ногам и посмотрела в ручей.

Ручей, шириной в неполную возможность перепрыгнуть его, стлался по облачному дну; только лежащие на воде у самого берега сломанные стебли тростника выдавали его поверхность. Над высоким тростником летали стрекозы.

Едва Харита развязала свой узел, как осыпалась к её ногам земля с обрыва, и у воды очутилась Миранда, по-видимому, серьёзно недовольная самостоятельной стиркой.

— Напрасно вы не сказали мне, — бойко объявила она, — отдайте, я тотчас выстираю, и к вечеру всё будет готово.

— Нет, я сама! — вскричала Харита, защищая узел, уже схваченный служанкой. — Я люблю стирать. Я не отдам.

Миранда уступила, но не ушла сразу.

— Как хотите, конечно, — сказала она, — я вам же хотела услужить. Промочите башмаки. Надели бы худые, свои.

— Ничего, я разуюсь, — ответила, тяжело взволнованная, девушка, — идите, вы не нужны мне сейчас.

Сосредоточенно напевая, Миранда поднялась вверх и пошла на кухню, где чернокожая Юнона валяла чёрными руками белое тесто.

— Смех, гадость! — сказала Миранда приятельнице. — Хозяин наш стар и глуп; она живо оберёт его, у ней уже тон хозяйский.

— Ты красивее, — оскалилась Юнона, — только Флетчеру не нравишься. Всем нравишься, Юнона до-

станет травы лучше лекарства, Миранда подсунет её господину в подушку. Тогда откроются его глаза.

— Бутылка рома, если не врѣшь.

— Будь спокойна, я сделаю.

Между тем Харита нарвала тростника и разостлала его у воды, а чистое бельё укладывала, свернув жгутом, на тростник. Чтобы защитить голову от солнца, она обвязала её белым платком. Когда устала спина, девушка выпрямилась и, поправляя волосы, рассеянно посмотрела через ручей. Её внимание было привлечено висевшими на кустах прядями ползучей травы, напоминающей гриву. Жгло солнце, тишина не нарушалась ничем, но что-то совершалось вокруг — и из кустов выехал всадник с длинной бородой, с густыми бровями. Глубокий шрам на щеке был, как мелом, проведён по загару лица. Его латы сверкали, подобно озарённой воде. Сзади него, крепко держась за всадника, сидела молодая дама в белом костюме пажа, и её раскрасневшееся лицо выражало досаду и утомление.

Всадник остановился у воды и сказал что-то на неизвестном языке, лишь имя «Арманда» было понятно Харите как обращение к женщине. Она вспыхнула и, сняв своенравным движением висевшую на её груди золотую цепь с изображением железного сердца, бросила эту вещь в кусты.

Всадник сомнительно улыбнулся, но она протянула ему обе руки и посмотрела ему прямо в глаза. Он кивнул.

Снова шевельнулись кусты, задетые лёгким ветром, грива коня повисла на их ветвях тёмной травой, а верхний край белого вала за бугром берега напоминал страусовое перо.

Харита крепко зажмурилась и потрясла головой. Пришло ей на мысль, что подкрадывается солнечный удар, и она смочила виски тёплой водой ручья, затем развесила бельё на тростник и взобралась по тропинке на двор мызы.

У входа в дом была естественная терраса — протянут над землёй тент, а под ним — стол, диван, качающееся кресло и стулья. Когда Харита пришла, Флетчер угощал Ферроля смесью апельсинового сока с ликёром, они рассматривали ружьё Флетчера, у которого экстрактор действовал слабо. Ферроль сказал, что к вечеру починит его.

— В комнатах значительно прохладнее, — заметил Флетчер Харите, — впрочем, скоро мы будем завтракать. А! Я слышу лай собак, это Вансульта!

Действительно, во двор вбежали два дога, белые, с коричневыми пятнами, а за ними явился всадник, сосед Флетчера, Генри Вансульта, рослый человек 28 лет. Смуглый румянец во всю щѣку, широкие плечи и весѣлые тѣмные глаза Генри заимствовал от отца, а вьющиеся на лбу и висках волосы — от матери. Небольшие тѣмные усы оттеняли простодушную, но тѣрдую улыбку этого на редкость беспечного лица. Талию всадника охватывал пояс-патронташ, остальной костюм составляли коричневая шляпа, сплетѣнная из стеблей местной травы, белая рубашка и сапоги, украшенные серебряными шпорами. За спиной висело ружьѣ.

Въехав и сдержав лошадь, Вансульт крикнул:

— Скорее, Флетчер, седлайте вашего Оберона, неподалеку нашли следы пантеры, а как я не жаден, то отдаю вам любую половину её, если разделите со мной скучный путь на Жёлтую гору.

— Забирайте обе половины, Генри, — отвечал Флетчер, — у меня гости, да и вам, я думаю, не мешает, хотя бы на час, оставить высоту и спуститься вниз, к завтраку.

Вансульт вытаращил глаза, но, впрочем, покинул седло довольно охотно, лишь пробормотал:

— Зной будет нестерпим. Что скажут обо мне Z и Z?

Между тем доги легли в тень, не сетуя на задержку, а Вансульт, поручив лошадь Скаберу, одному из работников мызы, вошёл под тент и познакомился с новыми для него лицами.

Харита сидела в качалке. Некоторое время движения молодого охотника были связаны. Он бросился на диван и полуразвалился, вытирая шею платком.

— Отличный день для охоты, не правда ли? — обратился он к девушке, на что та с трудом удержала смех, — так рассеян и шумен был самый вид Вансульта. — Ступайте сюда. Мои собаки, — сказал он, когда сильной походкой подошли оба пса, — справляются с пантерой, как я, например, с кошкой.

— Генри Вансульт — страстный охотник, — сказал Флетчер, — потому-то, Харита, он и обращается к вам как к компетентному лицу.

— А? В самом деле! — смутился Вансульт. — Да, теперь девушки не охотятся. Впрочем, есть одна, вы знаете её.

— Должно быть Гонорина Риваль, — сказал Флетчер.

— О, да. Сорок пять лет. Благодаря устройству голосовых связок не берёт с собой рога.

— Самая подходящая для вас жена, Генри, — заявил Флетчер. — Женитесь, наконец!.. Конечно, не на Риваль, это я пошутил. У вас пойдут дети, заботы, и вы успокоитесь.

— Да, — вскричал Вансульт, принимая от Флетчера стакан ликёрной смеси, — да! Дети, — вы правы! Много детей, пять, шесть, одиннадцать, — путать мне волосы на головёнках! Отовсюду лезут на вас, а посередине она, моё божество, моя королева! Когда-нибудь я женюсь.

Все рассмеялись, а Харита пуще всех — так картинно изобразил Вансульт движениями и тоном голоса будущую семейную сцену.

— Нет, нет! Этого не будет с вами! — воскликнула девушка, — вы ведь так увлечены охотой.

— Вы думаете? — встревоженно спросил Вансульт. — Вы думаете... — печально повторил он. — В самом деле я произвожу такое впечатление? Это нехорошо. Это плохо. Это мне не нравится. Как виноград?

— Изумителен, — ответил Флетчер. — Я слышал, вы сочинили новую песню.

— Я? Да... пустячок. Где ваша гитара?

Флетчер принёс гитару, Вансульт настроил её, говоря:

— Это на мотив, который я недавно слышал в Гертоне. Та-ра-та-та-ра-та-аа, — пропел он и простодушно улыбнулся Харите на её лёгкий смех: этот человек вызывал в Харите неудержимое весёлое настроение.

IV

Вскоре они собрались и поехали. Флетчер сам управлял лошадью. Дорога шла в тени высоких садов, иногда подступая к мосту через овраг или заводя в щель между глухих стен фруктовых садов. Выехав за пределы участков центра долины, Харита увидела группу зданий, расположенных подобием улицы. Значительно в стороне от них, при начале табачных плантаций, стоял белый дом, окружённый террасой со всех сторон. Вокруг дома клумбы, кусты цветов, колонны вьющейся по углам террас зелени сверкали так нарядно и живо, что стеснение Хариты прошло. На теневой стороне дома, под белой, с красной каймой, парусиной сидели за столом несколько человек. Харита тотчас узнала Вансульта, скорым шагом шедшего сквозь цветники.

— Готова, готова, пантера! — сказал он, здороваясь и, к некоторому смущению Хариты, довольно рассеянно помогая ей оставить седло, — а завтра, Харита, её отделанная шкура будет у вас, чтобы вытирать ею ноги.

Пышность его тона была искусственной, но стала естественной, как только вспомнил он о прововавшемся пастухе.

— Ага! — сказал Вансульт. — Есть дело! Пусть вы решите, что мне делать с Рамиресом.

В это время подошёл такой огромный и свирепый человек с двойной линией грузного живота, что Харита испугалась его. Видя, как она двинулась отшатнуться, Генри горько ухмыльнулся.

— При виде такого отца, — патетически сказал он, — волосы встают дыбом, однако, он вытаскивает муху из молока, не свихнув ей ни одного сустава.

— Оставьте пока Рамиреса, — сказал низким, как далёкий гром, голосом старый Вансульт.

Больше он ничего не сказал, а взял обе руки девушки, заглянул ей в лицо, и она перестала робеть, только было у неё впечатление, что руки её пропали. Наконец, они вышли из горячих мешков лап старого колосса.

Гости подошли к столу. Генри Вансульт повернул рукоятку крана в стене, и из травы газонов вылетели раскидистые фонтаны.

Пожилая, тощая женщина с красным носиком и остриженными по-мужски волосами внимательно посмотрела на Генри. Сестра Генри Дамьена стоя глядела на подошедшую Хариту, улыбаясь приветливо и выжидательно. В плетёном кресле сидела мать Генри, крепкая старуха с чувственным и нервным лицом. У неё были чёрные волосы, седые виски; взгляд пристальный, улыбка небрежна.

Харита, преодолевая смущение, познакомилась со всеми этими людьми. — Вот моя мать, сестра, вот Гонорена, — говорил Генри. При имени «Гонорена» невольный свет смеха скользнул по лицу Хариты, чего старая дева не заметила.

Дамьена, усадив Хариту, села с ней рядом, а мужчины отошли к другому концу террасы, где стали курить.

Стараясь быть ровной, Харита уступила Генри свою накидку и познакомилась с обществом. Рука Доротеи Вансульт, матери Генри, была горяча и жестка, костлявая рука Гонорены — прохладна и шершава, рука Дамьены, сестры Генри, послушна и неспокойна. Должно быть, история появления Хариты на мызе Флетчера была уже известна присутствующим, так как она заметила это по взглядам.

Краткая пауза оборвалась восклицанием Гонорены:

— Генри, солнце ещё не село, а вы пустили на газон воду!

Дикий, визгливый голос вызвал у Хариты улыбку.

— Такая поливка вредна цветам! — шумно продолжала старая дева; — я понимаю, что вы хвастаетесь своим орошением, но лучше его закрыть.

— Кузина, нехорошо так подавлять хотя бы и законным авторитетом, — возразил Генри; — «травя»?! — вы говорите; «цветы»?! — вы говорите, а посмотрите, сколько радуг трепещет над зеленью!

— Показал и довольно, — не унималось странное существо, оправляя на красных костях локтей короткие рукава из грубой серой материи.

— Да, я хотел показать фонтаны Харите, — спокойно заявил Генри, — что хотел, то я сделал. Вам нравятся радуги? — обратился он к девушке.

— Прекрасно! — сказала Харита, робко взглянув на присматривавшуюся к ней Доротею Вансульт.

— Так вас действительно восхищают эти мыльные пузыри? — провизжала Гонорена.

— Сознаюсь, что они хороши. Радостны и цветны, полны огней, — сообщила Харита, — я такие вещи очень люблю.

— Сошлись во вкусах, — изрекла Гонорена, оглядываясь и ища одобрения.

— Кузина, у вас желчь, — засмеялась Дамьена, а мать Вансульта сказала: «Бедная Гона злится до сих пор, что Генри не взял её с собой на охоту».

Генри закрыл воду, и фонтаны, осев, как упавшие газовые юбки, скрылись в земле.

— Желчи нет, однако пантера была бы убита мной, — заявила Гонорена, сердито открывая портсигар. — Благодарю вас, Генри, я отлично вижу, где стоит пепельница.

— Гона! — вскричал Вансульт, — вы переходите всякие границы.

— Возможно, что кое-кто был бы доволен вашей галантностью, но только не я. Если у меня есть руки, зрение и желание взять что-нибудь, я всегда смогу сделать это сама, без механического подчёркивания на каждом шагу моего пола.

Вансульт встал и ушёл. Пока он ходил за шкурой, Дамьена спросила Хариту:

— Долго ли вы пробудете здесь?

— Всё ещё ничего не известно пока, — ответила девушка, взглядывая на Флетчера, который заботливо следил за её лицом.

— Ей некуда торопиться, — сказал Флетчер, — я не люблю расставаться с настоящими людьми без особого повода и не считаю это ни экзекуцией, ни деспотизмом.

— Но я не тороплюсь, — простодушно ответила девушка. — Наш случай — увьи! — известен, я вижу! Печальный случай.

— Ну, по крайней мере, сегодня пусть не будет ничего печального, — сказала Доротея Вансульт, — в ваши годы я ходила подбоченясь, не смотря ни на что.

— Если вспоминать прошлое, то и я могу сообщить, — заметил Гедеон Вансульт, — что в молодости работал на табачных полях.

— Все вы Робинзоны, кроме меня — сказала Гонорена, — меня, родившейся в столь богатой семье, что даже никто не верит моей искренности, когда я защищаю на каждом шагу естественные права женщины.

— Что касается меня, милая Гона, — заявила Доротея Вансульт, — я предоставила защиту моих прав Гедеону и до сих пор в том не раскаиваюсь.

В это время две негритянки, колыхая серебряные подносы, внесли угощение: засахаренные фрукты, кофе, ликёр, пирожное, лёд, воду, варенье и мороженое. Каждый брал, что хотел, а Харита устремилась к мороженому.

V

Утром Харита и Ферроль направились к блокаузу; Харита спешила, торопясь убедить отца заманчивостью предполагаемого жилища, а потому всё время опережала Ферроля, шедшего своим ровным шагом. Ей казалось, что они идут со связанными ногами.

Наконец море начало плескаться вблизи, а стены укрепления стали видны с двух сторон. Несколько волнуясь, Харита показывала и расхваливала все подробности, точно в своих владениях.

— Вот ручей, — видишь ручей? — говорила она. — Очень удобно, вода близко; также можно стирать и мыть здесь посуду. А стены? Не правда ли, они так хороши и высоки? Хотя на том месте осыпалось несколько камней, но какое же это может иметь значение? Зато вторая стена совершенно цела. Я всходила на неё.

— Гм... — хмыкнул Ферроль. Довольно долго он говорил только «гм»... Заход в первый двор потребовал от Хариты много красноречия и уловок.

— Ты шуришься на кучи камней, да, тут, конечно, накопилось порядочно разного хлама, но, по-своему, это даже красиво, — говорила она, стараясь ходить среди разного хлама и барьеров легко, как будто тут был паркет. — Вот, видишь, цветёт кустарник; вот ящерицы... Деревцо! Я буду за ним ухаживать. Теперь пойдём дальше.

— Гм... — сказал Ферроль, останавливаясь, чтобы закурить трубку, — ворота можно исправить.

При таком, хотя первом, но уже деловом замечании Харита бросилась к отцу; обнимая и тормозя его, девушка преисполнилась уверенностью, что

отец поддаётся её бесхитростным обольщениям. — Конечно, безусловно! — закричала Харита, стараясь поднять за угол тяжёлую железную створу. — Даже я это сделаю; я могу и... я ведь стала сильнее... и вот, я уже подняла; уже!..

Угол створы выскользнул из её пальцев, упав с шумом на камни.

— Ага! — сказала Харита. — Не стоит пока пачкаться. Вот проход внутрь, камни мы уберём. Так вот, сынок, вот эти стены дома, о которых я говорила. Что?! Разве они плохи? Крыша, окна и двери — только и всего, а кровати, столы, стулья и прочее ты сумеешь сделать. Но посмотри эти ниши! Как они удобны! Сделать полки, разные углубления — и всё! Тут можешь ты раскладывать свои материалы, инструменты. Вот чудесные трапы, чтобы всходить на верх стен... Хочешь взойти наверх?

— Харита, — сказал Ферроль, которому не стоило труда мысленно прикинуть всё необходимое для жилья, — я сделаю столы, стулья и взойду наверх, но ты представляешь ли характер предстоящей работы?

— А как же? Конечно, я всё обдумала. Варить будем у стены, где сложен очаг, а я набью кругом гвозди для верёвок, чтобы вешать бельё.

— Нам понадобится следующее, — продолжал Ферроль, привлекая девушку за плечи к себе и заглядывая в её пылко сияющие глаза. — Суди сама — топор, лом, пила, тачка, лопата...

— Ах, это всё даёт Флетчер!

— Посуда, — продолжал Ферроль, — краска, стёкла, струг, долото, тиски, железо, проволока, гвозди, вёдра...

— Ах, я знаю; много всего! О, я несчастная! И ты несчастный!

— Кроме того, — говорил Ферроль, — понадобятся материалы для фейерверков, слесарные и токарные инструменты для починки оружия и выделки хороших ножей...

— Значит, мы не будем здесь жить? — огорчилась уже готовая плакать девушка. — Ты отказываешься?

— Совсем не то; я предвижу хлопоты и работу. Необходимо будет нанять человека, чтобы он помогал нам.

— Ага! — сказала Харита, облегчённо вздыхая. — Так решено?

— Решено, Харита, — лучше не найти места для пиротехники по самому свойству взрывчатых и горючих веществ.

Так разговаривая, они внезапно увидели человека, подошедшего к ним из-за стены будущего жилого дома. Незнакомый человек был одет в зелёную блузу, тёмные брюки и высокие сапоги. Спокойное, умное лицо этого человека, обветренное и обожжённое солнцем до красновато-бурых тонов, светилось невольной улыбкой, оставлявшей рот сжатым и брови сдвинутыми; худое, некрасивое лицо, внушающее доверие. Тёмные глаза смотрели прямо и замкнуто. Возраст человека мог быть около тридцати пяти лет.

— Должно быть, я есть тот самый работник, который вам нужен, — сказал он с лёгким смехом. —

Трудно не слышать разговор в десяти шагах. Моё имя Рейтар. Я лежал, проснувшись, за кучей камней и решил подойти, только когда я понял, что тут будет работа. Если хотите, мои руки будут вам стоять очень недорого. Работы много, а я охотно сделаю всё.

Ферроль присмотрелся к Рейтару, — тот не был бродягой; помолчав, не нашёл он также возражений инстинкта: перед ним стоял сильного сложения человек, а причины его бездомства никого не касались. Судьба подталкивала начать задуманное дело, Харите не терпелось выразить согласие, и Ферроль чувствовал, как, внутренне, про себя, она уже торопит его.

Между тем Харита, увидев Рейтара и услышав его предложение, стала шептать: «Вот, вот, вот, вот, отлично, вот хорошо, чудная примета для начала, само собой складывается, скорее, сынок, говори «да».

— Что ты там шепчешь? — сказал Ферроль, заметив красноречивость выражения обрадованного лица девушки. — Что же вам сказать? — обратился он к выжидательно стоявшему Рейтару, — ему стало жаль этого человека, манера и голос которого выказывали достоинство. — Дело, разумеется, простое: человек нужен. Придётся засыпать ямы пола, разобрать и убрать камни; внутренний двор привести в годное состояние.

— Не только это, — сказал Рейтар, сняв шляпу и приглаживая волосы. — Как вы говорили между собой, — надо сложить очаг, сделать крышу, окна, короче говоря, надо всё... Всё то, что хотела она...

VI

На другой день, ещё не было шести часов утра, как Ферроль отправился навестить своего неожиданного помощника. Он нёс ему лопату и кирку.

Так как стояли лунные ночи, то Рейтар смог работать без фонаря. По-видимому, он не спал; его заросшее волосами лицо приняло одеревенелое выражение; руки распухли, он дышал коротко, глухо, иногда вздрагивал. Его взгляд стал ещё более блестящим, почти неистовым, и Ферроль внимательно присмотрелся к нему. Но каждый человек выглядел бы не лучше, соверши он то, что сделал за сутки Рейтар. Все камни были удалены с внутреннего двора, а ровные, плоские камни собраны к развалинам дома, чтобы было чем настлать пол. Двор стронулся, начал жить. Древесный и железный лом возвышался грудой в углу стен.

— Рейтар, — сказал Ферроль, показывая рукой вокруг, — Харита была встревожена ещё вчера вашим видом, а я сегодня скажу, что так работать вы сможете не более двух-трёх дней. Быть может, вы торопитесь уходить?

— Всё это пустяки, — сказал Рейтар. — Нет ничего страшного в том, что я делаю. Но я, правда, устал. Достаньте мне три бутылки вина, лучше водки.

— Хорошо, Харита снесёт вам бутылки, а затем я куплю в здешних лавках необходимые материалы... Слушайте, друг мой, — Ферроль положил руку на твёрдое плечо измученного Рейтара, — я чувствую, что не радость привела вас сюда. При всём

уважении к тому, что гнетёт вас, я хотел бы узнать, не могу ли я чем-нибудь вам помочь?

— Великое счастье, что я встретил вас, — сказал после продолжительного молчания Рейтар, утаптывая каблуком землю, чтобы слова его звучали в меру чувств, вынужденных отчасти излиться. — Вот что я вам скажу. Я пришёл сюда ожидать известий от одной женщины. Место условлено. Она знает этот блокгауз. Я ждал вчера, ночью и утром, но никто не пришёл. Обстоятельства таковы, что можно объяснить дальнейшее молчание только зловещим образом. Между тем, я оставаться здесь могу ещё не далее трёх, самое большее пяти дней. Всю чёрную работу я для вас сделаю. Будьте добры послать телеграмму по адресу: Гертон, Старый рынок, дом два, Елизавете Кончай. Вот текст, вы перепишите его.

Рейтар подал Ферролю приготовленный листок бумаги. Почерк, орфография, манера ставить знаки и цифры — всё указывало руку образованного человека. Текст кратко гласил: «Я жду ответа».

— Отлично, — сказал Ферроль, кладя записку в бумажник. — Советую вам уснуть.

— О, нет, — быстро ответил Рейтар. — Слово «сон» звучит для меня чудно, как название странной рыбы. Купите несколько бутылок, — сказал он, сдержав страшный порыв говорить о своём состоянии, действительно потрясающем, если бы оно открылось. — Впрочем, что вы намерены покупать? Надо то, надо это. Составлен список?

Некоторое время они говорили о материалах, причём все замечания Рейтара выказывали высокую практичность и знание вещей. Ферроль записал, спрятал записку и поторопился к Харите, которая за время его отсутствия наскоро сметала из старой юбки чёрный передник и обшила его голубой лентой. В этом переднике девушка встретила отца и, так как он не заметил передника, то ей, после тщетных вопросов: «Скажи, сынок, ты ничего не видишь?» пришлось просто тряхнуть подолом своей обновы. Тогда озабоченный Ферроль льстииво и рассеянно похвалил её работу. Харита хотела обидеться, но раздумала; ей предстоял большой день: хлопоты, покупки... Так как Флетчер уже отправился на свои участки, то отец с дочерью завтракали без него.

— Харита, — сказал Ферроль, — когда мы придём в лавку, я куплю три бутылки водки, ещё самое необходимое, а ты снеси эти покупки Рейтару и не уходи из блокгауза. Там побудь с этим Рейтаром. Он очень не понравился мне сегодня. Сделано им столько, сколько могли бы сделать три человека за два дня. Он не спит, выглядит тяжело, болезненно и с мучением ждёт каких-то известий. Дал мне послать телеграмму. — Ферроль показал телеграмму Харите. — Во всём, как смотрит и говорит Рейтар, чувствую я сильную, высокую душу, но она, душа эта, поражена, быть может, смертельно. А как мы сами милостью Божией и участием доброго человека начинаем склеивать свою жизнь, то должны так же отнестись к чужому несчастью. Ты пригляди за ним, — повторил он.

Девушка заметно расстроилась. Она с вечера мечтала идти покупать разные вещи, — огромное развлечение, поглощающее и страстное, — но чувство дома сильно было у неё, а Рейтар действительно заслуживал внимательного к себе отношения.

— Хорошо, сынок, — жалостно вздохнула Харита: — Я там буду тебя ждать. Да... а-а как же? Разве мы не вместе всё выберем, купим и так далее?

— Дорогая моя девочка, — сказал Ферроль, привлекая её к себе, — я тебя понимаю, но нет радости в досках и инструментах. Мы сейчас пойдём купим с тобой посуду, провизию, две-три материи для белья, чтобы было тебе занятие; потом снесёшь ты водку, пишу и посуду в блокгауз. Там готовь нам всем бродяжий обед.

Немного надо было Харите, чтобы она развеселилась: стоило только утешить её согласием на задуманные дела. Уже она начала сверкать и сквозь различные «ах» вспомнила: «Сделал ли Рейтар очажок в нише, как я просила?»

Забота об очаге так начала её грызть, что она примирилась с мыслью идти в блокгауз одна. На её вопросы Ферроль признался, что не обратил внимания, есть или нет очага. «Впрочем, я могу сделать его сама, — сказала Харита, — несколько камней, железный лист с дыркой; раз-два и готово. Подожди, я оденусь».

Поспешно убежала она к себе. Легко сказать: «одеться прилично», когда есть выбор вещей, но это очень трудно сделать в положении Хариты. У неё ничего не было. Она прикрепила к шляпе, сшитой из серой материи, голубой бант, белую блузку украсила хотя старым, но хорошо выглаженным ажурным воротником, надела чёрную юбку, переменила тридцать раз заштопанные чулки на заштопанные раз пятнадцать, причесалась, напудрилась, и у неё отлегло от сердца. Вообще, если Харита оставалась довольна своим костюмом, выражение её лица совершало все портновские чудеса, старое на ней тогда казалось новым, а бедное — драгоценным. Прикрепив к груди эмалевую овальную брошку, девушка взяла ковровый саквояж и вернулась к отцу; они улыбнулись друг другу и направились за покупками.

Как пришли отец с дочерью к лавке Гальтона, несколько утомлённый Ферроль послал телеграмму, дал Харите денег и, оставив её у прилавка, зашёл в бар выпить кружку крепкого пива. Едва он, сев в углу помещения, взял трубку и приготовился отхлебнуть светлой жидкости, как сбоку сидевший человек сказал ему: «Кажется, вы Ферроль? Добрый день».

Обернувшись, Ферроль узнал Гревса, учителя. Смотря поверх очков, костлявый Гревс улыбался, потирая руки. Ферроль ответил поклоном.

— Да, это был неудачный ночлег, — бесцеремонно продолжал Гревс, двигаясь на стуле с видом озябшего. — Жена моя добрая женщина, но у неё, знаете ли, часто болят зубы. Врач обещает, что она родит двух. Надеюсь, вы не откажетесь разделить со мной бутылку вина?

— Я очень занят, — сказал Ферроль, залпом опожнив поданную ему кружку пива и засовывая трубку в карман.

— Жаль, — продолжал Гревс без смущения. — Мне предстоит здесь работа в школе, так как местный учитель болен. Я приехал с семейством и буду очень рад возобновить знакомство. Как здоровье вашей славной дочурки?

«Бог не допустит, чтобы оно испортилось от твоего вопроса», — подумал Ферроль. Кратко поблагодарив за внимание, он раскланялся и пришёл в лавку, где Харита, пунцовая от возбуждения и удовольствия — покупать, смотрела материи, которые показывал ей сумрачный, кроткого вида сын Гальтона, брала муслин, полотно и грубую ткань для рабочей одежды. Зная, что мешать ей теперь нельзя, Ферроль сказал только: «Харита, мы встретимся теперь с тобой на берегу моря. Тащи добычу лишь пока самую необходимую, не забудь водки, табаку и еды. Если будет тяжело нести, найми экипаж; я же пойду на склад строительных материалов».

— Ага, хорошо, — рассеянно ответила девушка, глядя на отца, как бы сквозь слой воды. — Я справлюсь.

Она осталась соображать, мерить и покупать, а Ферроль отправился за досками, балками, толем, инструментами и стеклом.

VII

Когда Ферроль оставил Рейтара, тот немного посидел у стены, а затем приступил к своей тяжёлой работе. В одной нише был уже сложен им простой, прочный очаг, и Рейтар даже набил топку древесным ломом, так что Харита могла начать стряпню сразу. К полудню Рейтар выкопал яму для извести, разрыл и уравнил землю внутри будущего дома, убрал остатки камней. Он работал быстро и сосредоточенно, без лишних движений. Выпрямляясь передохнуть, глазами он продолжал искать причину очередного усилия, опережал работу ясным представлением того, как она будет сделана. Когда он задумывался, земля вокруг его ног начинала быстро покрываться розовыми пятнами, как будто воздух метил её кровью. Эти пятна появлялись на коленях и даже на руках Рейтара. Не осмеливаясь всматриваться в это явление, он спешил снова заняться делом, и пятна понемногу исчезали.

Окончив всё, что мог сделать лопатой и киркой, причём едва ли пошло у него на отдых более десяти минут, Рейтар стал настилать пол. Стены разделяли пространство на два помещения: одно большое, другое поменьше, и в каждом из них было по окну. Рейтар приступил к полу большого помещения. У него была собрана отдельная группа плоских камней. Он укладывал и утапывал их рядом, соображая форму этих небольших плит, чтобы меньше было возни с отбиванием этих краев. Оббивать камни он мог только киркой, что было очень неудобно; поэтому, разыскав среди кучи железа тяжёлый болт с гайкой на конце, Рейтар действовал им, как молотком. Он безумно устал, но не хо-

тел отдыхать, потому что с усилением зноя розовые пятна стали появляться всё ярче и чаще. Спаясь, Рейтар посмотрел вверх на синюю высоту; в ней пролетела птица, роняя красные капли. Беспомощно озираясь, несчастный человек взял бутылку с водой, чтобы намочить голову и лицо; в это время усталая, но счастливая Харита появилась в тени прохода, помахала рукой и сказала: «Добрый день, титаны! Да ведь здесь можно теперь танцевать! Чудеса! Здравствуйте, Рейтар. Там человек привезёт тележку с поклажей. Пожалуйста, снесите всё сюда. Я, кажется, очень жадна и не удержалась, всего набрала. Ах, я вижу очаг!»

Харита подбежала к очагу, заглянула в топку и рассмеялась.

— Благодарю вас, Рейтар, — сказала восхищённая девушка. — Лучше нельзя! И на прутьях, и на листе!

— Да, я знаю огонь, — сказал польщённый Рейтар, у которого исчезла галлюцинация. — Как в лесу, так и дома я умею обращаться с огнём.

Рейтар вышел за пределы блокауза и увидел, что босоногий подросток-негр в конической соломенной шляпе тащит обратно в Лиму плетёную ручную тележку. Покупки Хариты были сложены у входа. Рейтар принёс ящик с посудой, корзину провизии и свёртки материи. Разгрузка тележки в пустынном до сих пор месте, видимо, интересовала негра; он, пока вёз, задал Харите несколько вопросов, на которые получал естественные для того дела ответы.

Конспирация Хариты тронула и взволновала Рейтара. Снеся на внутренний двор поклажу, он принялся молча курить, смотря на девушку особенным, полным взглядом. «Такова моя жена, моя Леона, — подумал Рейтар. — Она, конечно, старше и опытнее этой блаженной, но сущность одна: прежде всего забота о других.» Но Харите было теперь не до его мыслей, не до выражений его лица. Она вытащила припасённый передник и, облачась, захлопотала у очага; в трёх эмалированных кастрюлях надо было варить мясо, бобы и овощи. «Мы, знаете, пока будем есть кое-как и кое-что, — сообщила Рейтару девушка, расставив на земле тарелки, кастрюли, стаканы, чашки, ведро для воды и большой жестяной бак такого же назначения. — Впоследствии припомню всю кулинарию.»

— Я принесу воды, — сказал Рейтар, подходя к ведру.

— Оставьте, я принесу воду сама, — заявила девушка. — Сидите пока. Ах, я забыла! Вот вам водка, вот вам сыр и копчёная рыба. Вот хлеб... Поешьте, пожалуйста; выпейте, прошу вас!

Рейтар молча взял бутылку и, аккуратно открыв её штопором складного ножа, стал пить до тех пор, пока хватило дыхания. Взглянув на остаток, он выпил ещё, затем полностью осушил бутылку и съел кусок сыра. После этого его одичавшее, изнурённое лицо пришло в порядок. Он глубоко вздохнул и закурил трубку.

— Так её! — сказала изумлённая девушка. — Однако вам не повредит эта детская порция?

— Нет, — серьёзно ответил Рейтар. — Ничего не повредит человеку, если он знает свои силы.

— Мой отец послал вашу телеграмму, — сказала Харита, беря ведро. — Ободритесь. Ваши обстоятельства исправятся.

Она вышла на берег и увидела Флетчера, который подъезжал к блокгаузу верхом на маленькой, выпуклой со всех сторон тёмной лошади с серой гривой. Флетчер покинул седло и подошёл к девушке, говоря:

— Как я вижу, хозяйственные дела начались. Что же у вас здесь? Я хочу посмотреть. — Там Рейтар, — вопросительно произнесла Харита. — Он будет в душе меня бранить.

— Дело это важное, — ответил Флетчер, — вы под моей охраной, так что я должен знать о Рейтаре не менее вашего. Но не беспокойтесь, я отвечаю за всё.

— В таком случае ожидайте меня на внутреннем дворе, — сказала девушка, отходя к ручью. — Я мигом вернусь.

Флетчер завёл лошадь в тень первого входа, привязал повод к кусту и медленно прошёл внутрь блокгауза. Он был удивлён зрелищем произведённой работы, если бы не увидел сразу Рейтара, который настилал пол. Рейтар был не пьян, но примирительно отуплён вином; поэтому некоторое время спокойно рассматривал владельца блокгауза, пока не сообразил, — кто стоит перед ним.

Номер газеты был у Флетчера в кармане, а потому фермер и удивился, и ужаснулся.

— Дегж, — невольно сказал он, — что случилось?

Рейтар приложил палец к губам. Подойдя к Флетчеру, он опустил тому руку на плечо и тихо произнёс:

— Ни слова этим людям о Дегже. Вы благородный человек, и я не боюсь ни души, ни языка ваших, но... но о чём мы говорим? Здесь всё известно?

— Милый мой, Гертон лежит в тридцати пяти километрах от Лимы, а газеты получены час назад.

— Но я не чудовище, — сказал Дегж. — Вы знаете меня. Произошло беспрецедентное несчастье. Сейчас всё узнаете.

— Дегж, — сказал Флетчер, бессознательно сжимая руку проводника, — вы сошли с ума. Это так!

— Бесполезно так говорить. Я был, есть и буду здоров. Впрочем, пока девушка не вернулась, расскажу вам эту историю.

Машинально оглядываясь, Дегж начал говорить Флетчеру вполголоса нечто такое, отчего тот побледнел до неузнаваемости. Сам Дегж внешне оставался спокоен, лишь иногда останавливаясь, чтобы коротко, резко вздохнуть. На его счастье торопившаяся Харита запнулась о камень, пролив воду, почему ей пришлось ещё раз сходить к ручью, и Флетчер полностью уразумел суть происшествия.

— Теперь смотрите, — закончил Дегж. — Как это было бы на ваш характер? На мой — так, как оно вышло.

— Проклятие! — вскричал Флетчер, не замечая, что почти плачет от волнения. — Это судьба.

Заметив Хариту, они приняли более спокойные позы.

Харита заметила, что Дегж прячет газеты, а у Флетчера осунутое выражение лица. Инстинктом поняла она, что эти люди знают друг друга, только что говорили очень серьёзно и что от неё будет многое скрыто. Став печальной, Харита сказала, вздохнув:

— Хорошо ли теперь вокруг? Да, а будет ещё лучше. Вот мой очаг, — красота!

Но мысли её ушли внутрь, и слова, спутники верхних мыслей, исчезли. Подав Дегжу красный дикий цветок на колючем стебле, девушка коротко сказала: «Это для вас красный, как кровь, и хорошо защищён».

Дегж не выдержал. Каменные его нервы сломались. Бессознательно оттолкнув цветок, он едва удержал рыдания, но лишь таким усилием, от какого затряслись все мускулы его лица. Он пошатнулся, расставил руки, взглядом очертил землю и рухнул без сознания к ногам девушки. Изумлённо сжав губы, стояла она над ним, не зная, что делать. Флетчер плеснул ему рукой в лицо холодной воды. Дегж вздохнул и быстро вскочил, ненавидя себя за мгновенную слабость. Растерянно улыбаясь, он вытер лицо. Загадочно кивнув Харите, Флетчер сказал: «До вечера», — вышел, сел на лошадь и поскакал домой, а Харита, заложив руки за спину и нахмурясь, стала ходить по двору взад и вперёд. «С чужим горем, с несчастьем начинаем мы жить в этих стенах, — думала она. — Не было бы горя и нам. О птицы, птицы! — взмолилась девушка, увидев пролетающих вверху белых чаек. — Скажите всем, чтобы никто не беспокоил, не трогал нас, так же как и мы не трогаем никого. Включите это им в голову!»

VIII

Между тем Дегж сел у стены, напряжённо думая, курил сигарету. Глубоко вздохнув, Харита пошла к нему с решительным и мрачным лицом.

— Ну-с, довольно всех этих штук, — сказала девушка, — я не заслужила ни молчания, ни тревоги. Я не могу жить в тревоге. Говорите обо всём, во всём признайтесь, или же мы вынуждены будем обойтись без вашей помощи.

— В том и в другом случае вам придётся меня прогнать, — ответил Дегж. — Вы сами не знаете, чего требуете. Тут необыкновенное дело.

— Оставьте вы меня пугать. Я не упаду в обморок, не убегу и не донесу.

— В таком случае будьте добры слушать, не перебивая. Садитесь рядом со мной.

Дегж поставил два камня, и они уселись. Но ему трудно было начать, он берёт каждую секунду молчания, делая вид, будто желает прежде докурить сигарету.

— Хорошо, что Флетчер не дал вам прочесть газеты, — заговорил Дегж, — там искажено это чёрное дело. Оно стало грязным, но оно не грязное: оно просто чёрное. Прежде всего меня зовут не Рейтар. Моё имя — Дегж. Я проводник.

— О! О! — вскричала Харита. — Ведь вчера Флетчер рассказывал нам о Дегже! Так вы Дегж?!

Очень приятно! Впрочем, извините, что я перебила вас.

— Ничего. Я жил в Гертоне с женой. Наша квартира помещалась в доме Гайбера, торговца мясом. Сам Гайбер живёт там же. У него был сын, подросток четырнадцати лет, мерзкое и злое животное.

— Гайбер? — спросила Харита.

— Да, Гайбер. Вы его знаете?

— О, нет, я не знаю его.

— Мне показалось...

— Ну, ну, я вас слушаю...

— Вам слушать легче, чем мне говорить.

Дегж подошёл к углу стены, где стояла провизия, выпил из бутылки большой плоток виски и уселся на место.

— Сына Гайбера звали Йегудиил, а попросту — Гуд. Соседи вечно жаловались на него отцу. У него была мания делать гадости. Он выбивал окна, калечил чужих собак, пачкал развешанное на дворе бельё. С девочками Гуд вёл себя совершенно скотиной. Меня он боялся и ненавидел, так как я выдрал его за уши. Гуд осмелился нагадить перед крыльцом нашей квартиры, а я его уличил. Бывая подолгу в отсутствии, я по возвращении узнавал от жены, что Гуд сказал ей дерзость или, будто случайно, разбил камнем окно. Гайбер любил сына так глупо, совершенно по-скотски, что оставлял без внимания даже худшие его выходки: сам Гайбер — человек низкий и злой.

Харита печально слушала, с напряжением ожидая, что случай или судьба, руками Дегжа, как дальше окажется, уничтожит так мрачно оскорбившего её человека. Однако ей предстояло более сложное удивление.

— Исследуя горные тропинки вокруг одной системы карьеров, — продолжал Дегж, — я нашёл в лесу птенца-ястреба и привёз его домой. Надо сказать, что я вообще люблю птиц, а этот птенец весьма тронул меня смелым нападением на мой сапог; летать он ещё не умел. Я воспитал его, положив на дело много терпения и труда, за что был вознаграждён. Мой Рей стал ручным, более того: он сделался нашим любимцем; я и жена так привязались к нему, что если он улетал надолго, то мы скучали и беспокоились... Это была красивая коричнево-серая птица, величины дикого голубя, с двухфутовым размахом крыльев. Иногда он едва видно мерцал в небе, прямо над домом; утром он улетал, вечером прилетал, садясь на крышу или мне на плечо, как когда ему нравилось. В дождь Рей проводил день дома, перелетая с картины на шкаф, с вешалки на обеденный стол, возился часто под ногами, катал пуговицу или орех, словно котёнок. Он засыпал у меня на плече, чистил клюв о мою щёку. Рей был очень хорош.

— Он был очень хорош, — серьёзно произнесла девушка.

Дегж невесело рассмеялся.

— Леона иногда ворчала, что Рей невежа; действительно, подтирать за ним надо было часто и основательно. Хорошо. Три дня назад я сидел с женой за столом; служанка подавала обед. Всю ночь не

было ястреба, и мы беспокоились. Он был для меня, как бы я сам — ставший птицей. Вдруг Рей явился на подоконнике, но странно было его поведение: он бил крыльями, не взлетая, и как бы полз. Я встал, посмотрел, не схватил ли он ящерицу или жука. Неожиданно Рей взлетел, закричал долго, ужасно и бросился мне на грудь... С этой минуты он не переставал кричать. Ноги его были обрублены посередине голеней. Моя рубашка пестрела кровавыми пятнами. Рей бил крыльями и полз на плечо. Леона, увидев кровь, закричала, как сумасшедшая. Я хотел взять птицу, но она вырвалась и полетела, обезумев, как слепая, ударяясь о мебель, стены, падая на стол боком, снова взлетая и снова падая. Тарелки и скатерть были закапаны кровью... К руке Леоны, хотевшей поймать Рея, прилипло окровавленное перо. Наконец я его поймал, рассмотрел обрубленные ноги и держал птицу в руках, пока её дрожь не кончилась и не закрылись её глаза. Тогда я положил Рея на стол и вышел вымыть руки. Поверьте, Харита, я видел смерть, опасность, убивал сам, но никогда рёбра мои так не сводил гнев, худший всяческого рыдания... Никогда я не задыхался. Но здесь я мог только раскрывать рот. «Это Гуд!» — крикнула Леона, а затем ей стало так нехорошо, что служанка отвела её в спальню. Леона, слабая, она очень нервна... Харита, не плачьте так. Ведь это я волнуюсь сейчас.

Дегж взял у девушки из рук платок и утёр ей глаза; отдав платок, он продолжал, уже торопясь, кончить.

— Расстройство наше я выкладываю вам не буду. Весь день у меня рябило в глазах; куда я ни смотрел, там появлялись чёрные, а затем красные пятна; так это и до сих пор, если я не занят ничем.

Ну, я зарыл Рея в цветнике перед окнами и всё смотрел, не выйдет ли Гуд, но он не показывался. Соседи уже знали всю эту историю; один голос, одно мнение было у всех: «Благодарите сынка Гайбера!» А улик не было. Ещё неразрешённым оставался вопрос, как Гуд мог схватить Рея. Но это был Гуд.

— Гуд Гайбер, — сказала Харита.

— Гуд Гайбер, да, проклятое существо, отрубившее ноги моей душе. Под вечер Леона всё ещё лежала в постели, а я непрерывно видел падающие вокруг меня красные пятна и пошёл во двор, в кладовую, чтобы отвлечься. Я заметил, что если делаю что-нибудь, — пятна пропадают. В кладовой лежал запас угля, там же я держал инструменты и разный хлам. Весь день я не видел Гуда, но неожиданно он пришёл, когда я сколачивал ящик для шкур, чтобы хранить их от моли, и остановился в дверях.

Гуд смотрел на меня спокойно, чуть прищурясь и, может быть, бессознательно улыбаясь. Этот рыжий сутуловатый парень с жирными плечами был мне всегда противен, а тогда я едва не выбросил его пинком ноги, однако сдержался. «Что, умер ваш Рей?!» — сказал Гуд, держа руки в карманах штанов и не смея подойти ближе. «Не знаю, кто это сделал, — ответил я, — но, кажется, я благодарен в душе хитрому оператору, так надоела мне птица». Гуд всматривался в меня, но молчал. Я сказал: «Если бы

не случай, я сам прикончил бы Рея, от него так много помёта, что надоело убирать».

Заметьте, Харита, так было легко и естественно моё притворство, что Гуд осмелился и подошёл ближе. «Ваше дело, — сказал он, а я тоже не люблю птиц. Я их режу, если поймаю». Он вытащил из кармана кастет: «Вот я сегодня купил, смотрите, хотите я вам продам?» — и не заметил, как выпала при этом движении из его кармана скорченная сухая лапка. «Для этой лапы нужен был бы кастет», — сказал я, подымая жалкий остаток Рея. Всё изменилось, сверкнуло и перевернулось во мне; был я лёгок и оглушён, но был дик и ясно-прозрачно безумен.

Гуд так смутился, что начал быстро мигать, говоря: «Оставьте, это не я. Я нашёл её». — «Послушай, милый, — сказал я, легко держа его за плечо. — Мне всё равно, я не сержусь, только интересно знать, как ты его поймал?»

Гуд угрюмо, недоверчиво смотрел на меня исподлобья. «Всё равно вы мне ничего не сделаете, — заявил он. — Хотите знать? Ха-ха! Я поймал его, приманив мясом в петлю; ведь он сел и на нашу крышу. Так что вам, это приятно?!»

О дальнейшем я скажу коротко. Топор лежал возле меня. Я нагнул Гуда и бросил его, как маленького, к своим ногам. Должно быть, ему передалось всё, что было во мне, так как Гуд не вскрикнул, не противился: страх сделал его как бы безжизненным. Я придавил его рукой и отсек ему ноги топором выше колена, потом добил его обухом в лоб и зарыл всё в угольной куче. Того состояния я возвратить теперь, конечно, не могу. Мне кажется, что это произошло не со мной, а я как бы лишь узнал, что где-то такое произошло. Присыпав сырость на земле угольной пылью, я вышел, запер кладовую, зашёл к себе, взял деньги, револьвер и сказал Леоне: «Я убил Гуда. Медлить нельзя, я немедленно скроюсь и буду ожидать тебя в Лимском блокгаузе». Леона знает блокгауз, так как мы с ней бывали в этих местах. «Когда ты оправишься, то приходи в блокгауз; я проведу тебя тайной тропой в Сан-Риоль, а тайну мы увезём в Европу на одной из шхун Гарвея. Он скроет нас. Слышишь, я убил Гуда». Леона содрогнулась, встала и рухнула вниз лицом. Я поднял её, она лишилась сознания. Послав служанку за её младшей сестрой, я пошёл в порт, нанял парусную лодку и ночью был здесь, а лодку отвёл за скалы, в одну из бухт, о которых никто не знает, кроме меня. Я должен был ждать известия от Леоны, её самоё ждать, а потому уговорился с вашим отцом о работе, иначе, если бы я ушёл, то как Леона найдёт меня? Что теперь скажете? Ни на что не смею возражать. Дело моё — суд ваш; я только прошу разрешения ожидать здесь до утра; если известий не будет, я отправлюсь в Гертон. Без Леоны я жить не могу». Харита встала и подошла к очагу, где развела огонь, налила в кастрюлю воды, опустила в них мясо, зелень, бобы, присыпала перцем, солью.

— Дегж, — сказала Харита мрачно наблюдавшему за ней Дегжу, — устройте, пожалуйста, сиденье — сидеть не на чем.

Дегж встрепенулся и притащил четыре плоских камня. Он уложил их на меньшие камни, чтобы сиденья отвечали высоте обеденного стола-доски.

— Хорошо, — похвалила Харита. — Больше ничего, теперь курите вашу сигару.

— Я не считаюсь с мнением людей о себе, — сказал Дегж, ходя за ней от очага к столу, — но хотел бы слышать ваше суждение. Что мне в нём? Вы почти девочка. Знаете, есть что-то зависящее не от возраста и опыта.

— Не могу сказать, конечно, чтобы я была восхищена вашим поступком, Дегж, — ответила Харита, кончив уталкивать мясо в кастрюле так, чтобы вода покрывала его вполне, — я судить не буду. Я сама непокорная, меня тоже надо было бы судить, если так. Я сама — недотрога. Короче говоря, ничего особенного в вашем поступке я не вижу, потому была непобедимая сила уничтожить Гуда. Вы его уничтожили. Каким образом — дело второстепенное. Вот моё мнение!

Харита произнесла свою тираду совершенно спокойно, так что Дегж удивился. Он ожидал вопросов и восклицаний, но, видя, что девушка принялась мешать бобы, отошёл, смущённо кивнув. Обернувшись на голоса, Дегж увидел, что Харита разговаривает с Ферролем.

— Сейчас приедет фура, — сказал разгорячённый и усталый Ферроль, очень довольный дымящимся очагом и всей картиной двора, — большое несчастье и тревога вокруг нас; я встретил Флетчера...

— Тише, — перебила девушка. — Я всё знаю. Дегж рассказал мне...

— Что же ты?

— То же, что и ты. Делай вид, что как будто мы ничего не знаем. Едва ли он из таких, которые нуждаются в утешении, милый мой родитель, — важно сообщила Харита, — потому что они больше страдают. Хочешь есть? Хочешь вина? Скажи, чего хочешь?

— Да... надо стакан вина. — Ферроль выпил поданное вино. — Рейтар, я послал телеграмму, — сказал Ферроль, подходя к проводнику, — ждал нарочно ответа, но ещё нет ответа. Я схожу за ним через два часа.

— Благодарю вас, — сказал Дегж, — вы очень мне помогли. Он посмотрел на Ферроля так, как если бы хотел сказать что-то, но махнул рукой и принялся снова работать.

Ферроль некоторое время смотрел за ним издали, затем вышел посмотреть, не подъезжает ли фургон. К тому времени Харита покончила свои дела около очага и вышла вслед за отцом.

Девушка рассказала отцу дело Дегжа, передала точно все его выражения, подробности происшествия, и как кончила рассказывать, то Ферроль развёл руками.

— Это как дурной сон, — сказал, подумав, оружейник. — Так бывает только во сне. Я не смею ни судить его, ни даже размышлять о таком чёрном несчастье. Тут, Харита, заложен предел всяким сообщениям. Кстати, я забыл фамилию мясника. Это не тот, случайно, мясник, который пришёл в Гертоне к старухе?

— Не знаю, тот ли, — ответила Харита, снимая передник, — но фамилия того мясника одинакова с фамилией этого: Гайбер. Я тоже подумала.

— Странные бывают случаи, — заметил Ферроль, направляясь обратно, но если это тот самый мясник, то Дегж... Однако я не смею судить. Идём. Накорми его как можно лучше: он заслужил всё доброе, что есть в наших руках.

IX

В десять часов утра с острова д'Авалес отъехала, направляясь в Гертон, лодка; ветра не было, а потому Фабиан Сульт грёб, утомился и до безумия захотел пить.

Так как у него с собой не было воды, он пристал к песчаным береговым буграм в виду форта Бернгрев — развалины, сохранившей четырёхугольник стены и половину внутреннего здания, теперь уже неизвестного назначения.

Из-за стены шёл дым, ворота были полуоткрыты. Сульт оставил лодку непривязанной и, надеясь застать людей, прошёл к наружной двери каменного невысокого здания.

На его стук женский голос ответил: «Войдите!» Сульт вошёл и увидел молодую девушку, сидевшую с вязаньем в руках; на ней были синее платье, чёрный передник и схватывавшая тёмные волосы бисерная зелёная сетка.

Вежливо поклонясь, Сульт объяснил причину вторжения, принял из маленьких, тёмного вида рук девушки медную кружку с водой, напился и задержался, так как, рассмотрев оную хозяйку, испытал редкое удовольствие, которое ему захотелось продлить.

Девушка была хороша, как её — цвета голубой тени — глаза, ясно устремлённые из-под тёмных ресниц на молчащего Сульта.

Стройная, без сухости, оживленная, даже когда просто стояла, опустив руки, она двигалась подетски авторитетно; её голос грудного оттенка звучал открыто и приятно, как будто она всегда испытывала удовольствие от того, что говорила.

— У меня от зноя немного кружится голова, — сказал Сульт. — Разрешите посидеть немного в этой прохладной комнате.

Девушка поспешно придвинула к нему стул, он уселся и начал обмахиваться широкой шляпой, поля которой почти касались его плеч.

Девушка села в кресло и возобновила вязание из белой шерсти. «Это будет платок, — сказала она, встряхивая связанной полосой. — Такой большой, как одеяло».

Хотя у Сульта не создало впечатление, что эти слова обращены к нему, он всё же спросил, долго ли она будет его вязать.

— Месяца полтора, — ответила девушка, услышав шаги на дворе, вышла, возвратясь с молодой

женщиной в кожаной рыбацкой шляпе, короткой юбке и белой блузе с расстёгнутым воротником. У женщины были густые чёрные волосы, её смуглое худощавое лицо выражало упрямство и скрытность. Она медленно улыбнулась.

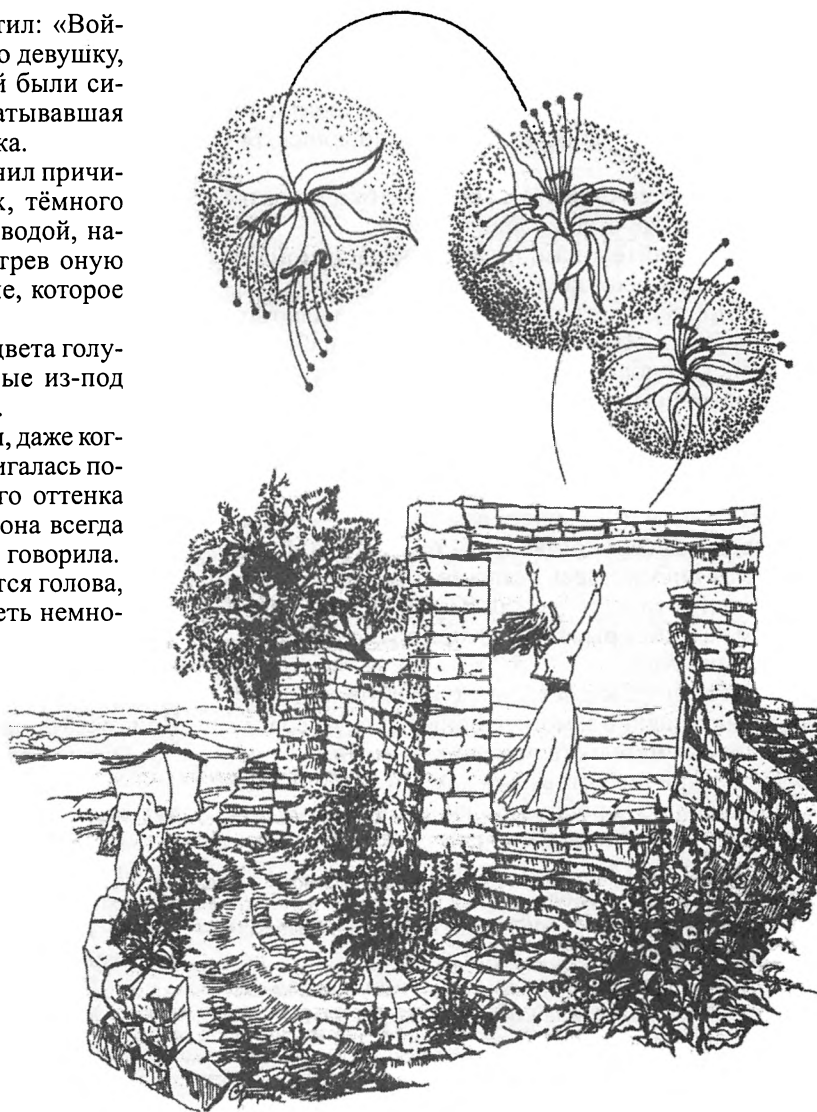
— Меня зовут Харита, — сказала ей хозяйка старого форта. — Я дочь Ферроля.

— В таком случае можно переговорить с вами, — заявила посетительница. — Я с острова д'Авалес, — она пристально взглянула на Сульта. — Не вас ли я видела вчера? Вы шли с учителем Ледервеем, таща какие-то сетки.

— Да, я гостил у него, — сказал Сульт. — Ледервей — мой старый приятель, и мы оба любители-натуралисты; ловили целый день у скал мелких морских животных.

— Так. Я к вам, милая Харита, с просьбой устроить фейерверк; заказ для вашего отца. Хотите, поговорим?

— Очень кстати, — засмеялась Харита, — сидим без денег.



— Меня зовут Бонифация Дорлент, у нас через две недели будет семейный праздник, — объяснила женщина, подходя с Харитой к столу, где они сели, и Харита, взяв с книжной полки лист бумаги, приготовилась записывать.

— Двойной день рождения, — объявила Бонифация, указывая на вошедшего мужчину. — Мой и моего жениха, Юста, Юстина Флетча. Желательно щит с вензелями и разные весёлые штуки.

Малодушно оставаясь сидеть, Сульт слышал весь разговор. Если говорила Бонифация, начисляя количество ракет, колёс и фугасов, Харита водила карандашом, рисуя по прихоти листья и размышляя; сама делая замечания, она смотрела на Бонифацию, живо повёртываясь к собеседнице. «Ещё можно такую ракету, — говорила Харита, — из неё выплывают звёздочки и потекут, как по бархату, золотые капли. Фугасы я вам советую с огненными гроздьями, рождающие другие гроздья. Колесо есть такое — сначала вертится в одну сторону, а потом в другую.

— Жаль, что я не знал, чем занимается ваш отец, — сказал Сульт, — я тоже заказал бы фейерверк.

Харита рассеянно обернулась: «Ну вот, теперь вы знаете».

— Да, кстати, моя сестра любит фейерверки, и я потом буду с вами говорить.

— Хорошо. Погодите, — спуталась Харита, правляя цифры: — Итак, мы с вами условились, Бонифация. Это все?

— Все. А затем скажите, сколько это будет стоить?

— Я не знаю; отец сообщит вам.

— Приезжайте к нам, на д'Авалес, с отцом 26-го, — обсуждая свой заказ, Бонифация решила пригласить Хариту с её отцом в день праздника для того, чтобы Ферроль особенно хорошо сделал работу и, быть может, прибавил бы что-нибудь в виде подарка к условленному списку изделий.

Хариту не пришлось долго упрашивать: девушка ещё не была на острове, и её привлекла мысль провести вечер на празднике жажточных рыбаков.

— Но я не могу обещать вам за отца, — прибавила она, давая своё согласие, — тем более что должен же кто-нибудь здесь остаться.

— Если хотите, — заявил Юстин Флетч, — мы пришлём вам двух рыбаков, которые здесь посторожат и переночуют.

— Вы видите, как Юст предупредителен, когда нужно, — стеснённо заметила Бонифация, не совсем довольная вмешательством жениха. — Тогда вашему отцу нет причин оставаться дома. А мы пришлём за вами большую хорошую лодку, так что вы будете ехать спокойно и в безопасности.

— Благодарю вас, — с удовольствием сказала Харита, — я к вам приеду.

Бонифация почувствовала к Харите своеобразное женское недоверие, а Харите понравилась Бонифация, она даже расположилась к ней и встала её проводить; та уже начала собираться, но, замедлив, спросила молодую хозяйку:

— Правда ли, дорогая Харита, что у вас выращены какие-то особенные, чудно-прекрасные цветы, которые вы никогда и никому не показываете?

Девушка обаятельно покраснела, и Сульт заметил её смущение: лгать и притворяться она не могла, а отвечать подробно ей не хотелось. Её взгляд замкнулся, утратив весёлое выражение, и, беспомощно разведя руками, Харита нерешительно произнесла: «Не знаю, что вам на это сказать. У меня, правда, есть немного цветов, которые — это тоже правда — я никому не показываю, но никак я не думала, что о них станет известно».

— Как же! Говорят — ну хоть, например, у фермера Коллотина, где мы были, прежде чем зайти к вам, — цветы у вас больше Юстовой шляпы и такие красивые, что не наглядишься.

Сульт искренне пожалел девушку — так, видимо, неприятен ей был этот разговор, но любопытство его возросло.

— Ну, может быть, когда вам наскучит одной любоваться этими цветами, вы их нам покажете, — захохотал Юстин Флетчер.

— О, нет! — живо возразила Харита, уже тихо смеясь. — Нельзя. Никто не увидит их.

— Ради шести стаканов воды! — воскликнул пленённый очевидностью тайны Сульт. — Почему?

— Я могла бы вам не ответить, — мягко обратилась к нему Харита, — тем более что никто не вправе допытываться у меня такого ответа, но так и быть, скажу. Чтобы понять, почему не показываю эти цветы, надо их видеть. Поэтому-то их и нельзя никому видеть.

— Замысловато сказано! — проревел Юст, в то время как Бонифация пристально и тяжело рассматривала Хариту и, обескураженная оборотом разговора, слегка надулась. — Боитесь, что их кто-нибудь стянет? Ну, так приезжайте в д'Авалес, я вам покажу такие тюльпаны, каких, верно, нет и в ваших оранжереях. Мы чиниться не будем! Идите! Смотрите! Хватит на все глаза, даже ещё останется!

Довольный своей речью, Юст рассмеялся и обтёр лицо пёстрым платком.

— Теперь мне уж так захотелось увидеть, что я не отстану от вас, — сказала, поднимаясь, Бонифация. — Но вы не волнуйтесь так, милая. Что делать? Ваше право, ведь вы хозяйка в своем доме, а мы — люди, право, не гордые и не обижаемся. Идём, Юст. Приезжайте, дорогая Харита.

Они вышли, а Сульт задержался.

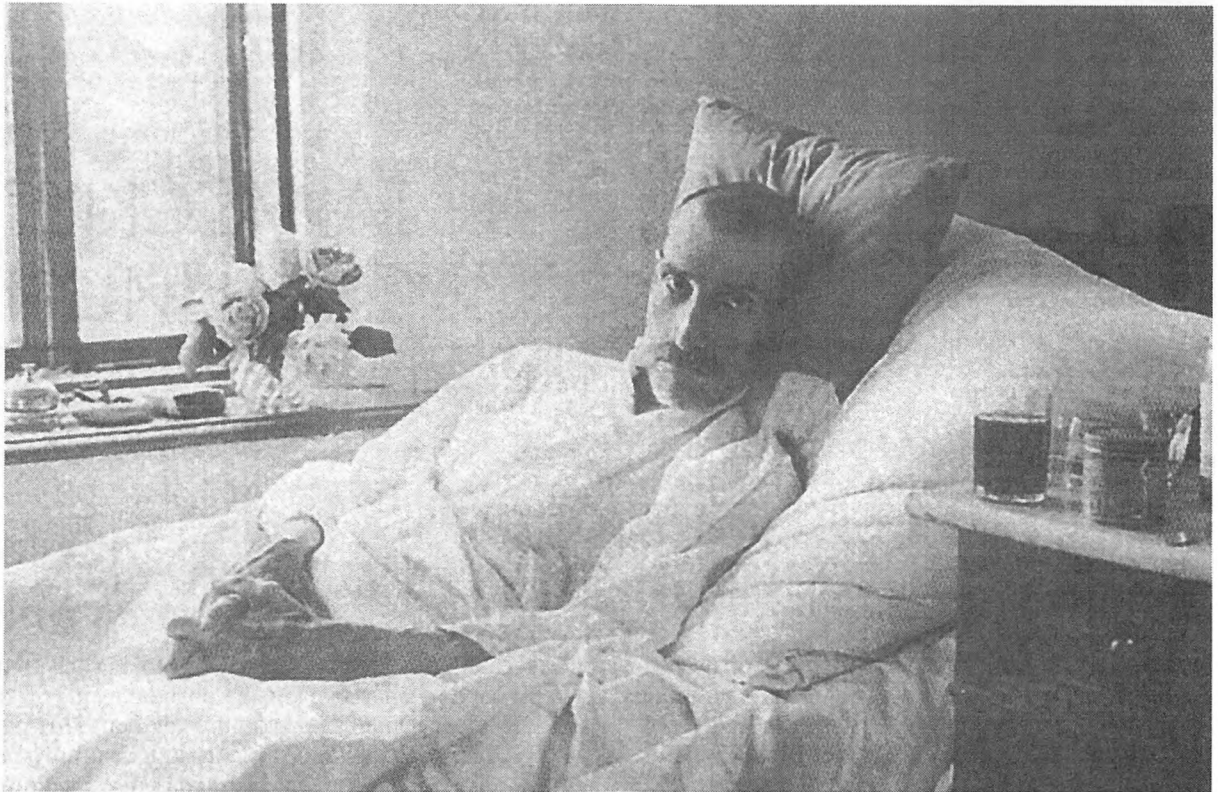
— Что же вы? — спросила Харита. — Они будут ловить вашу лодку.

— Меня интересует вопрос, — объяснил ей Сульт, — если никто не видел ваши цветы, как могло стать известно о них?

— Вот я стою и думаю: как? Я была, правда, поражена.

— Должны были бы сказать, что у вас ничего нет.

— Может быть. Теперь мне следующее пришло в голову: однажды мой отец был дома один...



Последняя фотография А.С.Грина. Старый Крым, 1932 г.

Вместо послесловия

Чем же заканчивается роман?

Вот что пишет об этом жена писателя Нина Николаевна Грин в журнале «Тридцать дней» (1935, № 3, С. 18):

«Флетчер сдаёт Харите и её отцу заброшенный форт, который они превращают в жильё. Харита налаживает своё хозяйство, она разбивает сад и в этом саду сеет семена неизвестного ей растения. Крошечный пакет с этими семенами и надписью «не тронь меня» она давно нашла в старых вещах своей бабушки и с тех пор ревниво его берегла.

В форте завязываются все отношения. Сначала всё идёт спокойно и тихо, вызывая, с одной стороны, доброе внимание таких людей, как Флетчер, Фабиан, Петтечер, привлечённых душевной стройностью и необычайной манерой жизни Ферролей, с другой стороны, медленно накапливает глухое раздражение у тех, кто не может понять и объяснить себе этой жизни. Фабиан и Петтечер любят Хариту. Фабиан — здоровый, красивый молодой человек, искренний и стремительный; Петтечер — лет тридцати — талантливый, умный художник, но алкоголик, всячески скрывает свою любовь. Он пишет небольшие картины, не имеющие успеха и сбыта. Все в один голос восхищаются его талантом, но никто не покупает его картин. Они своеобразны и остры. Например, «Рука на скале». Видна только рука, уцепившаяся за край пропасти. В ней выражена вся сила отчаяния и ужаса повисшего над пропастью человека.

Рисунки его запоминались навсегда, причём даже воспоминание сохраняло силу первого впечатления.

Талант и ум Петтечера привлекают сердце Хариты. Но и стремительная горячая любовь Фабиана пленяет её, и «кизбитая душа» покинутого женой Дегжа просит милости её сердца.

В тёплой атмосфере внимания этих людей, по-разному ей дорогих, она выращивает свои цветы. Вырастает, к её ликующему удивлению, чудо. Это цветы необычной, красивой формы, имеющие аромат и нежность цветка, прозрачность и блеск хрустала, окраску и сочетание цветов, мыслимых только в сказках.

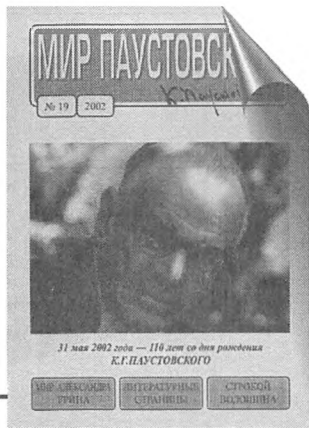
Харите стала понятна надпись на пакете — «не тронь меня», когда, впустив раз в свой сад пришедшую за фейерверком неприятную, фамильярничавшую девушку, дочь рыбопромышленника, она увидела, как стали свёртываться и вянуть дорогие ей цветы.

С тех пор она перестала пускать в цветник чужих. Но слух о цветах, прекрасных и странных, проник за стены форта. Любопытные стремились их увидеть. Упорное нежелание Хариты поделиться своими цветами и даже их показать вызвали взрыв уже накопившей злобы.

Группа местных хулиганов, при молчаливом одобрении обывателей, решила истребить Ферролей. Предупреждённые об этом Дегжем, они, заложив все выходы форта, пытаются вместе с Дегжем, Флетчером и Фабианом защищать его. Но к хулиганам присоединились и жители местечка. Защитники форта бежали на лодке и оказались в тайном убежище Дегжа. Дегж, тяжело раненный, умирает. Харита после долгой борьбы выходит замуж за Петтечера. Её сердце ласково и просто привлекает Фабиан, но она знает, что он не так остро всё чувствует, как она, она будет душевно старшей. Петтечер звучит, как она, он всё поймёт, рука его будет рукой друга, старшего, она чувствует, что единственно она ему нужна».

Людмила ВАРЛАМОВА

«Недотрога» А.Грина печатается (с иллюстрациями) по первой полной публикации незавершённого романа в издании: «Крымский альбом»: Альманах /Сост. Д.Лосев; Худож. С.М.Арефьева — Феодосия: Издат. дом «Коктебель», 1996. — Вып. 1. — С. 148–169.



ТАРУССКИЕ СТРАНИЦЫ

Михаил ХОЛМОГОРОВ

ДАВНО ЛИ? СОРОК ЛЕТ НАЗАД...

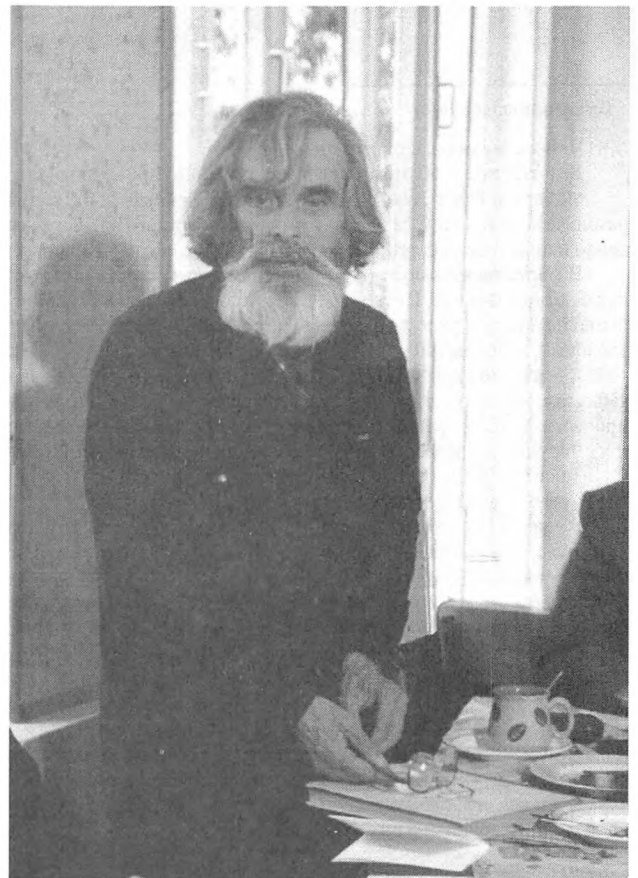
Есть книги, прикоснуться к которым в первую минуту даже страшновато — священный библиофильский трепет в руках долго борется с волнением, когда перед глазами выпущенный Н.А. Некрасовым в 1846 году «Петербургский сборник», где опубликованы «Бедные люди» Достоевского, или первый номер журнала «Аполлон» за 1909 год, а там на бумаге верже знаменитые «Капитаны» Николая Гумилева... А вслед за трепетом священным приходит зависть к тем безымянным и давно ушедшим из жизни счастливым, которые ещё тогда, когда бела была бумага и свежа типографская краска, запросто в ближайшей лавке купили эти издания, может, и не догадываясь, какая драгоценность оказалась у них. Ну уж нам-то такое не дано. На нас с витрин книжных магазинов смотрят унылые образцы соцреализма — завтрашняя радость пионеров, сборщиков макулатуры. Так я, московский студент-максималист, тяжело вздыхал, минуя книжные магазины золотой осенью 1961 года.

Но та осень была особого золота. Вдруг в центре Москвы появились двужильные старушки с тяжёлыми мешками. И не картошка последнего урожая была в тех мешках. Старушки продавали книги ничем до сих пор не примечательного Калужского областного издательства, и торговля шла так бойко, что милиционеры не успевали разогнать нарушительниц городского благолепия.

Книги же были — несуразного формата тома, скверной, признаться, бумаги, обёрнутые роскошной супер-обложкой, где угадывалась рука великого мастера В.Е. Борисова-Мусатова. Назывались они — «Тарусские страницы». Пальцы счастливцев, кому повезло всего за два рубля приобрести это собрание великолепных текстов, листая дрянную, хуже газетной, бумагу, дрожат от волнения, глаза разбегаются. Чего там только нет!

Проза и стихи ещё запрещённой Марины Цветаевой! Целых десять стихотворений Николая Забо-

лоцкого. Оказывается, Булат Окуджава не только поэт и бард — он прекрасный прозаик, и ещё не каждый лейтенант напишет о войне так, как этот рядовой... Потрясающие рассказы измороженного официальной критикой Юрия Казакова, и особенно — «Ни стуку, ни грюку». Завтрашний классик Наум



Таруса. Выступает М.К.Холмогоров
Фотография И.Гунченкова

Коржавин, и это видно уже сейчас, когда наскоро читаются строки

Но кони всё скачут и скачут,
А избы горят и горят.

Полузнакомые и совершенно незнакомые имена — Аркадий Штейнберг, Борис Балтер, Владимир Максимов, Владимир Корнилов. И конечно же, Паустовский с новыми главами «Золотой розы».

К радости примешивалась и тревога. Хотя эпоха и называлась Оттепелью, ясно было, что власти так этого не оставят. Они и не оставили. Топнул ножкой в своём цековском кабинете сердитый Егор Лигачёв, и понесли по стране зубодробительные циркуляры: тираж остановить, главного редактора снять, из библиотек изъять, в местной печати спустить с цепи самых беспринципных критиков... И поскорее забыть!

Но тридцать-то тысяч успели выпорхнуть из печатного станка на свободу, и ушлые старушки

быстро сообразили, насколько урожай издательский выгоднее огородного.

Автору этих строк в самый свирепый год советской цензуры — 1983-й андроповский — довелось испытать даже некоторую радость, исполняя цензорский наказ. Шла корректура труда некоего критика-либоблюда с печатным доносом на повесть Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр!». Так оказалось, что даже упоминание этого шедевра в любом контексте было запрещено. И я с радостью вымарывал целые абзацы разнужданного халуйства. Прошло ещё четыре года, и в самой массовой «Библиотечке «Огонька» повесть эта разнеслась по всему Советскому Союзу.

В моём доме «Тарусские страницы» — одна из самых зачитанных, а значит — живых книг. Обветшала и истёрлась супер-обложка, обтрепались углы переплёта, десятки закладок не помню по какому поводу торчат из разных страниц... Так ведь ровно сорок лет прошло...

Игорь ГУНЧЕНКОВ

ЭХО «ТАРУССКИХ СТРАНИЦ»

Необычный юбилей отметили в Тарусе в первой половине октября в Доме творчества юных. Он был посвящён 40-летию со дня выхода в свет литературно-художественного альманаха «Тарусские страницы». Издание его стало сенсацией в СССР. Он был подобен оглушительному взрыву в литературном мире, возбудил общий интерес читателей. Свободомыслие молодых прозаиков, поэтов во главе с маститым писателем К.Г.Паустовским, публикации подборок стихотворений запрещённых поэтов — М.Цветаевой, Н.Заболоцкого — никак не совпадали с идеологическими установками социалистического реализма. В произведениях, вошедших в сборник, не воспевался патриотизм героев, а обнажались язвы советского общества, о чём писать в то время строго запрещалось, чтобы не возбуждать у народа нездоровую потребность критики правящей партии.

На встрече присутствовали глава администрации Тарусского района Юрий Нахров, заместитель главы администрации района по социальным вопросам Наталья Верзилина, Галина Корнилова — главный редактор журнала «Мир Паустовского», Иван Бодров — краевед-литера-

тор, Почётный гражданин города Тарусы, сыновья ныне ушедших из жизни поэтов Николая Заболоцкого — Никита Заболоцкий и Аркадия Штейнберга — Эдуард Штейнберг; писатели Михаил Холмогоров и Юрий Леонов, поэтесса Татьяна Мельникова, публицист Анатолий Салуцкий. От Калужской писательской организации присутствовали её секретарь, поэт Вадим Терёхин, писатель Сергей Михеенков, поэтессы Марина Улыбышева, Нина Смирнова и другие.

Ведущий вечера Сергей Михеенков сообщил, что сорок лет назад в Тарусе был подготовлен сборник «Тарусские страницы», выпуск которого стал важным событием в жизни страны. С первых дней своего «рождения» он оказался в немилости у власть предержащих. Михеенков прочитал несколько цитат из партийных документов, которые демонстрируют, какой переполох вызвал этот сборник у чиновников ЦК КПСС. В докладной записке в ЦК КПСС от 23 декабря 1961 года сообщалось:

«Калужским областным книжным издательством в октябре с.г. выпущен литературно-художественный иллюстрированный сборник «Тарусские страницы».

Ознакомление с содержанием этого сборника показало, что в него вошёл ряд произведений, неполноценных по своим идейно-художественным качествам, искажающим жизнь нашей деревни и советских людей. Так, например, в рассказах Ю.Казакова «Запах хлеба», «Ни стуку, ни

МП: В Москве в Центральном доме литераторов событие это отмечалось 29 октября 2001 года на торжественном заседании Клуба книголюбов им. Е.И.Осетрова под председательством Андрея Туркова. Зал был полон, звучали воспоминания и авторов, и чи-

тателей этой замечательной книги. Затем прошёл вечер и в Доме учёных, но подлинный праздник «Тарусских страниц» состоялся чуть раньше в самой Тарусе. Рассказ о нём, опубликованный в местной газете, предлагаем вниманию читателей «Мира Паустовского».

грюку», «В город» колхозная деревня, её быт, взаимоотношения людей, их поступки и нравственные качества показаны в извращённом виде...»

Автор докладной записки начальник главного управления по охране военных и государственных тайн в печати при Совете Министров СССР П.Романов подверг разному стихотворения Николая Заболоцкого, включённые в сборник «Тарусские страницы», а также повесть В.Максимова «Мы обживаем землю».

«При составлении сборника редакционная коллегия, которая состоит из авторов, чьи произведения вошли в состав «Тарусских страниц» (В.Кобликов, Н.Оттен, Н.Панченко, К.Паустовский, А.Штейнберг), — сообщалось далее, — подошла нетребовательно, без должного отбора и учёта актуальности и художественной ценности произведения, а руководствовалась беспринципными соображениями, включив в сборник главным образом то, что было написано в Тарусе или если автор имел какое-нибудь близкое или далёкое отношение к географическому пункту».

Постановлением бюро ЦК КПСС по РСФСР «Об ошибке Калужского книжного издательства» за беспечное отношение к изданию сборника «Тарусские страницы» и неудовлетворительное руководство областным издательством секретарю Калужского обкома КПСС А.К.Сургакову объявлен выговор. Бюро Калужского обкома КПСС объявило строгий выговор директору издательства

А.Ф.Сладкову, а главного редактора Р.Я.Левиту освободило от работы.

«Таруса — совершенно уникальный город. Если бы имелась карта культурных центров России, то она заняла бы одно из первых мест, — сказала на встрече Г.Корнилова. — Вспомним такие имена: Цветаевы, Поленовы, Анатолий Виноградов. Потом, в 60-е годы, здесь жили Паустовский и другие. И сейчас Таруса полна творческих сил».

Галина Петровна вспомнила, как в 60-е годы в доме Паустовского, что в Тарусе на улице Пролетарской, сложилась литературная школа. Сюда без конца приезжали москвичи-писатели, поэты. Кроме Паустовского, общались с Е.Голышевой, Н.Оттенем, А.Штейнбергом, Ю.Казаковым, Н.Я.Мандельштам. Потом смотрели работы художников, которые приезжали в Тарусу в большом количестве.

«Вокруг К.Г.Паустовского образовалось ядро молодых писателей. Приезжали люди с разными произведениями, и всех он принимал, внимательно слушал... С этими мальчиками и девочками он общался как с равными».

Галина Петровна рассказала, как однажды к Паустовскому приехал Н.Панченко из Калуги и сообщил, что руководство Калужского книжного издательства решило отложить издание произведений какого-то классика и предложило Константину Георгиевичу издать том его произведений. Он сказал: «Нет, если имеется такая возможность, то давайте напечатаем сборник молодых авторов». «Вы



Афиша Московского литературного музея-центра К.Г.Паустовского к 40-летию «Тарусских страниц» (Авторы и исполнители проекта — А.А. и С.А.Кириленко)



Таруса. Выступает Н.Н.Заболоцкий.
Фотография И.Гунченкова

знаете, это гражданский поступок, — отметила Г.П.Корнилова. — Я не знаю, кто бы ещё из наших видных писателей так мог поступить. Паустовский отказался от публикации своих произведений ради каких-то ещё не состоявшихся молодых писателей, поэтов. Вот так вышли «Тарусские страницы». В этом сборнике впервые были напечатаны стихи М.Цветаевой, прекрасные стихи Н. Заболоцкого.

В чём особенность «Тарусских страниц»? Авторы этого сборника впервые свернули с большой дороги советской литературы и пошли своей собственной тропинкой. Для этого надо было иметь большое мужество. Молодые писатели, поэты заговорили о том, что хотели сказать, а не о том, что от них хотели услышать чиновники от литературы. Вот в этом суть «Тарусских страниц».

Своими воспоминаниями о К.Г.Паустовском поделился И.Я.Бодров. Как тарусянин, он чаще других посещал литератур-

ные дни в доме Мастера. Вместе с Паустовским Иван Яковлевич ловил рыбу на Ильинском омуте, воспетом писателем в лирическом рассказе. В январе 1968 года Бодров с группой тарусян ездил в Москву к К.Г.Паустовскому, чтобы вручить ему (уже тяжело больному) удостоверение Почётного гражданина города Тарусы. И.Я.Бодров живо рассказал об этой памятной, немного грустной встрече.

При подготовке «Литературных страниц» авторы вслух читали свои произведения, коллективно обсуждали их. Для сборника И.Я.Бодров подготовил три очерка о Поленовых. Он признаётся, что написал их очень сухо. Они не прошли. Паустовский посоветовал ему написать репортаж о тарусских коллекционерах, который и был напечатан в сборнике.

«Мы тогда говорили о будущем нашего города. Не думали, что в Тарусе откроется три музея, но знали: город станет культурным центром, сюда потянутся туристы. Паустовский мечтал иметь в районе государственный заповедник. Эту его заветную мечту мы ещё не воплотили в жизнь», — сказал И.Я.Бодров.

В сборнике «Тарусские страницы» опубликованы стихи поэта и переводчика Аркадия Штейнберга. В литературном кафе выступил с воспоминаниями его сын, известный художник Эдуард Штейнберг. Он отметил, что в сборнике «Тарусские страницы» отразились разные системы. Тогда страна ещё жила при сталинской системе, и членам редколлегии сборника требовалось большое мужество в подготовке произведений поэтов, писателей, творчество которых не соответствовало идеологическим требованиям.

«В Тарусе, — отметил он, — жило много замечательных людей: Ю.Крымов, К.Паустовский, Н.Заболоцкий, Н.Мандельштам. Иван Бодров общался с ними, рассказывает о них... Жаль, что не смогли



Участники тарусской встречи — у могилы К.Г.Паустовского.
Фотография И.Гунченкова.

приехать на встречу Н.Панченко, В.Корнилов, В.Гольшев... Я хочу поблагодарить предпринимателя А.М.Шустова и главу администрации Тарусского района Ю.В.Нахрова, благодаря их стараниям мы сегодня встретились».

Писатель Никита Заболоцкий — сын поэта Николая Заболоцкого — выразил уверенность в том, что сборник «Тарусские страницы» войдёт во всемирную литературу. Лично для него он особенно дорог публикацией десяти стихотворений отца. При его жизни издали четыре тоненьких сборника. Кое-что опубликовали в журналах. При всем уважении к творчеству поэта Н.Заболоцкого московские издатели тщательно отбирали более «спокойные» стихи. А редколлегия «Тарусских страниц» не побоялась напечатать «непроходные» его произведения.

С приветственным словом к собравшимся выступил глава администрации Тарусского района Ю.В.Нахров. Он зачитал телеграмму депутата Госдумы РФ Николая Губенко, в которой сообщается:

«Дорогие друзья! Сердечно приветствую всех собравшихся на юбилее замечательного издания, каким является альманах «Тарусские страницы». Мы благодарим его авторов, составителей и издателей, которые, преодолевая известные сложности, приложили все свои силы, умение и старание для выпуска этого номера. Читатели альманаха познакомились со многими произведениями наших писателей, поэтов, чьё творчество вошло в сокровищницу отечественной культуры. Хочется ещё раз назвать их имена: Константин Паустовский, Евгений Винокуров, Николай Заболоцкий, Марина Цветаева, Борис Слуцкий и многие другие.

На прекрасной, щедрой, талантливой земле Тарусы сегодня большой, добрый праздник доверительного общения, ясного русского слова...

Мы адресуем особые слова благодарности администрации Тарусы за то, что создана возможность собрать всех вас в непростое для страны время. Желаю вам радостных и плодотворных встреч, новых творческих планов и успехов».

Редактор журнала «Мир Паустовского» Михаил Холмогоров привёз на встречу сборник «Тарусские страницы». Он назвал эту книгу памятником русской культуры XX века.

«Пушкину принадлежат слова о том, что изобретение печатного станка сродни артиллерии, — сказал он. — Но артиллерийский снаряд взрывается один раз, а книга обладает удивительным свойством, она взрывается сразу. Потом забывается... Потом снова взрыв этой книги. Снова возникает ажиотаж. Её снова ищут, переиздают... К таким книгам относится и сборник «Тарусские страницы»... Паустовскому предложили одному издать том своих произведений. Это ж какое счастье! Нет, предпочёл издать сборник молодых авторов, от которых одно беспокойство».

Холмогоров отметил, что в сборнике всё — раздражающее власть. Опубликованы стихи М.Цветаевой, сгубленной советской властью. Стихи Н.Заболоцкого, Н.Коржавина и А.Штейнберга, бывших заключённых. И произведения других авторов оказались не по вкусу чиновникам правящего режима. А вскоре было опубликовано постановление, по которому расформировали все областные издательства. В итоге Калуга осталась без своего издательства.

В литературном кафе было много выступлений. Гости вспоминали о судьбе авторов сборника, их творческих успехах. Отмечали, что «Тарусские страницы» стали провозвестником новой литературной эпохи.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА

ЖИЗНЬ ДРОЖИТ МЕЖ ТЕМНОТОЙ И СВЕТОМ, НА ИЗЛОМЕ — МЕЖ ЗИМОЙ И ЛЕТОМ...

ФОТОГРАФИИ

Перебираю фотографии,
Улыбки автобиографии.
Ветшают ломкие края...
Ах, неужели это я?

Трепещут, бьются, оживляются
Давно забытые деньки.
Из глаз то радость излучается,
То вдруг — затравленность тоски.

Вот мой двадцатый день рождения.
Невеста. А теперь — вдова...
Воспоминаний наваждение
Как втиснуть в куцые слова?

Перебираю фотографии,
Улики автобиографии...
Сын-школьник. В армии. Жених —
И вот я с внуком через миг.

И эти снимки обветшалые,
Заполонившие весь дом,
Мне дороги, как дети малые,
Дороже злата с серебром.

В них счастье с горем перемешаны,
В них хрупкость, краткость бытия —
И ливень чувств, и грёзы вешние,
И осень юная моя...

Перебираю фотографии,
Улыбки автобиографии.

ОКНО

Оно одно — полночное окно.
Как ни взгляну — горит в соседней башне.
Смыкая дни, грядущий и вчерашний,
И тьму пытаюсь отодвинуть. Но...

Незримо и неслышно подползая
И обволакивая, мстительная, злая,
Мгла властвует, наглея даже днём, —
Да где здесь справиться одним окном?

Навстречу одинокому лучу
Возьму и я — своё окно включу.
А вон ещё окно, ещё огни —
Выходит, в этой мгле мы не одни?..

* * *

Бельё дымится на морозе,
А снег ложится пухом козым.
Нежданно ранняя зима
Посеребрила все дома.
От снега улицы светлее,
А на душе чуть-чуть теплее...
Но оттепель дня через два
Смела мороза кружева.
И вновь российское распустье —
Первооснова нашей сути...
Что ж, в этой слякоти и грязи
Какое-то разнообразье...
В тщете рутинной и обмане,
Среди просящих рук и брани
Пусть эти лужи при луне
Как звёздный путь, сияют мне.

* * *

Отпевали Кунину Евгению,
Тихого, непризнанного гения,
Таяли заплаканные свечи,
Освещая ей дорогу в вечность.

Целая эпоха уходила —
Возжигали все паникадила.
Воспевали лучшего поэта,
Всеми позабытого при этом.

Ссохшееся, сморщенное тело
Душу необъятную имело...
Расступалась Новая деревня,
Провожая прихожанку Меня.

Гроб несли по мартовской метели,
Кланялись берёзы ей и ели.
И стихов её бессмертный хор
Осенял заснеженный простор...

БАХ

Вот так же триста лет назад
 Был дождь со снегом талым,
 Шли дни, безликие подряд,
 А Бах писал хоралы.
 Дождинки скучные он брал,
 Набухшие от влаги,
 И мигом в ноты превращал,
 Разбрызгав по бумаге.

И этот каждодневный труд
 Для Баха был обычным —
 Так булки пекари пекут,
 Портные шьют привычно.

А дождь хлестал сильнее и злей
 По крышам и заборам.
 Под пляску бликов от свечей
 Хорал парил в соборах.

Струилась музыка с листа,
 Загадочна и вечна.
 Как снег, она была чиста,
 Как дождик, бесконечна.

Но как из суеты сует,
 Из будничного праха
 Шедевр рождался — вот секрет!
 На то и был он Бахом.

В.Э.Борисову-Мусатову

Подумать только! По тропинкам этим,
 Мусатовский обнявшим косогор,
 Бродил художник, гений, и столетье
 Почти, как день один, прошло с тех пор.
 На окском, на раздольном берегу,
 То в травах утопая, то в снегу,
 Нашёл свою последнюю обитель
 Тончайший живописец и мыслитель.

Его душа на небо улетела
 И над Тарусой, над Окой парит,
 А тления не знающее тело
 Бессмертным мальчиком застывшим спит.
 Его мечты и грёзы, сновиденья
 Живут и дышат в вечном воплощенье.
 Деревья, облака и это утро
 Пронизаны прозрачным перламутром,
 Мусатовским — светящимся и зыбким,
 Как мальчика уснувшего улыбка...

Наивный доверчивый шар золотой —
 Цветок существует на свете такой —
 Короткой и тёплой поверил поре,
 В багряном, прощальном расцвёл октябре.
 Ах, глупый, наверно, сошёл ты с ума?
 Ведь завтра нагрянут морозы, зима!
 Замёрзнешь, сломаешься и пропадёшь...
 С улыбкой лучистой сказал: — Ну и что ж?
 Я мог не родиться и вовсе не быть,
 Не знать эту радость огромную — жить...

ЗОЛУШКА

Я превратилась в Золушку. Проворно
 Орудую весёлой кочергой.
 Отшельница, отступница, изгой —
 Лицо и руки вечно в саже чёрной.

Зато теперь тепло в моей избушке.
 А на дворе суровая зима.
 Проснулись бабочки, шмели и мушки —
 Ах, глупые, совсем сошли с ума!

Жужжат, порхают, радуются дару
 Продлить очарованье летних дней.
 Подброшу дров, прибавлю пылу-жару
 Для окрылённых взбалмошных гостей.

Ликуйте, звери! Завтра минус двадцать.
 Удастся ль вам ещё покрасоваться?

Мой домик на пригорке беззащитен
 И озирается, косясь по сторонам.
 Добро пожаловать! Но только не взыщите —
 Я угощаю видом из окна.

А там Ока — спокойна, величава,
 И белый катер мчит за поворот.
 Тарусский домик стал родным причалом.
 Прибежищем от жизненных невзгод.

Простая жизнь: картошка в огороде,
 Коровы прут сквозь призрачный забор...
 И полная гармония в природе,
 И вдаль зовущий солнечный простор,

И незнакомца-мальчугана «Здравствуйте!»,
 И у соседей огненный петух,
 И на мгновенье ощущение счастья,
 Легчайшего, как тополиный пух.

Со взрослыми детьми меняемся ролями:
 Они теперь родители над нами.
 И поучают нас, советы нам дают,
 Но, слава Богу, хоть пока не бьют.

И радуемся: как они умны
 И благородны! Только вот бледны
 От трудолюбия бессонного, куренья —
 Предмета вечных споров и волненья.

Лишь поздней ночью наклонюсь над сыном
 И уколую о жёсткую щетину.
 Откуда и когда взялась она?!
 Щека ребёнка так была нежна
 Ещё вчера...

* * *

Тарусскому художнику Николаю Гурину

Тарусское небо, поляны и дали...
 А тот, кто здесь не был, тот счастлив едва ли.
 А тот, кто не видел тарусских закатов,
 Не лазил по горкам — крутым и покатым,
 Не чувствовал запаха мокрой сирени —
 Мерцания бликов, мелькания теней,
 Кому, бедолаге, не выпала доля —
 В тарусском овраге, в тарусском ли поле
 Тонуть в разнотравье, густом, высоченном, —
 Тот Бога не знает, не слышит Вселенной...
 А впрочем, мой друг, не спеши огорчаться,
 Всё бросив, в Тарусу не следует мчаться,
 Поскольку все эти снега и лазури,
 Забор, наклонённый пронёсшейся бурей,
 Старинные улочки, храмы и крыши,
 Зовущие путника выше и выше, —
 Живут на картинах с автографом: *Гурин*.
 Висит в моём доме кусочек Тарусы,
 Художника Гурина Коли — творенье,
 И греет, как солнце, когда очень грустно...
 И вижу Тарусы далёкой свеченье,
 И вдруг ощущаю с Оки дуновенье.
 Пускай на мгновенье, хотя б на мгновенье...

* * *

Жизнь дрожит меж темнотой и светом,
 На изломе — меж зимой и летом.
 На распутье встреч и расставаний,
 Меж предсмертным криком и молчаньем.
 Бабочкой ликует и трепещет —
 Прежде чем попасть в сачок зловещий,
 Прежде чем от боли и бессилья
 Упадут надломленные крылья.
 Но и боль, но и тоска, и старость —
 Всё, что нам в конце пути досталось, —
 Жизни драгоценнейшей биенье...
 Дай нам Бог великое терпенье.

ОДУВАНЧИКИ

Солнечным беспечным мальчикам
 Через миг быть в стариках?..
 Облетают одуванчики
 И лысеют на глазах...
 Так и жизнь — лишь дуновение,
 Замкнутый, заветный круг.
 Мысли, чувства, вдохновение —
 Одуванчиковый пух.
 Отчего ж весной прогорклою,
 Обезумев от зимы,
 Перелесками, пригорками
 Бродим, что-то ищем мы?
 Ищем жёлтые сияния —
 Тихой вечности послания.

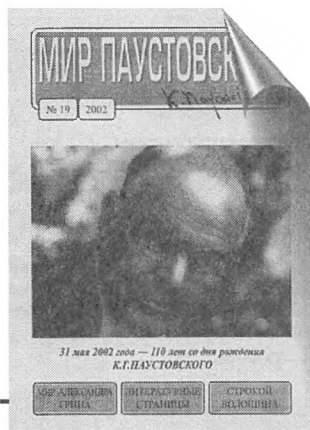
* * *

Из всех роскошеств с мига сотворенья
 Вселенной — в бытие земном
 Я дорожу роскошеством общенья
 За дружеским, за праздничным столом.
 И встречи эти редкие — блаженны,
 Как яркий сумасшедший звездопад,
 А всё, что мелко, суетно и бренно,
 Отступит, отодвинется назад...
 Вы мне дороже ста сестёр и братьев,
 Пусть не протиснутся ни ложь, ни лесть
 Сквозь радостные слёзы и объятья —
 Мои друзья, как важно, что вы есть.

* * *

Что Паустовский для меня?
 Свеченье солнечного дня.
 И шелестение дождей
 По листьям липовых аллей.
 И первый серебристый снег,
 И жаворонок по весне,
 И бурные разливы рек,
 И тишина библиотек...

Дом деревянный над рекой
 И над могилой крест простой.
 Там, над полями ландыша, —
 Его бессмертная душа.



ЗАПИСКИ ПОЛЕНОВСКОГО ДОМА

Фёдор ПОЛЕНОВ

ЗА СТЕКЛЯННОЙ ДВЕРЬЮ

П.Ф.Волкову

Дверь ничем не отличается от множества других. Добротная, двухстворчатая, верх каждой створки застеклён дымчато-матовым широким стеклом. За ней — длинный глухой коридор, дневной свет в него проникает только через окно в дальнем конце, в торцевой части больничного корпуса. Поэтому днём, когда электрический свет не включён, в коридоре темновато. До окна надо долго идти, минуя ординаторские, процедурные, барозалы, палаты интенсивной терапии и просто палаты. Коридор надо пройти до конца. Здесь меняются многие понятия, по-иному оцениваются события, вещи и люди, оставленные за порогом приёмного покоя. Даже вот понятие «дневной свет» исказилось: коридор освещается дневным светом люминесцентных ламп, и белыми, с оттенком голубизны, буквами светится надпись над входной дверью: «Реанимационный центр». По-разному открывается эта дверь, и будущее за её матовыми стёклами видится неясно.

Сейчас, когда полутемно, стёкла на дверных створках освещены с той, внешней стороны, неоновым мерцанием стеклянных трубчатых букв надписи над дверью.

Знакомый до мелочей рисунок линолеума на полу, знакомая дверь. На стекле её левой створки возникает неясная тень, по которой можно понять: за дверью человек огромного роста. Я давно знаю, что судьба иногда способна преподнести неожиданный и удивительный подарок, но такого я никак не мог ожидать. Распахнувшиеся дверные створки являют мне мощную фигуру... Петра Ильича! Так знакомые и сослуживцы называют (обычно — за глаза) этого человека. Причина —

поразительное внешнее сходство с молодым Чайковским. Сейчас он, улыбаясь, смотрит на меня с высоты своего более чем двухметрового роста. Вот уж никак не ожидал!

Как он попал сюда, на далёкую окраину областного города? Оказывается, специально приехал из Москвы, случайно узнав, что я здесь. Нелегко найти свободное такси в воскресенье на площади у здешнего вокзала, но он всё-таки нашёл. Доехал, с трудом прорвался через заслоны дежурных и администрации, убедив, что торопится на обратный поезд, и дошёл-таки до заветной двери, за которую пускают далеко не всех, даже близких родственников. А ведь Пётр Ильич (так я и буду его называть), как большинство очень крупных и физически сильных людей, крайне деликатен и сдержан до застенчивости.

Мы проходим в палату, где он достаёт из такого знакомого чёрного портфеля и поочерёдно



Ф.Д.Поленов в гостях у К.Г.Паустовского.
Таруса, [1960]

вручает мне три бутылки пепси-колы и целлофановый пакет со свежими огурцами и несколькими апельсинами:

— Вам надо поправляться...

Тут же я узнаю последние редакционные новости: рукопись принята, одобрена, отрецензирована, над макетом уже работает художник, к печати книга будет подписана, вероятно, месяца через полтора...

Дорогой Пётр Ильич! Стоило ли ехать за несколько сот километров, чтобы сказать мне всё это? Ведь ещё в прошлом столетии изобретён телефон! Я ведь знаю о вашей постоянной загруженности редакторской, творческой и всякой иной работой! Знаю, наконец, о болезни вашей жены; оставить её в воскресенье одну — на это ведь тоже надо решиться. Это же какое-то донкихотство — ехать в такую даль ради пятиминутного разговора!

Пётр Ильич не принимает моих соображений. Пётр Ильич действительно очень торопится на обратный поезд. Он уходит, и я его провожаю до той же знакомой двери. На прощанье он крепко жмёт мне руку:

— Выздоровливайте скорее и приезжайте. Очень ждём! И вот я смотрю на три бутылки совершенно не нужной мне пепси-колы. И думаю о

посланце огромного мира, закрытого для меня сейчас дверью с дымчато-матовыми стёклами на двух створках. Нет, не зря терял он время ради нескольких минут разговора со мной. И дело тут не в большой передаче и даже не в издательских новостях, сообщённых, по его всегдашнему обычаю, конкретно, сжато и немногословно. Ведь он принёс в томительное однообразие здешних буден самую главную из всех земных ценностей — бескорыстное движение своей прекрасной души. Ради такого подарка стоило ехать по незнакомой дороге, не зная конечного адреса.

Обычай дарить... Он так же древен и прекрасен, как наша земля, как люди на ней, независимо от их возраста, независимо от рас, сословий и иных различий. Было бы главное — бескорыстное движение такой души, какова она у Петра Ильича. Ради этого обычая стоит смело распахнуть дверные створки. Ведь за открытой дверью люди смогут увидеть тебя не расплывчатым пятном неясного силуэта, искажённого к тому же матовым светом повседневности, а таким, каков ты был, есть и будешь.

Открывайте же почаще дверь! Любую. Особенно, если она ведёт в центр реанимации.

ВЕЧЕРНИЙ ОГОНЬ

Склонившись ничком, припала к воде Медведь-гора, тысячелетиями пьёт и пьёт она Чёрное море. Лишь солёные морские ветры властвуют над камнями разрушенных таврских капищ на вершине горы. Что ни гора — то легенда, что ни бухта — то память о временах эллинских, генуэзских, турецких. И — совсем недавних. Всегда кипели страсти на полуострове, кровь не одних жертвоприношений языческим богам впитала крымская земля. Веками шли к Адолларам люди, и ложился якорь на дно в глубинах прозрачной бухты и падали паруса. Призрачный звон золота сказочной Колхиды, обетованная земля таврических берегов... Тайной одевались сокровища «Чёрного принца», ветер сушил кровь на севастопольских бастионах. Торпедные удары по транспортам в открытом море и пеленга, пеленга, пеленга на знакомые маяки Ай-Тодора, Херсонеса, Эльчан-Кая с ходового мостика всплывшей подводной лодки.

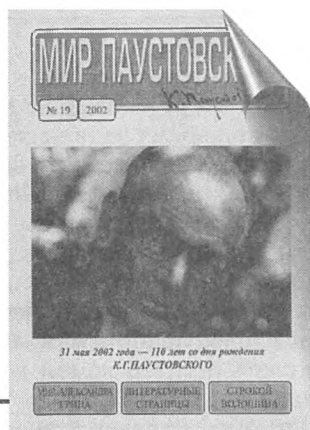
А сейчас я смотрю на тихую бухту и на тёмный Аю-Даг, скрывающий от меня золотую россыпь огней ночной Алушты... Темнота южной ночи сра-

зу накрыла берег, в темноте теряются контуры горы. Море, спокойное после дневного бриза, прибрежные скалы, тёмная гора. Всё, как тысячи лет назад.

Каждый вечер в одно и то же время из-за тёмного мыса появляется светящаяся точка топового огня — вечерний катер из Алушты. По нему можно проверить часы. Через двадцать минут различим красный огонёк левого борта. Когда катер будет менять курс против Адоллар, на короткий миг сверкнут оба отличительные огня — зелёный и красный. Катер меняет курс и сразу быстрее бежит светлая точка к маленькому пирсу гурзуфской бухты.

Мирный далёкий огонёк — след человека в ночном море! Тот же прибой, те же скалы, те же чайки и медузы. А пути людей вдоль скалистого побережья — иные. Значит, не зря веками шли люди к Адолларам. Не зря вот-вот появится из-за тёмного мыса золотая звёздочка топового огня. Она понесёт людям приметы близкого счастья.

Осталось полминуты.



ОДЕССКИЙ ЛИСТОК

Светлана МАЛЫШ

И СЛОВО В ЗВУКЕ ОТЗОВЁТСЯ

О влиянии композиционных приёмов музыки на прозу К.Паустовского

Яркая, образная, эмоционально насыщенная, написанная блистательным русским языком проза Паустовского привлекает к себе внимание не только читателей, но и артистов-чтецов, включающих его произведения в свой репертуар, пользующийся неизменным успехом у слушателей. Желая усилить эмоциональное

впечатление, исполнители нередко используют и музыкальное сопровождение, однако музыка, в большинстве случаев, играет лишь роль фона, более или менее соответствующего по настроению содержанию рассказа. Вместе с тем более глубокое вчитывание в прозу Паустовского, изучение особенностей её построения, проникновение в мельчайшие детали её образности приводят к мысли о том, что проза писателя отличается удивительной музыкальностью, так как временами строится как бы по законам построения музыкальной речи или музыкального произведения в целом. Поэтичность и возвышенность образов, их хрупкость и утончённость, почти импрессионистическая красочность отдельных описаний сближает прозу писателя с музыкой. Поэтому музыка при чтении его произведений может стать не только звучащим фоном, но и составить с текстом некое органическое единство, а в некоторых случаях полное слияние.

Автор статьи ставит своей целью выявить музыкальные особенности прозы Паустовского и показать ещё одну грань его таланта, а также помочь чтецам в музыкальном озвучивании его произведений.

*Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется, —
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать.*

Ф.Тютчев

Было то время суток, когда день уже кончился, а вечер ещё не наступил, когда на небе исчезают

МП: Светлана Малыш — музыковед, преподаватель Одесского Училища искусств и культуры им. К.Ф.Данькевича, руководитель Общества им. Сергея Рахманинова — долгие годы работает над темой «Паустовский и музыка». В разные годы ею прочитан ряд лекций на эту тему. Сделана му-

зыкальная редакция литературной программы «Ручьи, где плещется форель» артистки Одесской филармонии Елены Кукловой, лауреата премии им. К.Г.Паустовского за 2001 год, написан для Е.Кукловой и музыкально оформлен сценарий «Наедине с осенью» по произведениям Паустовского.

последние лучи заходящего солнца, сумерки постепенно сгущаются, в комнате полутемно, причудливо вырисовываются очертания отдельных предметов, а от фар проходящих за окнами машин тени в комнате начинают беспокойно метаться. Суетный день уже позади, а поздний вечер с его чаепитием, телевизором, книгами, разговорами с зашедшими «на огонёк» друзьями ещё не наступил. Хочется расслабиться, закрыть глаза, погрузиться в удобное кресло, поразмышлять, послушать музыку.

Из колонок лилась тихая, давно знакомая и горячо любимая музыка «Ноктюрна» Грига. Она звучала не на фортепиано, как её задумал композитор, а в оркестровом варианте, отчего становилась более насыщенной, яркой, красочной.

Я сидела, закрыв глаза, когда внезапно в памяти всплыли знакомые слова: «Стеклянные корабли пенили воду. Ветер трубил в их снастях. Этот звук незаметно переходил в перезвон лесных колокольчиков, в свист птиц, кувыржавшихся в воздухе, в ауканье детей, в песню о девушке...»

Текст полностью сливался с музыкой. Что это? Так не может быть!

Я открыла том Паустовского и вновь переставила иглу на начало пластинки. Читая вслух текст под музыку, я ещё раз убедилась в их полном слиянии. Неужели Паустовский писал под эту музыку, стараясь совместить каждую фразу текста с музыкальными фразами именно данной пьесы? Вряд ли. Значит случайное совпадение? Случайное ли?

Об отношении Паустовского к музыке не нужны ничьи свидетельства: об этом в первую очередь говорят его произведения. Не много найдётся сочинений писателя, в которых не звучала бы музыка, будь то повести, рассказы, романы или драмы.

На страницах его произведений встречаются и Моцарт, и Григ, и Чайковский, и известные исполнители — Пирогов, Рихтер и др. Но чаще всего — безвестные музыканты, затерявшиеся в глуши России романтики, странники и одержимые мечтатели. Для них музыка — высочайший смысл жизни, как, например, для стекольных дел мастера, мечтающего сконструировать хрустальный рояль, звуки которого были бы фантастически прекрасны; или для некоего музыканта из рассказа «Беглые встречи», покинувшего комфортную и удобную жизнь в столице и скитающегося по отдалённой глубинке с единственной целью нести своё искусство людям. И очень часто выразителем чувств, охвативших героев его повествований, становится музыка.

Старая, обрусевшая француженка Бовэ («Молитва мадам Бовэ») может лишь музыкой выразить охватившее её чувство радости, гордости, подъёма, когда узнаёт во время войны, что союзники открыли второй фронт в Европе.

Сколько прекрасных строк посвятил Паустовский русской народной песне, да и не только русской: поют охотники в электричке, поёт девушка на лесном кордоне, поют цыгане, расположившиеся вблизи могилы Пушкина, поёт в далёкой Шотландии моряк Джон Старое Ведро свою причудливую шотландскую песню... С каким восторгом слушают «Травиату» Верди матросы военного корабля. И как трогательно и скорбно звучит траурный марш на похоронах Сашки-Музыканта из «Гамбринуса», исполняемый его товарищами (очерк о Куприне).

И этот, всего лишь беглый, далеко не полный взгляд на музыкальные страницы прозы Паустовского — безусловное свидетельство того, что Паустовский, не будучи сам музыкантом, не только горячо любил, часто и много слушал, знал музыку, но и обладал особым талантом впитывать в себя, сохранять в своём слушательском сознании, постигать не только умом, слухом, но и сердцем великое искусство звуков. В одном из писем Е.С.Загорской 23-летний Паустовский описывает свои впечатления от симфонического концерта под управлением Кусевицкого. Из строк видно, какое потрясение способен был испытывать он, слушая музыку, как в его сознании рождались красочные картины, поэтические образы. «Я не умею передать, — меня захлестнуло образами. Я изнемог, я весь дрожал». Он слушал «Ноктюрны» Дебюсси и о первой части — «Облака» — писал: «...впервые я услышал, как поют облака. Сквозь неясные голоса ночи, пенный шорох прибоа долетала тонкая, звенящая песня облаков. Фаготы пели задушевно и нежно, как далёкие ветры в корабельных снастях — вдалеке над морем медленно падали ночные золотис-

тые дожди, словно тысячи жемчужин, причудливой вязью сыпались на упругие всплески волн, сыпались и звенели, звенели...»

О второй части — «Празднества»: «Дурманящие запахи смолы, солёной влаги. Звёзды за окнами, словно китайские фонари, горячие и мутные. Огни дрожат, и дико, радостно поёт хмельная джига. Блеск подведённых глаз, вино, праздник дерзкой томительной страсти. Нахальные скрипки, визгливые флейты — звуки словно дробятся в хрустальных зеркалах, изломах, плоскостях, звенят, уходят вдалёк, растут и падают, и рассыпаются дразнящим зыбким смехом».

Не менее яркое впечатление и от концерта Сен-Санса: «Весь первый концерт для виолончели, словно песня об одной, только одной девичьей слезе, о блестящих от слёз радостных глазах».

Должно быть, внутренний слух писателя способен был сохранять в его подсознании множество полюбившихся произведений различных авторов, интуитивно ощущать стиль, звуковую образность, законы построения музыкальной речи и, соединив всё это с литературной речью, придать ей удивительную музыкальность, подведя к той грани, за которой, по словам Генриха Гейне, «кончатся слова и начинается музыка».

Речь, безусловно, не о всей прозе писателя, а скорее об отдельных произведениях или ключевых, кульминационных или наиболее эмоционально насыщенных фрагментах. К ним следует отнести и отрывок из рассказа «Корзина с еловыми шишками», который слился в моём представлении с «Ноктюрном» Грига. Более тщательное наблюдение и сравнение этих двух сочинений привело к неожиданным и удивительным результатам: не только характер, настроение, образность здесь сходны, но и все, даже самые мелкие детали музыкальной и литературной речи. Постараюсь доказать это на подробном сравнительном анализе произведения Грига и фрагмента рассказа Паустовского, в котором описывается, как Дагни Петерсен слушает музыку.

«Ноктюрн» Грига чётко разграничивается на три раздела. Это, так называемая, трёхчастная форма, широко распространённая в музыке, как наиболее законченная, закруглённая, симметричная, так как третий раздел повторяет первый, а второй от них отличается.

Первый раздел состоит из краткого вступления (4 такта) и изложения основной темы (10 тактов); переход, связка (4 такта) и изложение нового музыкального материала (13 тактов) — середина, после чего с небольшими видоизменениями следует повторение первой части и заключение, подобное связке, но в более высоком регистре и с завершающими оборотами.

Указанный фрагмент из рассказа Паустовского в смысловом плане полностью совпадает с этой структурой.

Совпадают не только общее построение, но и ряд более мелких деталей.

Во вступлении у Грига на зыбком, прозрачном фоне появляются две призывные, короткие попевки — подобно отдалённому наигрышу пастушьей свирели.

У Паустовского: «Дагни нагнулась и закрыла лицо ладонями. Сначала она ничего не слышала... Потом она, наконец, услышала, как поёт ранним утром пастуший рожок и в ответ ему сотнями голосов, чуть вздрогнув, откликается струнный оркестр».

Основная мелодия первой части — широкого дыхания, большой протяжённости, выразительная, напевная, льётся непрерывно, захватывая всё больший диапазон.

Описание музыки у Паустовского также дано в развёрнутых, непрерывно продолжающихся предложениях:

«Музыка росла, поднималась, бушевала, как ветер, неслась по вершинам деревьев, срывала листья, качала траву, била в лицо прохладными брызгами. Дагни почувствовала порыв воздуха, исходивший от музыки, и заставила себя успокоиться».

В связке ход музыкального развития меняется. Мелодия исчезает. Появляются мелкие, колышущиеся звучания, продолжительные трели — типичная музыка пасторального плана.

«Да! Это был её лес, её родина! Её горы, песни рожков, шум её моря!»

Музыка второй части иная: на смену широкой, напевной мелодии первой части приходят короткие, инструментального характера, причудливые в своём ритмическом и гармоническом звучании мотивы, неоднократно повторяющиеся, поднимающиеся во всё более высокие регистры (секвенции). Начавшись тихо, как бы издали, они становятся всё громче, приближаются и, наконец, звучат в полный голос, лишь к концу стихая и замедля стремительный бег.

У Паустовского этот раздел также начинается причудливой фразой: «Стеклянные корабли пенили воду». Как и в музыке, фразы стали короткими, основанными на перечислении: «Ветер трубил в их снастях. Этот звук незаметно переходил в перезвон лесных колокольчиков, в свист птиц, кувыркавшихся в воздухе, в ауканье детей, в песню о девушке — в её окно любимый бросил на рассвете горсть песка. Дагни слышала эту песню у себя в горах».

Третья часть — возвращение к преобразованным темам первой части: вступление — мысли о Григе: «Так значит это был он! Тот седой человек, что помог ей донести до дому корзину с еловыми шишками. Это был Эдвард Григ, волшебник и великий музыкант!.. Так вот тот подарок, что он обещал сделать ей через десять лет!»

Основная тема повторяется, но звучит на более высоком эмоциональном уровне, мелодия расширяется (17 тактов), звучит ещё привольнее, достигает кульминации, после чего как бы растворяется в хрустально-волшебном звучании. У Паустовского: «Дагни плакала, не скрываясь, слезами благодарности. К тому времени музыка заполнила всё пространство

между землёй и облаками, повисшими над городом. От мелодических волн на облаках появилась лёгкая рябь. Сквозь неё светили звёзды».

В заключении мелодия исчезает, музыка поднимается в высокий регистр, звучит светло, возвышенно — прекрасно:

«Музыка уже не пела. Она звала. Звала за собой в ту страну, где никакие горести не могли охладить любви, где никто не отнимает друг у друга счастья, где солнце горит, как корона в волосах сказочной доброй волшебницы».

В последних тактах образ Дагни как бы сливается с символом самой родины:

«В наплыве звуков вдруг возник знакомый голос. «Ты — счастье, — говорил он. — Ты — блеск зари!»

Прибавим к этому, что время чтения текста и звучания музыки также совпадают...

Музыкальность прозы Паустовского не исчерпывается только описанием самой музыки и его совпадением с конкретными музыкальными произведениями. В образах, ситуациях, картинах природы, особенно в выражении психологических состояний героев, проза писателя также близка музыке. Паустовского неизменно называют романтиком. В XIX веке романтизм ярче всего проявился в музыке, так как это в первую очередь культ чувств, открытость их выражения, показ многообразия их тончайших оттенков. Всё это свойственно и Паустовскому. И, когда он, как бы отрываясь от земли, возносится к вершинам человеческого духа, проза его становится близкой музыке. Один из персонажей рассказа Паустовского, ставший невольным свидетелем истории возвышенной и трагической, заключает рассказ словами, что «временами жизнь делается похожей на музыку». Эти слова произносит старый музыкант Баумвейс в одном из самых поэтичных и прекрасных рассказов «Ручьи, где плещется форель». Автор переносит читателей в эпоху наполеоновских войн. Но это ещё и эпоха Бетховена, и писатель сближает композиционные приёмы в своём рассказе с бетховенскими. Один из излюбленных приёмов Бетховена — так называемое «сквозное развитие», то есть прохождение одной темы — лейтмотива — через всё произведение, её изменение, развитие, достижение вершины — кульминации.

У Паустовского такой сквозной темой стала тема природы как отражение душевного состояния героя.

Рассказ о судьбе маршала наполеоновской армии начинается неторопливо, спокойно, поначалу даже обыденно и лишь постепенно всё более драматизируется. Параллельно, сначала как фон, возникает картина зимней природы в горах: «Горы, покрытые снегом, белели среди ночи. Буковые леса простирались вокруг, и одни только звёзды мерцали в небе среди всеобщей неподвижности».

В небольшую гостиницу, где остановился маршал, забредает местный музыкант. Он играет на стареньком рояле, и в звуках музыки вновь возникают образы природы: «Маршалу показалось, что вокруг

городка звучат глубокие и лёгкие снега, поёт зима, поют все ветви буков, тяжёлые от снега, и звенит даже огонь в камине».

Далее Баумвейс и маршал едут в дом лесника, где празднуются именины певицы Марии Черни. И вновь — картина заснеженного леса: «Лошади мчались по земле, кованной из серебра. Снег таял на их горячих мордах. Леса заколдовала стужа. Чёрный плющ крепко сжимал стволы буков, как бы стараясь согреть в них живительные соки.

Внезапно лошади остановились около ручья. Он не замёрз. Он круто пенился и шумел по камням, сбегая из горных пещер, из пуши, заваленной буреломом и мёрзлой листвой.

Лошади пили из ручья. Что-то пронеслось в воде под их копытами блестящей струёй. Они шархнулись и рванулись вскачь по узкой дороге.

— Форель, — сказал возница. — Весёлая рыба!»

И, наконец, — апофеоз — любовь маршала и Марии Черни, где любовь предстаёт как высшее торжество самой природы: «Может быть, это густой снег, падающий всю ночь, или зимние ручьи, где плещется форель. Или это смех и пение и запах старой смолы перед рассветом, когда догорают свечи и звёзды прикасаются к стёклам, чтобы блестеть в глазах у Марии Черни. Кто знает?..».

Здесь гимн любви и здесь её трагедия — кульминация рассказа. А затем спад, заключение и в нём вновь — природа: «Всё вокруг осталось по-прежнему. Всё так же шумели во время ветра леса и ручей кружил в маленьких водоворотах тёмную листву. Всё так же отдавалось в горах эхо топора и в городке болтали женщины, собираясь около колодца».

Наверно, найдётся немало произведений Бетховена, которые могут вызвать ассоциации с этим рассказом, но, мне кажется, наиболее подходящим может быть Largo из сонаты № 7 (ор. 10 № 3). На его заключительную часть хорошо ложится и текст Паустовского.

Трёхчастная форма (третья часть повторяет первую), которая была прослежена во фрагменте из рассказа «Корзина с еловыми шишками», встречается подчас и как композиционный приём целого произведения. Структура эта широко распространена в музыке. Повторы необходимы для музыки, для её лучшего восприятия и запоминания, так как искусство это, звучащее во времени, исчезает после исполнения.

Повторы встречаются чаще в поэзии, в детских сказках, в устных сказаниях, но в прозе действуют иные законы: читатель может самостоятельно при необходимости повторить — прочесть нужное место. Сюжет же неизменно должен двигаться вперёд и повторы — неуместны.

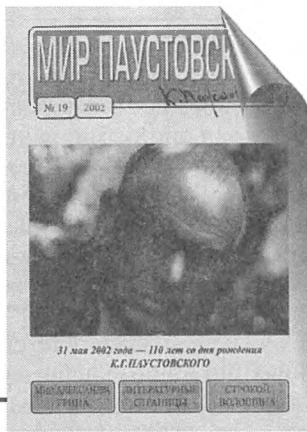
Однако Паустовский подчас применяет в своих композициях то, что сближает её с музыкальной трёхчастной формой. Конечно, повторы здесь не дословные, и понятие трёхчастности здесь обобщённо-условное, но создаваемая при этом симметрия сохраняется.

Этой структуре полностью соответствует структура рассказа «Снег».

Взаимодействие литературы и музыки наблюдалось постоянно. Но, как правило, это было влияние литературы на музыку: литературные сюжеты становились основой для опер, симфоний, симфонических поэм и увертюр... В музыку переносились приёмы драматургии, а само происхождение и формирование музыки тесно связано с распетым словом — песней, арией, речитативом.

Однако обратное влияние — воздействие музыки на литературный процесс почти не наблюдалось и не привлекало к себе внимания.

Творчество Константина Паустовского — свидетельство этого, наверное, крайне редкого и почти не изученного явления, к которому хотелось бы привлечь внимание как читателей, так и исследователей.



СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ О НЁМ...

Владимир СТЕЦЕНКО

ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА ЖАР-ПТИЦЕЙ ДЛИННОЮ В ЖИЗНЬ

Ещё одного талантливого писателя, члена редколлегии журнала «Мир Паустовского» унесла бесстрастная Лета. Против обыкновения, рано утром, на заре 11 июня 2001 года не проснулся, не вышел под синие сосны на песчаную дюну стройный остроглазый старик в лихо заломленной шапочке с алым помпоном.

Разлетелись, как лебеди, по белу свету тридцать его книг, переведённых на двадцать языков... И душа его, душа странника, выпорхнув из грудной клетки, унеслась вслед за ними...

Сегодня, вспоминая Куранова, думая о нём, я наугад взял с полки его книгу «Сердце ключей», и она сама собою открылась на крохотном рассказе «Ветер среди самого полдня»:

«Сегодня полдень, и солнечные тени клёнов трепещут по всему посёлку. Они трепещут не только на дорогах, лужайках, крышах, берегах, они выют в воздухе, словно счастливые стаи птиц, которые собрались в дорогу, но никак им не хочется улетать...»

Юрий Николаевич Куранов — коренной петербуржец. Он родился 5 февраля 1931 года в Русском музее, в буквальном смысле, — там жила и работала его мать Людмила Александровна Иванова. Она окончила Академию художеств, потом училась у П.Н.Филонова, готовила выставку этого выдающегося мыслителя и художника. Отец Куранова Николай Владимирович тоже учился у Филонова, дружил с М.В.Добужинским, В.Е.Савинским, С.П.Яремичем. Атмосфера высокой художественной культуры окружала Юрия Куранова с детства — его первые впечатления связаны с Русским музеем и Эрмитажем. До последних дней он помнил, как мы помним стены отчего дома, многие экспозиции той поры. Но так случилось, что шести лет от роду, перед войной, с родителями арестованного на десять лет без права переписки отца Юрий оказался в ссылке на Иртыше,

в сибирской деревне. Природа потрясла его своей привольной нерукотворной красотой. Первое время он боялся ходить по траве, потому что в Ленинграде видел её только на газонах с таблицами: «Не ходить! Штраф три рубля». Вот оттуда, с детства, у Юрия Куранова двойная любовь. Любовь к искусству, городской культуре и любовь к деревне, к простым цельным людям. На всю жизнь запомнил писатель тот прекрасный вкус деревенского хлеба, который он впервые попробовал в Сибири. И покосы. И цветок, который не решился сорвать в лесу. Искусство и природа запечатлелись в его душе, как два берега вечной реки, связанные и озарённые радугой нового завета между Богом и падшим человеком.

Юрий Куранов считал, что вообще в жизни это главное — для любого человека, и тем более для художника, писателя, музыканта, — не срывать и не присваивать ту красоту, которая нас окружает. Несорванный лесной цветок сам остаётся в сердце на всю жизнь. Звезда, блеснувшая на небе, порыв ветра, который ты где-то встретил ночью на озере, или чья-то далёкая песня, или конь, звонко проскакавший в темноте, — всё это семена, которые падают в душу творческому человеку. По убеждению Юрия Куранова, красота всегда одна — это внутренняя гармония жизни. И есть только один путь сделать жизнь понятней для любого человека — раскрыть внутреннюю красоту во внешнем её проявлении. Осветить то, что доступно каждому из нас и чего мы в упор в суете не замечаем.

Сибирь скоро обернулась суровой мачехой: там, осиротев, провёл он страшные военные и голодные послевоенные годы. Уже зрелым мастером Куранов напишет об этом горестном для всего народа времени в полубиографической повести «Облачный ветер». Школу он окончил за Полярным кругом — в Норильске, разыскав отца, который в ссылке опростился и завёл новую — третью — семью.

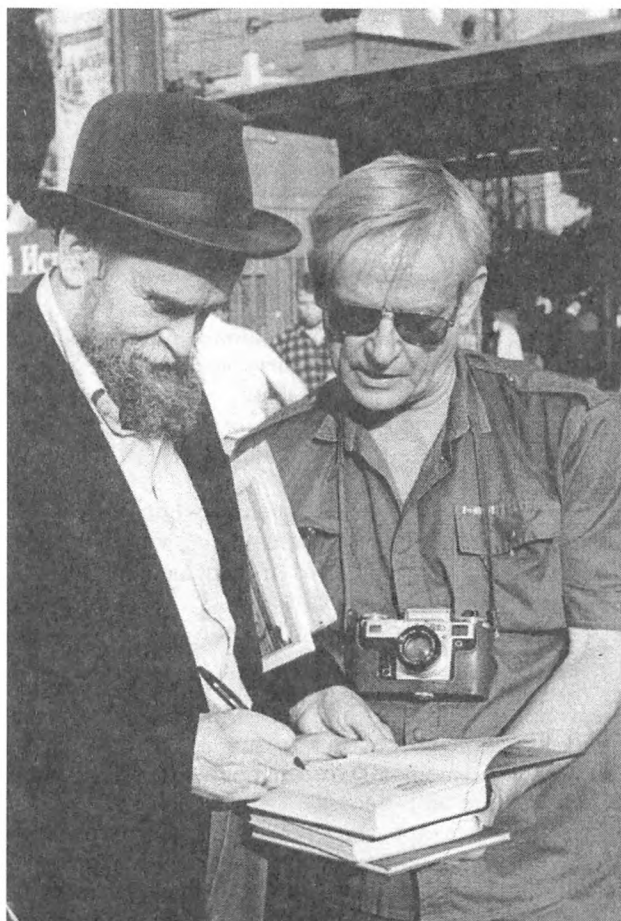
Потом жизнь Юрия Куранова резко переменялась: в 1950 году он едет учиться в Москву. Поступает на искусствоведческое отделение исторического факультета Московского университета. Но через два года понимает, что ему вновь надо менять жизнь, хотя уже и не столь решительно. Искусство, творчество — его удел. Куранов поступает во ВГИК, он учится там приблизительно в одно время с Василием Шукшиным, Людмилой Гурченко, Натальей Фатеевой и Андреем Губиным — целой плеядой молодых артистов, художников, сказавших яркое слово от имени своего поколения. Но судьба готовила Куранову иное назначение. Скоро и ВГИК показался тесным невольному сибирскому бродяге-самоучке. Он уже пишет стихи и рассказы, стараясь постигнуть секреты старых мастеров — от Бунина, Бодлера до японской поэтессы Х века Сэй Сёнагэн...

В Москве странник случайно знакомится с Константином Георгиевичем Паустовским, своим любимым писателем. Эта встреча определила его дальнейшую творческую судьбу. «Я был ошеломлён и обрадован, когда впервые раскрыл страницы книги К. Паустовского, — вспоминал впоследствии Юрий Куранов. — С тех пор неотступно помогал он, как родной и несказанно близкий человек, искать и любить простые и на первый взгляд неприятельные мгновения, события, предметы, из которых складывается добро человеческой жизни. Как писатель, он одним из первых учил меня ценить живое дыхание слова, пение красок, мудрую простоту повседневности, под которой скрыты глубинные движения человеческого сердца. Он учил тщательно лелеять опыт накопленного литературой мастерства, неповторимые богатства земной культуры; он убедил, что писатель, если он хочет быть писателем настоящим, не имеет права не быть мастером. Для многих и многих писателей моего поколения «Золотая роза» служила настольным учебником и порукой».

С 1957 Юрий Куранов постоянно живёт в деревне, сначала в костромском селе Пыщуг, а с 1969 — в псковском селе Глубокое на берегу живописного озера Глубокое, месяцами гостит у Гейченко в пушкинском Святогорье. Он разделяет радости и заботы своих односельчан, которые становятся героями его книг, — «Белки на дороге» (1962), «Увалы Пыщуганья» (1964), «Дни сентября» (1969), «Перевала» (1973). Эти книги закрепляют за Курановым репутацию певца северной русской деревни, виртуозного мастера пейзажа, самоцветной миниатюры и короткого лирического рассказа. Критика обоснованно связывает его имя с тем направлением русской прозы, которое начато «крестьянской» линией в творчестве Пушкина, Гоголя, Тургенева, Бунина, продолжено Пришвиным и Паустовским, без времени ушедшими Юрием Казаковым и Георгием Семёновым... В то же время, при всём внутреннем родстве с традиционной русской лирической прозой, короткие рассказы Куранова отличает только ему присущая особенность

мировосприятия и стиля. Душа художника постоянно находится в счастливом состоянии первооткрытия, пишет ли Куранов обычный сельский пейзаж, деловой очерк, психологическую миниатюру, бытовую зарисовку. Золотой дар обострённого восприятия сам Куранов связывает с аскетическим образом жизни, с бедностью, отмеренной ему судьбою. Не писать ради заработка — стало его правилом, условием успешной и чистой работы. Писатель мастерски сплавляет в каждой своей книге произведения разных жанров, составляя из них как бы единый поэтический цикл. Куранова нельзя читать насквозь, как читают приключенческий роман. Его короткие рассказы, новеллы, лирические миниатюры о природе, о людских судьбах, о жизни человеческой души часто напоминают стихи, каждая строфа которых словно вытекает из предыдущего повествования. Чтобы почувствовать их глубину, музыку, их напевную прелесть, нужно отложить книгу и отдаться тому созвучию, которое с участвующим дыханием, с толчком сердца произошло внезапно в вашей памяти.

Венцом лирической прозы Юрия Куранова явилось «Озарение радугой» — «Лирическая повесть на темы искусства по мотивам жизни костромского художника Алексея Козлова» (1982). Это



Ю.Н. Куранов с В.П. Стеценко.
Москва, Белорусский вокзал, 1999 г.
Фотография Г. Беглова.

прикосновение к жгучей тайне творчества, гимн красоте искусства и нерукотворной красоте природы. В «Озарении радугой» явно ощутима переключка с «Золотой розой» Константина Паустовского. Повесть проникнута тем же чувством ответственности истинного художника перед его согражданами, верой в могучий нравственный потенциал искусства.

Начало социальной проблематики заложено уже в первой книге Ю. Куранова «Лето на Севере» и особенно в «Увалах Пышуганья». Это тревожные очерки о положении молодых специалистов, врачей, учителей в деревне, о косных традициях и пережитках прошлого, о самоотверженной работе «районщиков» — хозяйственных руководителей. Всё же воссозданный им мир повседневной жизни и труда его односельчан, который сделал бы честь любому пишущему о деревне, оставался вне поля зрения критиков, словно замороженных праздничным свечением его живописных пейзажей и лирических миниатюр. Его даже укоряли в «лирическом экстремизме»...

Решив поселиться в Глубоком лишь на некоторое время, он задержался здесь на долгие годы и так сросся с жизнью села, так кровно проникся его интересами, что отказался от осуществления лихорадивших его замыслов исторических романов — о юности Пушкина, героях 1812 года и чрезвычайно острого в концептуальном плане полотна о русской «смуте» времён Лжедмитрия и Марины Мнишек. Потому что, оказавшись в эпицентре сельских событий, в глубинном совхозе, он почувствовал неопределимую возможность не только быть наблюдателем и летописцем происходящих исторических перемен, но и участвовать в них самым непосредственным образом.

«Я считаю, — говорил мне Куранов во Пскове, — что писатель должен сделать в жизни хотя бы одно конкретное, не «литературное» доброе дело. Помочь людям построить дом, провести дорогу, не дать разориться деревне, спасти какое-нибудь произведение искусства. Не случайно по Чехову каждый человек должен в жизни своей посадить дерево».

В романе «Глубокое на Глубоком» писатель стремился в каждом конкретном явлении, волновавшем его земляков, высветить универсальный, существенный для всего общества смысл и деликатно, но бескомпромиссно и прямо говорить правду о происходящем.

«Глубокое на Глубоком» (1970–1980) — этапное, новаторское произведение. Это собственная страна Юрия Куранова, открытая им для себя и для нас и заново открывающая одного из оригинальных мастеров современной прозы.

Однако разъярённые псковские партOCRы и мажоритарные районного масштаба после выхода романов «Глубокое на Глубоком» и «Заозёрные Звонья», написанных на взрывчатом «нечернозёмном»

материале «неперспективной деревни», вынудили писателя бежать быстрее лани от их всевидящего ока, отказавшись от новых попыток помочь «писательским вторжением в жизнь», древнерусскому селу Глубокому.

Куранов переезжает в Светлогорск Калининградской области, где завершает работу над документально-художественной повестью «Путешествие за птицей», созвучную «Глубокому на Глубоком».

Куранов духовно раскрепощается. Его творчество обретает новые горизонты. Он полон замыслов и спешит осуществить те, которые не могли быть реализованы прежде.

После публикации подборки религиозных стихов в журнале «Златоуст» (№ 2, 1993 г.), он издаёт в Калининграде один за одним поэтические сборники: «Звонница восьмистиший», «Слово об искушении России», «Слово о смятении России» и др. Это — поэзия мысли, где в отточенной форме об очень сложном говорится зрело-просто, с передачей тончайших оттенков смысла. То строго и сухо, соответствуя церковным канонам, то молитвенно и лирично, с жаром и волнением души, жаждущей осмыслить мир и человека единой мерой и правдой Божественного.

В 1996 году газета «Гудок» печатает отрывки из его повести о расстрелянной большевиками царской фамилии, о трагедии России, которую ныне поглощают новые смутные времена.

В том же году Куранов завершает новое произведение — «Дело генерала Раевского», которое он вынашивал тридцать лет, — о юности Пушкина и его друзьях декабристах. В этом романе-диспуте он отвергает многие устоявшиеся представления не только о событиях и действующих лицах Отечественной войны 1812 года, но и о российской истории в целом.

До последнего дня Куранов обдумывал свою главную книгу — «Тотальная фальсификация», конечно же, о любимой России, о трагической судьбе народа, насильственно увлечённого бесовской властью на бесплодное строительство безбожного рая на земле.

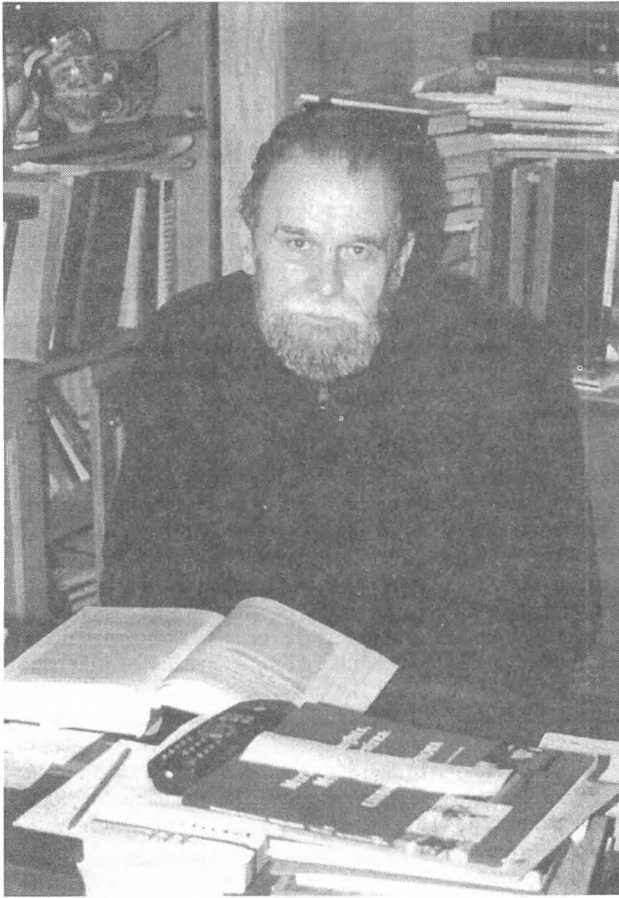
В 1999 году им создана в Калининградской области новая организация — «Амфитеатр свободных писателей «Отрадный берег», в Областной детской библиотеке — «Камин Паустовского», в музее скульптора Германа Брахерта под Светлогорском Куранов вёл творческие семинары молодых прозаиков и поэтов. Торжественно и душевно в феврале 2001 года был отмечен 70-летний юбилей Куранова.

А через полгода прах поэта был предан приютившей скитальца земле Отрадного, Янтарного берега.

Время сейчас торопливое, забывчивое. Долг друзей и почитателей его творчества — сохранить его наследие, память о нём.

ВЕТЕР СРЕДИ САМОГО ПОЛДНЯ

Сегодня полдень, и солнечные тени клёнов трепещут по всему посёлку. Они трепещут не только на дорогах, лужайках, крышах, берегах, они вьются в воздухе, словно счастливые стаи птиц, которые собрались в дорогу, но никак им не хочется улетать. Это видит каждый. И каждый, ко-



Ю.Н.Куранов у себя дома в Светлогорске. 2000 г.

нечно, знает, что в конце концов улетать им всё же придётся.

Поэтому люди выходят на дороги, взбираются на крыши, они ловят эти кленовые тени, рассовывают их по карманам, за пазуху, складывают в мешки, сундуки, под кровати. Я только что видел девушку, которая сгребала за посёлком стог из летучих клёновых теней. И грабли пели у неё в руках. Но девушка пока молчала.

Она работала. Девушка сгребла стог до самого неба, встала на него, выше холмов, крыш, сосняков. Она встала на стог в самом небе. Её белые волосы рвались вдаль вместе с ветром и платье рвалось и хлопало, как знамя. А стог журчал у неё под ногами. Так журчат ручьи, когда их много и сливаются они вместе, чтобы смеяться, пировать и хлопать друг друга по плечам.

Вот теперь девушка запела. Она пела без слов, но во весь голос. И руки подняла над собой, как два маленьких солнца. И освещала ими все дали, направо и налево.

И люди останавливались кто где был. Они смотрели на девушку, и губы их шевелились. Люди тоже пели. Не подпевали девушке, а каждый свою песню пел для себя. И лица их были счастливые.

Теперь счастья не доставало только клёнам. Именно полного счастья в такой ветреный полдень. И тогда отовсюду клёны сдвинулись со своих мест и пошли к девушке, к её стогу за посёлком. Ах, как это было радостно! Клёны шли и шумели во весь ветер. Они переговаривались друг с другом, друг друга окликали и приветствовали. Они встали вокруг стога. А ветер сорвал с девушки платье и понёс над озером, как птицу.

Тогда клёны враз поднялись, мгновенно выросли в небо и закрыли девушку на стогу, чтобы никто посторонний её не видел.

Пусть она стоит там, в небе, и поёт свою песню.

Александр ТВАРДОВСКИЙ

26 сентября 1962 г.

Неприятности с Паустовским этим, которого чёрт нас дёрнул просить написать о Казакевиче для «НМ». Неприятны в этой статейке мелкоостротные штучки: ¹ «независимость», «самый живой из всех живых», «**всё** правительство» и «Август» Пастернака в чтении Казакевича.

3 июля 1962 г.

Сегодня иду с Солженицынской вёщью к В.С.Лебедеву и одновременно к Черноуцану². Дай Бог, дай Бог.

Твардовский А. Рабочие тетради 60-х годов / Коммент. Ю.Г. Буртина, В.А. Твардовской // Знамя, 2000, № 7

**Ю.Г.БУРТИН,
В.А.ТВАРДОВСКАЯ**

Сообщение «От редакции» в «Новом мире» в 1964 году³ заставило цензуру и идеологический отдел ЦК КПСС обратиться в Секретариат ЦК. Гнев руководящих органов вызвал программный тезис редакции, провозглашающий основным достоинством произведения «непосредственную правду жизни». В перечне писателей, которых журнал собирался печатать, начальника Главлита П.Романова возмутили имена И.Эренбурга, В.Некрасова, А.Яшина, В.Дудинцева, К.Паустовского, А.Ахматовой, Е.Евтушенко. Руководители идеологического отдела (В.Снастин, В.Кухарский) добавили к списку нежелательных авторов А.Солженицына и В.Войновича.

А.Твардовскому после нелёгкой борьбы удалось отстоять сообщение «От редакции».

Твардовский А. Рабочие тетради 60-х годов / Публ. В.А. и О.А.Твардовских; Примеч. Ю.Г.Буртина, В.А.Твардовской // Знамя, 2000, № 9, С. 189

Эдуард ХРУЦКИЙ

[Корр.] — *А что вы читаете?*

[Э.Х.] — Паустовского. Я к нему постоянно возвращаюсь. Взял вот первый том и читаю «Романтиков». Я его очень люблю и принимаю всего, кроме ранних вещей, в которых слишком много красоты. Но это мы все пережили, когда начинали писать. С возрастом это проходит. Хорошо, что сейчас можно читать «Блестящие облака», а потом сразу взять «Повесть о жизни», замечательную осеннюю прозу. Паустовский один из самых моих любимых писателей. Он сильно повлиял на моё формирование как литератора. Один

СТРОКИ О ПИСАТЕЛЕ

раз я встречался с ним в 1964 году, когда он приезжал в Москву. Я дико смущался. Рассказывал ему историю, как был за него наказан в свое время. Он очень смеялся.

— *Как же это случилось?*

— Я был курсантом, и как раз вышел его «Беспокойная юность» в «Новом мире». Я взял в библиотеке этот журнал, был выходной день, зашёл за живую изгородь возле казарм, присел и начал читать. Зачитался и забыл, что надо заступать в наряд. Там меня застукал старшина: «А-а-а! Политикой занимаешься?» — и вlepил мне ещё два наряда.

Хруцкий Э. Мечтаю купить все книги / Беседавала О.Шато // Кн. обозрение, 2001, 19 февр.

Лань ИННЯНЬ

профессор русского языка и литературы Пекинского пед. ун-та

В 1951 году, когда я поступил на факультет русского языка в университет, там преподавали русские профессора из Советского Союза. Прежде чем отправиться на работу в Китай, они удостоились приёма у самого Сталина. Он каждому пожал руку и прочёл наставление, как нужно правильно работать, чтобы сделать Китай другом Советского Союза...

А потом наш «папаша» с вашим Никитой взяли и поссорились, так же, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем... Русские профессора вернулись к себе на родину, но к тому времени я, уже ими выученный, начал переводить рассказы Паустовского (в те годы он мне очень нравился) «Снег» и «Шиповник». Закончив работу, отдал её в издательство, где рукопись была одобрена. Но тут как на грех началась кампания против правых элементов (читай, против интеллигенции). Нет, это ещё не была «культурная ре-

волюция», лишь её преддверие. Но мой сопереводчик, девушка, с которой мы вместе работали, попала в число этих самых «правых элементов». У меня в тот год умер отец, поэтому я, видимо, и не разделил её судьбу. Книгу, однако, так и не напечатали.

Тосунян И. Под хрюканье поросят он тайком читал Гоголя // ЛГ, 2001, 14–20 марта, С. 11

Альберт МОРОЗОВ

Ещё в марте прошлого года директора школ, будучи вызваны на совещание районных и городских органов народного образования Узбекистана, получили шокирующее указание: изъять и уничтожить в школьных библиотеках учебники, изданные в своё время в Москве издательством «Просвещение», строго следить и не допускать, чтобы эти учебники из дома принесли учащимися и уж тем более — учителями. А в случае нарушения этого приказа непокорные педагоги должны были быть строго наказаны.

<...> Но самое большое потрясение испытал учителя и ученики ташкентской школы № 19, когда пришедший сюда сам начальник образования столицы Узбекистана Ислам Закиров с негодованием и яростью на глазах ребят и педагогов стал в ключья рвать обнаруженный сборник рассказов Константина Паустовского.

Весьма грустное зрелище — сегодняшние школьные библиотеки Узбекистана, лишившиеся за последние годы большого числа книг из своего фонда.

Морозов А. Чиновничье самоуправство: В школах Узбекистана принялись искоренять «ересь» // НГ, 2001, 20 марта, С. 5

Лев ЛЕВИЦКИЙ: Из дневника 1963, 31 мая

Вчера был в издательстве⁴. Если у меня выкинули фразу, что счастлив писатель, который может сказать о себе,

¹ В опубликованном некрологе К.Г.Паустовского о Казакевиче (Новый мир, 1962, № 10) нет никаких «штучек». Не восстанавливались они и в дальнейшем.

² От помощника Хрущёва В.С.Лебедева во многом зависела судьба повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича» — выбор благоприятного момента для передачи рукописи патрону с положительной и убеждающей рекомендацией. Полезно было также заручиться содействием И.С.Черноуцана, зам. зав. отдела культуры ЦК КПСС. Поэтому на встречу с ними А.Т. шёл максимально подготовленным — после многочисленных телефонных переговоров, вооружённый поддержкой ряда видных писателей: К.И.Чуковского, С.Я.Маршака, К.Г.Паустовского, К.М.Симонова, которые (в отличие от К.А.Федина и И.Г.Эренбурга) согласились дать письменные отзывы.

³ Новый мир. — 1963. — № 10.

⁴ Речь идёт о монографии Л.Левецкого «Константин Паустовский: Очерк творчества» (М., Сов. писатель, 407 с.).

что чувства добрые он лирой пробуждал, то легко представить себе, какова судьба более серьёзных вещей. По своему опыту знаю, что лучшие куски в моей книге те, которые дали мне не без труда, полетели самым беспощадным образом. А ведь я доказывал элементарщину... Если бы я писал её сегодня, я написал бы её совсем иначе. Хотя вряд ли я сегодня взялся бы за Паустовского и монографическую работу вообще. В книгах такого рода материал сковывает автора. Надо не покидать его почвы, не выходить за его границы, надо стремиться к полноте внешней, к тому, чтобы охвачено было всё, что принадлежит писателю, о котором пишешь. Даже то, чего касаться не хочется...

1 июня

Зашёл я вчера на переговорный на Тверском бульваре, в двух шагах от полувальдаматерного Литинститута. Зашёл, чтобы поздравить Константина Георгиевича. Он встречал свой день рождения в Тарусе.

1963, 15 июня

Позавчера выбрался к Константину Георгиевичу. Он в удручённом настроении. В Тарусе умер Пётр Иванович Голышев, человек хоть и не самый близкий ему, но хорошо знакомый и добрый сосед. В Москве умер Семён Гехт, которого К.Г. любил и хорошо знал.

Рассказывал о некрологе, который написал. Пять раз звонили ему из «Литературки», снимая слова и фразы. У него был такой обзац: «Есть поговорка, что не стоит село без праведника. Теперь эту поговорку все хорошо знают. И литература не стоит без праведников. Одним из таких праведников был Гехт». Сняли. Главным образом, из-за намёка на рассказ Солженицына, который объявлен ошибочным. У К.Г. было сказано, что в годы сталинского режима Гехт был арестован. «Сталинский режим» заменили «эпохой культа личности». К.Г. рассвирепел и спросил сотрудника, который вёл его материал: «Вы не хотите употреблять это имя, потому что готовитесь вернуть его?» Тот что-то пролепетал в смысле, что это не входит в его намерения. Как будто это зависит от сотрудника газеты. Прикажут — и будешь акушёром. К.Г. такой злой, каким я давно его не видел.

27 июня

Вчера встречался с американским профессором из Атланты. Славист. Занимается советской литературой. Работает над Паустовским. В издательстве ему сказали, что со дня на день должна выйти моя книга, и он загорелся желанием встретиться с её автором. Для поддержки я попросил Александра

Константиновича¹ пойти со мной на встречу с американцем. Но в Доме литераторов, где всё это происходило, кто-то вцепился в Гладкова, и я с профессором остался с глазу на глаз. Он явно был разочарован разговором со мной. Рассчитывал, видимо, что начну ему выкладывать, что наболело. В первых, не очень-то тянет откровенничать с первым встречным. Во-вторых, инстинкт самосохранения. Десять минут разговора, а потом десять лет неприятностей. Было бы из чего.

5 ноября

В воскресенье меня и Борю² позвали Паустовские. Была у них Натали Саррот — русская по происхождению, родом из Иваново, отлично говорящая по-русски и великолепно представляющая себе, что у нас делается. Хотя она и французская писательница и даже числится одной из родоначальниц «нового романа», она не чета иностранцам, которые развешивают уши и верят всему, что показывают и говорят. Она рассказала, как наш гид врал, как ложно объяснял, что люди, стоящие в очереди за хлебом, якобы стоят за апельсинами, спрос на которые в связи с ростом благосостояния увеличивается с каждым днём. И как она, сознавая, что у неё родные в Советском Союзе, судьбой которых она не имеет права рисковать, слушая эту лживую чепуху, не раскрыла рта. Удивительно, что женщина, выросшая во Франции, только понаслышке зная наши беды, прониклась нашей осторожностью, нашим страхом.

Пришли на Котельническую около семи, а ближе к десяти Саррот стала рваться в гостиницу, говоря, что к ней должен прийти В. При этом она сокрушалась, что ей приходится уйти, когда разговор, такой живой и интересный для неё, в самом разгаре, когда она впервые за свою поездку в Москву чувствует себя раскованной. Боря стал её уговаривать никуда не спешить. Он сказал, что не стоит В. её внимания. Этот ловкач и пройдоха, правда, не лишённый дарования, не унимался Боря, ищет встречи с ней потому, что с её помощью хочет устроить себе или поездку во Францию, или какое-нибудь издание. Натали Саррот сопротивлялась, а потом всё-таки осталась. Она только позвонила в гостиницу и попросила дежурную по этажу передать В. свои извинения, что не может встретиться с ним в этот вечер и будет рада, если он назначит другой день для прихода к ней.

В стране назревает катастрофа. Хлеба не хватает, скот режут, за всем километровые очереди, жизнь заметно вздороджала. При другом правлении

давно была бы заваруха, вспыхнул бы бунт, но при наших порядках, при всеобщей разобщённости, при отсутствии гласности и более или менее организованного общественного мнения люди покорно глотают это. Саррот спросила: у вас так плохо, на чём же держится этот режим?

На чём? На инерции, на запуганности одних и силе других, на том, что власти организованы, а всё, что им противостоит, рассыпано, разброшено, рассеяно — при отсутствии шансов собраться. И всё-таки так долго это продолжаться не может. Что-то должно произойти.

1964, 13 января

Вчера провёл вечер у Паустовского, к которому, как это бывало за три года до этого в Тарусе, пришёл с Гладковым. К.Г. рассказывал о воспоминаниях Шварца, рукопись которого кто-то дал ему почитать. Достаётся в них Корнею Ивановичу, дом которого Шварц называет полосой отчуждения, а его хозяина — белым волком. При всех его достоинствах и достижениях, а они несомненны, Чуковский — во многом порождение литературной среды со всеми её скверными качествами — завистью, неискренностью, фальшью, лицемерием, сплетнями. Если воспоминания принадлежали бы кому-нибудь другому, их можно было бы счесть наговором, но Шварцу не верить нельзя. Он был всегда безупречен.

Вчера, когда мы на такси добирались до Котельнической, у нас с Гладковым вспыхнул спор. Он сказал, что не понимает, почему у Экзюпери, у которого нет никаких беллетристических приманок, пользуется такой популярностью. Он не проповедник, моралист. Я с этим не согласился.

26 января

Вчера был Татьянин день. Т.А. пригласила к себе, предупредив, что никакого бала не будет. В весёлом настроении покатила на Котельническую. Встретила меня Т.А., сказавшая, что два часа назад у К.Г. был сильный сердечный приступ. Вызвали неотложку. С трудом сняли боль. К.Г. позвал меня. Лежал он не в кабинете, а в другой комнате. Он был бледен и растерян. Все, пришедшие поздравлять Т.А., делали вид, что ничего особенного не случилось. К.Г. вдруг вспомнил слова чеховского «Иванова»: жизнь человеческая похожа на растение, произрастающее в поле: приходит козёл, съедает его, и ничего не остаётся. Все засмеялись, кроме К.Г. Он сказал, что во всём этом мало смешного, что так

¹ А.К.Гладков.

² Борис Балтер.

оно и есть. Когда все выходили из комнаты, он попросил меня остаться. Я сел возле него, К.Г. сказал, что в старости вдруг начинают развиваться какие-то слабости, которые в зачаточном виде появились в пожилом возрасте и не вызвали особой тревоги. Сказал, что после инфаркта боялся за свою память. И когда написал первую главу последней автобиографической повести, на него напал страх. Ему показалось, что он всё забыл и ничего уже больше не напишет.

Почувствовав себя лучше, К.Г. встал, и мы с ним присоединились к застолью. Продолжая начатый разговор, я поделился с ним тем, что Гладков рассказал мне об Эренбурге. И.Г. через каждые двадцать минут выходит в уборную. К.Г. пожалел его. И сказал, что Эренбург у себя дома, когда гости и хозяева садятся ужинать, вдруг выходит из-за стола. У него тихий голос. Ему не дают прорваться в общий разговор, и он таким способом протестует против того, что не получает слова. К.Г. сообщил это мне после того, как несколько раз безуспешно пытался вставить слово в разговор.

Грустно видеть, как он тает на глазах.

...Вчера у Паустовских Д.М., занимающийся ядерной физикой, рассказывал, что к ним в курчатовский институт обратились с просьбой помочь производству так называемых тонких технологий, которое находится в жалчайшем состоянии. Транзисторы делают вручну. Оказывается, «выход продукции» только 5%. Остальные 95% — брак. Работа эта филигранная, делают её молодые девушки, которые к 25 годам становятся инвалидами. Теряют зрение. Это при том, что наши транзисторы, которых кот наплакал, ни в какое сравнение не идут с японскими. Зная это, самое время опровергнуть выводы ЦРУ, что наша экономика растёт медленнее, чем мы сообщаем об этом. Есть такая роковая закономерность в том, что мы ни с чем не можем по-настоящему справиться. Спутники и ракеты не в счёт. Они — часть военной промышленности, которая разбухает за счёт перенапряжения сил.

...Вчера К.Г. отвезли в больницу. Сердечный приступ. Третий за последние дни. В субботу, когда мы ненадолго остались с ним вдвоём, он заговорил о смерти и старости. Мы, молодые, даже вообразить себе не можем, как это жутко ждать, что не сегодня-завтра придёт за тобой смерть, и всё будет кончено. Конечно К.Г. очень устал, болезни его замучили, и всё-таки ему не хотелось умирать, хотя он и подготавливает себя к тому, что это может случиться в любую минуту.

22 декабря

Навестил К.Г. Он рассказывал о Лебедеве, референте Хрущёва по литературе, с которым встретился, когда лежал в кремлёвской больнице. После того, как скинули Никиту, Лебедев полетел вниз. Работает старшим научным сотрудником в институте Маркса-Энгельса. Стал вольнодумцем. Рассказал К.Г., что с Хрущёвым приходилось ему нелегко. Тот ничего не читал, и стоило Лебедеву начать читать ему что-нибудь, как его патрон тут же засыпал. Поликарпов, по словам хрущёвского референта, — убийца Пастернака. Лебедев сказал, что в его нынешнем положении главное продержаться два года. Когда К.Г. осведомился у него, почему именно два года, а не больше и не меньше, Лебедев замаялся, почувствовал, что сболтнул лишнее. Когда помотришь, от кого и от чего мы зависим, можно прийти в отчаяние.

1965, 3 февраля

К.Г. рассказывал про московское писательское собрание. Пришли почти все — и сам К.Г., и Эренбург. Секретарь городского комитета партии, увидев, что всё идёт не совсем так, как он запланировал, разразился криками и угрозами, пугая возможностью разгона писательской организации Москвы. Собранию навязывали решение: увеличить президиум до 13 человек, чтобы в него могли войти забаллотированные подонки. Большого значения это не имело, но характерно, как глушится малейшая инициатива, зачатки общественного мнения, даже, когда это не носит явного политического знака. Арбузов, Каверин, Паустовский хотели писать наверх, жаловаться. Желая сделать письмо более представительным, пошли к Эренбургу. Но тот, по словам К.Г., отсоветовал это делать, сославшись на то, что это ещё цветочки, что ягодки впереди, что через месяц непременно надо будет вмешаться и надо не распылять силы. Соображения сомнительные. Мотивы, по-моему, тут другие. Эренбургу разрешили печатать продолжение мемуаров, долго лежавшие без движения, и он боялся дразнить гусей.

<...> К.Г., когда речь зашла о Штейне, сказал, что «Закон чести» — подлейшая пьеса. Он всегда так считал. В особенности потому, что знал Роскина, прототипа главного отрицательного персонажа этого опуса. К.Г. сказал, что ему звонили из «Правды». Просили что-нибудь дать в газету. Но он не знает что. Собирается писать вторую часть «Золотой розы». Раньше он мне говорил, что хотел бы переменить название этой повести. Жаловался, что устал,

хотел бы уехать, поработать, отдохнуть, но пускают его только в санатории, где медицинская слежка и скука смертная. Ему хотелось бы в дом творчества. К живым людям.

7 февраля

Вчера с Александром Константиновичем поехали к Паустовским, у которых провели целый вечер. К.Г. чувствовал себя неважно. Когда мы пришли, он лежал в постели. Потом, правда, встал к ужину и сидел несколько часов за столом.

Очень смешно рассказывал подробности своей поездки в Англию.

Гладков заговорил о статье Малюгина... К.Г. сказал, что пьесой «Закон чести» он возмущён, но мемуары Штейна читал не без удовольствия. Разговор, как в последнее время водится, перескочил на Эренбурга и Шкловского.

Татьяна Алексеевна рассказывала, как десять лет назад всем семейством ездили в Городище — то самое, где умер отец К.Г., и которое он описал в первой главе «Далёких годов». Она сказала, что была поражена точностью описания этого места. Сейчас там живут многочисленные родичи К.Г. Они гордятся им и предлагали совместными усилиями выстроить ему дом, в который он мог бы приезжать на лето. К.Г. получил книжечку Пикассо с дарственной надписью. И Альберт Швейцер, прочитавший французский перевод автобиографической повести, прислал свою фотографию.

В Оксфорде К.Г. встречался с Катковым. Потомком Михаила Никифоровича. Наверно, боковым, поскольку у издателя «Московских новостей» были одни дочери (может, я что-то путаю). Этот Катков каждый год «видается» с Керенским, который лето любит проводить в Оксфорде. Так вот Керенский очень обиделся на то, что К.Г. написал, что от него пахло валерьянкой. К.Г. забавно оправдывался, говоря, что у него и в мыслях не было обидеть Керенского. Кстати, Керенский каждый год пытается Каткова, как случилось, что он перестал быть премьером России и не сделал того, что должен был сделать. Видимо, из сотен объяснений этого он не принимает ни одного.

1 марта

Вчера звонила Татьяна Алексеевна и просила приехать. Мы с Люсей наскоро собрались, сели в такси и поехали. По дороге забеспокоились, не остались ли включенным электроутюг. Повернули к середине пути. И правильно сделали. Утюг был включён, и, не вернись мы вовремя, мог быть пожар.

На Котельнической разгорелся дикий спор вокруг новомирской статьи

Малюгина. С одной стороны, Володя Медведев, которому нет дела до книги, вызвавшей весь этот шум, но который в хороших отношениях с её автором и его семейством. С другой стороны, всё остальное...

Татьяна Алексеевна вспоминала встречу с Цветаевой. Было это во второй половине августа сорок первого, незадолго до самоубийства Марины Ивановны. В Чистополе Татьяна Алексеевна хозяйничала, варила обед, собиралась помыть пол. В это время появилась Лидия Корнеевна Чуковская с какой-то незнакомой женщиной. Незнакомка назвала себя. Татьяна Алексеевна в первую минуту даже не сообразила, что перед ней та самая Цветаева, стихами которой она восхищалась. Одетая она была, по словам Т.А., небрежно. Выцветшая кофта, поношенная юбка. И — что особенно поразило Т.А. — мёртвые глаза. Глаза человека, про которого принято говорить: не жилец на этом свете. Разговор шёл о бытовых вещах. Цветаева говорила, что она хотела бы остаться в Чистополе, даже какие-то шаги в этом направлении предприняла, но ничего не выходит, придётся и дальше жить в Елабуге. Была она рассеянной, говорила путано, мысль её скакала. Потом пришёл Михаил Яковлевич Шнейдер — тогдашний муж Т.А.. Познакомившись с Цветаевой, он неожиданно стал сухо и жестоко, даже глумливо разговаривать с ней. Марина Ивановна съежилась. Сели обедать. Т.А. прикрикнула на Шнейдера, и тон его разговора смягчился. Цветаева ожила. Потом Т.А. пошла мыть посуду. Цветаева, как её ни отговаривали, пошла за ней. Т.А. мыла тарелки, а Цветаева их вытирала. Потом снова сидели за столом. Разговор был прерывистый. Цветаеву уговаривали остаться ночевать. Но она сидела немного и ушла к Асеевым. А наутро, когда Т.А. пошла за ней, Асеевы сказали, что Цветаева ранним парходом отправилась в Елабугу.

Рассказывала это всё Т.А. так выразительно, что возникало ощущение, что при этом присутствуешь.

5 марта

Вечером накануне отъезда в Ленинград был на блинах у Т.А. Прощёное воскресенье. К.Г. всё ещё в больнице. Он звонил домой, Т.А. дала мне трубку. Он говорил весёлым голосом. Ругательски ругал последний роман Федина. Я невольно подлил масла в огонь, рассказывая о пресном, бесцветном и претенциозном выступлении Федина на новомирском банкете. Федин всячески подчёркивал, что только числится членом редколлегии, что никакой ответственности за то, что публикуется

в журнале, следовательно, не несёт. Воистину комиссар собственной безопасности.

3 апреля

Две недели как вернулся из Ленинграда.

Литературные новости так себе. Правда, полетел Ильичёв. Но что не стоит прыгать до потолка, станет ясно после того, как проявится его преемник. Им стал Демичев. Кто говорит, что он человек более или менее интеллигентный, кто утверждает, что он — фигура мрачноватая.

Вокруг премий заваривается каша. Интересно, получит ли премию Паустовский?

15 апреля

Два дня назад в комитете по Ленинским премиям состоялось голосование. Кроме С.С.Смирнова, которому премия дана по журналистике, никто из прозаиков и поэтов ничего не получил. Максимальное количество голосов набрал Константин Георгиевич, но их оказалось недостаточно. Жаль. Помимо всего прочего К.Г. в трудном финансовом положении. Он опять заболел. Но, с другой стороны, то, что он не удостоился государственной ласки, — ещё одно подтверждение его независимости, за которую его ценят думающие читатели. Премия облегчила бы его существование, но авторитета ему не прибавила бы.

1968, 15 июля

...потом позвонил Володе Медведеву, чтобы узнать о здоровье Константина Георгиевича. Володя сказал, что всё в порядке, что К.Г. чувствует себя лучше, что ему дают какой-то новый препарат, приносящий благотворные результаты, что сам он вчера, то есть в субботу, навещал его в больнице. Потом пришёл мастер. Починил машинку. И ровно без пяти семь я вышел из дому и поехал в Загорянку.

Утром в понедельник сел к письменному столу. Работал часов до двух, а потом решил послушать, что происходит в мире. Я включил приёмник и стал слушать передачу Би-Би-Си. И вдруг меня как будто сбили с ног — по радио сказали, что вчера в Москве скончался известный советский писатель Константин Паустовский. Радио продолжало что-то говорить о К.Г., но я уже ничего не слышал. Я старался привыкнуть к этому известию и не мог. Все мы, встречавшиеся в последние годы с К.Г., видели, как он сдаёт, как тают его силы, как мучительно ему жаль, чувствуя свою полнейшую беспомощность, когда о работе, о том, чтобы сесть за письменный стол, мечтается как о самом большом подарке судьбы. Не уходил у меня из памяти и один

из последних моих разговоров с К.Г. Было это в первых числах мая нынешнего года. К.Г., когда мы с ним остались наедине, сказал мне: «Лёва, они изо всех сил стараются продлить мне жизнь. Но жизнь — это, когда, если не всё, то многое можно. Когда же ничего нельзя, ни ходить, ни писать, то это уже не жизнь. Я всё время в последние месяцы повторяю строчки: «Лёгкой жизни я просил у Бога // Лёгкой смерти надо бы просить». Я убеждал К.Г., что всё поправится, что он снова будет и ходить и писать, но я сам слабо верил в то, что говорил. В глубине души я со времени инфаркта в апреле 62-го понимал, что он может умереть со дня на день, и всё-таки, когда это случилось, это было как ливень, обрушившийся с ясного неба.

После того, что услышал, я тотчас же поехал в Москву. Заскочил домой, чтобы переодеться, и вдруг междугородний звонок. Гладков сообщил, что завтра выезжает и в одиннадцать вечера будет в Москве. Паустовским я звонить не стал, я прямо отправился на Котельническую. Схватив такси, я подъехал к дому Паустовских, не стал дожидаться лифта и пешком побежал наверх. Я так спешил, точно что-то можно было изменить или поправить. Открыла мне Галя. Мы молча с ней обнялись, и я вошёл в большую комнату — ту самую, которая служила кабинетом. В ней я впервые сидел двенадцать лет назад, вскоре после его речи на обсуждении Дудинцева. В ней, в этой комнате, он мне рассказывал о путешествии вокруг Европы и о мерзопакостном облике чиновного люда. В этой комнате кого только я не перевидал. И Некрасова, и Юру Трифонова, и Соколова-Микитова, и Натали Саррот, и переводчика де Голля Константина Андронникова, и мадам Ляншон, ведавшую во французском Министерстве иностранных дел культурными связями с нашей страной, и Каверинных, Фраерманов, Шкловских и много кого ещё. В этой комнате под Новый год был накрыт стол, и мы — Галя, Люся, Володя и я — оставили свою компанию в Доме литераторов и заехали на полчасика поздравить К.Г. с наступлением 67-го года.

И вот комната без хозяина. По углам её стоят диваны, шкаф и стеллажи с книгами, секретер. На диване Юля — любимая сестра его во время многомесячных лежаний в больнице, — ещё какие-то люди. Юля рассказывает, как это было.

В субботу К.Г. начали давать новый препарат, и он стал лучше себя чувствовать. В воскресенье Т.А. решила даже не ехать в больницу, куда она

наведывалась каждый день, настолько ничто не внушало ни малейших опасений. К.Г. спокойно пообедал, ему дали кислород. На мгновение ему стало лучше, а потом развилось удушье. К.Г. сказал, что это смерть за ним пришла. Так он говорил и до этого. Ему сделали укол. И он ощутил облегчение. Но опять ненадолго. И снова удушье, кончившееся смертью. В присутствии сестры и врача.

Татьяна Алексеевна, Галя, Володя рассказывали мне, что в тот вечер они обрывали мне телефон, пытаясь поймать меня. Они хотели, чтобы друзья К.Г. помогли решить, где лучше всего его похоронить.

17 октября

Сегодня утром звонок Татьяны Алексеевны. Вчера она была у Л.М.Эренбург. Когда приближалась годовщина смерти Ильи Григорьевича, его вдова спросила, что Союз намерен предпринять для того, чтобы отметить эту дату. На это ей было сказано, что даты Эренбурга и Паустовского Союз отмечать не собирается. Т.А. рассказала, что вчера В.Б.Шкловского вызвали на Лубянку, где продержали три часа. Вероятно, расспрашивали о Белинкове. Не посчитались ни с его мировым именем, ни с возрастом. Ему 75.

26 ноября

Вчера была у меня киевлянка. Пишет диссертацию о Паустовском. Преподаёт в университете. Муж — писа-

тель. Национальные страсти накаляются. Если она, жена украинского писателя, когда звонят из редакции какого-нибудь журнала, отвечает по-русски, на её мужа его коллеги начинают коситься. Какой ты, к чёрту украинец, если жена москалька.

*Левецкий Л. Дневник
// Знания, 2001, № 7, С. 114–168*

ВОКРУГ РОМАНА В.ДУДИНЦЕВА «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ»

*Из записки отдела культуры ЦК КПСС
(Д.Поликарпов, Б.Рюриков, И.Черноуцан),
1 декабря 1956 г.:*

Одним из наиболее острых в литературной среде является сейчас вопрос об отношении к роману Дудинцева «Не хлебом единым». Среди руководителей Союза писателей высказываются резко противоположные суждения о романе. Одни считают его значительным произведением, написанным в духе решений XX съезда КПСС, другие — явлением вредным, идейно-порочным...

Тон такому клеветническому истолкованию задал на обсуждении в Союзе писателей К.Паустовский, заявивший, что роман зовёт в бой против чиновников, которые захватили управление всей нашей жизнью и душат всё честное, смелое и творческое... Выступление К.Паустовского послужило как бы сигналом для различных нездоровых и озлобленных элементов, которые пыта-

лись в таком же духе комментировать книгу Дудинцева в выступлениях на дискуссиях и читательских конференциях. Показательно, что выступление Паустовского было полностью перепечатано в стенгазете физического факультета МГУ, что способствовало разжиганию нездоровых настроений среди студенческой молодёжи.

Из записки отдела науки, школ и культуры ЦК КПСС по РСФСР (Н.Казьмин, М.Колядин), 9 марта 1957 г.:

8 марта на заключительном заседании пленума правления Московского отделения Союза писателей СССР в связи с политически вредной речью Дудинцева выступил писатель К.Симонов...

Симонов охарактеризовал выступление Дудинцева одинаково тяжёлым и вредным, как в своё время было выступление Паустовского, назвал выступление Дудинцева и Паустовского далёкими от понимания подлинных задач советского писателя и ответственности перед обществом...

Симонов признал, что редакция журнала «Новый мир» не проявила твёрдости в подходе к напечатанию этой книги, не увидела однобокости в изображении советского общества...

*Не хлебом единым: Трагическая судьба писателя и его романа
/ Публ. Т.Домрачёвой, З.Водопьяновой
// Труд-7, 2001, 26 июля*

Составитель Моника САЗОНОВА

Причудливы бывают ассоциации... Закрыв, проглотив, едва что не буквально, № 17 «МП» и отчётливо вспомнил, когда впервые пронзило меня удивление — начало всех творческих начал.

Случилось это более 60-ти лет тому назад. Летним военным днём вела меня мама по улице казахстанской Жармы, когда из окна бревенчатого дома (в предгорной, иссушенной зноем Жарме все железнодорожные дома были деревянные, остальные — мазанки) нас окликнули.

— Маруся, зайди, дело есть...

Мы вошли в тесную, но светлую комнату. Женщины заговорили о своём, а я — остолбенел: увидел на кровати свежее, только что из-под иглы, испятнанное оконным солнцем лоскутное одеяло. Его цыганская пестрота шибанула в глаза. Голубые, красные, зелёные, золотисто-жёлтые, синие, местами и в горошинах, заплатки всякого размера и формы были набросаны как бы случайно, но так ладно пристёжжены один к одному, что сливались в единое целое — одеяло!

Ничего более яркого и даже озорного до той поры мне видеть не доводилось, и от этого я рассмеялся радостно и счастливо, что в войну бывало не часто.

Шедевры Эрмитажа и Русского музея, экспозицию которого впоследствии я полюбил сразу и до сих пор считаю, что нет ей равных в моём отечестве, всё же не произвели на меня того острого впечатления, как быющее стихийно-красочной фантазией лоскутное одеяло.

Сказался ли тут возраст: одеяло я увидел первобытно-впечатлительным

...И СЛЕД ПРОСТЫЛ !

ребёнком, а полотна великих художников поднаторевшим на журнальных репродукциях студентом — утверждать не стану, хотя, видимо, всё же — да.

И вот теперь, прочтя № 17 вашего журнала, я ещё раз пережил то далёкое, близкое к счастью ощущение. Как обычно размашистый по авторскому составу, внешне пёстрый по тематике: то о Константине Георгиевиче, то о Юрии Казакове, то о Льве Кривенко, то о сыне писателя Вадиме, то об адресах поездок Мастера, — журнал поразил меня, как в детстве то лоскутное одеяло интегральной цельностью всего номера. Он даже показался мне наиболее полно отвечающим своему названию — «Мир Паустовского».

В нём я выделил бы два пронзительно светящихся «лоскута»: эссе «Тупик вселенной» Вячеслава Мешкова и рассказ Юрия Гончарова «Однажды осенней ночью» — камертон всего номера!

И ещё — уж попутно.

Постоянно ловлю себя на том, что может быть не по возрасту, из меня прямо-таки рвётся наружу юношески восторженное отношение к Паустовскому — Великому Колдуну российской словесности, но ничего с собой поделат не могу. Да и не хочу. Любовь к мастеру укоренилась во мне давно, необратимо, и я просто жалею тех, кого миновала сия сладостная чаша.

Но вот — случай...

В поисках нужного для работы материала часто роюсь в завалах старых

книг и журналов, бескорыстно и за ненадобностью сдаваемых моими согражданами в нашу районную библиотеку. Сотрудники библиотеки мои хорошие друзья и, сказать откровенно, настоящие подвижники своего дела, люди золотые, не побоюсь сказать — элита российской культуры. Но сами библиотеки — учреждения финансово нищие, живущие на «остаточные» подачки российского общества. В поисках хоть каких-то средств библиотека и выставила на продажу книжно-журнальные дарения по одному (!) рублю за штуку хранения. (Вот где пошла проверка авторов на соответствие звания Писателя: книги иных, ранее громких авторов лежат в завале невостребованные годами.)

Так вот, очищая свою домашнюю библиотеку от сдвоенных или уже отработанных мною книг, я периодически сношу их в библиотечный завал — может быть, они ещё кому сгодятся? Недавно обнаружил в своей коллекции ваши журналы № 10 и № 14, которых у меня оказалось по два экземпляра. Я и их положил в завал...

Было это в пятницу, а когда я снова посетил библиотеку в следующий вторник, их уже и след простыл! Тут мне и блеснула мысль — перерывать весь завал. Докладываю — ни одной книги Паустовского я в нём не обнаружил! Значит, или не сдают или разбирают...

Так и обнаружил я, что в своём пристрастии к Великому Писателю, по крайней мере в моём городе, я не одинок.

Юрий КАЛИНИН

г. Ломоносов (Ораниенбаум)

ПАУСТОВСКИЙ В МОЕЙ ЖИЗНИ

Было это в 1955 году. Я тогда работал преподавателем русского языка в Высшем экономическом институте города Свиштова, который расположен на берегу Дуная. Как-то мы с женой услышали по радио рассказ «Старый повар». Я был поражён этим великолепным рассказом. Мне и теперь он представляется вершиной мировой литературы. Меня захватила и глубокая человечность, пронизывающая весь рассказ, и волшебная сила музыки Моцарта, и бескорыстная любовь к простым людям, и волнующий язык произведения.

В тот момент я впервые услышал и имя писателя, сразу ставшего мне близким человеком... У меня возникло решение написать диссертацию о языке и стиле этого блистательного писателя, выписал шеститомное собрание его

сочинений. Для меня было великим счастьем погрузиться в изучение богатейшего языка и стиля удивительного писателя.

Особенно большое впечатление на меня произвело мастерство Константина Паустовского в выборе эпитетов. Я, например, отметил двадцать два существительных (это происходило постепенно, в процессе работы), характеризующих человека и природу. Оказалось, Паустовский является в этом непревзойдённым мастером. Меня заинтересовало, сколько же эпитетов и каких встречаются во всём его творчестве. Картина эпитетов, выступающих в самых разнообразных словосочетаниях, показывает поразительное богатство эконом-

ных и эффективных художественно-образительных средств. Укажем только на

несколько данных об эпитетах следующих существительных:

— глаза — 270 эпитетов в 540 случаях;
— голос — 223 эпитета в 441 случае;
— лицо — 203 эпитета в 360 случаях;
— вода — 200 эпитетов в 475 случаях;
— свет — 167 эпитетов в 293 случаях и т.д.

Особенно большую склонность имеет писатель к использованию цветных эпитетов. Давайте возьмём, например, рассказ «Жёлтый свет»: «Я видел листву, не только золотую и пурпурную, но и алую, фиолетовую, коричневую, чёрную, серую и почти белую. Краски казались особенно мягкими из-за осенней мглы, неподвижно висевшей в воздухе».

Трудно указать на какого-нибудь другого писателя нашего века, который бы слыл таким же мастером красок. Паустовский создаёт из них удивительные сочетания, которые захватывают наше воображение своим богатством и гармонией.

И в лесных картинах писатель умеет разлагать свет. Так рассказ «Кордон <273>» — на редкость поэтическое произведение в прозе — по музыкальности и лиричности, по богатству тонов можно сравнить лишь с рассказом Ивана Тургенева «Лес и степь». В нём есть такая пейзажная картина: «А среди дня и река и леса играли множеством солнечных пятен — золотых, синих, зелёных, радужных. Потоки света то меркли, то разгорались и превращали заросли в живой, шевелящийся мир листы. Глаз отдыхал от созерцания могучего и разнообразного зелёного цвета».

...В 1959 году Константин Паустовский приехал в Болгарию, с которой он связан по бабушке — турчанке, жившей под городом Казанлык, откуда увёз её и взял в жёны дед Паустовского, участвовавший в освободительной войне 1877–1878 годов. Приезд Константина Паустовского стал большим культурным праздником для тогдашней Болгарии. Навсегда запомнился день 8 ноября 1959 года, когда доцент Ив. Васева, переводчик многих произведений писателя и я отправилась в гостиницу «Балкан», которая возвышается в центре Софии, чтобы сопроводить К.Паустовского для его выступления в 23-й аудитории Софийского университета им. Святого Климента Охридского. Моё волнение превысило девять баллов, когда мы постучали в дверь номера гостиницы, и нам открыл её любимый писатель. На машине мы поехали в университет. Когда Паустовский спросил о моём имени, я ответил: «Как у Вас. Но только в этом и есть единственное сходство между нами».

Мы познакомились с вами на «Прессе» прошедшей осенью. Я впервые попал на эту выставку и, правду сказать, она не особенно впечатляла. Не знаю, почему, но всё было как-то узнаваемо и суегливо. Вдруг краем глаза, мелком увидел надпись над стендом — «Мир Паустовского». Решил, что кто-то представляет брошюру с таким названием и с интересом подошёл. Когда же до меня дошло, что существует такой журнал (!!!), я просто был ошеломлён.

Есть старинный церковный распев «Свете тихий». Бог упомнит, когда случилось впервые его услышать, не сохранила память ни мелодии, ни содержания, осталось только название. Звучит

Проезжая мимо позолоченного здания Священного Синода, я пошутил:

— Константин Георгиевич, справа от нас стоит ЦК Священного Синода.

Он улыбнулся и своим милым голосом рассказал, что под Москвой был дом какого-то князя, в котором после Октябрьской революции жил первый секретарь обкома КПСС. Но слуга в доме был прежний и по привычке обращался к новому владельцу «Ваше сиятельство». Мне подумалось: секретарь не поправлял приятную для его слуха ошибку.

Аудитория, куда мы прибыли, оказалась переполненной, хотя был воскресный день. Профессор Симеон Русакиев, ушедший из этого мира пять лет назад, встретил тогда знаменитого писателя у двери тёплыми словами приветствия и предоставил ему слово. Константин Паустовский говорил о русской литературе, о таких талантливых писателях, как Платонов, Казаков, Бондарев и других. Он говорил, что не знает более высокой и совершенной поэзии в мировой литературе, чем бессмертные стихи Лермонтова «В небесах торжественно и чудно! Спит земля в сиянье голубом».

На вопросы слушателей о первообразах его отдельных произведений Константин Георгиевич отвечал обстоятельно и интересно. Естественно, тишина в аудитории установилась идеальная. Каждое слово писателя воспринималось как небесный дар. После лекции многие преподаватели и студенты сфотографировались перед боковым входом в здание университета. Я осмелился дать писателю отрывок из своей диссертации, в котором я анализировал эпитеты в его творчестве. Помню, что позже, при проходах писателя на вокзале Софии Паустовский сказал мне, тепло улыбаясь:

— Разве у меня так много эпитетов!

Известно, что Константин Паустовский написал ряд чудесных очерков о Болгарии, вышедших отдельной книжкой

«Живописная Болгария». В 1978 году издательство «Народна Култура» в Софии выпустило в библиотеке «Мировая классика» том избранных произведений К.Паустовского, признав его, таким образом, классиком мировой литературы. Может быть, такое официальное признание было сделано впервые как раз в маленькой Болгарии, где особенно любили и любят Константина Паустовского. Мне выпало большое счастье быть составителем этой золотой книги вместе с теперь уже покойной Лиляной Ацевой, очень талантливый редактором и переводчиком. Особенно великую радость мне доставил перевод включённых в книгу повестей «Мещёрская сторона», «Исаак Левитан» и эссе «Оскар Уайльд».

Когда мы отмечали в 1992 году столетие со дня рождения Константина Паустовского в Русском доме культуры в Софии, я читал отрывок из «Мещёрской стороны», переведённый на болгарский язык. Мне кажется, что публика почувствовала нежную и богатую поэзию в прозе одного из лучших произведений русской, а также мировой литературы.

...Однажды вместе со мной в самолёте летел бывший студент русской филологии Крум. Он рассказал мне, что когда был солдатом, то читал произведения Паустовского, чтобы как-то смягчить грубость и окрики, царившие в казарме. Паустовский спасал его духовно своим богатым языком и глубокой человечностью.

Для меня подлинным чудом является то, что ныне регулярно выходит в свет культурно-просветительский и литературно-художественный журнал «Мир Паустовского». Волшебник художественного слова, человек неподкупной совести Константин Паустовский вполне заслужил эту высокую честь и широкое признание.

*Константин ПОПОВ
г. София (Болгария)*

МИР ПАУСТОВСКОГО — НЕИЩЕРПАЕМ

в нём, в этом названии какая-то потаённая музыка, которой я был очарован. Как назвать её словами, не знаю, но уверен, что ею же полон язык Паустовского, и так же давно, не помню когда, влюбился в его прозу безотчётно и навсегда. У нас дома была книга довольно большого формата, в мягкой ржавевой обложке с крупной надписью «Золотой линь». Неосознанная, «первая» любовь началась именно с неё.

Не знаю наверное, но думаю, что у почитателей Константина Георгиевича есть это чувство пленительного слова.

Собственно в наличии этого чувства нет никакой заслуги человека, им владеющего.

Это как музыкальный слух — у кого-то есть, у кого-то нет. Я не склонен считать это избранностью, но думаю, что нам повезло. Услышать «потаённую музыку» рассказов и повестей писателя дано не всем. А может быть, даже немногим. До этой осени, до встречи с «Миром Паустовского», я полагал, что таких людей почти совсем нет. С кем бы из знакомых, среди которых в последние годы стало много литераторов, ни приходилось поговорить о Паустовском, ни у одного (ни у одного!) из них глаза не загорались, никто не сказал таких слов, чтобы можно

было понять — да, этот человек знает и ценит язык прозы Константина Георгиевича. Как-то зашёл разговор о стилях письма, о владении словом с главным редактором одного известного журнала, и при имени Паустовского он скуксился, словно я заговорил о чём-то неприличном. Правду сказать, иногда думалось, что я один на всём свете наслаждаюсь этим сокровищем — языком Паустовского. Подобное чувство как-то испытал в детстве, будучи страстно увлечённым собиранием бабочек. Одно лето мы отдыхали в деревне под Горьким, и меня чуть не свёл с ума большой тополёвый ленточник — самая крупная в средней полосе нимфалида. Тёмно-коричневый, почти чёрный с редкими снежно-белыми пятнышками по бархатным крыльям, он любил придорожную лужу. Там, где мелкий ручеёк пересекала чумазая просёлочная дорога, он каждое утро сидел прямо на грязи и с вожделием опускал в мокрое свой длинный трепетный хоботок, не толще вольска. И каждое утро в течение шестнадцати дней я крался к нему, как испытанный вор, но в последний миг он тревожно охлопывал над спиной разомлевшие было крылья и мгновенно взлетал. Он исчезал, казалось, навсегда в равнодушно шелестящих листьями осинах. Ни до обеда, ни после, ни ближе к вечеру он не появлялся у лужи, но каждое утро его манила туда какая-то неведомая сила, и я вновь крался к нему со своим самодельным ведёрным сачком. На шестнадцатый день я поймал его влёт. И все, кому я показывал это чудо, а показывал я его всем, кого знал в деревне, улыбались и непонимающе смотрели на меня. А я не умел рассказать им своего счастья.

Увидев «Мир Паустовского» на выставке и ещё не прочтя ни строчки из журнала, я уже был взволнован. Ощущение предстоящих открытий, ощущение того, что его «мир» будет теперь всегда рядом, переполнили душу. Толком ничего внятного не выговорил, кроме тривиального «люблю, страстный поклонник, искренне ваш».

Уже дома принялся за первый приобретённый том (№ 11–12), и открытия начались сразу же — «Тарусские страницы», о которых никогда ничего не слышал раньше, воспоминания современников о Паустовском как о достойном человеке, во что всегда верил, о тарусском «меридиане», оказавшемся нечаянным средоточием судеб творческих личностей России.

Удивительно, как судьба вела к этому благословенному месту. Я родился в Горьком, детство и юность прошли в Приокском районе города,

на берегах двух русских рек. В детстве очень увлекался рисованием, но как-то всё не давалась живопись. Однажды в журнале «Огонёк» или «Работница» (сейчас не вспомню) увидел фотографии одного музея, который очаровал. Эти здания, это место показались невероятно родными, словно, я знал их в какой-то «прошлой жизни». Первой, совсем неумелой, работой маслом стала копия с фотографии из журнала. Это было поленовское «Аббатство». Позже жизнь распорядилась так, что по распределению после биофака Горьковского университета попал в один закрытый (в те времена) институт, спрятавшийся в лесах под Серпуховом, недалеко от деревни Дашковой, где поворот на Тарусу, и смог бывать в Поленове часто, рисовать здания музея, берег Оки, бёховскую церковь. До сей поры Поленово остаётся любимой, близкой, местной «меккой», в которой так сладко бывать в солнечные осенние дни.

Конечно же ещё в школе начал писать стихи. Конечно же с избытком красотей, до приторности. Потом, когда следовало бы их бросить, в соответствии с общим законом жизни, видимо, приобел и как-то проскочил нужный момент. В результате пробы пера не закончились первыми попытками, отношение к стихам стало серьёзнее, появились кумиры, изучению которых отдавал время, и самыми духовно близкими стали Борис Пастернак и Марина Цветаева. В образ Марины Ивановны я бего попросту влюблён, подражал ей, посвящал стихи, мне казалось, разговаривал с ней.

Если вас ещё не утомило моё послание, приведу одно стихотворение.

Мой дикий предок, ты не верил в бога.
У капища к земле припавший ниц,
Глаза раскосые немного
Косил на груди идолиц.
Огнепоклонник, варвар огнекровый
С плакучей гривой, дымной на ветру,
Что ты шевелишь веточкой багровой
В углях костра, потухшего к утру.
Мечтатель мой, любовник искушённый,
Лихой наездник, бесшабашный плут,
Минутам красоты внимая отрешённо,
Ты помнил эти несколько минут.
Ещё живого, но с последней раной,
С копьём в боку, на мчащем скакуне
Сегодня ночью лунной и прохладной
Тебя узнать позволено во сне...

Пик увлечения написанием стихов и словом вообще пришёлся на годы учения в аспирантуре. Это было в самом начале восьмидесятых в Пушкине-на-Оке. Не хочу показаться «навязчивым графоманом», но позволю себе ещё два поэтических «отступления», которые были написаны в ту самую пору.

*«Не говори: «Как случилось, что
прежние дни были лучше этих?»
Ибо не от мудрости ты спросил об этом»
Экклезиаст*

Душе легко. Часы латунным боем
Не нарушают святочный покой,
И полон осязаемым покоем
Пейзаж за окнами с лесами и Окой.
Леса в снегу. Приветливы и праздно.
Покров реке соткал надёжный ткач.
И даже кажется, что целесообразны
В пейзаже линии электропередач.
Леса в тиши. И видно из окошка,
Что свет в бору ленивей и добрей.
Вон там изба стоит на курьих ножках,
Вокруг — следы невиданных зверей.
Покой, покой... И стрелки замирают,
И солнце не торопится в зенит,
И я сейчас наверняка узнаю,
Зачем минувшее тревожит и манит...
Ель на кресте, и сказочный шарманщик
В нелепой маске из папье-маше
Вращает ручку, заставляя ящик
Звучать, звучать... И чудно на душе.
А рядом с ним, в фанерном чемодане,
Под яркой мишурой, на самом дне
Лежит всё то, чем я был в детстве занят:
Флажки, фонарики, арап из мулине,
Звезда стеклянная, крахмальный лёд по краю
Сугробов ватных, блёстки от луны...
И я в себе, как прежде пребываю,
А не сужу себя со стороны.
Я словно сплю, и в сон мой проникает
Цветок герани, давний снегопад...
Ещё чуть-чуть, и я сейчас узнаю,
Зачем нам то, что не вернуть назад.
Сейчас, сейчас шарманщик скинет маску
И так понятно сможет объяснить,
Зачем мне та несбывшаяся сказка,
Обман, который хочется простить.
Молчит притворщик с музыкою в клетке
Из облупившихся, изъеденных досок,
Хранитель тайны, жрец еловой ветки.
Струится пот, стекая на висок...
Часы поют. Дрожат на циферблате
Две тонких стрелки, слившихся в одну,
Как будто бьёт весёлым клювом дятел,
Как будто бьёт в звенящую сосну!

КАРИНКА ДЕТСТВА. КРЫМ

По полу, в трещины тёплого пола,
В складки дешёвого половика
Солнце легко рассыпало узоры
Точным рисунком, без черновика,
Зной изнывал в олеандрах обоев,
Тут сыпал ягоды в путях дремоты,
И виноград, притемняя собою
Комнату нашу, подслушивал что-то.
Я замирал в темноте у буфета,
Пил из фаянсовой чаши компот
И по узорам горячего света
Шёл босиком, осторожный, как кот.
Мимо всего, что тонуло в усадле
Летнего сна, как испытанный вор,
Я пробирался по саду к ограде
И уходил ото сна за забор.
Там, куда убежал, было чудо,
Там расступался полуденный зной.
Два переулка отсюда дотуда,
И, как сегодня, оно предо мной:
Сахарной пеной волнуется море,
Бьётся в базальтовых лапах прибор,
И в виноградно-зелёном приборе
Чайка хохочет сама над собой.

В те годы начал писать книгу, полагая когда-нибудь, может быть, её опубликовать, и которая до сих пор не закончена. Свою прозу «сверял» с прозой мастера, читал и перечитывал рассказы Константина Георгиевича и добивался того, чтобы мои звучали похоже. Подражал ему, как казалось, во всём, за исключением темы. Странное чувство возникло, когда его рассказ подходил к концу: и понимаешь, что он не может и не должен дальше продолжаться, и никак не хочешь смириться с тем, что уже прочтены последние слова. Ещё досадовало то, что не было в его рассказах о любимой моей охоте. Со временем стало появляться довольно дикое, но настойчивое желание «дописать». То есть заняться чистой воды эпигонством — написать так же, как Паустовский, но об охоте. Я засел за рассказы, набросал темы, сюжеты, какие-то куски. Как вдруг у страны началась «ломка» после многолетнего коммунистического «допинга», и один из её спазмов вывернул наизнанку наш «ящик», а заодно и круто изменил мою жизнь. Пришлось оставить должность заведующего лабораторией диагностических препаратов в

нашем институте и побывать за несколько лет директором двух малых предприятий, посидеть вовсе без работы, освоить плотницкое умение — построил деревянный двухэтажный дом (очень горжусь тем, что сделал это в одиночку и вполне прилично), поработать дизайнером при оформлении зон рекреации на различных предприятиях Серпухова, «срубить по-лёгкому» некоторую сумму на посредничестве при обналичивании денег и потерять её где-то в заоблачных высях «Тибета», поработать на пекарне грузчиком, экспедитором, пекарем и снова директором и стать наконец журналистом, а там и редактором. Много всякого ужасного, тяжёлого, гадостного и радостного было в эти годы, и самым светлым стало начало безумной для того времени затеи — начать писать то, о чём подсознательно мечтал всю жизнь и что неторопливо задумывал в свой аспирантский «серебряный век». Как-то сами собой одна за другой стали возникать части большого цикла с нечаянной аллитерацией на «ж»: «Смешные и печальные истории из жизни любителей ружейной охоты и ужения рыбы». Рассказы, начатые, как до-

вольно откровенное подражание кумиру, постепенно, где-то ближе к середине второго десятка вдруг оказались моими собственными, в какую-то пору случилось неминуемое — невольное преодоление влияния и собственное литературное становление. Возможно, оно не слишком очевидно для стороннего глаза, но мне это уже открылось. Когда понял, отношение к Константину Георгиевичу стало не просто любовью, а благоговением. При всём своём совершенстве и кажущейся завершенности его проза, его язык — это НАЧАЛО, это прозорливое открытие принципиально нового, неведомого и бесконечного, которое сродни созданию колеса, открытиям Дарвина, Циолковского, Ван Гога, и потому мир Паустовского неисчерпаем. Боюсь, метафора окажется банальной, но я сравнил бы творчество Константина Георгиевича с открытием прекрасного родника, воды которого разнесут к людям его духовные ученики. Каждый по-своему. А людям и времени судить, у кого это получится достойно Учителя.

Анатолий МОЖАРОВ
пос. Оболенск, Московская обл.

Получил 17-й номер «МП» уже больше месяца тому назад, читаю и перечитываю.

Номер необычайно интересен, содержание богато фотографиями. Мне кажется, он наилучший изо всех, что были выпущены. Огорчают только опечатки. Их много. Начинаются они прямо на обороте обложки: «Новые рубрики». Невольно вспоминается «Британская энциклопедия» Ильи Ильфа («Держали сорок корректуру...»)

А статья В. Дружбинского меня просто убила. Я отлично помню весну 1966 года в Ялте. Я приехал в Дом творчества немного раньше Паустовского, всё его пребывание в Ялте проходило у меня на глазах. Никакого Дружбинского в качестве секретаря возле Паустовского не было, это выдумка автора. Что ещё хуже — в его статье бесстыдный плагиат. На странице 15-й «МП» (левый столбец, 4-й абзац сверху) он пишет: «*При малейшей возможности... и т.д.*» Посылаю музею свою книгу «Вспоминая Паустовского», вышедшую в 1972 году в Воронеже; откройте 73-ю страницу и сравните с отмеченными красными чернилами строками: слово в слово с небольшими пропусками и перделками.

На странице 16-й «МП» (левый столбец, первый абзац снизу) Дружбинский пишет: «*Редактор, который сидит в редакции и портит рукописи, чтобы ему спокойнее жилось... и т.д.*» Это списано из моего текста в журнале «Наш со-

«ЗДЕСЬ ЕГО НЕ СТОЯЛО...»

временник» (1972 год, стр. 72). Посылаю музею этот журнал, прочитайте и сравните с текстом Дружбинского отмеченные красными чернилами строки.

На странице 16-й «МП» (правый столбец, первый абзац сверху) Дружбинский пишет: «*Считаю, что основа литературы — воображение и память, и поэтому я против записных книжек... и т.д.*» Откройте мою книгу «Вспоминая Паустовского» на странице 68 и сравните с отмеченными красными чернилами строками: слово в слово, лишь с небольшими искажениями.

Утверждение Дружбинского, что Паустовский пришёл в редакцию ялтинской «Курортной газеты» и попросил себе в секретари «девушку, а лучше юношу, который умел бы печатать на машинке и выполнять секретарские обязанности», — совершенно неправдоподобно. Паустовский — стеснительный, скромный человек, не любивший никого ничем утруждать, допускавший к себе близко только хорошо ему известных, проверенных в долготных отношениях людей, не мог бы такое совершить, пользоваться услугами случайного, неизвестного ему человека. Да и никакой нужды ему в секретарях в Ялте не было: некоторое время по приезду он отдыхал, никакими писательскими делами не занимался, с ним в Доме твор-

чества была его семья — Татьяна Алексеевна и Галя, вокруг было множество давно друживших с Паустовским московских и иных писателей, любой из них всегда был готов исполнить какую угодно просьбу Паустовского, тем более такую: отправляясь на почту, захватить с собой и бросить в почтовый ящик его письмо. Были в Ялте и опытные квалифицированные машинистки, которые охотно печатали писательские рукописи: быстро, грамотно, чисто. Никакой редакционный юноша не мог бы сделать эту работу так, как они.

Возможно, Дружбинский действительно работал в ялтинской «Курортной газете» и ему случалось приходить в Дом творчества с надеждой получить интервью у кого-нибудь из известных писателей, случалось видеть Паустовского и даже, может быть, сфотографировать его, — но и только. Немало молодых журналистов с блокнотами и магнитофонами появлялись в этом доме и надоедливый роем вились вокруг Каверина, Арбузова, Шкловского, Ольги Берггольц, Веры Пановой и других именитых писателей, но всегда к ним относились насторожённо, недоверчиво, старались уклониться от разговоров с ними, потому что никогда не было точно известно, кто они такие, откуда явились, кто их прислал и направляет, для чего они лезут к писателям со своими вопросами. Такое отношение к незна-

комцам, называвшим себя газетными и радиожурналистами, диктовалось особенностями того времени: из длительного заключения пришли литераторы, вынесшие нечеловеческие пытки и издевательства; вроде бы с незаконными и политическими репрессиями было покончено, но в то же время не существовало полной уверенности, что всё происходившее в сталинско-ежовско-бериевские годы не повторится вновь.

Почти любой абзац, любое место в статье Дружбинского вызывает у меня впечатление, что эти строки я ранее уже встречал и читал в очерках и воспоминаниях других писателей, у самого Дружбинского в памяти ничего нет, он просто нахально чужое выдаёт за своё. Вот он пишет на странице 15-й «МП» (левый столбец, третий абзац сверху): «...Бывали ночи, после которых Константин Георгиевич не мог дойти до столовой, и тогда мы с его женой Татьяной Алексеевной устраивали завтрак на веранде. Кривоногий столик накрывался белоснежной накрахмаленной скатертью... приятно пахло свежесваренным чаем и подогретым хлебом. И Константин Георгиевич выходил из комнаты до блеска, до синевы выбритый, с аккуратно причёсанными волосами, в свежей, жёст-

кой, как салфетка, рубашке, и усаживался в кресло с таким лучезарным лицом, точно всё, случившееся ночью, он подстроил специально для того, чтобы состоялся этот уютный завтрак на свежем воздухе».

«Мы с его женой...».

Но ведь это же строки из воспоминаний Алёши Баталова, напечатанные в сборнике «Воспоминаний о Константине Паустовском», составленном Л.Левецким и изданном «Советским писателем» в Москве в 1975 году. Возьмите этот сборник, откройте на странице 413, читайте:

«После тяжелой, бессонной ночи с «неотложкой», уколами и кислородом, когда Константин Георгиевич не мог дойти до столовой, Татьяна Алексеевна устраивала завтрак в номере. На кривоногом балконном столе появлялись накрахмаленные белоснежные салфетки, какие-то кувшинчики, цветы, подогретый хлеб. Пахло свежесваренным чаем и ягодами.»

Паустовский выходил до блеска выбритый, с аккуратно причёсанными, ещё влажными от умывания волосами, в свежей, жёсткой, как салфетка, рубашке и усаживался в кресло с таким видом, точно всё, что случилось ночью, он подстро-

ил специально для того, чтобы состоялся этот уютный домашний завтрак».

Без большого труда, полистав книги тех, кто писал о Паустовском, можно найти происхождение, источники и всех других мест, составляющих сочинение Дружбинского.

Дружбинский, поскольку после выхода книг, на которые я ссылаюсь, прошло уже много времени, видимо, решил, что все, знавшие К.Г.Паустовского, уже поумирали, засыпаны землёй, не прочтут его фальшивку, не подадут из-под земли свой голос, и можно без страха и смущения обкрадывать покойных. Но я-то, увы, пока ещё жив. И жив Алексей Баталов, тесно друживший с К.Г. и его семьёй. И жив ученик К.Г. по Литинституту Григорий Бакланов, и другой ученик К.Г. — Михаил Шевченко. И ещё многие, многие другие литераторы и нелитераторы, знавшие К.Г. и писавшие о нём.

Жалею, что редакция «МП» не разглядела в Дружбинском литературного афериста и публикацией его фальшивки замарала страницы во всём остальном весьма ценного и очень хорошего сборника...

Юрий ГОНЧАРОВ
г. Воронеж

Посылаю вам копию постановления правительства РФ о присвоении имени Е.С.Гернета безымянному проливу в Карском море и копии предшествующих этому знаменательному акту писем-ходатайств Главного управления навигации и океанографии Министерства обороны и Федеральной службы Морского флота Министерства транспорта.

Конечно, была бы рада публикации в журнале некоторых отрывков из этих документов.

Галина ГЕРНЕТ
г. Санкт-Петербург

В 2002 году исполняется 120 лет со дня рождения Евгения Сергеевича Гернета. Редакция «МП» поздравляет дочь знаменитого капитана с этим знаменательным юбилеем и с радостью помещает на страницах «МП» фрагменты письма вице-адмирала А.А.Комарицына (начальника ГУНиО) и С.В.Палехова (зам. руководителя Федеральной службы Морфлота), а также текста постановления Правительства РФ, подписанного и.о. Председателя правительства РФ С.Кириенко.

Председателю Межведомственной комиссии по географическим названиям

Главное управление навигации и океанографии Минобороны и Феде-

ПРОЛИВ ГЕРНЕТА

ральная служба Морского флота Минтранса ходатайствуют о присвоении проливу между островами Известия ЦИК и островами Арктического института в Карском море, открытыми в 1933 году арктической экспедицией на ледоколе «Сибиряков» с участием Е.С.Гернета, имени этого заслуженного деятеля Российского флота, краткая биографическая справка о котором прилагается.

Капитан 2 ранга Евгений Сергеевич Гернет (1882–1943) отличился как боевой офицер во время русско-японской войны, 1-й мировой войны, командовал кораблями и флотилиями в годы гражданской войны. В период советской власти работал в торговом флоте и в Гидрографическом управлении Главсевморпути, много сил отдал исследованию Арктики. Его высочайшей заслугой является детальная разработка вопросов составления и использования специально для плавания в Арктическом бассейне карт в видоизменённой меркаторской проекции (публикация 1933 года в «Записках по гидрографии» № 5). Созданные собственноручно Е.С.Гернетом карты в этой проекции впервые были практически использованы в тридцатых годах во время папанинского дрейфа и полётов

В.П.Чкалова и М.М.Громова в США через Северный полюс.

Научная деятельность

Е.С.Гернета оборвалась трагически: в 1938 году он был безвинно репрессирован и в 1943 году скончался в казахстанской ссылке, работая счетоводом в глубинном колхозе. Реабилитирован в 1958 году.

В настоящее время по картам, созданным по идее Е.С.Гернета, плавают десятки военных кораблей и торговых судов в полярных широтах. Во многом благодаря его картам стала возможной высокоточная подлёдная навигация, достижение отечественными надводными атомоходами Северного полюса.

Своими исследованиями Е.С.Гернет намного опередил своё время и внёс неоценимый вклад в российскую и мировую картографию.

Предложение о присвоении проливу в Арктике имени Е.С.Гернета поддерживают Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт и Президиум Русского Географического общества Российской Академии наук.

Просим рассмотреть.

А.А.Комарицын, С.В.Палехов

Постановление Правительства Российской Федерации «О присвоении имён полярных исследователей Е.С.Гернета,

Е.С.Короткевича и А.Ф.Трёшникова географическим объектам в Арктике и Антарктике» № 383 от 6 апреля 1998 года.

В целях увековечения памяти выдающихся исследователей Арктики и Антарктики Е.С.Гернета, Е.С.Короткевича

и А.Ф.Трёшникова Правительство Российской Федерации **постановляет:**

Принять представленные Федеративной службой геодезии и картографии России предложения: Министерства транспорта Российской Федерации и Главного управления навигации и океа-

нографии Министерства обороны Российской Федерации — о присвоении наименования «пролив Гернета» безымянному проливу между островами Известия ЦИК и островами Арктического Института в Карском море...

г. Москва

Однажды я зашёл в нашу институтскую фотолaborаторию с заказом, чтобы мне пересняли какие-то иллюстрации из иностранного горного журнала. Лаборанты произвели пересъёмку и удалились в тёмную комнату проявлять плёнку. Я остался ждать. На столе в лаборатории лежало много всяких бумаг и среди них 2–3 старых журнала «Советское фото». Я стал их перелистывать и был чрезвычайно удивлён, когда среди авторов одного из журналов оказался Константин Паустовский. Я давно любил его книги, сразу заинтересовался его статьёй, подвинул к себе настольную лампу и стал читать. Из очерка я узнал, что Паустовский, ещё мальчишкой, получив от отца подарок — распространённый в те годы в России фо-

ПО СОВЕТУ ПИСАТЕЛЯ

тоаппарат «Кодак», увлёкся на всю жизнь фотографией и «всем, что связано с ней». Далее писатель даёт высокую оценку значения фотографии в жизни человечества как хранилища истории, подарившей людям отражения величайших событий, облики выдающихся людей и бытовые подробности давно ушедших времён. Конечно, Константин Георгиевич имел в виду главным образом работы крупных фотокорреспондентов, фотомастеров-художников, оставивших нам бесценные исторические фотодокументы. Писатель отметил огромный технический прогресс в фотографии и массовость распространения фото во всех

сферах жизни и в быту. Очерк прочитал несколько раз и был чрезвычайно благодарен писателю за столь добрую оценку фотографии, увлечение которой коснулось и меня. Конечно, мои фотографии были в основном бытовые, семейные и по специальности, но были среди них и любопытные.

В день, когда я прочитал в старом журнале «Свидетель времени» Константина Паустовского, до конца работы невольно мысленно возвращался к взволновавшему меня очерку. А вечером дома я залез на антресоль, разыскал старый картонный ящик, вынул из него фотоаппарат «Киев» и с тех пор не расстаюсь с ним, несмотря на свой преклонный возраст.

Иосиф ЭЛЬКИН

Самое замечательное в «МП» — объективное отражение мира писателя: хвалебное и ругательное — из первых уст. От этого Паустовский только выигрывает и как писатель, и как человек, и как личность. Как-то по-иному, по-новому открывается среда, вся пестрота, которая его окружала и в которой он жил. Нигде, ни в одном «толстом» журнале это так выпукло и заметно не проявляется. Может быть потому, что каждый из них выполняет свой заказ, а ваш зиждется на чём-то таком исконном и бездонно-русском, коему и соответствующего названия не найти. Бог вам в помощь.

А по «Словарю» можно уже научные изыскания студентам давать. Лилия Васильевна Судавичене великое дело творит. И дай ей Бог, завершить своё создание.

*Мария Иосифовна Конюшкевич
профессор университета
г. Гродно, Беларусь*

Интерес к творчеству Паустовского, к Рёвнам на Брянщине велик. Мне часто приходится выезжать в Рёвны (они находятся в сорока километрах от нашего городка), чтобы там на месте провести экскурсию. Хотелось бы открыть туда туристический маршрут, благо дорога — хорошая, места — красивейшие и для отдыха, и для души. Но нашему малень-

ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ И МУЗЕЙ

кому музею, который не располагает транспортом, это не под силу. А вот расширить экспозицию хотелось бы. Сдвоенный 15–16-й номер журнала оказался для нас, музейщиков, сущим кладом.

В 2000 году мы ездили на несколько дней в Рёвны вместе с клубом творческой интеллигенции «Вдохновение», который работает в музее. В 1997 году отметили 540-летие села. Были чудесные, благословенные дни, тем более, что все они проходили под аурой Паустовского...

*Тамара Константиновна Слуцкая
п. Навля, Брянская обл.
Краеведческий музей*

«Мир Паустовского» № 15–16 очень интересный — в нём много нового для читателей о личной жизни писателя, его детях, окружении...

Посылаю страничку из здешней газеты с интервью Г.А.Арбузовой о Паустовском.

*Рита Яковлевна Флид
г. Вальнут, США*

Очередной выпуск «МП» (№ 17) как всегда удался.

Хорошо, что вы отдали дань памяти Вадиму Константиновичу — достойному сыну своего отца, светлого человека.

Просто диву даёшься, как удаётся вам находить новые темы и материалы, связанные с К.Г.Паустовским. Материал

отважного капитана (нашего общего с вами друга из Ульяновска) Анатолия Пирогова «Как слёзы первые любви...» мне показался щемящим, что и слов не подобрать. «Одесский листок» — настоящая находка. Думается, что материал для него всегда будет достаточно.

Посылаю информацию о конференции в школе-гимназии по творчеству Константина Паустовского. Акция прошла по инициативе нас, севастопольских «паустовцев», и вызвала интерес у ребят.

Недавно в Панораме была группа голландских туристов. Они интересовались пребыванием Паустовского в Севастополе, вашим музеем и «МП». Через гиду я им передала все нужные адреса.

*Евгения Матвеевна Шварц
г. Севастополь, Украина*

Прикосновение к наследию Паустовского, к воспоминаниям знавших его людей окрыляет, вдохновляет, лечит душу, даёт силы выживать в это тяжёлое, страшное время — это как бальзам на душу. Безмерно благодарна за МП № 17. В богом забытом Очакове с единственной библиотекой я совершенно оторвана от большой жизни. Наша библиотека не имеет средств на периодику, перебивается кем-то подаренной подпиской на какую-нибудь газету и не-

сколькими газетами, что передадут ей работники горсовета после прочтения.

В фондах музея П.П.Шмидта в Очакове есть воспоминания защитника П.П.Шмидта Александра, о которых говорит в «Чёрном море» Паустовский, не называя фамилию адвоката. Александр на первой странице своей книги, изданной на украинском языке в Харькове в 1930 году, говорит о Шмидте так: «В Пантеоне выдающихся исторических имён имени Шмидта принадлежит совершенно особое место. Теперь, через 25 лет после его трагической смерти, начинаешь осознавать, что этот необыкновенный человек имел такие моральные качества, каких люди достичь смогут лишь в далёком будущем». Это наиболее яркие, сердечные, глубокие воспоминания о Шмидте, они сродни восприятию Шмидта Паустовским.

*Лидия Ивановна Иващенко
г. Очаков, Украина*

С жадностью просмотрела весь 17-й номер «Мира Паустовского». Интересно всё: и воспоминания, и исследования, и раздел «По местам Паустовского». Перечитываю страницы, связанные с Вадимом Константиновичем, и болит сердце, что нет его с нами — такого родного, дорогого и очень нужного человека.

Десятого апреля пойду в церковь, помолюсь его светлой душе, поставлю свечу.

*Нина Павловна Гусарова-Раздорова
г. Рига, Латвия*

Для меня это было радостное событие — очередной номер журнала, к тому же с моим материалом. Признаться, я уж и не надеялся на его публикацию.

Большое спасибо за внимание, за подготовку очерка к печати — и особенно в том виде, в каком он, если не ошибаюсь, и был написан. Хотя, признаться, кое-что там и показалось мне сейчас излишне откровенным...

С той поры, когда я писал это о Константине Георгиевиче, что-то изменилось в освещении его жизни и творческой деятельности, как и вообще к нашему литературному наследию, а то и всей культуры в целом. Ведь мы здесь в Одессе за это время как-то отделились от вас...

Тем более трогает, что меня напечатали — пусть и «из другого государства». А какие-то устаревшие нюансы — они, по-видимому, неизбежны. Да и разве мы сами не изменились за прошедшие годы? И просто «постарели»?

Но и тем более еще трогает внимание к моей авторской персоне со сто-

роны редакции журнала, что публикация вызвала некоторый резонанс в Одессе.

Увы, резонанс недобрый...

Вынужден часто признаться в этом, приятно тронутый проявленной ко мне редакторской «толерантностью», что ли. То, что очерк о Паустовском не претерпел никакой журнальной «цензуры», — очевидно, лишний довод в отношении неправоты моих критиков...

*Владимир Михайлович Грдин
г. Одесса, Украина*

Сегодня, в день Рождества Христова дочитал «Мир Паустовского» № 17. Вот это был праздник! Впрочем, так же, как и при каждом выпуске альманаха. Погружаюсь в мир русской литературы и отечественной истории XX века. Хотя я вообще-то много читаю, но в последние годы отошёл от современной литературы, исключение делаю лишь для самых любимых: Астафьева, Искандера, Новеллы Матвеевой и Кушнера.

Журнал позволяет вернуться в мир, которым жил прежде. Впервые знакомлюсь с писателями, оставшимися в тени, ибо честному писателю нелегко было выбиться «в стране лжецов», в которой мы жили. Узнаю новые имена в литературе. Ведь всегда появляются молодые таланты, а у меня уже нет времени просматривать все толстые журналы. «Мир Паустовского» для меня теперь — единственная нить, связующая с литературной жизнью. «Душа болит и сердце плачет» от того, что так мало читателей у нас знакомы с ним.

Веду дневник читателя. И первая запись в этом году, веке, тысячелетии — о «Мире Паустовского» № 17. Он заставил меня отложить в сторону две книги, которые перед этим начал читать.

А от «Мира Паустовского» № 18 испытал настоящее потрясение, как от бесценного подарка.

Статья Михаила Кураева, стихи моего любимого Александра Блока, имена Бориса Зайцева, Веры Пановой — какое богатое содержание. Очень злободневна и нужна оказалась статья Зои Журавлёвой. А очерки о природе Фёдора Поленова и Юрия Куранова — «это всё мне родное и близкое...»

Задумался вот над каким вопросом: у кого из русских писателей XX века мог бы быть такой же журнал, как «Мир Паустовского»? Отвечать? Отвечаю: да, пожалуй, ни у кого другого. Даже у моего любимого Михаила Пришвина.

Жду выхода в Нижнем Новгороде избранного четырёхтомника К.Паустовского.

*Генрих Иванович Юферов
с. Шмелёво, Кировская обл.*

Мнение двух читателей о «МП» подерживаю: по жанру «МП» — альманах. «Два похода Марка Кострова в «МП» № 17, с моей точки зрения, гвоздь номера. В «Summagy» много опечаток, готова взять на себя перевод текста на английский язык.

Неожиданно попала под столь сильное влияние первого прочтения материала из «МП» № 18, что только о том и думала, а знакомство с выпуском долго не могло состояться (такое со мной случилось впервые).

Просмотрев оглавление, увидела редкое, но мне по детству знакомое слово «Кикимора» (так называется овраг с очень крутыми склонами, любимая «гора» лихих лыжников из нашей школы). Сразу же прочла рассказ Галины Корниловой и... потеряла покой. То, с чем она столкнулась в теперешнем Петербурге, не частое явление, порождённое особенностями места, а скорей результат веяний времени (ведь ещё древние видели связь нравов и времени). Чтобы оценить масштаб явления, достаточно сопоставить написанные с натуры лица россиян, живших в XIX веке (вспомните известные картины Тропинина, Сурикова, Васнецова и особенно Нестерова), с теми физиономиями, которые в наши дни создают почти везде (кроме концертных и театральных залов)... Если бы не точная диагностика явления, данная Г.Корниловой, я бы дальше продолжала просто удивляться (думая, какое по счёту поколение с «алкогольной» наследственностью начинает занимать ведущие позиции и так ли опасно велика степень генетической отягчённости нашей популяции)... Не сомневаюсь, что страшная пустоглазая «нечисть», захватившая просторы, прежде населённое ясноглазыми людьми, — расплата за неоправданно терпимое отношение общества к массовому пьянству (теперь ещё и наркомания: дождёмся потомков наркоманов, и тогда кикиморы покажутся добрыми феями). Когда сказка становится былью (кикимора — персонаж по определению сказочный) — значит, сформировались условия для перехода одного в другое, и надо было своеобразно подумать, какой сказке — страшной или волшебной — мы сами открываем путь...

Галина Корнилова, помнится, была ученицей К.Г.Паустовского. Безусловно. Вспоминаю её рассказ о «странной девочке Лёле», так она оправдала это высокое звание!

Но, как по-разному — причём каждый с развитым чувством времени — они вводят читателя в неизвестный ему антимир: заботливый старичок-леший из «Повести о лесах» и «быть беде...

быть беде...» в «Кикиморе». Значит, наш мир и правда так изменился, что «время больших ожиданий» выродилось в комфортное для «пустоглазой нечисти». Нечисть его дождалась потому, что мы своё упустили...

Из других материалов № 18 хотела бы отметить рассказ Н.Галкиной «Свеча» и воспоминания Е.Тарасовой «Три встречи».

*Наталья Викторовна Пешкова
г. Екатеринбург*

Журнал «Мир Паустовского» № 18 прочитала «на одном дыхании» и сразу же понесла на кафедру, где в этот день проводила лингвистический семинар. А уже вечером вместе с сыновьями испытала истинное наслаждение, перечитывая многое второй и третий раз (точнее — всю ночь!). Спасибо и за публикацию рецензии...

Такого издания — и по содержанию, и по полиграфическому исполнению — мы не видели уже давно. К сожалению, границы между нашими государствами, в частности, финансового характера, не дают возможности ни подписаться на журнал, ни выпустить прежние номера наложенным платежом.

*Евгения Николаевна Ершова
профессор, доктор педагогических наук
г. Ашхабад, Туркменистан*

В наше время ваш музей просто феномен, вселяющий большие надежды. И какие в «МП» рубрики интересные. Я к стыду своему впервые прочитала письмо Паустовского в защиту Бродского. Великолепны подборки о Блоке и Мандельштаме. Я даже в учебном пособии заменила ссылку об Александре Блоке на выходные данные вашего журнала — в нём россыпь других интересных высказываний.

У нас в университете в декабре 2001 года защищена дипломная работа «Концепция природы в творчестве К.Паустовского». Автор — студентка-заочница, учительница. Её работа продиктована большой любовью к писателю, а главное, по своей инициативе она предложила систему уроков по творчеству Паустовского в школе.

*Людмила Петровна Егорова
доктор филологических наук,
профессор университета
г. Ставрополь*

Журнал № 18 читаю с удовольствием и заново переживаю те чувства и волнения, которые пришлось испытать в дни встреч «паустовцев» в Петербурге. Славное время.

В мае передал около 50 книг (детских, приключенческих и познавательных) в библиотеку им. К.Г.Паустовского. Местные власти помогают не ахти, а поддержать библиотеку надо. Думаю через местную печать обратиться к читателям (жителям города), чтобы они помогли книгами библиотеке к 110-й годовщине со дня рождения писателя.

*Валентин Васильевич Зайцев
г. Ливны, Орловская обл.*

Выпуск 18-й журнала особенно порадовал «петербургской» направленностью материалов. Этот мир мне всегда был ближе московского, так что, можно сказать, угодили на все сто.

*Ирина Юрьевна Парчевская
г. Пушкинские горы, Псковская обл.*

Журнал прекрасен по содержанию, по духу и по форме, сделан с большой любовью к Паустовскому. Мы очень польщены тем, что наши учебники стоят в основном фонде музея. Посылаем вам новое издание сборника «Очерки о детских писателях» — пособие для учителей, работающих по нашим учебникам. Статья о К.Г.Паустовском, на наш взгляд, получилась.

Мы делаем непрерывный курс литературы для начальной и основной школы и сейчас завершаем работу уже над учебником для 7-го класса.

*Рустэм Николаевич,
Екатерина Валерьевна Бунеевы
г. Москва*

Читаем «МП» № 18 и наслаждаемся. Надеемся и в дальнейшем получать этот прекрасный журнал.

*Ирина Ивановна Пазюн
библиотекарь Дома-музея А.П.Чехова
г. Ялта, Крым, Украина*

Журналы в кабинете со стола не убирать: хочу поглубже вникнуть в их содержание. Заодно показываю их всем, кто понимает... На днях была моей гостьей заслуженная артистка России Светлана Карпинская. Ну, так вот, вместе порадовались за журнал, за людей, которые его делают.

*Евгений Васильевич Потупов
главный редактор газеты
«Брянские Известия»
г. Брянск*

Пишут вам учащиеся Екимовской средней школы. Екимовка — село Рязанского района, центр Екимовского сельского округа в 26 км на юго-запад от Ря-

зани. Наше село — родина георгиевских кавалеров Михаила Семёнова и Моисея Михеевича Русакова, как сельцо упоминается в платёжных книгах 1628 года.

От местных старожилов мы слышали, что посещал наше село кто-то из великих русских писателей. Но фамилию писателя не называл никто. И представьте нашу радость, когда от Виктора Михайловича Афанасьева стало известно, что писателем этим был не кто иной, как Константин Паустовский. В номере 18 вашего журнала опубликован снимок Успенской церкви, которая находится в нашем селе. Школа располагает фрагментами метрических книг 1909–1912 годов, которые велись священнослужителями этой церкви. Из этого источника узнали, что служил в Успенском приходе в начале XX века священник Пётр Загорский.

Познакомившись с воспоминаниями Вадима Паустовского, опубликованными в № 5 «МП», выяснили, что Пётр Александрович Загорский приходился дядей Екатерине Степановне Загорской, жене Константина Георгиевича, матери Вадима. В 1923 году к Петру Александровичу Загорскому в Екимовку и приезжали супруги Паустовские.

Таким образом, ответ на вопрос, кто из естественных писателей посещал Екимовку, мы нашли благодаря вашему журналу.

К юбилею писателя оформим в школе стенд, организуем читательскую конференцию, посвящённую его творчеству, постараемся сделать так, чтобы о пребывании писателя в Екимовке узнало как можно больше наших односельчан.

*Учащиеся школы
с. Екимовка, Рязанская обл.*

Думаю послать в школьный музей Пушкина в Башкортостан небольшую книжицу «Пушкин, его костромские родственники, друзья, знакомые». Это мой отклик на письмо школьников, опубликованное в последнем номере «МП».

*Валентина Николаевна Иванова
г. Ярославль*

Очень рад тому, что появилась возможность познакомиться с музеем и журналом через Интернет. Посмотрел все материалы, которые вы представили в сайт. Всё выдержано в стиле журнала: лаконично и конкретно. Здорово, но, на мой взгляд, есть ещё над чем подумать: отсутствует пока «гостевая книга» (она нужна для взаимной любви. Не только музея и журнала к нам, «паустовцам», но и наоборот), некоторые иллюстрации «тяжеловаты» (особенно в разделе «Экспозиция»), мало пока

информации по книгам и брошюрам в киоске и совсем не представлены люди, которые делают это доброе дело. И последнее — скорость загрузки картинок желательнее увеличить.

Все свои замечания отношу к вашей «болезни роста» — ведь в Интернете вы так молоды.

Александр Алексеевич Тихмеев
г. Самара

Немного приболела, но зато была возможность оглянуться назад — просмотрела два изданных тома Словаря, точнее, прочитала от корки до корки. Чтение заняло 10 дней. Извлекла для себя много уроков, они, безусловно, будут способствовать улучшению качества Словаря.

В целом, Словарь прекрасен! Я радуюсь и поздравляю всех нас! Труд этот может понять только тот, кто подобную работу осуществляет сам. Наш Словарь читабелен для всех, и это, пожалуй, тоже большое благо.

Лилия Васильевна Судавичене
профессор
г. Вильнюс, Литва

Дорогие друзья, в декабре или в январе должен выйти в свет сборник рассказов К.Паустовского на бразильском языке в переводе Вашего покорного слуги.

Ноз SILVA
доктор славистики,
профессор университета
г. Сан-Пауло, Бразилия

Тема моей дипломной работы в педагогическом колледже «Особенности сказок К.Г.Паустовского». Увы, в нашей библиотеке мало литературы по творчеству писателя. Недавно, листая журнал «Начальная школа» (№ 7 за 1997 год), увидела адрес музея и решила, что шанс на спасение у меня есть — это ваш музей.

Надежда Нечаева
г. Улан-Уде, Бурятия

С большой скорбью узнала о кончине Вадима Константиновича. Меня это потрясло, когда я читала статью. Долго не могла опомниться.

Он был добрый, отзывчивый человек. Как он любил отца и какие прекрасные страницы он писал о нём. В своё время Вадим Константинович очень обрадовался, когда узнал, что Константин Георги-

евич был знаком с родителями Н.Струве. Сам Н.Струве мне сказал об этом.

Да, всё правильно, теперь они вместе. Для конференции в Пилипче возьму тему «Паустовский и Вильде» (Камю о нём писал) или «Паустовский — писатель-странствователь». Писатели такой направленности, мироощущения и мировоззрения очень почитаемы сейчас во Франции и Ирландии.

Софи Олливье
профессор славистики университетов
Бордо-III (Франция) и г. Дублин (Ирландия)

Есть одно поистине гениальное, мирового уровня сочинение Константина Георгиевича, в котором сконцентрирована его эстетическая и человеческая программа. Это рассказ «Телеграмма». Мне он представляется эмблемой музея, ему посвящённого, и своего рода камертоном проверки человека, прикасающегося к его творчеству.

Если бы мне довелось когда-нибудь снова участвовать в Паустовских чтениях (хотя вряд ли это будет), я бы выступила с материалом о «Телеграмме». Рассказ прямо обращён к нашей нынешней современности (впрочем, как и к любой другой современности).

Ну а для «паустовцев» это — настольная книга.

Музей его имени самой судьбой назначен быть хранителем духовного богатства, заключённого во всём, что было сказано и написано писателем Паустовским.

Это богатство когда-нибудь обязательно будет востребовано обществом.

Людмила Сергеевна Ачкасова
доктор филологических наук,
профессор университета
г. Казань, Татарстан

Что касается статьи о деградации образования в Узбекистане и диких случаях уничтожения книг на русском языке (в том числе и книг К.Паустовского), то это самый настоящий фашизм. В нашей библиотеке работают две женщины, бежавшие из Узбекистана от этого средневекового варварства и оголтелого национализма.

Галина Викторовна Голованова
г. Череповец, Вологодская обл.

Не перевелись, оказывается, геростраты на нашей многострадальной земле (это об узбекских чиновниках). До какой степени низости и идиотизма нужно было дойти начальнику Главного

управления образования, чтоб на глазах у детей и учителей рвать сборник рассказов Паустовского.

Да в любой национальной республике бывшего СССР сегодня, особенно в Средней Азии и на Кавказе, существует гонение на русских. В Казахстане много моих сокурсников (я училась в Алма-Ате) и друзей, так их насильно заставляют уезжать оттуда. Некоторые оставляют всё — обстановку, квартиры, берут только детей, документы и... уезжают. Вот и советская дружба навек, вот вам и советское многонациональное государство, вот вам и взращённая культура.

Людмила Тихоновна Кононова (Саприна)
кандидат филол. наук
д. Сидоровка, Рязанская обл.

Вам, видимо, понятно, с каким трепетом я читала журнал, как не могла оторваться, не могла идти спать.

У меня возникли некоторые мысли о роли вашего журнала «МП». Не буду вдаваться в подробности, но как-то вдруг увидела, посмотрев все номера за прошлые годы, что журнал — значительное явление в нашей русской культуре. Он открывает такие просторы мыслей, открывает новый мир России, о котором как-то умалчивают. Будто его и нет. Мысли мои ещё не оформились, но я с интересом думаю на эту тему.

Галина Евгеньевна Гернет
г. Санкт-Петербург

Для меня Паустовский — доброе воспоминание о времени детства и армейской юности. Была у меня мечта после прочтения «Повести о жизни» побывать в тех городах, о которых так выразительно он написал, но... увы. Даже в Крым не собрался, в гриновские места. Самое главное, стоят на полках книги и того и другого. Когда бывает совсем плохо, беру и перечитываю их страницы. А год назад удалось по межбиблиотечному абонементу найти книгу Лео Шадурина «Где рождаются циклоны» — любимую книгу А.Грина, изданную в 1923 году.

Анатолий Чирков
г. Ижевск

Великие побуждают нас обратить свой взор к природе. Благодаря Галине Улановой полубила Селигер, а от Константина Паустовского в сердце и душе остаются Солотча и Таруса.

Татьяна Александровна Субботина
г. Воронеж

ГОЛЬДБЕРГ С. Зов будущего // Гольдберг С. Встречи без расставания: *О времени, о жизни, о нас.* — Мариуполь: Изд-во «Газета «Приазовский рабочий», 2000. — С. 311–331, портр. — (Автограф мастера).

Журнальный вариант очерка под названием «Автограф мастера» опубликован в «МП» № 13.

Книге предшествует эпиграф из Константина Паустовского: «Жизнь необыкновенно хороша, если её не бояться и принимать с открытой душой...»

ПАУСТОВСКИЙ К. Заячьи лапы: *Рассказы и сказки* / Рис. Г.Енишина; [2-е изд.] — М.: Дет. лит., 2000. — 192 с., портр.: ил. — (Школьная б-ка).

Содержание:

Рассказы: ЛЕТНИЕ ДНИ; ЗОЛОТОЙ ЛИНЬ; ПОСЛЕДНИЙ ЧЁРТ; ЗАЯЧЬИ ЛАПЫ; КОТ ВОРЮГА; РЕЗИНОВАЯ ЛОДКА; БАРСУЧИЙ НОС; СИВЫЙ МЕРИН; ЖИЛЬЦЫ СТАРОГО ДОМА; СОБРАНИЕ ЧУДЕС; ПОДАРОК; ПРОЩАНИЕ С ЛЕТОМ.

Сказки: ТЁПЛЫЙ ХЛЕБ; СТАЛЬНОЕ КОЛЕЧКО; ДРЕМУЧИЙ МЕДВЕДЬ; РАСТРЁПАННЫЙ ВОРОБЕЙ; КВАКША; АРТЕЛЬНЫЕ МУЖИЧКИ; ПОХОЖДЕНИЕ ЖУКА-НОСОРОГА; ЗАБОТЛИВЫЙ ЦВЕТОК.

ЗАЙЦЕВ Б. Паустовский <Некролог> // Зайцев Б. Собр. соч.: В 9 т. — М.: Русская кн., 2000. — Т. 9: Дни: *Мемуарные очерки. Статьи. Записки. Рецензии.* — С. 451–452.

Там же. — **ПАУСТОВСКИЙ:** с. 291–294.

MACHALA Ivan. Rok s Paustovským: V 4 s. / Predhovor Dušan Hevery. — Nové Mesto n/Váhom, 2000. — Cast 4: Zima. — 126 s.: il.

Obsah: HEVERY Dušan. Predslov.

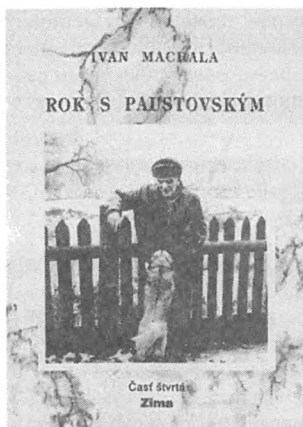
MACHALA Ivan. Zasněžene more; Epilóg; S tým som nerátal; P.S.

С выходом этой книги писателем из Словакии Иваном Махала завершено издание четырёхтомника «Год с Паустовским: Весна, Лето, Осень, Зима».

Работе над книгой Иван Махала отдал двадцать лет жизни.

В четырёх томах — рассказы о встречах с людьми, знавшими К.Г.Паустовского, почитателями творчества писателя, а также впечатления о посещении памятных мест, связанных с именем К.Г.Паустовского в Москве, Санкт-Петербурге, Одессе, Петрозаводске, Астрахани, в Рязани и Солотче, в Лив-

Книги



нах, Тарусе... Книги богато иллюстрированы. Предисловие к книгам написано Душаном Хевери.

КОВАЧ В. Силуэты в романтическом ореоле: *Судьбы поэтов, прозаиков, артистов.* — Одесса: Optimum, 2000. — 260 с.: ил.

Из содерж.: «Человек встревоженной совести»; «Романтик сурового времени» <О К.Г.Паустовском>: с. 204–213, портр.

АНДЕРСЕН Ханс К. Всего лишь скрипка: *Роман* / Пер. с датского. — М.: Текст, 2001. — 352 с. — (Классика).

На обложке книги приведены строки Константина Паустовского: «Он был поэтом бедняков, несмотря на то, что короли считали за честь пожать его сухощавую руку...»

Ханс Кристиан Андерсен, прославленный во всём мире как гениальный сказочник, гораздо менее известен произведениями в других жанрах, а между тем его перу принадлежат романы, пьесы, стихи, путевые заметки. Роман «Всего лишь скрипач» во многом автобиографичен, в Кристиане, одарённом юноше из бедной семьи, нетрудно узнать черты самого Андерсена, хотя герою повезло меньше, чем его создателю: ему не удалось прославиться, он умер сельским скрипачом. На русском языке роман издавался лишь в пересказе и притом почти столет назад.

Наше «Знамя»: *Антология (1931–2001)* / Сост. ред. журн. «Знамя». — М.: «Знамя», 2001. — 640 с.

Из содерж.: ПАУСТОВСКИЙ К. ПОТЕРЯННЫЙ ДЕНЬ: *Рассказ:* с. 52–61. — (1931–1940).

САЦ Н. Около Паустовского // САЦ Н. Новеллы моей жизни: *Автобиографическая проза.* — М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2001. — С. 536–548.

Наталья Ильинична Сац прожила долгую, удивительную, поразительно богатую по своей драматичности жизнь. В 1937 году её постигла участь многих соотечественников: арест, тюрьма, ссылка, долгая разлука с детьми... Но эту сильную женщину ничто не смогло сломить. Вернувшись в Москву, Н.И.Сац снова занялась делом всей своей жизни: строительством (и в прямом и переносном смысле) первого в мире Детского музыкального театра.

В новеллах, как говорила сама Сац, «нет вымысла, это путешествие по эпизодам одной жизни, с остановками около интересных людей».

Публикация воспоминаний Наталии Сац о встречах с Константином Паустовским запланирована «МП» в одном из ближайших номеров журнала.

ПАУСТОВСКИЙ К. Созвездие Гончих Псов: *Повести.* — М.: Текст, 2002. — 397 с. — (Серия: «Классика»).

Содерж.: ЧЁРНОЕ МОРЕ; СЕВЕРНАЯ ПОВЕСТЬ; СУДЬБА ШАРЛЯ ЛОНСЕВИЛЯ; СОЗВЕЗДИЕ ГОНЧИХ ПСОВ; ОРЕСТ КИПРЕНСКИЙ; ИСААК ЛЕВИТАН; РАЗЛИВЫ РЕК.



ПАУСТОВСКИЙ К. Жёлтый свет: *Рассказы.* — М.: Текст, 2002. — 398 с. — (Серия: «Классика»).

Содерж.: ЭТИКЕТКИ ДЛЯ КОЛОНИАЛЬНЫХ ТОВАРОВ; РЕПОРТЁР КРЫС; ДОЧЕЧКА БРОНЯ (*Письмо из Одессы*); ЖАРА (*Записки лейтенанта Жиро*); ЦЕННЫЙ ГРУЗ; МЕДНЫЕ ДОСКИ; СОРАНГ; ТОСТ; МУЗЫКА

ВЕРДИ; БАРСУЧИЙ НОС; ЗОЛОТОЙ ЛИНЬ; ПОСЛЕДНИЙ ЧЁРТ; КОТ ВОРЮГА; РЕЗИНОВАЯ ЛОДКА; ЖЁЛТЫЙ СВЕТ; МИХАЙЛОВСКИЕ РОЩИ; ЗАЯЧЬИ ЛАПЫ; ПАРУСНЫЙ МАСТЕР; КОЛОТЫЙ САХАР; ПОТЕРЯННЫЙ ДЕНЬ; ЛЕНЬКА С МАЛОГО ОЗЕРА; АВСТРАЛИЕЦ СО СТАНЦИИ ПИЛЕВО; СТАРЫЙ ЧЕЛН; СТЕКОЛЬНЫЙ МАСТЕР; РУЧЬИ, ГДЕ ПЛЕЩЕТСЯ ФОРЕЛЬ; СТАРЫЙ ПОВАР; ЖИЛЬЦЫ СТАРОГО ДОМА; СИВЫЙ МЕРИН; ПОДАРОК; ПРОЩАНИЕ С ЛЕТОМ; АНГЛИЙСКАЯ БРИТВА; СНЕГ; ДОЖДЛИВЫЙ РАССВЕТ; НОЧЬ В ОКТЯБРЕ; СОБРАНИЕ ЧУДЕС; ВОРОНЕЖСКОЕ ЛЕТО; МОЛИТВА МАДАМ БОВЕ; КОРДОН «273»; РАВНИНА ПОД СНЕГОМ; МАША; ВО ГЛУБИНЕ РОССИИ; ШИПОВНИК; БЕГ ВРЕМЕНИ; СЕКВОЙЯ; СИНЕВА; КОРЗИНА С ЕЛОВЫМИ ШИШКАМИ; БЕЛАЯ РАДУГА; ТЕЛЕГРАММА; РОЖДЕНИЕ РАССКАЗА; УСНУВШИЙ МАЛЬЧИК; ТОЛПА НА НАБЕРЕЖНОЙ; ПЕСЧИНКА; АМФОНА; НАЕДИНЕ С ОСЕНЬЮ; ИЛЬИНСКИЙ ОМУТ; ВИЛЛА БОРГЕЗЕ.



ПАУСТОВСКИЙ К. *Время больших ожиданий* (Повести. Дневники. Письма): В 2 кн. /Предисл., послесл., коммент. В.К.Паустовского. — Нижний Новгород: Деком, 2002. — (Серия: «Имена»).

Из содерж.: Кн. 1. — ВРЕМЯ БОЛЬШИХ ОЖИДАНИЙ: Повесть; БРОСОК НА ЮГ: Повесть.



Кн. 2. — КНИГА СКИТАНИЙ: Повесть; РОМАНТИКИ: Роман.



Издательство «Деком» планирует выпустить книги во II кв. 2002 года, к 110-й годовщине со дня рождения писателя. Книги иллюстрированы материалами и фотографиями из фондов Московского литературного музея-центра К.Г.Паустовского.

Школьные учебники, методические пособия

ТУРЧЕНКО Н.Н. Наблюдения над языком при изучении рассказа К.Г.Паустовского «Телеграмма» // Русский язык в школе. — 1999. — № 4. — С. 42–45.

Альбеткова Р.И. Русская словесность. От слова к словесности: Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. — М.: Дрофа, 2000. — 224 с.

Из содерж.: ПАУСТОВСКИЙ К. ПЕРСТЕНЁК <Фрагменты>: с. 195–199, портр. — (Драматическое произведение. Его особенности...)

БАРОВА К.С. Уроки литературы в 7 классе по учебнику «Путь к станции «Я»»: Методические рекомендации для учителя /Под ред. Р.Н.Бунеева. — М.: Баласс, 2000. — 203 с. — (Серия: «Свободный ум»).

Из содерж.: Вспоминая Паустовского; Бескорыстная любовь к обыкновенной земле; Необыкновенный мир красок, звуков и запахов: с. 172–181. — (Уроки 56–59).

Хрестоматия по литературе. 5–7 класс /Сост. Н.Е.Кутейникова, И.В.Захарова, Г.В.Пранцова и др. — М.: Диалекта-Пресс, 2000. — 576 с.

Из содержания: КУТЕЙНИКОВА Н.Е. КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВИЧ ПАУСТОВСКИЙ (1892–1968): с. 480–482.

ПАУСТОВСКИЙ К. СТАРЫЙ ПОВАР; АВСТРАЛИЕЦ СО СТАНЦИИ ПИЛЕВО: с. 482–501.

РУДИШИНА Т. Планируя будущее, оглянемся назад: Обзор юбилейных дат на 2001/ 2002 учебный год. В помощь планированию работы в школьных библиотеках // Библиотека в школе: При-

лож. к газ.: «Первое сентября». — 2001. — № 9: 1–15 мая. — С. 12–20.

Из содерж.: 31 мая — 110 лет со дня рождения русского писателя Константина Георгиевича Паустовского (1892–1968).

Из статьи:

Для каждого существует свой Паустовский, для кого-то — это автор книги о людях искусства «Золотая роза», кто-то из собственного детства вынес рассказы «Тёплый хлеб», «Барсучий нос», «Кот ворюга».

Наша память изобретательна, но у каждого есть рассказ, прочитанный тебе вслух в детстве, который потом помнишь всю жизнь. Для меня таким рассказом стала «Корзина с еловыми шишками». А с другим рассказом Паустовского у меня целая история.

Случайно, не с самого начала и почему-то не до конца слушаю удивительную историю о любви. Надеюсь, что в конце передачи мне диктор скажет: «Мы передавали рассказ такой-то такого-то автора в исполнении...» А тут об этом — ни слова, в программе передач — только рубрика «Литературный час». Пристаю к читающим взрослым — никакого ответа. И лишь спустя несколько лет натыкаюсь на этот рассказ. Им оказалась маленькая повесть «Разливы рек», а героем — поручик М.Ю.Лермонтов!

Научные работы

ПЕНЧИЧ С. (Словения) Поэтические формулы и стилистические приёмы <У Н.Гоголя, К.Паустовского, С.Есенина, Л.Леонова, Иво Андрича> // Состояние и перспективы сопоставительных исследований русского и других языков: Доклады V международного симпозиума МАПРЯЛ, 30 мая – 1 июня 2000 г. / Белградский ун-т; Нишский ун-т. — Белград, 2000. — С. 61–67.

GIODA Elena. Le opere storiche di K.G.Paustovskij /Universita' di Torino; Relatore prof. Marina Rossi Varese. — Torino, 2000. — 220 pp.

Дипломная работа Елены Джиода на тему «Исторические произведения К.Г.Паустовского» защищена на кафедре филологии и философии Туринского университета (Италия) в феврале 2001 года.

Из письма Елены Джиода:

Наконец закончила университет и очень этим счастлива. Посылаю дипломную работу и обещанный список книг Паустовского на итальянском языке.

«Мир Паустовского» очень люблю. В дипломной работе, как вы сами можете увидеть из приложенного к диплому списка использованной литературы, ссылалась на материалы всех

вышедших номеров «МП» за исключением двух последних — 17 и 18-го.

ДОЛГОВ Ю. Творцы языка о валентности и валентной грамматике // Лінгвістичні студії: Збірник наукових праць. — Вип. 7. — Донецьк: Дон. ун-т, 2001. — С. 64–72.

ЛЕВИЦКИЙ Л. Дневник // Знамя.—2001.—№ 7.—С. 114–168. — (Мемуары. Архивы. Свидетельства).

На 54-х журнальных страницах помещены дневники Льва Абелевича Левицкого, автора монографии «Константин Паустовский: Очерк творчества» (М.: Сов. писатель, 1963), — свидетельства человека, близко соприкасавшегося с К.Г.Паустовским.

Избранная выборка строк из дневников представлена в рубрике «Из последних публикаций» настоящего номера «МП».

ŠERPŔOVÁ Agnesa. K.G.Paustovskému // Vidranka /Redactor I.Machala.—Bošáca.—2001.—a 8: Leto.—S. 3.

В школе села Бошаца в Словакии, где сейчас после ухода на пенсию преподаёт автор 4-томной книги «Год с Паустовским» Иван Махала, издаётся

ПЛУЩЕВСКИЙ М. «Порождает этот край чудеса...» [Стихотворение памяти К.Г.Паустовского] // Октябрь.—Таруса.—2000.—6 июня.

ИСАКОВ П. Поэтическая тетрадь // Курская правда.—2000.—25 авг.—С. 12. — (Лит. страница).

Черкашин Н. Как быстро проходят Азоры за бортом жизни... // Гудок.—2000.—13 авг.—С. 13. — (Жизнь взахлёб).

Перепечатка очерка из «Российской газеты» от 18 апреля 1997 года о трагической судьбе капитана 2 ранга Вячеслава Зенцева из Севастополя, давнего и большого друга музея-центра. Очерк также был опубликован в «МП» № 13.

ПЛАТОНОВА Л. Идём к Паустовскому <О московском музее писателя> // Кузьминки.—М.: Район «Кузьминки».—2001.—6 февр.—С. 4: ил. — (Музею четверть века).

СОКОЛОВ-МИТРИЧ Д. Мне кажется, это... // Известия.—2001.—№ 33: 23 февр.

Корреспондент «Известий» «сходил в народ» спустя неделю после посеще-

Из комментария Юрия Серафимовича Долгова, автора из Могилёва: «Я много раз ссылаюсь на книги Константина Паустовского и привожу примеры из его чудесного текста».

Долгов Ю.С. Связь словоформ в словосочетании, предложении, тексте

ЖУРНАЛЫ

школьный 14-страничный журнал, в восьмом номере которого помещено стихотворение «К.Г.Паустовскому». Главный редактор и выпускающий журнала — Иван Махала.

K.G.PAUSTOVSKÉMU

Máj kráča si tu vyzdobený,
každý rok takto —
nepomýli sled:
otvára kvety, sype rosu.
Naberám lupienky do košíka z mláďze,
len z pol'nych, ktoré mal tak rád
náš veľ'ky kamarát.
Kladiem ich pod granitový kameň.
láskam nimi srdce,
čo neprestalo milovať'.

ИЗМАЙЛОВ А. Блюз Моховой улицы // Нева.—2001.—№ 8.—С. 204–208.

Автор «МП» № 17 из Санкт-Петербурга пишет о своём городе, о Констан-

ГАЗЕТЫ

ния президентом городов Томска и Омска. Из статьи:

Пресса откликнулась на визит весьма неоднозначно. Цитирую заголовки: «Спектакль для президента: «Вот Путин прилетел и ага!», «Путин в Омске хлопнул самогонки», «И меня два красивых охранника повезли из Сибири в Сибирь».

<...> Читаю статью «Вот Путин пролетел и ага!»: «Паркет в актовом зале был так навощён, что в нём, как в озере, отражались синие ряды гимназистов в мундирах со светлыми пуговицами и зажжённые среди дня люстры. В зале стоял лёгкий гул. Он сразу оборвался. Позванивая шпорами, в зал вошёл невысокий полковник со светлыми выпуклыми глазами. Он остановился и в упор посмотрел на нас...». Читаю и чувствую — что-то не то; оказывается это Паустовский, детские воспоминания о приезде в гимназию Николая Второго. «На следующее утро бабушка спросила меня: «Ты опять поедешь в город?» — продолжается цитата из Паустовского. — «Еду. Будет репетиция встречи царя». — «Заболей лучше и не ходи, — посоветова-

<На примере рассказа К.Паустовского «Заботливый цветок»> // Проблемы преподавания и изучения русского языка в школе и вузе: Материалы международной научно-практич. конф., 9–10 окт. 2001 г. / Нежинский гос. пед. ун-т им. Н.Гоголя. — Нежин, 2001.—С. 151–153. — Библиогр.: 5 назв.

тине Паустовском, Сергее Колбасеве и об их редакторе из издательства «Молодая гвардия» Генрихе Эйхлере.

ДЕЛЬВИН Н., СОБОЛЕВ А. На берегах Пры // Природа и человек.—2000.—№ 9.—С. 54–55.

ЮРИКОВА М. Галина Арбузова — дочь двух отцов /Беседа с Г.А.Арбузовой // Огонёк.—2001.—№ 10: март.—С. 32–35: ил. — (Мужчина и женщина).

Из содерж.: ПАУСТОВСКИЙ К. Из писем к Т.Паустовской [май 1966 г. из больницы; письмо, продиктованное за 2 месяца до смерти]: с. 35.

То же, под назв. «Страницы про любовь» // Курьер/Kurier.—Los Angeles.—2001.—5–11 апр.—С. 58–59: ил.

ла бабушка. — Придумали глупство! Неужели у царя нет другого дела, чем красоваться перед людьми?»

САФОНЕНКО Е. «Пусть всегда моё сердце ручьями звенит!..» /Предисл. Г.Маркиной // Октябрь.—Таруса.—2001.—7 марта.—С. 7.

В поэтической подборке стихов Екатерины Сафоненко представлено стихотворение «УЛИЦЕ ПАУСТОВСКОГО».

Достоинство: газета старшего поколения.—М., 2001.—№ 15: 9–15 апр.—16 с.

Газета посвящена 40-летию полёта Юрия Гагарина. Материалам газеты предворены помещённые на первой странице строки Константина Паустовского:

«12 апреля 1961 года возникла новая эра в истории человечества. Простой русский человек с прекрасной фамилией майор Гагарин вернулся из космоса. 12 апреля 1961 года — день не только нашей чистой и благородной национальной гордости, но и гордости всего мыслящего человечества».

ГРИГОРЬЕВ Р. Ионные шары с космодрома Чижевского // Центр-Plus.—

2001.—№ 20: май.—С. 22. — (Тайны здоровья).

Из содерж.: ЧУДО С ПАУСТОВСКИМ <о посещении Паустовского в Тарусе академиком Александром Микулиным, преподнёсшим писателю своё изобретение — гидроионизатор>.

Статья была ранее опубликована в первом номере газеты «Совершенно секретно» за 1999-й год.

БОДРОВ И. Приокские дали //Предисл. авт. «Слово к читателю-другу» // Октябрь.—Таруса.—2001.—29 мая.—С. 3, портр. — (Ко дню рождения К.Г.Паустовского).

Публикация воспоминаний тарусского журналиста Ивана Яковлевича Бодрова — «моя запись одного из наших разговоров с Паустовским...» — продолжилась в трёх последующих номерах газеты от 1-го, 5 и 8-го июля в рубрике «Памяти К.Г.Паустовского».

КУДРЯВЦЕВА Г. «Неутомимый скигалец» и Карелия // Ленинская правда.—Петрозаводск.—2001.—май.—С. 3, портр. — (31 мая — день рождения К.Г.Паустовского).

СТЕПАНИЩЕВ Н. Паустовский и Мещёра //Рязанские ведомости.—2001.—31 мая.—С. 4, портр.

Настоящая статья — газетный вариант публикации «Письма читателей Паустовскому» из предыдущего номера «МП».

СИДОРОВА О. Уголок рязанской Италии // Рязанские ведомости.—2001.—11 июля. — (Наследие).

Статья — о делах и заботах Солотчинского Дома-музея И.П.Пожалостина. В статье, в частности, говорится о ближайших планах и замыслах музея, о том:

Как устроить ещё одну экспозицию — единственной уцелевшей со времён Пожалостина постройке — основной банк. В ней в первые свои приезды жил Паустовский, сюда и возвращался с новым вдохновением после каждой встречи с Мещёрой.

В первую очередь о жизни и творчестве Паустовского и будет рассказывать выставка, которую собираются здесь разместить. Как рассказывает научный сотрудник музея Надежда Васильевна Зубарева, материала более чем достаточно: не только произведения, созданные и задуманные Паустовским в Солотче, но и письма, и фотографии. Есть задумка рассказать выставкой о мещёрских прототипах книг Паустовского, составить карты-схемы маршрутов, которые писатель прокладывал с друзьями по окрестным

просторам. И, конечно, ряд экспонатов будет посвящён другим писателям, связанным своей судьбой с домом Пожалостина.

КОСТЮЧЕНКО В. В тюрьме я открыл Паустовского // Деловой Вторник: Прилож. к газ. «Орловская правда».—2001.—31 июля. — (Словарный запас: будто ключевой воды напиться).

Редакция газеты «Деловой Вторник» в ходе разговора о чистоте русского языка получила письмо от заключённого из зоны строгого режима и опубликовала его на страницах своего еженедельника. Из письма:

В последние годы до «посадки» я больше общался с телевизором, чем с классической литературой. А сейчас, кроме классики, ничего другого не читаю. Случилось это так. В тюрьме, как и на воле, большинство читают детективы. И вот в море этого чтива я наткнулся на книжку Паустовского. И попал словно на другую планету. Позже открыл для себя заново Бунин, Набокова. Не сюжеты, а русский язык этих писателей стал для меня спасительным.

Касаткин В. Он жил в Солотче... (Исполнилось 110 лет со дня рождения Рувима Фраермана) // Рязанские ведомости. — 2001. — 29 сент.

Свою статью постоянный автор «МП» из Рязани Владимир Михайлович Касаткин предваряет эпиграфом из воспоминаний Константина Паустовского, написанных в 1949 году:

Каждое лето, осень и даже часть зимы Фраерман проводит в этих местах, в селе Солотче, в бревенчатом и живописном доме, построенном в конце прошлого века известным русским гравёром-художником Пожалостинским. Постепенно Солотча и этот дом стали второй родиной и для нас, друзей Фраермана.

Салуцкий А. Никто не забыт. Никто не пришёл // Лит. газета. —2001. — 17–23 окт.

Из статьи на 40-летие «Тарусских страниц»:

Сегодняшний перечень авторов «Тарусских страниц» впечатляет и заставляет почитательно снять шляпу...

<...> Вдохновителем сборника, конечно, был Паустовский, а главную составительную ношу взяли на себя кинодраматург, критик Николай Оттен и его жена, писательница Елена Голышева, также жившие в Тарусе. Кроме них в редколлекцию вошёл поэт и художник Аркадий Штейнберг, поселившийся в Тарусе после возвращения из сталинских лагерей...

Голяева И. Экотуристскими тропами // Одесские известия.—2001.—23 окт.

Из статьи:

Экологический туризм — это туризм, не наносящий ущерба окружающей среде, полезный для духовного и физического развития человека.

В Одессе немало мест, достойных стать объектами экологического туризма с литературным, историческим или архитектурным уклоном. Один маршрут уже существует — о нём рассказывал заведующий музеем К.Г.Паустовского на Черноморской улице В.И.Глушаков. Это «Тропа Паустовского» — экскурсии по местам, связанным с пребыванием в городе писателя-романтика. Пока «Тропа» проложена от Ланжерона до Аркадии, планируется продлить до Большого Фонтана и Дачи Ковалевского.

К сфере развития экотуризма относится идея о превращении Ланжерона в литературно-ландшафтный заповедник. С обоснованием к городским властям обратились литературный музей и секция урбоэкологии, в состав которой входят представители различных научных учреждений города. Ланжерон — визитная карточка Одессы, место с богатым историческим прошлым. Именно Ланжерон имеет все основания соответствовать своему новому статусу. В перспективе — разработка экотуристского маршрута выходного дня — «Маршрута Паустовского: Ланжерон–Люстдорф».

С целью практической популяризации экотуризма будет проведен конкурс по двум номинациям: «лучший туристский маршрут» и «лучший репортаж об экологическом туризме». В ходе его проведения будут составляться технологические карты туристских маршрутов с включением экологических троп. Подведение итогов конкурса состоится в мае 2002 года и будет приурочено к 110-й годовщине со дня рождения Паустовского.

Как увековечить память Константина Паустовского /КАСАТКИН В., ЦУКАНОВА Т., АФНАСЬЕВ В., МУХАРЕВСКИЙ М. // Рязанские ведомости.—2001.—24 окт.—С. 4, портр. — (Культурная среда: Инициатива).

Известные в Рязани и заслуженные лица вышли с инициативой по увековечению памяти Паустовского в связи с наступающим в мае 2002 года 110-летием со дня его рождения. Помимо установки мемориальной доски авторы статьи предлагают:

...а почему бы нашим театрам не откликнуться на этот юбилей писателя? Более 15 лет на сцене нашего

театра кукол с успехом идёт постановка по сказке Паустовского «Тёплый хлеб». Это хороший пример. Понимаем, что для постановки, к примеру, пьесы «Наш современник (Пушкин)» или пьесы-сказки «Стальное колечко (Перстенёк)» потребуется много времени и средств. А осуществить инсценировку известных рассказов Паустовского «Снег», «Телеграмма» или «Корзина с еловыми шишками» вполне реально. Можно сделать и литературно-музыкальную композицию по произведениям писателя. Хочется верить,

что художественные руководители театров драмы и на Соборной откликнутся на это предложение.

Можно провести очередную литературно-краеведческую конференцию «Рязанская Мецёра в жизни и творчестве К.Г.Паустовского». Управление культуры совместно с областной библиотекой им. М.Горького и кафедрой литературы Педагогического университета уже проводили подобную конференцию.

Вечера о жизни и творчестве Паустовского можно провести в библио-

теках, школах. Следует подумать над вопросом о присвоении имени Паустовского одной из библиотек.

ФЕДОСОВ Н. Дорога к Чёрному озеру: История одного посвящения // Приокская газ.—Рязань: Обл.—2001.— 2 нояб.—С. 5. — (Литература).

Статья о Владимире Михайловиче Касаткине, враче, известном рязанском краеведе, об истории посвящения ему словацким писателем Иваном Махала своей третьей книги тетралогии «Год с Паустовским».



Петрозаводск. Набережная Онежского озера с памятником Петру I. Фото Ю.А.Родичева



Петрозаводск. Здание бывш. «Дома колхозника», в котором останавливался К.Г.Паустовский

ВСТРЕЧИ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ

31 мая 2001 года. Карелия, г. Петрозаводск. Институт повышения квалификации учителей. Вечер, посвящённый 109-й годовщине со дня рождения К.Г.Паустовского

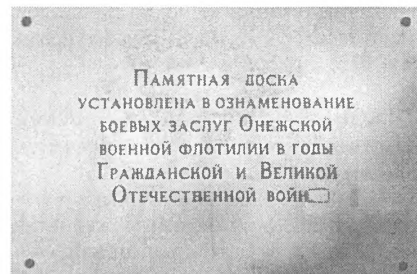
Заключительным аккордом «Дня Паустовского» в Петрозаводске был вечер, на котором произошла встреча многочисленных почитателей творчества

писателя с редакцией журнала «Мир Паустовского».

КУДРЯВЦЕВА Г. Открой мир Паустовского //ТВР-Панорама. —Петрозаводск. —2001. — 30 мая. — (Мир Карелии: колесо истории).

СТЕПАНИЩЕВ Н. Константин Паустовский и Карелия // Северный курьер. —Петрозаводск. —2001. — 31 мая. — С. 11, портр.: ил. — (Дата).

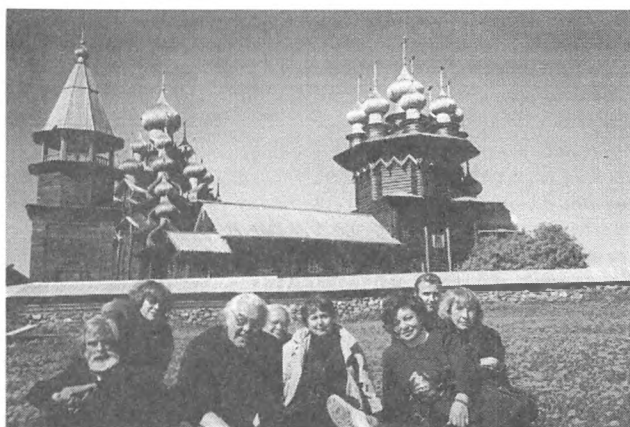
[Б.П.] Чтим Паустовского // Ленинская правда. —Петрозаводск. —2001. — май.



Вспоминается повесть К.Паустовского «Озёрный фронт»...



Петрозаводск. Онежский тракторный завод. В.А.Савельев, ныне директор музея завода «Арсенал», знакомит москвичей с мемориальной доской К.Г.Паустовскому



Делегация сотрудников Московского литературного музея-центра К.Г.Паустовского и редколлегии журнала «Мир Паустовского» в Кижях, на экскурсии



ПАУСТОВСКИЙ И УКРАИНА

12 апреля 2001 года. Культурный Центр Украины в Москве. Вечер «Константин Паустовский и Украина»

Ведущий вечера — Александр Алексеевич Руденко-Десняк, начальник общественных связей Центра, главный редактор журнала «Украинское обозрение».



Вечер открывает А.А.Руденко-Десняк.
Фото С.А.Кузнецова

Участники вечера выслушали выступление И.И.Комарова, директора Московского музея-центра К.Г.Паустовского, и Галины Корниловой, главного редактора журнала «Мир Паустовского».

В заключение дипломант фестиваля «Таланты Москвы» Татьяна Одинцова вдохновенно прочла фрагмент рассказа Паустовского «Корзина с еловыми шишками».



Выступление И.И.Комарова.



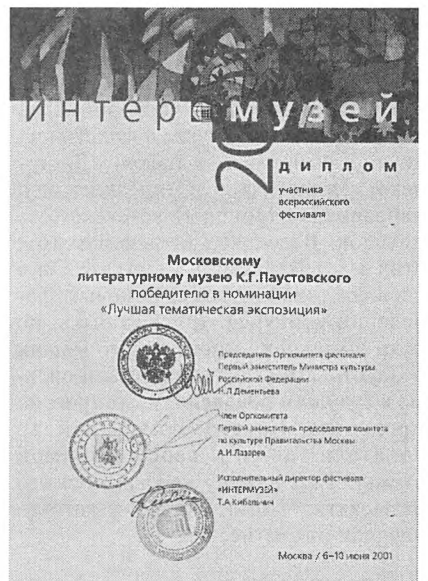
Фрагмент экспозиции

ИНТЕРМУЗЕЙ- 2001

6–10 июня 2001 года. Москва. Государственная Третьяковская галерея. Всероссийский фестиваль музеев «ИНТЕРМУЗЕЙ-2001»

Московский литературный музей-центр К.Г.Паустовского третий раз участвует в столь масштабном форуме. По результатам фестиваля музей-центр стал победителем в номинации «Лучшая тематическая экспозиция», музей награждён дипломом.

Московский литературный музей-центр К.Г.Паустовского // «Интермузей-2001»: *Официальный каталог.* — М., 2001. — С. 30–31.



Диплом участника — победителю в номинации «Лучшая тематическая экспозиция»

ВЕЧЕРА, КОНФЕРЕНЦИИ, ВСТРЕЧИ, ВЫСТАВКИ, ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПРЕМЬЕРЫ...

8 апреля 2001 года. Московский музей-центр К.Г.Паустовского. Литературный вечер клуба «Золотая роза»

В программе вечера в гостиную выступление Н.А.Алампиева «Как звучит Паустовский на Дальнем Востоке» (Рассказ о пропаганде творчества писателя по дальневосточному радио). Ветераны

литературной редакции Гостелерадио Т.В.Рымшевич и Ю.В. Фадеева поделились своими воспоминаниями о многолетней работе на радио. Один из старейших московских журналистов В.Н. Софинский преподнёс музею бесценный подарок — собрание сочинений К.Г.Паустовского на английском языке. Художник В.Галатенко рассказал о своей ра-

боте над иллюстрациями к избранным произведениям писателя, изданным в 1999 году в серии «Библиотека мировой литературы для детей».

Май 2001 года. Рязань, Солотча. Юношеский конкурс литературного творчества «Тропой Паустовского».

Юношеский конкурс литературного творчества «Тропой Паустовского» был приурочен к «Дням защиты от экологической опасности».

На пути к истинной защите родной природы много ступеней. Но, наверное, дети, представившие на конкурс свои работы на тему «Я и природа», сделали первый шаг по этому нелёгкому, особенно в наше время, пути. Школьники приносили свои произведения в библиотеки. На заключительном этапе приняли участие 26 человек.

Мальчишки и девчонки пробовали себя в прозе и стихах. Не зря заключительный этап было решено провести в Солотче.

Конкурс организован в тесном сотрудничестве Дома-музея И.П.Пожалостина, Централизованной системы детских библиотек г.Рязани, а также Областной юношеской библиотекой и ЦБС Рязанского района по инициативе Рязанской организации Союза российских писателей. Основную работу по подготовке конкурса взяла на себя редакция литературного журнала «Утро».

На конкурсе в Солотче дети должны были написать прозаический или стихотворный экспромт на тему «Лесная тропинка», «Встреча в лесу» и «Утро». Для полноты соревнования конкурс проводился анонимно, участники подписывались псевдонимами, которые оказались тоже «экологически чистыми»: «Солнышко», «Листочек», «Незабудка»... Отписались — и направились тропой Паустовского за посёлок. Вёл поход большой знаток этих мест Владимир Касаткин. Он с удовольствием вызвался помочь в проведении конкурса. Должно быть, по пути школьники много нового узнали о Паустовском и даже поискали письмо к будущим поколениям, которое, по преданию, Паустовский и Гайдар спрятали где-то у своей любимой стёжки. Ещё никому не удавалось его разыскать. Что ж, значит, у кого-то впереди открытие.

САФРОНОВА Е. Радуга над горизонтом // Рязанские Ведомости.—2001.—20 июня. — (Молодые голоса).

10 мая 2001 года. Украина, Крым, г.Севастополь. Школа-гимназия № 3. Конференция «Море Чёрное секрет имеет свой»

Под таким названием прошла конференция старшеклассников. Она была посвящена К.Г.Паустовскому, чьё творчество связано с Севастополем.

«Севастополь Паустовского и Севастополь сегодня» — тема сообщения Иры Нерпас и Кати Новиковой. Доку-

ментальная и художественная версии жизни П.П.Шмидта у Паустовского заинтересовали Андрея Сухорукова и самого юного участника конференции шестиклассника Сашу Корсукова. Тему образа моря в повести «Чёрное море» осветил Володя Кудрявченко.

Компьютерной обработкой материалов конференции занимался Костя Личичкин. Не выходя из зала, участники конференции совершили экскурсию «Паустовский в Севастополе». Её провела экскурсовод Ирина Горячая.

Провели конференцию преподаватели Е.Ж.Ситникова, О.В.Шупина и библиотечарь Л.Е.Манджavidзе.

ШВАРЦ Е. «Море Чёрное секрет имеет свой» // Слава Севастополя.—2001.—17 мая. — (Классик и мы).

13 мая 2001 года. Украина, г. Харьков. Камерный еврейский театр, премьера спектакля «Мелодия для скрипки с Одессой»

Моноспектакль Романа Апартера поставлен по произведениям Александра Куприна, Константина Паустовского, Эдуарда Багрицкого и Осипа Мандельштама. Постановщик — Феликс Чемеровский.

БОРИСОВ А. Искусство всё претерпит, искусство всё победит // Время.—Харьков.—2001.—8 мая. — (Первое впечатление).

Из статьи: «Главная заслуга создателей «Мелодии» в том, что после её просмотра захотелось выключить телевизор и насладиться настоящей литературой, которой зачитывался в молодости».

13 мая 2001 года. Таруса. Краеведческий музей. Детский праздник «В гостях у писателя Паустовского»

Ведущая праздника М.В.Иванова. На празднике прозвучали отрывки из сказок Паустовского «Заботливый цветок», «Растрёпанный воробей». В постановке коллектива детского сада «Сказка» была показана инсценировка сказки «Стальной колечко».

В стенах музея звучала музыка Баха, Прокофьева, Моцарта и Глинки в исполнении учащихся Тарусской музыкальной школы.

ЕРМИЛОВ И. В гостях у писателя Паустовского // Октябрь.—Таруса.—2001.—15 июня.— С. 7. — (Вослед событию).

24 мая 2001 года. Рязанский институт развития образования. Краеведческая

конференция «Рязанский край: история, культура, люди»

Конференция прошла в дни Славянской письменности и культуры. На секции литературного краеведения с докладом «К.Г.Паустовский и П.А.Оленин-Волгарь» выступил известный вам журналист и краевед В.М.Касаткин.

31 мая 2001 года. Таруса. Торжества, посвящённые 109-й годовщине со дня рождения К.Г.Паустовского

ВИНОГРАДОВА З. «Там над полями ландыша бессмертная его душа...» // Октябрь.—Таруса.—2001.—8 июня. — (Вослед событию).

СЕРГЕЕВ Н. Читаем Пушкина и Паустовского // Весть.—Калуга.—2001.—8 июля.

31 мая 2001 г. Кабардино-Балкарская республика, г.Тырныауз. Городская библиотека № 3. Вечер памяти К.Г.Паустовского

На вечере Юрий Григорьевич Овечкин, постоянный корреспондент «МП», передал библиотеке подшивку номеров «Мира Паустовского».

СЕРГЕЕВА Е. Название звезды — «Паустовский» // Эльбрусские новости.—Тырныауз.—2001.—26 мая.

7 июня 2001 года. Солотча. Дом-музей академика живописи И.П.Пожалостина

В этот день начались традиционные «Пожалостинские дни», приуроченные ко дню рождения художника-гравёра. Состоялось открытие персональной выставки рязанского художника-графика В.А.Шестакова. Среди представленных работ — три рисунка из цикла «Старые дома» (варианты композиций к новелле Паустовского «Телеграмма» (бумага, гуашь, 1962 г.).

14 июля 2001 года. Украина. Одесский музей К.Г.Паустовского. Вручение Литературных премий им. К.Г.Паустовского

В день памяти К.Г.Паустовского в Одесском музее его имени состоялось вручение муниципальных премий К.Г.Паустовского за 2001 год. Премии вручал Городской голова Одессы Руслан Боделан.

Литературной премии удостоены поэт Анатолий Степанович Глушак, член национального СП Украины, — за книгу «Приземление»; артистка Одесской филармонии Елена Яковлевна Кук-

лова (художественное чтение) — за популяризацию творчества К.Г.Паустовского; художник Владимир Тимофеевич Миненко — за значительный вклад в художественное оформление книг, изданных в Одессе в 1990-е годы.

Сентябрь 2001 года. Украина, Крым, г. Ялта, Дом-музей А.П.Чехова. Выставка «Время больших ожиданий»

Выставка, посвящённая 40-летию выхода в свет повести Константина Паустовского, организована Одесским музеем К.Г.Паустовского с участием сотрудников чеховского Дома-музея. Это первая выездная выставка Одесского музея К.Г.Паустовского.

Из проспекта выставки, подготовленного Аллой Георгиевной Головачёвой, заместителем директора по научной работе Дома-музея А.П.Чехова:

Имя писателя Константина Паустовского давно и неразрывно связано с историей ялтинского дома А.П.Чехова. Впервые Паустовский побывал в этом доме мальчиком в 1906 году, на второй год после смерти Чехова, и навсегда оставил свое сердце в этом «приюте русской литературы», как назовёт его позже в своих воспоминаниях. Дом, превратившийся в мемориальный музей, не раз открывал ему

свои двери, но всегда воспринимался именно как дом, без налёта музейной застылости. «Ялта для меня существует только потому, что в ней есть дом Антона Павловича Чехова...» — написал он в 1937 году в книге отзывов, заведённой сестрой писателя Марией Павловной Чеховой. Пережив военное лихолетье и снова придя сюда, Паустовский в июле 1949 года оставит запись в музейной книге: «Есть четыре места в России, которые полны огромной лирической силы и овеяны подлинной народной любовью — дом Чехова в Ялте, дом Толстого в Ясной Поляне, могила Пушкина в Святых горах и могила Лермонтова в Тарханах...

ГЛУШАКОВ В. «Время больших ожиданий» — в Ялте // Крымская газета. — Симферополь. — 2001. — 25 сент. — (Выставка).

27 октября 2001 года. Москва. Библиотека № 128 Восточного административного округа. Лекция-концерт «Паустовский и музыка»

Музыкальная гостиная, созданная на общественных началах в библиотеке журналисткой Ниной Семёновной Гулюк, принимает гостей вот уже десятый сезон.

На этот раз в гостиной состоялся концерт-лекция «Паустовский и музыка». Литературно-музыкальную композицию осуществила заслуженная артистка России Надежда Кушнир, которая выступила со словом о творчестве Паустовского и с фортепианным аккомпанементом всего концерта.

В концерте приняли участие артисты Московской филармонии. Чтец Борис Бурляев исполнил рассказы Паустовского «Старый повар», «Корзина с еловыми шишками» и «Ручьи, где плещется форель». Чтение сопровождалось музыкой: прозвучали две части сонаты и рондо Моцарта, ноктюрн Грига. В исполнении Ирины Озерной (скрипка) собравшиеся услышали «Норвежский танец» Грига, Наталия Полянинова (сопрано) исполнила романсы «Ночь» Рубинштейна, «Скажи о чём в тени ветвей...» Чайковского и арию Виолетты из оперы «Травиата» Верди. Александр Фомин (бас) исполнил романс «Благословляю вас, леса» Чайковского и арию Филиппа II из оперы «Дон Карлос» Верди.

После концерта взволнованные читатели разобрали все наличные книги Паустовского в библиотечном абонементе. В библиотеке образовалась очередь желающих почитать и перечитать его книги.

ПРЕССА-2002

24–29 октября 2001 года. Москва. Всероссийский Выставочный Центр. Выставка «ПРЕССА-2002».

На выставке было представлено более тысячи печатных изданий и информационных агентств из ста городов РФ, а также Белоруссии и Украины.

ТУЧКОВА А. Вся пресса России под одной крышей // Независимая газета. — 2001. — 25 окт. — С. 7.

Из статьи: *Среди 364 газет, представленных на «Прессе-2002», — палитра изданий от «Схемы для вышивания», «Свои грядки», «Я расту» и «Веселухи» до «Вестника подписки Новосибирска»... Есть даже журнал «Мир Паустовского».*

Мир Паустовского: журнал <аннотация, адрес редакции> // Выставка «ПРЕССА-2002»: Официальный каталог. — М.: Агентство «Союзпечать», 2001. — С. 74.

Из аннотации: «Мир Паустовского» — продолжение выских культурных традиций России: обращение к вечным духовным и нравственным ценностям через мир одного из интеллигентнейших писателей XX века, редкий опыт в отечественной журналистике — издание журнала, посвящён-

ного творчеству и личности одного человека. Редкий опыт среди музеев России — издание музеем собственного просветительского журнала.



А.А.Кириленко на стенде «МП»
Фото И.Комарова





Нове Место над Вагом.
На приёме у Главы администрации города.
(Иван Махала — второй слева)



Нове Место над Вагом.
На улицах города с Главой администрации

ПАУСТОВСКИЙ В СЛОВАКИИ

11 октября 2001 года. Словакия, г. Нове Место над Вагом. Дворец культуры. Презентация 4-томной книги Ивана Махала «Год с Паустовским».

В презентации приняла участие делегация Московского литературного музея-центра К.Г.Паустовского в составе Ильи Комарова, Галины Корниловой и Михаила Холмогорова, а также атташе по культуре Посольства РФ в Словацкой Республике.

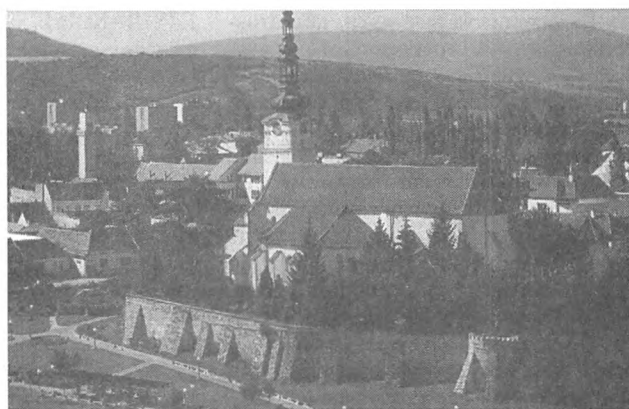
С приветственными речами обратился к собравшимся мэр (приматор) города господин Йозеф Трстенки, глава администрации района Ян Магал, автор предисловий к книгам Ивана Махала Душан Хевери и директор городской библиотеки.

Вечер закончился концертом: звучали романсы на музыку П.Чайковского, ноктюрны Ф.Шопена, были прочитаны отрывки из произведений Константина Паустовского.

POLÁK Milan. Vypit kalich demokracie do dna /Hovorime so spisovateľom Ivanom Machalom // Literárny týždenník. — Bratislava. — 2001. — № 31: 30. augusta. — S. 9: il.

SEMKO Anton. Rok s Paustovským // Nový den. — Bratislava. — 2001. — 9. októbra.

PA[GÁC] Krst Machalovej knihy // Trenciansky týždenník. — Trencian. — 2001. — 8. októbra.



Нове Место над Вагом



Иван Махала у школы, в которой он преподаёт
(слева директор школы)



Галина Корнилова и Михаил Холмогоров
с Иваном Махала на улицах Братиславы



Встреча с Главой районной администрации

ПОЧЁТНОЕ ЗВАНИЕ

Указом Президента Российской Федерации от 21 ноября 2001 года директору Московского литературного музея-центра К.Г.Паустовского и члену редколлегии журнала «Мир Паустовского» Илье Ильичу Комарову присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» с вручением соответствующего знака государственной награды.

КОМАРОВ И. В год Лошади темп работы будет стремительным... /Беседу вёл А.Сержантов // Новая мельница. — М.: Кузьминки-Люблино. — 2001. — 28 дек.

РАДИОПЕРЕДАЧИ

3 июня и 15 июля 2001 года. 13⁵⁰–14⁰⁰. Радио России. Авторская передача Ирины Бедеровой «Однажды»

На этот раз авторская передача И.Бедеровой была посвящена 109-й годовщине со дня рождения К.Г.Паустовского. В передаче использованы архивные записи голоса писателя, в том числе чтение им рассказа «Ильинский омут».

ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ

10, 17, 24 июня 2001 года. ТВ Татарстана, канал «Эфир». Авторский фильм Владимира Заказникова «Вжик-вжик метла ветлы по небу»

Показ двухчастного фильма зрители Татарстана дожидались не один год.

О создании фильма, посвящённого Мещёрскому периоду жизни К.Г.Паустовского, «МП» сообщал в своих предыдущих номерах.

12 июля 2001 года. ТВ. Канал «ОРТ». Художественный фильм о Юрии Казакове «Послушай, не идёт ли дождь?»

В качестве эпиграфа к фильму взята строчка из письма Константина Паустовского к Казакову: «Читая Ваши рассказы, бываю растроган до слёз... Я счастлив за нашу литературу, за наш народ, за то, что есть люди, которые сохраняют и умножают всё то прекрасное, что создано нашими предками — от Пушкина до Бунина».

4 августа 2001 г. ТВЦ 12⁵⁰–13¹⁰. Мультипликационный фильм «Растрёпанный воробей»

Фильм создан по мотивам одноимённой сказки К.Г.Паустовского в 1967 году на Киевской киностудии хроникальных и научно-популярных кинофильмов. Постановщик фильма А.Грачёв, музыка написана Александром Зацепиным и Евгением Крылатовым.

Московский литературный музей-центр К.Г.Паустовского высылает наложенным платежом жителям Российской Федерации (жителям СНГ — по предоплате) следующие издания:

книги:

— Паустовский К. Повесть о жизни (М.: Современный писатель, 1993, Т. 1, 640 с.) — 10 руб.

— Паустовский К. Блистающие облака. Золотая роза (СПб.: Каравелла, 1995, 416 с.) — 8 руб.

— Паустовский К. Разливы рек (М.: Школьная роман-газета, 1998, 80 с.) — 12 руб.

— Паустовский К. Повести (М.: Мир искателя, 2000, 96 с., (Б-ка школьника) — 23 руб.

— Паустовский К. Созвездие Гончих Псов: Повести (М.: Текст, 2002, 397 с.) — 36 руб.

— Паустовский К. Время больших ожиданий (Повести, роман, дневники, пись-

НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ

ма): в 2 кн. («Время больших ожиданий», «Бросок на юг», «Книга скитаний», «Романтики») /Предисл., послесл. В.К.Паустовского (Нижний Новгород, 2002, 996 с.) — 120 руб.

— Паустовский К. Жёлтый свет: Рассказы (М.: Текст, 2002, 398 с.) — 36 руб.

— Словарь языка К.Г.Паустовского: В 8 т. /Сост. Л.В.Судавичене (М.: Т. 1, 1998, 236 с.) — 15 руб.

— Словарь языка К.Г.Паустовского (М.: Т. 2, 2000, 304 с.) — 30 руб.

— Лыжина Е., Козлов О. Петербургские встречи: фото-эссе (СПб., 2000, 50 с.) — 35 руб.

— «К.Г.Паустовский. Материалы и сообщения»: Науч. сб. (М., 1996, Вып. 1, 232 с.) — 19 руб. 50 коп..

Журналы:

— Мир Паустовского: № 1–1992 (1 руб.), выпуски за 1995 год: № 3–4 (3 руб.), № 5

(5 руб.) и № 6 (5 руб.), сдвоенные выпуски: за 1996 год: №№ 7–8 (5 руб.) и 9–10 (10 руб.), за 1998 год: № 11–12 (15 руб.), № 13 (15 руб.), за 1999 № 14 (25 руб.), за 2000 год: № 15–16 (35 руб.), № 17 (25 руб.), за 2001 год № 18 (28 руб.).

Сувениры:

— значки с символикой Московского музея-центра Паустовского: белого и зелёного цвета — по 5 руб.

— значок с символикой журнала «Мир Паустовского» — 5 руб.

— календарик карманный на 2002 год «К.Г.Паустовскому — 110 лет» — 3 руб.

Деньги просим перечислять почтовым переводом на расчётный счёт Московского литературного музея-центра К.Г.Паустовского (ИНН музея 7721041687) р/с № 40703810400150000128 в Волгоградском филиале АКБ «Московский Индустриальный Банк» в г. Москве, к/с № 30101810300000000600, БИК 044525600.

При всём своём совершенстве и кажущейся завершенности его проза, его язык — это НАЧАЛО, это прозорливое открытие принципиально нового, неведомого и бесконечного, которое сродни созданию колеса... и потому мир Паустовского — неисчерпаем.

Анатолий МОЖАРОВ

Постоянно ловлю себя на том, что, может быть не по возрасту, из меня прямо-таки рвётся наружу юношески восторженное отношение к Паустовскому — Великому Колдуну российской словесности

Юрий КАЛИНИН

Я к нему постоянно возвращаюсь

Эдуард ХРУЦКИЙ

Мне и теперь, по прошествии лет, «Старый повар» представляется вершиной мировой литературы

профессор Константин ПОПОВ
(Болгария)

«Романтики», «Блестящие облака», «Чёрное море» будоражили сильнее вина

Владимир КУПЧЕНКО

В моём доме «Гарусские страницы» — одна из самых зачитанных, а значит — живых книг

Михаил ХОЛМОГОРОВ

The nineteenth issue of the magazine «Mir Paustovskogo» («Paustovskii's World») concerns with life and works of a romantic writer, Alexander Grin, whose individuality and fiction were of so great importance for K.G.Paustovskii. As is generally known, Paustovskii has dedicated to Grin not only several biographic essays but also many pages of his own writings.

Immediately after Konstantin Paustovskii's texts dealt with Grin, we publish little known verses by Grin himself, his «forgotten» prose, and — in the Supplement — an incomplete story, «Touch-me-not». The magazine contains the materials dedicated to Nina Nikolaevna Grin, his wife, as well. She underwent, in the forties, the imprisonment and deportation and, at the close of her life, succeeded in reestablishing A.Grin's museum-house. For the first time, her large correspondence with Sergei Naumov — that man who shared with Nina Nikolaevna oppressive years spent in prison — is being published.

Under the heading «By means of Voloshin's line», Maximilian Voloshin's verses cited by K.Paustovskii in his writings are being published. Grin and Voloshin met repeatedly and regarded with understanding to works of one another. These materials have been compiled and prepared for publishing by П'я Комаров. Within the same section, Lyubov' Sorokina tells about her meetings with Paustovskii in Koktebel'.

In the pages of «The Researches» section, the writer Oleg Larin narrates about those localities in the North where Grinevskii (future Grin) lived in exile. Professor of Arkhangel'sk University Lyudmila Skepner analyzes materials of Grinevskii's archive from Arkhangel'sk dated back to the time.

«Literary pages» are being represented with the stories by Vladislav Krapivin, a writer from Ekaterinburg, the winner of the Grin's premium of 2001; by Sergei Mikheenkov, Tarusa's dweller; and D.Shraer-Petrov who sent his prose from America. This section is opened with the verses by T.Mel'nikova.

This issue is concluded with the materials ad memorium to tragically deceased writer Yurii Kuranov — a member of the editorial board of our magazine — and traditional columns: «Latest news», «Our correspondence», and «Chronicle».

В НОМЕРЕ:



**10 писем Паустовского —
первая публикация** (7)

**Стихи
Александра Грина** (28)

**Судьба Нины Грин
в документах** (45)

**Коктебель: в памяти,
стихах и прозе...** (57)

**«Паустовские» рассказы
Владислава Крапивина** (82)

**Где жил ссыльный
Гринецкий...** (103)

**Незавершённый роман
Александра Грина** (119)

**«Тарусским страницам» —
40 лет** (138)

**Памяти
Юрия Куранова** (152)

Культурно-просветительный,
литературно-художественный и
научно-популярный журнал

МИР ПАУСТОВСКОГО

К.Г. Паустовский

Издаётся с 1992 года
Издание периодическое

Редакционная коллегия:

Главный редактор
Галина КОРНИЛОВА

Редакторы:
Илья КОМАРОВ
Эльвина МОРОЗ
Николай СТЕПАНИЩЕВ
Елена ТАРАСОВА
(ответственная за выпуск)
Михаил ХОЛМОГОРОВ

Компьютерный набор:
Вадим ПОДОБЕДОВ
Сергей КИРИЛЕНКО
(рабочее макетирование)

Бюро писем и распространения
Моника САЗОНОВА

Корректор
Зинаида КОМАРОВА

Оригинал-макет:
Леонид РЫЛЁНЫШЕВ

Общественный совет:
А.М.БОРЩАГОВСКИЙ
А.В.КОРОЛЁВ
Л.П.КРЕМЕНЦОВ
Ю.Н.КУРАНОВ
О.И.ЛАРИН
Л.А.ЛЕВИЦКИЙ
А.М.ТУРКОВ
Д.Г.ШЕВАРОВ

Адрес редакции:

109472, Москва,
парк «Кузьминки», 17,
Московский литературный
музей-центр К.Г.Паустовского,
тел. (факс): (095) 172-7791
e-mail: m385@mail.museum.ru;
city-kgp@nm.ru
<http://www.city-kgp.nm.ru>



Подписано в печать 23.04.2002 г.
Формат 60×90/8.
Печать офсетная.
Усл. печ. л. 22,5.
Тираж 1200 экз. Заказ № 134
Отпечатано в ООО «Вариант»
117420, Москва, ул. Вучетича, 1-а

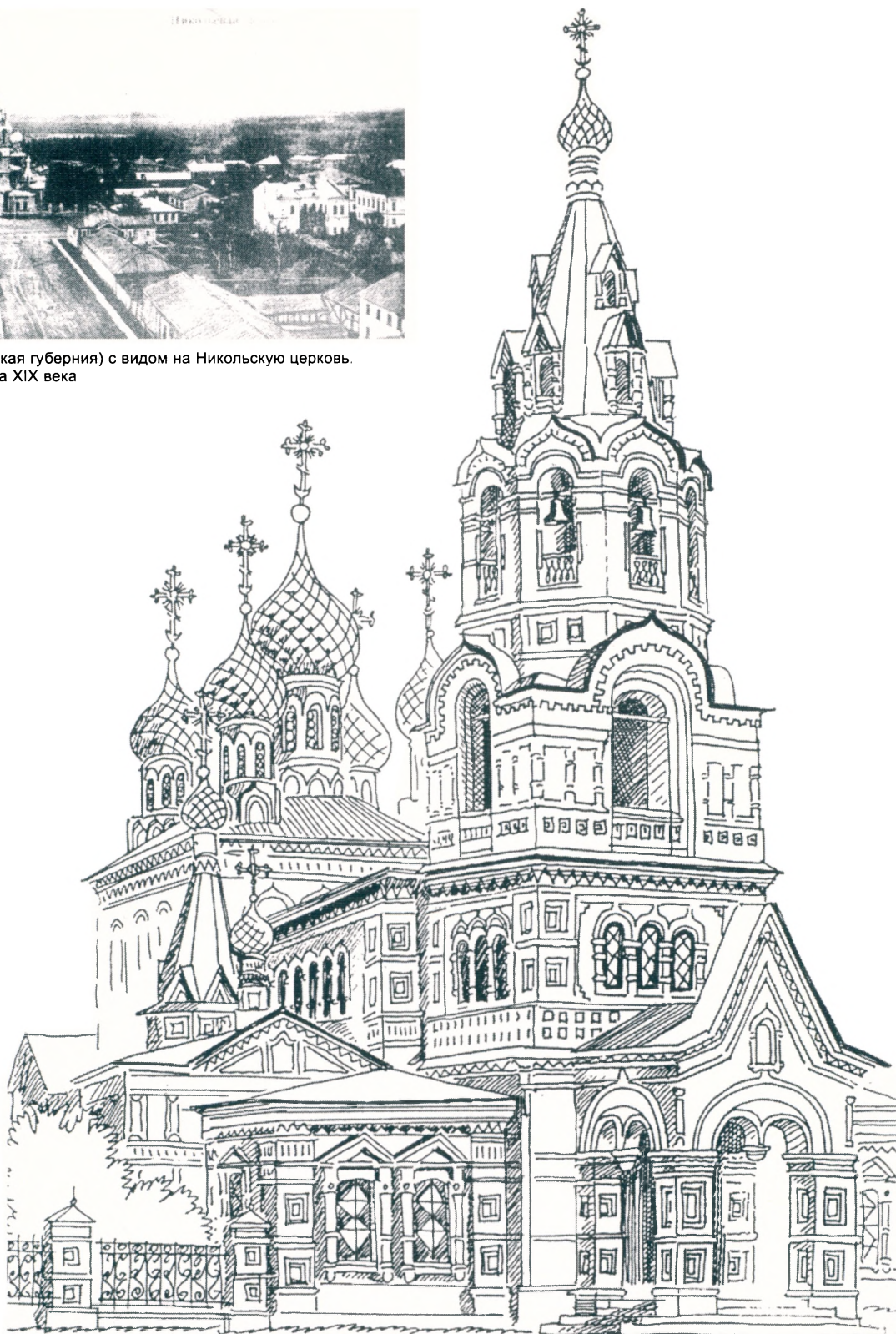
Фото на 1-й стр. обложки:
К.Г.Паустовский. Ялта, 1966 г.
Кадр из документальной киноленты
«Дорога к Чёрному озеру»

На 4-й стр. обложки:
Карта Гринландии.
Рис. С.Малышева (г. Феодосия)

Журнал издается за счет средств
Комитета по культуре Москвы



Город Слободской (Вятская губерния) с видом на Никольскую церковь.
Почтовая открытка конца XIX века



Никольская церковь.
Реконструкция-рисунок
Т.Дедовой

21 августа 2000 года, в день 120-летия со дня рождения Александра Грина, на Никольской церкви в городе Слободском состоялось открытие мемориальной доски:

«В этой церкви в 1880 году был крещён Гриневский Александр Степанович, писатель А.Грин».

В 1880 году на крещении присутствовал в качестве свидетеля Лев Онуфриевич Миштофт, друг отца писателя, дворянин, польский ссыльный. Таинство крещения в Никольской церкви совершал о. Николай Пинегин, в писцовой книге Никольской церкви сохранилась запись акта о крещении А.С.Гриневского.

Церковь построена в 1732 году. Здание церкви сохранилось до наших дней.

Олег РОГОЖНИКОВ
(г. Слободской)